

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА

РУССКИЙ ЯЗЫК

В НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ

№ 1
(7)

ISSN 1681-1062

Научный журнал

*Основан в январе 2001 года
Выходит два раза в год*

Редакционная коллегия:

А. М. Молдован (главный редактор), А. А. Алексеев, Х. Андерсен (США), Ю. Д. Апресян, А. Богуславский (Польша), И. М. Богуславский, Д. Вайс (Швейцария), Ж. Ж. Варбот, А. Вежбицкая (Австралия), М. Л. Гаспаров, А. А. Гиттиус, М. Ди Сальво (Италия), Д. О. Добровольский, В. М. Живов, А. Ф. Журавлев, А. А. Зализняк, Е. А. Земская, Х. Кайперт (Германия), Л. Л. Касаткин, Э. Кленин (США), А. Д. Кошелев, Л. П. Крысин, Р. Ляковский (Швеция), Х.-Р. Мелиг (Германия), И. Мельчук (Канада), Н. Б. Мечковская (Беларусь), Е. В. Падучева, А. А. Пичхадзе (ответственный секретарь), Т. В. Рождественская, А. Тимберлейк (США), Х. Томмола (Финляндия), М. Флайер (США), А. Я. Шайкевич, А. Д. Шмелев

Адрес редакции:

121019, Москва, ул. Волхонка 18/2, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Редакция журнала “Русский язык в научном освещении”.

Тел.: (095) 201-79-92, факс: (095) 291-23-17, e-mail редакции журнала: russyaz@yandex.ru, e-mail издательства: lrc@comtv.ru

Зав. редакцией *Н. Н. Розанова*

Редакторы номера *А. А. Пичхадзе, А. В. Гик*

Корректор *О. Н. Заикина*

Оригинал-макет подготовлен *Л. Кисличенко*

Издатель *А. Д. Кошелев*

Подписка на журнал оформляется в любом отделении связи по Объединенному каталогу “Печать России”, индекс 44088.

G.E.C.Gad Booksellers, Slavic Department, Ndr.Ringgade 3, DK-8000 Aarhus C, Denmark (Fax: +54 86 209102; E-mail: slavic@gad.dk) have the exclusive right to distribute this publication in Europe and the United States.

Исключительное право на распространение журнала в Европе и США принадлежит датской книготорговой фирме G•E•C GAD (fax: +54 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk).

© Институт русского языка
им. В. В. Виноградова РАН, 2004

© Авторы, 2004

Подписано в печать 27.07.2004. Формат 70×100 ¹/₁₆.

Бумага офсетная № 1, печать офсетная.

Усл. п. л. 26,45. Заказ №

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования

<i>Ю. Д. Апресян.</i> Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства	5
<i>Н. А. Купина, И. В. Шалина.</i> Современное просторечие: взгляд изнутри	23
<i>Н. А. Николина.</i> Грамматические термины в русской поэзии	63
<i>Р. Н. Кривко.</i> Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. I	80
<i>О. Ф. Жолобов.</i> Заметки о древнерусских числительных. I: Природа числительных в генетическом аспекте	125
<i>Ю. В. Кагарлицкий.</i> Придаточные определительные с союзным словом <i>кой</i> в русском литературном языке первой половины XVIII века	136
<i>А. П. Майоров.</i> Нормативное и узуальное в правописании приставок и предлогов на <i>з/с</i> в деловой письменности XVIII в.	157
<i>А. А. Гиппиус.</i> Социокультурная динамика письма в Древней Руси. (О книге: S. Franklin. Writing, Society and Culture in Early Rus, с. 950—1300, Cambridge, 2002)	171

Публикации

<i>О. В. Никитин.</i> Забытые страницы русской лексикографии 1920-х гг. (предыстория «Ушаковского словаря»)	195
---	-----

Информационно-хроникальные материалы

Международные семинары по русскоязычной диаспоре: «Русскоязычное население Финляндии», Хельсинки, 25—26 сентября 2003; «Русский язык в диаспоре», Хельсинки, 27—28 сентября 2003 (<i>М. А. Осипова</i>)	229
--	-----

Хроника международной научной конференции-фестиваля «Поэтический язык рубежа XX—XXI веков и современные литературные стратегии» (О. В. Тищенко, Н. А. Фатеева)	235
--	-----

Рецензии и обзоры

<i>Н. В. Семенова.</i> Таксис: история изучения и современное понимание	249
<i>М. В. Зарва.</i> Русское словесное ударение. Словарь. Около 50 000 слов. — М., 2001; <i>Ф. Л. Агеенко.</i> Собственные имена в русском языке. Словарь ударе- ний. Более 35 000 словарных единиц. — М., 2001 (<i>Н. А. Еськова</i>)	272
<i>Erika Günther.</i> Das deutsch-russische Sprachbuch des Heinrich Newenburgk von 1629.— Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1999 (Berliner slawistische Arbeiten; Bd. 7) (<i>Ф. Б. Альбрехт</i>)	279
Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache // Herausgegeben von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer / Bayerische Akademie der Wissenschaften (<i>Е. Бабаева</i>)	286
Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. М. Б. Хомяков, Н. А. Купина. — Екатеринбург, 2003 (<i>М. Я. Дымарский</i>)	297

Новые книги

Patrick Sériot (éd.). Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne (épistémologie, philosophie, idéologie)	313
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 3-й вып.	313
Русский язык сегодня. Вып. 2. Сб. статей	314
Проблемы фонетики. IV: Сб. статей	316
<i>Werner Lehfeldt.</i> Akzent und Betonung im Russischen	317
Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр.	319
<i>Г. Ф. Ковалев.</i> Ономастические этюды: писатель и имя	320
<i>М. В. Шульга.</i> Развитие морфологической системы имени в русском языке	322
<i>Г. Ф. Ковалев.</i> Этнос и имя	322
Именослов: Заметки по исторической семантике имени	323
<i>В. А. Баранов.</i> Формирование определительных категорий в истории русского языка	325
Энциклопедия русского игумена XIV—XV вв. Сборник преподобного Кирилла Белозерского	326
Новгородская служебная минея на май (Путятин минея)	326
Мазуринская Кормчая: Памятник межславянских культурных связей XIV—XVI вв.	327

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ю. Д. АПРЕСЯН

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ГЛАГОЛЫ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА *

1. Общая характеристика

Интерпретационными называются глаголы и глагольные выражения типа *бросать тень (на кого-л.), вредить, выгораживать (кого-л.), выручать (кого-л.), грешить, давить (на кого-л.), злоупотреблять, издеваться (над кем-л.), карать, клеветать (на кого-л.), кривить душой, мешать (кому-л.), нарушать дисциплину, обелять (кого-л.), ошибаться, подводить (кого-л.), подерживать (директора), позориться, покровительствовать (кому-л.), поощрять, попустительствовать, портить, поступать неправильно (правильно), потакать (кому-л.), потворствовать (кому-л.), превышать (полномочия), предавать (кого-л.), пренебрегать, промахнуться (Ты промахнулся с этим делом), просчитаться, противодействовать, распускать (кого-л.), распускаться (о поведении), ронять достоинство, совершать преступление, содействовать, способствовать, терять лицо, унижаться и т. п. Сами по себе они не обозначают никакого конкретного действия или состояния, а служат лишь для какой-то интерпретации (квалификации) другого, вполне конкретного действия или состояния ¹.*

* Данная работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 02-04-00306а), РФФИ (грант № 02-06-80106), Президента РФ на поддержку ведущих научных школ (грант № НШ-1576.2003.6) и Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте», раздел 4.15. Она обсуждалась на заседании Сектора теоретической семантики ИРЯ РАН 18.12.03. Всем участникам обсуждения – В. Ю. Апресян, Е. Э. Бабаевой, О. Ю. Богуславской, М. Я. Гловинской, Б. Л. Иомдину, Т. В. Крыловой, И. Б. Левонтиной, А. В. Санникову и Е. В. Урысон — автор выражает признательность за ценные критические замечания.

¹ Как справедливо заметила в свое время А. Вежбицка, любое высказывание по самой природе вещей в той или иной степени интерпретационно. Если, например, человек только взялся за ручку двери, а мы говорим *Он открывает дверь*, мы в какой-то мере опережаем события и интерпретируем как уже реализованное всего-навсего его *намерение*. Такую интерпретацию и такого интерпретатора событий уместно называть тривиальными, поскольку они предполагаются в любом высказы-

Поясним это описание анализом типичных употреблений интерпретационных глаголов и глагольных выражений. В разных случаях человек X может сказать человеку Y «*Вы сегодня прекрасно выглядите*» или «*Таня вас любит*», может подать Y-у палто или произвести какое-то другое конкретное действие. Ответом Y-а во всех этих случаях может быть высказывание «*Вы надо мной издеваетесь*». Такой ответ уместен, если, скажем, сам Y думает, что сегодня выглядит плохо, или что Таня его не любит, или что X не может быть серьезен, подавая ему палто, потому что у Y-а по сравнению с ним нет никаких преимуществ статуса, возраста или пола. Ср. также такие конкретные действия, как *соблазнить*, *украсть*, *поесть мяса в пост*, типизируемые в виде *согрешить*; *огрابتь*, *оставить боевой пост*, *разгласить государственную тайну*, типизируемые в виде *совершить преступление*; и т. п. Как видим, человек может интерпретировать как одинаковый тип поступков очень разные конкретные действия, в том числе не имеющие ничего общего друг с другом.

При этом сами конкретные действия, служащие основанием для этических, юридических или иных квалификаций, в обоих случаях представляются как уже имевшие место. Поэтому даже в форме НЕСОВ НАСТ при референции к моменту речи большинство интерпретационных глаголов имеют не актуально-длительное, а перфективное значение². Ср., в дополнение к приведенным примерам, *Вы ошибаетесь (предаете общие интересы, поступаете низко)* — уже сделали нечто такое, что можно считать ошибкой, предательством общих интересов, низостью.

Впервые интерпретационное значение в указанном смысле было описано М. Я. Гловинской, которая истолковала его следующим образом: «До момента речи имело место конкретное единичное действие; говорящий, имея в виду это прошлое действие или его результат, в момент речи интерпретирует это действие как некий тип поведения». В более формализованном виде это толкование выглядит следующим образом: «Говорящий, имея в виду прошлое действие P, в момент речи интерпретирует P как тип поведения R» ([Гловинская 1989: 113]; см. также [Гловинская 1986: 30] и [Гловинская 2001: 193—194]). Здесь названы четыре важных свойства интерпретационного значения, которые в совокупности исчерпывают его существо: а) интерпрета-

вании и, тем самым, не специфичны для конкретных лексем. В этом отношении тривиальный интерпретатор похож на тривиального говорящего и тривиального наблюдателя, имплицитная ссылка на которых предшествует любому высказыванию. Между тем интерпретация в интересующем нас смысле — это особый семантический компонент в толкованиях лишь некоторых глагольных лексем. Разумеется, между этими двумя полюсами, как всегда в языке, располагается широкая полоса промежуточных случаев. Они обсуждаются в разделе 5.

² Ниже будет показано, что перфективность свойственна прототипическим представителям интерпретативов и может ослабляться, вплоть до полного снятия, на периферии этого семантического класса.

ционное значение как таковое принципиально двухактантно — ср. переменные P и R в его толковании³; б) оба актанта суть предикаты; в) предикат P обозначает конкретное действие, а R — тип поведения⁴, т. е. имеет место типизация; ср. возведение конкретного поступка в ранг преступления в случае *Передав японцам эту техническую документацию, он совершил государственную измену*; г) интерпретация всегда принадлежит говорящему.

Во всех трех работах интерпретационное значение анализируется как разновидность более общего значения ‘единичное действие в прошлом, достигшее результата’ — наряду с настоящим историческим, настоящим непосредственно предшествующего действия (*Мама зовет обедать*), настоящим экспозиционным (*Дарвин учит, что эволюция видов определяется тремя факторами*) и т. п., т. е. как грамматическое (видо-временное) значение формы НЕСОВ НАСТ. Принимая в целом анализ М. Я. Гловинской, я бы хотел заметить, что трактовка интерпретационного значения, как грамматического значения формы НЕСОВ НАСТ создает одну трудность.

Прежде всего, интерпретационное значение в принципе совместимо с другими видо-временными значениями этой формы. Ср. следующие примеры: *Он возвращается из мест заключения, устраивается на работу, но вновь совершает преступление и попадает на скамью подсудимых* (настоящее историческое) и *Он постоянно нарушает дисциплину* (подводит коллег) (узуальное). Если бы интерпретационное значение было грамматическим значением формы НЕСОВ НАСТ, оно не могло бы совмещаться с другими грамматическими значениями той же формы без определенного стилистического (каламбурного или иного игрового) эффекта. Очевидно, что в приведенных примерах такого эффекта нет.

Кроме того, интерпретационное значение сохраняет четыре отмеченных выше конституирующих свойства и в формах, отличных от формы НЕСОВ НАСТ. Ср. *Мастер ошибался* [НЕСОВ ПРОШ], *когда с горечью говорил Иванушке, — что она [Маргарита] позабыла его* (М. Булгаков), *Он просчитался* [СОВ ПРОШ], *поехав на автобусе*.

Поэтому представляется более естественным трактовать интерпретационное значение как лексическое, а не грамматическое значение глагола.

³ Из этого, конечно, не следует, что все интерпретационные глаголы тоже двухактанты. В рассматриваемом толковании сам интерпретационный глагол представлен предикатом R, который может быть и многоактантным; ср. *А карает* (поощряет) *В за С X-ом*, *А мешает* (помогает) *В в С X-ом* и тому подобные глаголы. У перечисленных глаголов конкретное действие, составляющее предмет интерпретации, является четвертым актантами и представлено переменной X.

⁴ Данная формулировка не вполне точная: P может обозначать не только действие, но и состояние (*зablуждаться, ошибаться* в некоторых употреблениях), а иногда даже и деятельность (*покровительствовать, содействовать*); соответственно R обозначает не тип поведения, а тип действий, тип состояний или тип деятельности. См. обсуждение этого вопроса в разделе 2.

Именно таким образом оно рассматривалось в моих работах, начиная с курса лекций на Летней лингвистической школе в Праге в июне 1991 г.; см. также [Апресян 1997: XX] и [Апресян 1999]⁵. Аналогичную трактовку находим в работах [Зализняк 1991] и [Падучева 1996].

Тем самым интерпретационные глаголы оказываются особым лексико-семантическим классом фундаментальной классификации предикатов⁶. Иными словами, они имеют приблизительно такой же статус, как глаголы со значением действия (*писать, идти*), деятельности (*торговать, воевать*), поведения (*баловаться, хулиганить*), занятия (*играть, гулять*), воздействия (*размывать, прогревать*), процесса (*расти, гореть*), проявления (*светить, звучать, пахнуть*), положения в пространстве (*стоять, сидеть*), состояния (*знать, хотеть*), свойства (*заикаться, виться*), параметра (*вмещать, насчитывать*), существования (*бывать, водиться*) и другие подобные. В частности, как и другие классы из этого списка, интерпретационные глаголы характеризуются комплексом внутренне согласованных синтаксических, морфологических, просодических и других лингвистически релевантных свойств, имеющих один общий семантический источник. В сущности, он уже был упомянут, но сейчас уместно сделать на нем акцент.

Вопреки евангельской заповеди «Не судите, да не судимы будете», человек в своей языковой деятельности постоянно занимается оценкой своих ближних, используя для этого готовую систему весьма общих этических, религиозных, юридических, логических и иных правил, норм, заповедей, в той или иной мере узаконенных в данном обществе. Отклонение от них, их превышение или — гораздо реже — соблюдение получает специальные наименования: *грех, измена, обман, ошибка, подвиг, помощь, предательство, преступление, проступок* и т. п. Интерпретация в интересующем нас смыс-

⁵ Разнотечения между Апресян 1999 и данной работой следует трактовать в пользу последней.

⁶ Мы называем фундаментальной классификацию предикатов, которая именуется также вендлеровской, классификацией Маслова-Вендлера, таксономической и т. п. С самого начала и вплоть до последнего времени она разрабатывалась преимущественно для нужд аспектологии; см., например, [Кошмидер 1962] (он открыл не только перформативы, но и моментальные глаголы, см. *op. cit.*, с. 107), [Маслов 1948], [Вопросы 1962], [Vendler 1967], [Lakoff 1970], [Miller 1970], [Бондарко 1971], [Comrie 1976], [Lyons 1977], [Mehlig 1981], [Булыгина 1982], [Гловинская 1982], [Селиверстова 1982], [Падучева 1985], [Guiraud-Weber 1988], [Арутюнова 1988], [Князев 1989], [Падучева 1996] и многие другие работы. На самом деле основные классы этой классификации имеют гораздо более универсальный характер. Они существенны не только для категории вида, но и для других грамматических категорий глагола, в частности, залога и наклонения. Более того, они определяют многие синтаксические, сочетаемостные и коммуникативно-просодические свойства глаголов, а также характерные для них словообразовательные типы и структуры многозначности; см. об этом Апресян 2003. Такую классификацию естественно именовать фундаментальной.

ле представляет собою в конечном счете квалификацию конкретного действия или состояния человека с помощью этой готовой номенклатуры обобщенных ярлыков, т. е. подведение частного случая под общий случай особого рода.

2. Семантическая структура интерпретационных глаголов

Значение прототипических интерпретационных глаголов складывается из двух основных частей — пресуппозитивной и ассертивной. В первую входит предикат Р, часто лишь подразумеваемый. Ассерцию образует остающаяся часть значения предиката R, т. е. самого интерпретационного глагола.

На основании имеющегося у нас материала можно предположить, что на позиции Р и R накладываются определенные семантические ограничения. Как уже было сказано, обе позиции могут заполняться главным образом предикатами со значением действия или состояния, реже — деятельности. Более точно, чаще всего интерпретируются либо чьи-то физические, речевые или ментальные действия, либо мнения человека, т. е. его контролируемые ментальные состояния.

При этом предикаты Р и R обычно семантически согласованы друг с другом: если Р — акциональный предикат, то и R — акциональный предикат, а если Р — стативный предикат, то и R — стативный предикат. Ср. *Вы очень мешаете [R] мне своими репликами [P]* (Р и R — акциональные предикаты); *Вы ошибаетесь [R], если думаете [P], что он подчинится приказу* (Р и R — стативные предикаты, причем Р (думаете) — контролируемое состояние). Такое правило согласования объясняется самой природой типизации: нельзя подводить конкретное состояние под тип действий или конкретное действие под тип состояний.

Ниже предлагаются эскизные толкования ряда интерпретационных глаголов и глагольных оборотов, построенные с учетом этих соображений.

Х роняет достоинство, делая P = 'X сделал P [пресуппозиция]; говорящий считает, что P относится к классу действий, показывающих, что человек, который их совершает, не ценит свою личность [ассерция]' ⁷.

Х совершает грех, делая P = 'X сделал P [пресуппозиция]; говорящий считает, что P относится к классу действий, которые Бог запрещает людям совершать [ассерция]'.

Х поощряет Y-а, делая P = 'X сделал P [пресуппозиция]; говорящий считает, что P относится к классу действий, показывающих, что человек, который их совершает, одобряет действия или деятельность другого человека и хочет побудить его продолжать действовать так же [ассерция]'.

⁷ См. подробное описание слова *достоинство* и его синонимов в работе [Санников 2003].

Х ошибается, думая, что Р = ‘Х думает, что Р [пресуппозиция]; говорящий считает, что Р относится к классу мыслей, которые возникают у людей, когда они не знают фактов или не понимают их [ассерция]’.

Специфика семантической структуры интерпретационных глаголов отражена в двух особенностях приведенных толкований:

1) сентенциальная форма отражает прототипические употребления интерпретационных глаголов. Прототипическими для них считаются употребления, в которых соблюдены следующие два условия: а) в них есть указание на конкретное действие или состояние Р; б) сам интерпретационный глагол R в форме НАСТ НЕСОВ имеет референцию к моменту речи, т. е. используется не в узуальном, многократном или другом подобном значении. Если эти условия не соблюдены, семантическая структура глагола перестраивается – пресуппозиция переходит в ассертивную часть толкования. Ср. *Х никогда не ошибается* ≈ ‘Х никогда не думает ничего такого, что говорящий считал бы неправильным’. Это и понятно: поскольку нет ссылки на конкретное действие или состояние, исчезает сам предмет интерпретации, и семантическая специфика интерпретативов смазывается;

2) у интерпретационных глаголов ассерцией является модальная рамка, т. е. фрагмент толкования ‘говорящий считает, что ...’. Именно этот фрагмент подвергается отрицанию; ср. *Х не ошибается, думая, что Р* = ‘Х думает, что Р; говорящий не считает, что Р относится к классу мыслей, которые возникают у людей, когда они не знают фактов или не понимают их’.

3. Интерпретативы и их ближайшие соседи

3.1. Подклассы интерпретативов

Для удобства обзора класс интерпретационных глаголов с некоторой долей условности можно разбить по типу интерпретации на следующие основные подклассы ⁸:

⁸ Мы используем в качестве материала только глаголы, потому что именно они являются прототипическим манифестантом интерпретационного значения. Это не значит, конечно, что в других частях речи интерпретационные предикаты невозможны. Ср., например, интерпретационные существительные *ошибка, заблуждение, преувеличение; нарушение, беззаконие; грех, искушение, соблазн; потворство, баловство, попустительство; измена, предательство; обман, инсинуация*. Для интерпретационных существительных весьма типичны, хотя и не являются универсальными, присвяточные конструкции, в которых существительное выполняет функцию предикатива, а ИНФ со значением конкретного квалифицируемого действия — функцию подлежащего. Замечательно при этом то обстоятельство, что само существительное непосредственно инфинитивом не управляет, хотя инфинитив и представляет его семантический актант. Ср. *Грех столько пить, Говорить об этом было ошибкой (грехом, предательством)*, но не **ошибка (грех, предательство) говорить об этом*.

а) этическая интерпретация (самая многочисленная группа): *помогать, воскрешать, выгораживать, выручать, покровительствовать; губить, убивать, заваливать <топить> (на экзамене); подводить (кого-л.), предавать (кого-л.); потворствовать, попустительствовать; баловать, портить (ребенка); терять лицо, ронять достоинство; оскорблять, унижать, обижать; издеваться, надругаться; наказывать, мстить, поощрять; злоупотреблять (доверием);*

б) юридическая и религиозная интерпретация: *нарушать правила, превышать полномочия, злоупотреблять властью; преступать закон, совершать преступление, совершать правонарушение; грешить, совершать грех; искушать, соблазнять;*

в) логическая, или истинностная интерпретация: *ошибаться, заблуждаться, обманываться, обманывать себя, просчитаться; преувеличивать, делать из мухи слона, преуменьшать; недооценивать, переоценивать;*

г) утилитарная интерпретация: *выигрывать, проигрывать (Так вы только проигрываете во мнении коллег); (по)горячиться, (по)торопиться (Он немного поторопился, раззвонив повсюду о своем новом назначении); оплошать, сплеховат, опростоволоситься, промахнуться;*

д) комбинированные интерпретации (чаще всего комбинируются этическая и логическая квалификация действия): *изображать в черном цвете, очернять; приукрашивать, лакировать, обелять, представлять в розовом свете; обманывать, клеветать, кривить душой.*

Как ясно из приведенных здесь примеров, интерпретативы соприкасаются с несколькими классами предикатов — действиями (*наказывать, помогать, поощрять*), состояниями (*ошибаться, переоценивать*), оценками (*ютиться, всучить*), поведением (*баловаться, дебоширить, капризничать, привередничать, скандалить*) и другими. Иногда, например, в случае оценок и поведений, соседство весьма близкое. Однако даже в таких случаях между прототипическими представителями классов сохраняются важные различия.

3.2. Интерпретативы и оценки

Главное различие между интерпретационными и оценочными глаголами состоит в разных логических статусах семантических компонентов, описывающих действие (состояние) и его квалификацию. В интерпретационных словах, как было показано выше, указание на конкретное действие образует пресуппозицию, а квалификация этого действия говорящим — ассерцию (см. выше). В оценочных словах указание на определенное действие составляет ассерцию, а оценка образует модальную рамку. Рассмотрим два типичных оценочных глагола.

Всучить = 'дать [ассерция]; говорящий плохо оценивает поступок дающего или объект передачи или хочет, чтобы адресат так их оценивал [модальная рам-

ка]’. Ср. *Роль плохого следователя Лебедь всучил Пуликовскому, роль хорошего — естественно, взял себе* («Итоги», 27.08.96).

Ютиться = ‘жить, занимая в помещении меньшее пространство, чем нужно для нормальной жизни [ассерция]; говорящий плохо оценивает условия, в которых субъекту приходится жить, или хочет, чтобы адресат так их оценивал [модальная рамка]’. Ср. *Но Грозный обстреливался, люди ютились в подвалах, без воды и света* («Итоги», 27.08.96).

Эта семантическая структура характерна для большого пласта так называемой пропагандистской лексики, особенно ряда советизмов; ср. лексемы типа *ввалиться, втереться в доверие, набухать (соли в суп), околачиваться, переть, припереться, пробраться (к власти), хапать, шиньярьть, вояж, зачинщик, сборище* и т. п.

Отметим еще одно различие между интерпретационными и оценочными словами. Интерпретационные слова свободно подвергаются отрицанию, а оценочные — затрудненно. Ср. *Он нас не подвел, Он не ошибается* (<не переоценивает своих возможностей>) при сомнительности, вне эксплицитного или имплицитного противопоставительного контекста, *Он не всучил ему свою книгу, Они не ютились в тесных каморках*. При наличии такого контекста употребление оценочного слова под отрицанием становится возможным; ср. *Они не ютились в тесных каморках, как мы* (об особенностях противопоставительного отрицания см. [Богуславский 1985: 61—82]).

Однако вследствие своей внутренней близости оценки и интерпретации могут легко совмещаться друг с другом в пределах одного глагола, образуя пересекающиеся классы предикатов; таковы, например, глаголы типа *клеветать, лакировать, обелять, очернять, приукрашивать* и т. п. Ср. следующее толкование:

Х клеветает на Y-а, говоря, что Y сделал P = ‘X сказал, что Y сделал очень плохое P; говорящий считает, что X знает, что Y не делал P; говорящий считает, что X сказал это, чтобы другие люди думали об Y-е плохо и чтобы X мог воспользоваться их плохим мнением об Y-е для достижения какой-то плохой цели; поэтому говорящий оценивает поступок Y-а очень плохо’. Как видим, в глаголе *клеветать* совмещаются интерпретация чьего-то высказывания (‘говорящий считает, что X сказал это, чтобы другие люди думали об Y-е плохо ...’) и отрицательная оценка этого высказывания.

3.3. Интерпретативы и глаголы поведения

Второй класс глаголов, близких к одновременно и к интерпретативам, и к оценкам, — глаголы поведения, такие как *артачиться, баловаться, безобразничать, бесчинствовать, буянить, геройствовать, дебоширить, дурачиться, дурить, жеманиться, капризничать, кривляться, ломаться, мажорничать, обезьянничать, озорничать, паясничать, привередничать, про-*

*казничать, ребячиться, скандалить, скоморошничать, сумасбродить, упрямиться, фиглярствовать, хулиганить, чудить, шалить*⁹ и т. п.

Для глаголов поведения очень характерна компаративность: когда мы определяем тип наблюдаемого поведения, мы часто делаем это путем его сравнения с поведением, типичным для какого-то класса людей. Поэтому многие такие глаголы являются формальными производными от названий людей, поведение которых имеет яркие характерные черты: *буянить, паясничать, ребячиться, скоморошничать, сумасбродить, фиглярствовать, хулиганить*; ср. также *обезьянничать*.

Семантическая специфика этих и других подобных глаголов коренится в самой идее поведения. Легко заметить, что среди поведений почти нет глаголов со значением положительной оценки. Это и естественно. Правильное поведение не замечается, замечаются почти исключительно отклонения от нормы. Заметим, что если человек *геройствует*, то, с точки зрения говорящего, это либо излишнее, ненужное геройство, либо эффектная поза.

В наивной этике поведения различаются, в самом первом приближении, три основных типа норм: нормы личного поведения (оно должно быть естественным, разумным и т. п.), нормы поведения с партнером (оно должно быть кооперативным) и нормы общественного поведения (оно должно быть цивилизованным, т. е. не нарушающим общественного порядка). В соответствии с этим класс поведений распадается на три подкласса; ср. *жеманится, кривляется, манерничает, паясничает, скоморошничает, фиглярствует* и т. п. (ведет себя неестественно); *артачится, капризничает, ломается, привередничает, упирается, упрямится* и т. п.¹⁰ (ведет себя некооперативно); *безобразничает, бесчинствует, дебоширит, озорничает, скандалит, хулиганит* и т. п. (ведет себя асоциально, нарушает общественный порядок).

Лексическое значение глаголов поведения расслаивается на ассерцию и модальную рамку, как это свойственно оценочным глаголам, а в модальной рамке включает в себя указание на квалификацию конкретного действия, как это свойственно интерпретативам. Ср. высказывания типа *Скинхеды бесчинствовали — крушили витрины, опрокидывали машины, избивали прохожих*, подводящие конкретные действия под некий тип отклонений от нор-

⁹ В упоминавшейся книге [Падучева 1996: 150] тоже выделен класс поведений, однако семантически он гораздо более широк и включает, помимо собственно поведений, несколько других классов, которые в нашей работе трактуются как интерпретативы (*ошибаться, пренебрегать*), оценочные глаголы (*болтаться, ломиться*), действия (*пачкать, прислуживать*), состояния (*бездействовать, унывать*) и занятия (*кокетничать, флиртовать*). Каждый из перечисленных классов характеризуется своим набором свойств.

¹⁰ Подробное описание этих глаголов дано в словарных статьях Т. В. Крыловой *капризничать* и *упрямиться*; см. [Крылова 2000а]. В ее же работе [Крылова 2000б] описан интересный класс «статусных» правил поведения.

мального поведения; в них сочинительная цепочка реализует валентность Р, см. толкования ниже.

Попытаемся наглядно представить особенности семантической структуры глаголов поведения на примере следующих двух толкований:

Х балуется = 'Невзрослый человек Х, вследствие своей живости или недостаточной дисциплинированности, совершает различные действия Р, от которых он получает удовольствие [ассерция]; говорящий считает, что Р немного нарушает нормы общественного или личного поведения и поэтому оценивает поведение Х-а слабо отрицательно [модальная рамка]'. Ср. *Пока дети баловались и свободно могли упасть - - -, мамы сидели на простынях и шумно переживали* (Ю. Домбровский);

Х хулиганит = 'Х совершает различные действия Р, которые мешают нормальному существованию других людей или опасны для них, хотя не угрожают их жизни [ассерция]; говорящий считает, что Р грубо нарушает нормы общественного поведения и что Х намеренно ведет себя таким образом; поэтому говорящий оценивает поведение Х-а резко отрицательно [модальная рамка]'. Ср. *Они хулиганили на улицах, обижали прохожих, совершали разные дикие выходы и вообще не умели себя вести* (Н. Носов).

Всякое поведение предполагает наблюдаемость того, что человек реально делает, причем о поведении обычно говорят тогда, когда видят ряд однотипных актов человека или другого живого существа на протяжении одного раунда наблюдения; ср. *артачиться, дебоширить, паясничать*. Поэтому поведения, в отличие от интерпретационных и большинства оценочных глаголов, свободно употребляются в актуально-длительном значении НЕСОВ. Ср. *Посмотри, как она кривляется* <*капризничает*>, *Перестань кривляться* <*капризничать*>, *Когда прибыла полиция, толпа все еще бесчинствовала* и т. п.¹¹

Из аспектуальных свойств, отличающих поведения от интерпретативов, отметим еще отсутствие у них форм СОВ. Между тем от подавляющего большинства интерпретативов, в силу перфективности их лексического значения, СОВ образуется совершенно свободно; ср. *бросить тень, выручить, согрешить, злоупотребить, покарать, оклеветать, покривить душой, помешать (кому-л.), нарушить дисциплину, обмануть, ошибиться, подвести (кого-л.), поддержать (директора), поощрить, поступить неправильно* <*правильно*>, *превысить полномочия, предать (кого-л.), пренебречь, распустить (кого-л.), распуститься, уронить себя, совершить преступление, потерять лицо, унизиться* и т. п.

Существуют и более тонкие различия между интерпретативами и поведениями. Интересны, например, различия в сочетаемости тех и других с начинательными и финитивными глаголами.

¹¹ Тем самым утверждение Е. В. Падучевой, что «у глаголов поведения НСВ не может иметь актуально-длительного значения» и что НАСТ у них — это «расширенное настоящее» [Падучева 1996: 150] нуждается в уточнении.

Прототипические интерпретативы не сочетаются с начинательным *приняться*. Можно сказать *Он стал злоупотреблять моим доверием* (мешать мне, нарушать дисциплину, обманывать родителей, ошибаться, поддерживать директора, поощрять молодых, потакать ему, пренебрегать своими обязанностями, унижаться), но не *Он принялся злоупотреблять моим доверием* (мешать мне, нарушать дисциплину, обманывать родителей, ошибаться, поддерживать директора, поощрять молодых, потакать ему, пренебрегать своими обязанностями, унижаться). Между тем прототипические поведения относительно свободно сочетаются с обоими этими начинательными глаголами; ср. *Он стал* (принялся) *баловаться* (безобразничать, буянить, дурачиться, кривляться, ломаться, озорничать, паясничать, проказничать, ребячиться, скандалить, чудить, шалить). Объясняется это тем, что *приняться* + ИНФ обозначает начало актуального, разворачивающегося на наших глазах действия и поэтому семантически хорошо согласуется с поведением, но не с интерпретативами.

Аналогичным образом объясняются сочетаемостные предпочтения и в случае финитивных глаголов. Оба рассматриваемых класса предикатов относительно свободно сочетаются с финитивным глаголом *перестать*. Ср. *Когда вы перестанете злоупотреблять моим доверием* (потакать ему, пренебрегать своими обязанностями)?, *Он перестал мешать мне* (нарушать дисциплину, обманывать родителей, поддерживать директора, поощрять молодых); *Перестань баловаться* (безобразничать, буянить, геройствовать, дурачиться, кривляться, ломаться, озорничать, паясничать, проказничать, ребячиться, скандалить, фиглярствовать, хулиганить, чудить, шалить). Кроме того, некоторые поведения сочетаются с финитивным глаголом *бросить*, обычно в форме ПОВЕЛ. Этот глагол обозначает прекращение актуального, происходящего на наших глазах действия и поэтому, подобно глаголу *приняться*, семантически хорошо согласуется с поведением, но не с интерпретативами. Ср. *Брось геройствовать* (дурачиться, ломаться, паясничать, ребячиться, скандалить, фиглярствовать, чудить) при невозможности **Брось злоупотреблять моим доверием* (потакать ему, пренебрегать своими обязанностями), **Он бросил мешать мне* (нарушать дисциплину, обманывать родителей, поддерживать директора, поощрять молодых).

3.4. Интерпретативы и другие классы предикатов

Из определения интерпретационного значения следует, что оно хорошо развивается у тех глаголов, референты которых можно представить как состоящие из двух частей — какого-то конкретного действия или состояния, которое можно понять как знак или сигнал какого-то другого действия или состояния. По этому признаку с интерпретативами сближаются еще несколько классов глаголов. Я упомяну два таких класса — моментальные глаголы типа *прыгать*, которые, в отличие от моментальных глаголов типа *вспыхи-*

вать, описывают действия с подготовительными фазами, и глаголы со значением эмоциональных состояний, имеющих видимые внешние проявления.

Моментальные глаголы типа *прыгать* (ср. также *стрелять*, *ударять* и т. п.) сближаются с интерпретационными в употреблении, которое в [Апресян 1988: 68] было названо псевдопроцессуальным. Последнее имеет место в ситуации «опережения событий», когда реально выполняемое действие обозначается не своим собственным именем, а именем другого, еще только предстоящего действия. Ср. высказывания типа *Смотри, Бубка прыгает* в ситуации, когда знаменитый прыгун только вошел в сектор для прыжков или только начал разбегаться (подготовительные фазы), но самого прыжка еще не совершил. В данном случае вход в сектор для прыжков и / или разбег является для говорящего сигналом того, что за ним неизбежно последует и сам прыжок. Именно это дает ему основание назвать прыжком вход в сектор для прыжков или разбег. Как видим, в таких случаях объективное описание действительности заменяется ее интерпретацией говорящим.

Теперь посмотрим на глаголы эмоциональных состояний, имеющих видимые внешние проявления, такие как *беспокоиться*, *восхищаться*, *злиться*, *ликовать*, *смущаться удивляться* и т. п. Механизм их сближения с интерпретативами тот же самый, что и у моментальных глаголов. Очень часто, когда мы говорим, что человек *X беспокоится* (*боится*, *злится*, *ликует*, *смущается удивляется*), мы судим о его внутреннем состоянии R по некоторым конкретным и внешне наблюдаемым действиям или процессам P, в которых эти состояния обычно проявляются. Например, если человек *боится*, он бледнеет и съеживается, стараясь сделаться как можно менее заметным; если он *смущается*, на его щеках может появиться краска, а на лбу — испарина. *Ликование* проявляется в повышенной моторной активности, а *удивление* — в том, что он широко открывает глаза. Именно такие внешние проявления говорящий интерпретирует как сигналы определенных внутренних состояний человека.

4. Свойства интерпретационных глаголов

У интерпретативов есть немало интересных свойств, непосредственно мотивированных спецификой их значения.

В цитированной работе М. Я. Гловинской было, например, отмечено, что существует корреляция между интерпретационностью и интенциональной семантикой [Гловинская 1989: 114]. Наш материал полностью подтверждает это наблюдение. Корреляция между интерпретационностью и интенциональностью рельефнее всего обнаруживается у многозначных глаголов, интерпретационное значение которых является результатом метафорического переноса вида «наблюдаемое физическое действие» → «ненаблюдаемый акт». Достаточно взглянуть на такие глаголы, как *воскрешать*, *выгора-*

жизнать [≈ ‘защитить’], *заваливать*, *промахнуться*, *топить*, *убивать* и т. п. В своих основных значениях (*воскресить павших в битве*, *выгородить сад*, *завалить вход в пещеру камнями*, *промахнуться при стрельбе*, *убить волка* и т. п.) они обозначают какое-то физическое действие и не являются интерпретационными. В переносных значениях они обозначают ненаблюдаемые акты и приобретают все свойства интерпретативов. Ср. *Напрасно вы его выгораживаете*; *Экзаменатор откровенно заваливал (топил) его, задавая все новые и новые вопросы*; *С выбором маршрута мы промахнулись*; *Вы воскрешаете меня этим известием*.

Интересны коммуникативно-просодические свойства интерпретативов, которыми они отличаются от семантически близких к ним путативных глаголов. В частности, интерпретативы могут нести главное фразовое ударение и выполнять функцию ремы высказывания. Ср. *Он \downarrow преувеличивает* (\downarrow *ошибается*), *говоря, что пьеса провалилась*; *Он \downarrow просчитался*, *поехав на автобусе при невозможности* (в нейтральном контексте) **Он \downarrow считает, что пьеса провалилась*.

Этот перечень можно было бы продолжать, но ниже мы коротко остановимся только на двух группах свойств интерпретативов – аспектуальных и синтаксических. На этом материале нагляднее всего проявляются мотивированные связи между семантикой и несобственно семантическими свойствами лексем.

4.1. Аспектуальные свойства

Первая особенность прототипических интерпретационных глаголов была уже отмечена. Это — внутренне присущая им перфективность, из-за которой у них отсутствует актуально-длительное, а иногда и другие процессные значения формы НЕСОВ НАСТ. Вследствие этого формы НЕСОВ и СОВ многих интерпретационных глаголов семантически сближаются друг с другом¹². Ср. *Вы клеветаете на него* ≈ *Вы оклеветали его*, *Вы лжете* ≈ *Вы солгали*, *Вы преувеличиваете мои заслуги* ≈ *Вы преувеличили мои заслуги*. Ср. также следующий пример: *Антонина Александровна ошибалась, говоря, что Николай Николаевич на даче. Он вернулся в день приезда племянника и был в городе* (Б. Пастернак). В нем по смыслу допустима и форма СОВ ПРОШ (*Антонина Александровна ошиблась, говоря...*).

¹² В этом отношении интерпретационные глаголы похожи на глаголы некоторых физических, ментальных и речевых актов в следующих трех значениях формы НЕ-СОВ НАСТ: а) в значении «настоящего эмоциональной актуализации» [Бондарко 1971: 150 и сл.], ср. *Родного отца не замечает!* (≈ ‘не заметил’); б) в «экспозиционном значении» [Galton 1976: 17], ср. *Пушкин изображает мелкопоместное дворянство* (≈ ‘изобразил’); в) в значении «непосредственно предшествующего действия» [Гловинская 1989: 112], ср. *Нас приглашают к столу* (≈ ‘пригласили’). Подробнее об этом сходстве см. цитированную работу М. Я. Гловинской.

Очевидно, что между перечисленными формами НЕСОВ и СОВ сохраняются и определенные семантические различия. Формы НАСТ НЕСОВ подчеркивают либо «актуальность обобщения в момент речи» [Гловинская 1989: 114], либо актуальность в момент речи того конкретного действия, которое является предметом интерпретации. Первое имеет место при употреблении формы НЕСОВ НАСТ в узуальном или многократном значении (ср. *Он постоянно нас подводит*), а второе — при ее референции к моменту речи (*Вы опять нас подводите*). Однако присущая интерпретационному значению перфективность делает свое дело, и по крайней мере неточная синонимия форм здесь возникает.

По указанной причине от прототипических интерпретационных глаголов не образуются производные, в значение которых входит представление о длительности действия. Иными словами, у них нет делимитатива (производных на *по-* типа *поработать, погулять*), пердуратива (производных на *про-* типа *проработать, прогулять (два часа)*), завершительного «способа действия» (производных на *от-* типа *отгулять (свой отпуск), отсидеть (свой срок)*) и терминативного «способа действия» (производных на *до-* типа *догулять (свой отпуск), досидеть (свой срок)*).

Соответственно интерпретативы не сочетаются с наречиями длительности типа *долго, недолго*.

Перфективность лексического значения интерпретационных глаголов объясняет и тот факт, что в форме НЕСОВ многие из них предрасположены к употреблению в общефактическом результативном и многократном значениях. Ср. *Я тогда ошибался, Он нас ни разу не подводил*. Соответственно они свободно сочетаются с наречиями кратности типа *часто, редко, иногда, всегда*; ср. *Он часто (всегда) нас подводит*.

Отметим еще, что в форме НЕСОВ НАСТ они неспособны употребляться в профетическом и потенциальном значениях НЕСОВ. Объясняется это, по-видимому, тем, что такое употребление невозможно для вершинного компонента ассерции, а именно, глагола *считать* (ср. начало ассертивной части толкования — ‘говорящий считает, что, сделав Р, X нарушил норму...’).

Из аспектуальных значений формы СОВ они обычно выбирают ее основное значение, т. е. результативное конкретно-фактическое. Некоторые частно-видовые значения формы СОВ, например, потенциальное и наглядно-примерное, для них нехарактерны.

4.2. Синтаксические свойства

Наиболее ярким синтаксическим свойством интерпретационных глаголов являются необычные, а иногда и уникальные способы выражения валентности Р. Таковы: а) форма ДЕЕПР глагола со значением конкретного действия или состояния, ср. *Он обманывается, думая, что жена его любит; Он просчитался, поехав на автобусе; Вы преувеличиваете, говоря, что пьеса провалилась*; б) придаточные предложения, вводимые союзами *если*

или *когда*, ср. *Вы ошибаетесь, если рассчитываете на его поддержку*; *Вы преувеличиваете, когда говорите, что пьеса провалилась*; в) сочинительные цепочки, образующие разъяснительную конструкцию, подчиненную данному интерпретативу; ср. *Девушка мешала ему вести машину — без умолку тараторила, вертелась, хватала за руку*; г) псевдосочинительные цепочки вида *P* и тем самым *R*, ср. *Он опоздал и тем самым всех подвел*; д) псевдосочинительные цепочки вида *R* и стал *P*, ср. *Он совсем распоясался и стал приставать к женщинам*; е) разговорные конструкции с анафорическими сентенциальными местоимениями типа *это*, *тут*, отсылающими к конкретному действию *P*, ср. *Это ты погорячился*, *Тут ты оплошал*.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в контексте интерпретатива ни форма ДЕЕПР, ни *если-* и *когда-*предложения не выражают обычно присущих им значений одновременности, условия, времени и т. п. Например, в предложении типа *Вы ошибаетесь, если рассчитываете на его поддержку* ожидание поддержки, конечно, не рассматривается как условие ошибки. Когда такие элементы реализуют валентности предикатного слова, происходит, как всегда при управлении, их частичная десемантизация. Именно этим объясняется тот факт, все три конструкции оказываются трансформируемыми друг в друга. Ср. *Вы ошибаетесь, если рассчитываете на его поддержку* \approx *Вы ошибаетесь, рассчитывая на его поддержку*, *Вы преувеличиваете, когда говорите, что пьеса провалилась* \approx *Вы преувеличиваете, говоря, что пьеса провалилась*.

Интересным синтаксическим свойством интерпретативов является неспособность употребляться во вводной конструкции; ср. неправильность **Пьеса провалилась, ошибался (заблуждался) он, исключительно из-за плохой режиссуры*. Этим, кстати, они отличаются от семантически близкого к ним класса путативных глаголов, для которых вводная функция весьма характерна. Ср. *Пьеса провалилась, считал (думал) он, исключительно из-за плохой режиссуры*.

5. Переходные случаи

Все сказанное выше относится к прототипическим интерпретативам. Следует, однако, иметь в виду, что семантическое пространство языка непрерывно (хотя в нем есть и лакуны) и что поэтому реальный языковой материал структурирован менее четко или, может быть, более сложно, чем это предполагается данным выше описанием. На самом деле во многих случаях приходится говорить не об интерпретационных и неинтерпретационных глаголах, а о доле интерпретационности в значении конкретного глагола.

Так обстоит дело, например, в парах близких по смыслу или синонимичных лексем *выручать* — *помогать*, *выгораживать* — *защищать*, *карать* — *наказывать*. В силу своей большей интенциональности *выручать*, *выгораживать* и *карать* — более интерпретационные глаголы, чем *помогать*, *за-*

щищать и *наказывать*. *Помогать*, *защищать* и *наказывать* легко ассоциируются с какими-то конкретными наблюдаемыми физическими действиями и поэтому свободно употребляются в актуально-длительном значении. Ср. *Посмотри, дети помогают матери накрывать на стол* (защищают хромого вороненка от собаки). *Наказывать* приобретает такую способность в ситуации телесных наказаний, как в следующем примере из А. Битова: *А учитель все бил и бил, приговаривая: «Не смей этого делать! Это грех! Ты будешь наказан!»*. Будто он не наказывал, а всего лишь бил. Ни *выручать*, ни *качать* не допускают употребления в актуально-длительном значении, а для *выгораживать* оно явным образом затруднено¹³.

Различия в степени интерпретационности могут объясняться не только различиями в степени физической наблюдаемости действия, как в рассмотренных выше примерах, но и различиями в степени внутренней перфективности глагола. В паре *ошибаться* — *зablуждаться* более перфективен первый глагол. Он обозначает нечто среднее между ментальным состоянием и ментальным актом. Поэтому у него есть форма СОВ и для него возможны результативные употребления в форме НЕСОВ; ср. *Он снова делает прогноз и снова ошибается*. Глагол *зablуждаться*, обозначающий чистое состояние, без всякого намека на ментальный акт, лишен формы СОВ и невозможен в результативных контекстах типа **Он снова зablуждается*. Поэтому для *ошибаться* актуально-длительное осмысление в форме НЕСОВ НАСТ совершенно исключено, а для *зablуждаться* допустимо; ср. *Вы по-прежнему* (все еще) *зablуждаетесь* = ‘по-прежнему (все еще) пребываете в состоянии зablуждения’.

При прочих равных условиях глагол, допускающий интерпретацию одного конкретного действия (ср. *ошибаться*, *совершить преступление*), обладает большей степенью интерпретационности по сравнению с глаголом, с помощью которого можно интерпретировать лишь какую-то сумму или последовательность действий. В этом отношении интересен глагол *баловать*.

X балует Y-a = ‘Человек X постоянно делает различные P, удовлетворяющие желания Y-a, разрешает Y-y делать то, что тот хочет, даже если он не должен этого делать, и не делать того, что Y не хочет, даже если он должен это делать; говорящий считает, что P относятся к классу действий, от которых Y может стать хуже’.

Как видим, одно критическое свойство — квалификация конкретного действия как относящегося к определенному типу действий — у глагола *баловать* есть. Существенно, однако, что квалифицируется не единичное конкретное действие, а сумма действий, что делает *баловать* менее интерпретационным, чем, например, близкий к нему глагол *портить* (ребенка).

¹³ О корреляции между наблюдаемостью действия и возможностью употребления соответствующего глагола в актуально-длительном значении см. [Золотова 1973: 346].

Видимо, этим объясняется отсутствие у *баловать* такого существенного для интерпретационных глаголов свойства, как способность реализовать валентность Р формой ДЕЕПР, а также то, что предикат Р образует у него не presupпозицию, а ассерцию.

Из сказанного следует, что степень интерпретационности может измеряться объективно — количеством свойств прототипического интерпретатива, которое обнаруживается у данного глагола. Иными словами, здесь, как и в других областях лингвистики, ценность представляет не столько классификация языковых единиц сама по себе, сколько набор признаков, по которым каждая единица попадает в различные пересекающиеся классы.

Литература

- Апресян 1988 — Ю. Д. Апресян. Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Русистика сегодня. Язык: система и ее функционирование. М., 1988. С. 57—78.
- Апресян 1997 — Ю. Д. Апресян. Лингвистическая терминология словаря // Ю. Д. Апресян, И. О. Богуславская и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. М., 1997. С. XVI—XXXIV.
- Апресян 1999 — Ю. Д. Апресян. Интерпретационные глаголы — группа *ошибаться* // W zwierciadle języka i kultury. Pod redakcją Jana Adamowskiego, Stanisławy Niebrzegowskiej. Lublin, 1999. S. 309—332.
- Апресян 2003 — Ю. Д. Апресян. Фундаментальная классификация предикатов и системная лексикография // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодействия: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2003. С. 7—21.
- Арутюнова 1988 — Н. Д. Арутюнова. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М., 1988.
- Богуславский 1985 — И. М. Богуславский. Исследования по синтаксической семантике. М., 1985.
- Бондарко 1971 — А. В. Бондарко. Вид и время русского глагола. Л., 1971.
- Булыгина 1982 — Т. В. Булыгина. К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 7—85.
- Вопросы 1962 — Вопросы глагольного вида. Сборник / Сост. сб., ред., вступ. ст. и примеч. проф. Ю. С. Маслова. М., 1962.
- Гловинская 1982 — М. Я. Гловинская. Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.
- Гловинская 1986 — М. Я. Гловинская. Теоретические проблемы видо-временной семантики русского глагола: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1986.
- Гловинская 1989 — М. Я. Гловинская. Семантика, прагматика и стилистика видо-временных форм // Грамматические исследования: Функционально-стилистический аспект. М., 1989. С. 74—146.
- Гловинская 2001 — М. Я. Гловинская. Многозначность и синонимия в видо-временной системе русского глагола. М., 2001.

- Зализняк 1991 — А. А. Зализняк. *Считать и думать: два вида мнения* // Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991. С. 187—194.
- Золотова 1973 — Г. А. Золотова. *Очерк функционального синтаксиса русского языка*. М., 1973.
- Князев 1989 — Ю. П. Князев. *Акциональность и статальность: их соотношение в русских конструкциях с причастиями на -н, -т*. München, 1989.
- Кошмидер 1962 — Э. Кошмидер. *Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза* // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 105—167.
- Крылова 2000а — Т. В. Крылова. *Словарные статьи капризничать, упрямитесь* // Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, Т. В. Крылова и др. *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*. Вып. 2 / Под общ. рук. академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 165—167, 374—378.
- Крылова 2000б — Т. В. Крылова. *Статусные правила в наивной этике* // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. к семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна / Под ред. Л. Л. Иомдина и Л. П. Крысина. М., 2000. С. 122—127.
- Маслов 1948 — Ю. С. Маслов. *Вид и лексическое значение глагола в русском языке* // Изв. АН СССР, СЛЯ, 1948. № 4. С. 303—316.
- Падучева 1985 — Е. В. Падучева. *Семантические типы предикатов и значение всегда* // Семиотика и информатика, 1985. Вып. 24. С. 96—116.
- Падучева 1996 — Е. В. Падучева. *Семантические исследования. Семантика вида и времени в русском языке. Семантика нарратива*. М., 1996.
- Санников 2003 — А. В. Санников. *Словарная статья достоинство* // Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян, О. Ю. Богуславская и др. *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*. Вып. 3 / Под общ. рук. академика Ю. Д. Апресяна. М., 2003. С. 95—100.
- Селиверстова 1982 — О. Н. Селиверстова. *Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикативных типов русского языка* // Семантические типы предикатов. М., 1982. С. 86—157.
- Comrie 1976 — B. Comrie. *Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems*. Cambridge, 1976.
- Galton 1976 — H. Galton. *The Main Functions of the Slavic Verbal Aspect*. Skopje, 1976.
- Guiraud-Weber 1988 — M. Guiraud-Weber. *L'aspect du verbe russe*. Aix-en-Provence, 1988.
- Lakoff 1970 — G. Lakoff. *Irregularity in syntax*. N. Y.; Chicago, etc. 1970.
- Lyons 1977 — J. Lyons. *Semantics*. Vol. 2. Cambridge; London etc., 1977.
- Mehlig 1981 — H. R. Mehlig. *Satzsemantik und Aspektsemantik im Russischen (Zur Verbklassifikation von Zeno Vendler)* // Slavistische Beiträge, Bd. 147, 1981. S. 95—151.
- Miller 1970 — J. Miller. *Stative Verbs in Russian* // Foundations of Language, 1970. No. 4. P. 488—504.
- Vendler 1967 — Z. Vendler. *Verbs and times* / Z. Vendler. *Linguistics in Philosophy*. Ithaca, 1967. P. 97—121.

Н. А. КУПИНА, И. В. ШАЛИНА*

СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТОРЕЧИЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

1. О двух взглядах на просторечие

Исследователи русского просторечия обращают внимание на многозначность самого термина [Крысин 2003а: 53], на различные трактовки феномена просторечия, обусловленные в значительной степени наличием двух взглядов на объект: взгляда извне и взгляда изнутри.

Взгляд извне связан с выделением в содержании термина «просторечие» следующих основных значений: «а) общенародные (не диалектные) средства языка, оставшиеся за пределами литературного языка; б) сниженные, грубоватые элементы в составе самого литературного языка» [Капаназде 1984а: 5]. Базовые оппозиции литературное — нелитературное; нелитературное городское — нелитературное диалектное позволяют выделить и описать просторечные элементы как некодифицированные языковые варианты, осуществить поуровневый анализ отдельных единиц и устной некодифицированной речи горожан в целом. При этом опыты описания просторечной фонетики [Розанова 1984: 37—65], просторечной морфологии [Земская, Китайгородская 1984: 66—102], просторечной лексики [Капаназде 1984б: 125—129; Черняк 1994], просторечного синтаксиса [Морозова 1984: 141—167], а также комплексное поуровневое описание [Крысин 2003а: 57—64] убеждают в том, что просторечие «не представляет собой особой языковой системы» [Китайгородская 1988: 156; ср. также: Герд 2000: 48—49 и др.]. Необходимо отметить, что взгляд извне позволяет дифференцировать диалектную, литературно-разговорную и просторечную коммуникацию [Баранникова 1977], выявить «яркие диагностические пятна» [Николаева 1991: 73] в речевых партиях коммуникантов и на этой основе развить идею создания речевых портретов [Крысин 2001; Черняк 1994], а также выявить некоторые территориальные особенности просторечия [Ерофеева 1991 и др.].

Взгляд изнутри предполагает использование метода включенного наблюдения и дает возможность описать просторечие как особый тип куль-

* Статья написана в рамках проекта «Язык русской провинции: теоретические подходы», получившего финансовую поддержку Министерства образования РФ. Грант на фундаментальные исследования в области гуманитарных наук № 207.

туры (ср.: [Сиротинина 2000]). Существенными при таком подходе становятся традиции общения и содержательная сторона последнего, ролевые позиции коммуникантов, их права и обязанности [Матвеева 2000: 49], способы ведения диалога, репертуар речевых жанров (ср.: [Китайгородская, Розанова 1999]) и стереотипов, коммуникативные конвенции, установки в отношении языка / речи, культурно-ценностные предпочтения и др.

Взгляд изнутри направлен на выявление функций просторечия, обслуживание функций повседневную коммуникацию в рамках «своего круга» [Хорошая речь 2001: 242] и выступающего как общий для членов социального объединения, имеющих сходную апперцепционную базу, код, реализованный в определенной среде и конкретных ситуациях общения¹.

В статье реализован второй подход к городскому просторечию.

2. Источники материала и характеристика информантов

С. И. Ожегов отмечал, что «основной массой говорящих на просторечии современного города является промышленный пролетариат» [Ожегов 2001: 419]. Между тем язык рабочих до настоящего времени еще не изучен. Материал данного исследования составили тексты-разговоры рабочих [Купина 1990: 43—44], собранные методом скрытой аудиозаписи в течение 1996—2000 гг. Записи сделаны М. О. Махнутиным. Максим Олегович Махнутин (**М.**) родился и вырос в г. Первоуральске в семье мастера травильного отделения новотрубного завода. После окончания средней школы работал учеником шлифовщика на Первоуральском новотрубном заводе, получил профессию оператора-наладчика станков с числовым программным управлением, а с 1994 по 2000 гг. учился без отрыва от производства на заочном отделении филологического факультета Уральского государственного университета. Преданный заводскому коллективу, **М.** изъявил желание зафиксировать языковое существование родной рабочей бригады. Так он попал на кафедру риторики и стилистики русского языка. Дипломную работу² написал под руководством Н. А. Купиной. Аудиозаписи речи рабочих осуществлялись методом включенного наблюдения. Таким образом, сам **М.** выступал в роли одного из информантов. Будучи человеком коммуникативно одаренным, **М.** свободно переходит с литературного кода на просторечный, чувствует себя своим и в филологической среде, и в среде заводчан. В настоящее время он работает в администрации Екатеринбурга.

Расшифровка записей проведена М. О. Махнутиным и И. В. Шалиной по методике, принятой на кафедре риторики и стилистики русского языка [Живая речь... 1995]. Все тексты **М.** передал в фонд кафедры.

¹ Данные параметры выделены в докладе: [Крысин 2003б].

² См.: [Махнутин 2000].

Охарактеризуем место записи: в подсобном помещении одного из цехов Первоуральского новотрубного завода³, приспособленном для отдыха рабочих между сменами, был установлен магнитофон. В подсобке тепло и уютно. Рабочие часто собираются за столом, пьют чай, разговаривают. Молодые рабочие играют в компьютерные игры. Иногда приходят работники и работницы из других цехов, заглядывает начальник цеха (**К-в**), которого явно недолюбливают. Пространство общения характеризуется относительной замкнутостью, а время общения можно обозначить как нерабочее (до / после смены). Другими словами, анализируемые тексты отражают непринужденное общение заводчан в свободное от работы время.

Все информанты — жители Первоуральска Свердловской области. Город был основан в 1732 г. в связи с постройкой металлургического завода, который в 1920 г. был переоборудован в трубопрокатный, а затем в новотрубный. В настоящее время Первоуральский новотрубный завод является градообразующим предприятием. Первоуральск с полным основанием можно назвать рабочим городом.

Информанты — представители современных рабочих профессий. Это высококвалифицированные рабочие, люди молодые и люди среднего (старшего) возраста. Они получили среднее и среднее специальное образование, а некоторые продолжают учиться в вузах заочно.

Приведем первичные сведения об основных участниках общения, необходимые для понимания диалогов и полилогов:

Д., Н., Е. — молодые рабочие, 25, 29, 30 лет соответственно; имеют среднее и среднее специальное образование;

М., Ю., А. — молодые рабочие, 25, 28 и 25 лет соответственно; имеют среднее и среднее специальное образование; являются студентами-заочниками вузов Екатеринбурга;

В. В., О. М., В. Ф. — рабочие среднего возраста, 45, 47, 45 лет соответственно; имеют среднее специальное образование;

В. И. — мастер, 60 лет; имеет среднее специальное образование.

Ж. Н., Т. В. — женщины-работницы, 45 и 50 лет; имеют среднее специальное образование;

К-в — начальник цеха, 45 лет, имеет высшее образование.

Отдельно следует поставить вопрос о зависимости между образованием, образованностью и владением литературным языком. Актуальной остается сформулированная Е. А. Земской проблема: «Какова нижняя граница образованности носителей литературного языка?» [Земская 1973: 8]. По нашим данным, полиглотизм горожанина [Ларин 1928; Щерба 1974] делает возможным переключение с кода на код [Беликов, Крысин 2001: 28], а в живой диалогической среде «коэффициент просторечности» индивидуально

³ В нашем распоряжении имеются также тексты, записанные в цехе, однако в данной статье этот материал не используется.

варьируется» [Китайгородская 1988: 162] и не всегда является прямым следствием образованности.

Информанты, речь которых мы исследуем, владеют литературным языком активно или пассивно. Так, **М., Ю., А.** должны переключаться на литературный код по крайней мере в ситуациях университетских занятий, экзаменов, при выполнении обязательных для заочников письменных работ. Жизнь **В. В.**, напротив, ограничена семьей и работой. Он читает газеты, журналы, иногда книги, смотрит телевизор, однако ситуации устной коммуникации не задают переключение на литературный код. Владение литературным языком в данном случае можно назвать пассивным. Таким образом, само наличие аттестата (диплома) об образовании, как нам кажется, не свидетельствует о том, что человек активно владеет литературным языком. Определяющим фактором здесь является речевое окружение, среда коммуникации.

Л. П. Крысин выделяет «два круга носителей современного просторечия: горожане старшего возраста, не имеющие образования (или имеющие начальное образование), речь которых обнаруживает явные связи с диалектом и полудиалектом <...> (п р о с т о р е ч и е - 1), и горожане среднего и молодого возраста, имеющие незаконченное среднее образование, не владеющие нормами литературного языка; их речь лишена диалектной окраски и в значительной степени жаргонизирована (п р о с т о р е ч и е - 2)» — [Крысин 2003 а: 56]. В целом материал, который мы исследуем, укладывается в рамки п р о с т о р е ч и я - 2, но с некоторыми уточнениями: а) законченность / незаконченность среднего образования — критерий нежесткий; коммуникант может владеть литературной нормой, но, включаясь в просторечную коммуникацию, он стремится к реализации просторечных вариантов, к использованию просторечной манеры ведения диалога для поддержания контакта в конкретной ситуации общения; б) коэффициент жаргонности в диалоге индивидуально варьируется.

Представляется, что изучение определенного среза речевого быта провинциального уральского города изнутри даст возможность конкретизировать сведения о современном просторечии. Мы рассмотрим установки носителей просторечия в отношении языка, опишем кодекс речевого поведения, принятый в исследуемом речевом коллективе, выявим тематику текстов-разговоров в ее соотношении со стереотипами просторечной культуры.

3. Установки в отношении языка / речи

3.1. Общее отношение к языку. Представление о правильном и целесообразном выборе языковых средств

Хотя о языке вообще в кругу новотрубников говорить не принято, диалогический материал позволяет утверждать, что язык воспринимается носителями просторечия как духовная ценность. Ценностное отношение к язы-

ку сформировано в семье, выведено на уровень идеологического осознания школой.

Разумеется, человек не думает о языке постоянно, но в конкретной ситуации может достаточно точно обозначить свое отношение к языку. Об этом свидетельствуют метаязыковые высказывания-рефлексивы [Вепрева 2002: 78—79].

Рассмотрим диалог **М.** и **В. В.**, в котором развивается тема отношения к русскому языку. Иницируя эту нетипичную для общения в рабочем коллективе тему, **М.** опирается на общую апперцепционную базу: школа учила гордиться родным языком (*...чѐ ты думаешь о русском языке?; Ты горд этим?*). Преодолев замешательство, **В. В.** пытается ответить на вопрос с помощью прецедентного текста-идеологемы, радуется, что удалось найти «нужную» формулировку, уточнить давно забытые слова В. Маяковского. Ирония собеседника не мешает **В. В.** высказать личное отношение к русскому языку (*А я люблю...*) как органической части существования (*Ну говорю я по-русски/ понимаешь//*):

М. Ну расскажи/ чѐ ты думаешь о русском языке?

В. В. Ну чѐ?

М. Ну чѐ?

В. В. Ну чѐ?

М. Ну тебе нече рассказать то есть да?

В. В. Ну говорю я по-русски/ понимаешь//

М. Ты горд этим?

В. В. Чѐ-ѐ-ѐ?

М. Чѐ ты считаешь/ говорить по-русски?

В. В. Нас с детства приучили//

М. К чему?

В. В. Я русский люблю только за то//

М. (поправляет) Я русский бы вѐучил только за то//

В. В. А я люблю//

М. А/ ты любишь? Чѐ на нем говорил великий Ленин?

В. В. (обрадовано) Да-да-да/ Ну вот примерно то же самое//

М. О-о-о! То есть здесь/ подоплека-то идейная/ да?

В. В. (убежденно) Да-да-да!

М. Как интересно/ то есть ты в принципе-то коммунист в душе-то/ да?

Гена Зюганов там/ все дела//

Все коммуниканты, как уже отмечалось, активно или пассивно владеют литературным языком, однако в «своем кругу» контроль за литературной правильностью речи отсутствует. Рабочие среднего возраста не переключаются на литературный код, но оппозицию литературная речь — не-литературная речь⁴ ощущают, причем речь литературная связывается

⁴ Для языкового сознания носителей просторечия - 2 актуальна также оппозиция просторечие — диалект (городская речь — деревенская речь). Об

ими с кругом «людей культурных». В этой связи интерес представляют время от времени возникающие диалоги-споры о правильностях.

Молодые рабочие не исправляют ошибки старших. Это не принято. Иницируют разговор о правильностях (метаязыковые высказывания, содержащие оценки *правильно / неправильно*) старшие. Вместе с тем очевидно консервативное отношение последних к употребленным, укоренившимся в просторечной среде. Именно эти употребления осознаются как узальные и поэтому позволительные / желательные в речи. Обратимся к конкретному диалогическому тексту.

В. В., как видно из текста, принимает информацию о правильном ударении к сведению, ему интересно узнать ответ на поставленный вопрос, но своими коммуникативными привычками, привязанностью к «своему узусу» он не желает поступиться. Стереотип *как хочу, так и говорю* догматически утверждает право на произвольный выбор варианта, а замечание *не тебе меня учить* подчеркивает незыблемость установленной коммуникативной иерархии.

М. понимает, что не должен поучать старшего, то есть прекрасно осознает иерархичность ролевой структуры коммуникации. Именно поэтому он пытается превратить свои наставления в шутку, уйти от роли ментора (*Я тебя не учу// Ты меня спросил/ как правильно/ по́нял или поня́л/ я тебе все сказал//*). Он балагурит, прибегает к одобряемой в данном речевом коллективе языковой игре, напоминает о том, что лишь отвечает на поставленный вопрос, ищет нужную тональность коммуникативного взаимодействия. Испытав все доступные ему средства убеждения, **М.** уступает старшему, признает его право свободно распоряжаться средствами языка (*Ну у тебя по́нял/ ради бога/ ради бога//*):

В. В. Дак по́нял или поня́л? Как правильно?

М. Я тебе уже объяснил//

В. В. Нет/ объясни пожалуйста/ чем по́нял отличается от поня́л?

М. Потому что поня́л в русском языке нету//

В. В. Ну//

М. Вот если б ты сказал/ вылавировали/ то ты б по́нял почему тут...

В. В. (перебив.) Или поня́л?

М. Ты че́ такой сложный? Ударение в русском языке несет на себе смысловую нагрузку//

В. В. Че́ - че́ - че́ - че́ - че́?

М. Ну вот видишь//

В. В. (посмеиваясь) Ударение/ в русском языке//

этом свидетельствует, в частности, игровая стилизация речи сельских жителей с пародийным выделением сильного оканья, диалектизмов как «не своих» элементов и всяческой интонации, характеризующейся отсутствием понижения тона в конце повествовательного высказывания [Крыжановская, Матвеева 1989: 53—63]:

О. М. У меня прабабке 115 лет// «Му́жиков-то у меня ми́лок/ зна́шь/ ско́ко было»//

М. Короче/ ударять надо правильно/ пóнял?

В. В. Да?

М. Или поня́л?

В. В. (убежденно) Поня́л//

М. Нет в русском языке такого слова//

В. В. Кто тебе сказал/ что нету? Ну кто?

М. Нет// Вот возьми словарь и посмотри// Нету! Словарь Ёжикова/ в народе Ожегова/ там нет такого// Там ваще есть слово поня́ть/ а если б ты учился в школе хорошо/ ты бы знал/ что поня́л/ такого слова быть не может//

В. В. А пóнял?

М. Пóнял есть//

В. В. Дак пóнял или поня́л?

М. Пóнял//

В. В. Почему? Почему?!

М. Вот ты скажи/ вылавировали// (уходит от ответа)

В. В. [Нец.]⁵ (смеется)

М. Лавировали-лавировали/ но не вылавировали/ вот тогда ты поймешь/ зачем нужно ваще ударение/ потому что если ты тУ т ударение не правильно поставишь/ ты не скажешь в жизни никогда//

В. В. Да?

М. Да/ если ты даже с приподвыподвертом сказать не можешь//

В. В. Поня́л//

М. Чё поня́л? Ну у тебя поня́л/ ради бога/ ради бога//

В. В. Вот и все//

М. Ради бога//

В. В. [Нец. выраж.] Как хочу/ так и говорю (смеется)/и не тебе меня учить/ поня́л/ [нец.] ?

М. Я тебя не учу// Ты меня спросил/ как правильно/ пóнял или поня́л/ я тебе сказал//

Молодые люди, чтобы «не выделяться» и поддержать компанию, нередко намеренно употребляют акцентные варианты, соответствующие просторечной традиции, узусу. Это может служить предметом шуток, хотя в процессе общения со старшими рабочими воспринимается нейтрально. Подтекст подобных лингвистических шуток понятен только тем, кто свободно переходит с литературного кода на просторечный, однако сам факт дифференциации вариантов признается всеми коммуникантами. Например, понимая, что **В. В.**, интуитивно отстаивая «самость» рабочего языка, нечетко отличает правильное литературное от неправильного просторечного, **М.** и **Е.** дают возможность **В. В.** включиться в метаязыковую игру в качестве сочувствующего наблюдателя. Сам **В. В.** и его лингвистические оценки объектом иронии не становятся:

⁵ Здесь и в других аналогичных случаях нецензурные слова и выражения по этическим соображениям нами не воспроизводятся. Используются соответственно пометы [нец.], [нец. выраж.].

М. Вот он/ (о Е.) говорит «поло́жил» [нец. выраж.]//
В. В. Правильно/ пускай говорит//
Е. «Зво́нят» / да поло́жил//
М. Вот культурный человек/ вот с кого нам надо брать пример//
В. В. (неуверенно) Да?
М. Евгений Сергееч знает/ Евгений Сергееч по́жил/ он уже на все поло́жил//
 (все смеются)⁶.

Ориентация на «свой» узус ощущается в ситуации оценки окказионализма, сам факт существования которого воспринимается как нарушение узуса. Подобное наблюдаем, например, при обсуждении употребления окказионализма *взбзднуть* вместо распространенного в речи горожан-уральцев глагола *бздавать* / *бздануть*⁷. **М.** объясняет такую замену точностью звукоподражательного образа, ссылаясь на вкусовую лингвистическую поддержку мастера Владимира Ивановича, мнение которого все ценят (*это наше с Иванычем слово*); **В. В.**, однако, отстаивает целесообразность употребления узуального *бздануть*. Определяющим для окончательного выбора слова является заключение, выраженное типовыми реакциями (*все*) так говорят / так не говорят:

М. Ты в бане был?
В. В. Конечно//
М. Вот/ когда каменка холодная/ ты берешь ковшечек...
В. В. (перебив.) Вот слушай...
М. Подожди-подожди// Берешь ковшечек/ хоп туда водички/ она ш-ш-ш/ это не то/ а когда она уже разогретая/ берешь ковшечек и на горячие камни// Они бз-з-з
В. В. Ну-ка/ как ты сказал?
М. Берешь ковшечек//
В. В. Ты слово скажи/ как ты его назвал?
М. Взбзднуть//
В. В. Вот [нец.] ты угадал// Никогда так не говорят//
М. Ну бздануть говорят/я знаю//
В. В. (удовлетворенно) Ну бздануть//
М. А это пошло от взбзднуть/ от бздануть/ ничего ты не понимаешь/ это наше с Иванычем слово<...> когда каменка горячая/ такой звук получается в бз-з-з//

⁶ Важно отметить, что шутка доставляет удовольствие лишь при наличии коллективной, всеобщей реакции.

⁷ Словари современного русского языка данный глагол не толкуют. Отсутствует он и в словаре В. И. Даля. Глагол *бздавать* представлен в диалектных словарях: *бздавать* и *бздавать* несов., *бздануть* и *бздануть* сов. — *подавать пару в русской бане, смачивая раскаленную каменку* [Словарь русских народных говоров 1966: 287]; ср.: *вздавать* — *плескать водой на печь-каменку в бане для получения пара* [Словарь русских говоров 1996: 69].

- В. В.** *Понял//*
М. *Поэтому так и называется//*
В. В. *Я понял//*
М. *Понял/ да? Молодец//*

Процесс поиска нужного слова выражается сигналами типа *слово забыл; как называется?; как сказать?* и др. Иногда старшие рабочие интересуются словами, которые отсутствуют в их лексиконе. Причем четко прослеживается различие: *мы говорим — вы (молодые) говорите — они (культурные люди) говорят*. Другими словами, носитель просторечия среднего возраста осознает не только специфику, но и ограниченность кода, который он использует, а также факт дистанцирования собственной речи от речи человека молодого (ср.: *у в Ас как называют?; м Ы зовем*):

- В. В.** *Ну [пец.] как называют?*
М. *Женщины легкого поведения//*
В. В. *Так// А мужчины легкого поведения у в Ас как называются?*
М. *Мужчины легкого поведения//*
В. В. *Ну которых мы пидорасами зовем?*
М. *Не знаю/ мужчины нехорошего поведения//*
В. В. *Нехорошего/ да?*
М. *Ну в крайнем случае голубые//*
В. В. *Ага/ все ясно//*

Одно из главных требований к слову — его понятность. Коммуникантами осознается обязательность общего понимания содержания речи и значения слова в речи. В диалогах часто встречаются реплики, включающие словоформу *понял*. При наличии обратной связи высказывание, по убеждению старших участников общения, в корректировке не нуждается.

- В. И.** *Знаешь/ что в Арабах/ не празднуют 8-е Марта//*
Д. *В Арабах? Ты хотел сказать в арабских странах?*
В. И. *Ну может и так/ Ну ты меня понял//*

При необходимости участники общения уточняют значение слова с помощью подбора синонимов, антонимов, стихийных толкований, нередко демонстрируя безошибочное чувство языка. Так, в соответствии с лексикографическими данными, прилагательные *любопытный, любопытный* синонимами не являются [Словарь синонимов... 1970 Т. 1: 522]. Ср.:

- В. И.** *Нельзя быть таким любопытным//*
Д. *Ну почему нельзя-то? Надо быть любознательным/ я любознательный/ я не любопытный//*
В. И. *Любознательный это одно/ а любопытный это уже другое// Нос везде суешь//*

Поиск точного синонима прослеживается в диалогах молодых людей, причем в качестве синонима-конкурента может привлекаться жаргонизм. Например:

Н. Он-то (о губернаторе Росселе) будет в резиденции жить//
Д. А резиденцию у его Чернецкий (о мэре Екатеринбурга) продаст/ блин//
Н. Да как видишь/ покупателя не найдется/ братва уралмашевская
 подъедет/ скажет/ «ты чё/ хочешь купить что ли?»
Д. Нету ее//
Н. Естественно/ как они там?..
Д. Уралмашевское Экономическое Сообщество/ зачем сразу
 братва⁸ уралмашевская?
Н. Ну сообщество не поедет/ поедет братва на джипах//

Во всех случаях внутри просторечной культуры ситуация свободного выбора языкового элемента, в значительной степени связанная с полиглотизмом носителей этой культуры, обуславливает пересечение просторечия как с литературным языком, так и с жаргонами.

3.2. Отношение к обценному

Обценизмы составляют неотъемлемую часть просторечного дискурса. Для носителей просторечия обценная лексика является ментально значимым ценностным объектом. Сам факт ее существования характеризуется как достояние нации:

М. ⟨...⟩ татарин ты Валера//
В. В. Татарин/ татарин//
М. Ой татарин//
В. В. А за татарина/ как ты говоришь/ ответишь//
М. Да как ты понимаешь/ ты это самое/ даже сматериться по-русски не можешь//

«Матерная» речь и умение «материться» оцениваются, как свидетельствуют высказывания-рефлексивы, с эстетических позиций. Существует представление о мастерстве использования обценизмов (*Матерятся.../ одни красиво/ другие нет//*).

Рабочие осознают ограниченность употребления «мата». Здесь главный критерий — адресат как носитель культуры. Действует правило: культурный человек не употребляет в своей речи обценизмы, следовательно, в разговоре с таким человеком следует воздерживаться от привычных бранных слов. Например, если в подсобку заходит посторонний, рабочие в разговоре с ним обходятся без обценизмов:

(Входит посторонний **Z.**)
Z. Ты если чё/ позвони//
В. В. Ладно/ ага//
Z. Ладно/ давай сёдня тогда не будем//
В. В. Ну я видел скоко там у них еще//

⁸ Братва — преступная группировка [Ермакова и др. 1999: 18].

Z. *Не/ завтра я с газоном⁹ договорюсь/ с Ниной Павловной переговорю//*
B. В. *Ну смотри/ дак и вчера можно было загрузить/ им просто лень стало//*
 (**Z.** уходит)
M. *Видишь/ поговорили как культурные люди//*
B. В. *Ну с культурным человеком по-культурному//*

Заметим, что молодых рабочих, которые учатся заочно в университетах, всерьез никогда не называют *культурными*. Если в их речевом поведении проскальзывают признаки литературной культуры, старшие рабочие с иронией употребляют по отношению к молодым субстантивированный идентификатор *грамотные*.

Существует также запрет, связанный с употреблением обцензмов в разговоре с женщиной: *Слушай ты/ ты конкретно слышал/ чтобы я при женищинах матерился?; Я-то с женищинами не употребляю!; Тут женищина/ помолчи!; Не выражайся!* Подобные стереотипные замечания одновременно свидетельствуют о нарушениях данного запрета. О таких нарушениях рассказывают сами рабочие. Так, например, **Ю.** оправдывает собственную вербальную несдержанность особыми обстоятельствами: он спал после ночной смены, а непрошенная гостья его разбудила; никаких дел в его доме у женщины из антенной службы быть не могло (*Объявление у нас повесили/ что за антенну платит паспортИстам/ в домоуправлЕние//*); повышенная вежливость в такой ситуации только раздражает. Ситуативный фактор накладывается на эмоциональное состояние **Ю.** (*уже злой такой*):

Ю. *Я сегодня тоже не выспался// Пришла какая-то дура/ за антенну собирать// Объявление у нас повесили/ что за антенну платит паспортИстам в домоуправлЕние// Я грю // «У паспортИста же плóтят»// Уже злой такой// Она/ «Ну вот/ мы еще так ходим/ собираем»// Иди [**нец. выраж.**]// Я паспортИсту буду платить// [**нец.**]!*

Рабочие признаются, что *матерятся*, когда нужно выплеснуть злость: *Вот Юрик матерится/ когда у него уже всё/ «Ах начальник сука [**нец. выраж.**]»/ и понес//*. Вместе с тем носители просторечия считают, что именно с помощью «матерных» слов можно *излить душу*, выразить потаенные чувства «в своем кругу». Другими словами, человек эмоциональный реализует себя в обцензрованном диалогическом взаимодействии:

M. *⟨...⟩ ты выражаешь душу через Это? Да? То есть ты в эти слова всЁ вкладываешь?*
B. В. *Да я с вами [**нец.**] /душу отвожу//* (смеется)
M. *То есть ты выражаешь через это душу/ да?*

Высоко оценивается как собственно эмоциональный потенциал обцензрных средств (*Все чувства в мате*), так и возможность их свободного упот-

⁹ Газон — автомобиль из грузового парка Горьковского автозавода.

ребления в кругу понимающих людей (*Наматерюсь от души/ и дома не матерюсь/ и с жєницинами не матерюсь/!*).

«Матерная» речь — своего рода физиологическая потребность, требующая каждодневного удовлетворения: *Вон я знал мужика/ который не матерится/ и ходит как неетый*¹⁰//.

Активно обсуждается якобы научная версия генетической заданности сквернословия и его исторической предопределенности (*мат/ он существует черт его знает... — то есть ‘с незапамятных времен’*):

Ю. *Оказывается/ человек когда матерится/ у него начинает мутировать ДНК//*

М. *Мутировать? (смеется)*

В. В. *Не/ ну Юра давай-давай//*

Ю. *И как раз мне статья эта попалась когда начальник это сказал// (имеется в виду готовящееся начальником цеха распоряжение о запрете сквернословия)*

М. *Не/ подожди/ а где это ты читал? Первого апреля наверно?*

Ю. *Не/ в Первоуральске конференция была среди учителей// Там значит раздавались всякие буклетики/ статьи научные/ ну там конференция в плане такого/ «нравственное воспитание»//*

В. В. *Молодежи//*

Ю. *Молодежи/ да/ там//*

М. *Чистота русского языка/ все дела//*

Ю. *Да не знаю/ найду дома принесу//*

М. *Ну-ка/ найди-ка/ принеси-ка/ кто там/ почитать/ не.../ ты понимаешь...*

В. В. (перебив.) *ну нет//*

Ю. *Кстати эта конференция/ приезжали преподаватели из УрГУ//*

В. В. *Да? Оттуда?*

М. *Дело в том что ты подумай/ мутация чего там? Генов/ да?*

Ю. *ДНК//*

М. *ДНК/ да? Да извини меня/ мат он существует черт его знает// Да это чё/ мутации? Ни у кого еще с шестью-то ногами не было// А в какую сторону мутирует не сказали?*

Ю. *В [нец.]//*

Вербальная сдержанность нелюбимого начальника не одобряется, вызывает недоумение и даже легкое сочувствие, служит поводом для насмешек:

В. В. *Кто тебе сказал/ что у нас начальник не матерится?*

Н. *Ну одно слово в месяц/ одно слово в месяц!*

Ср.: *Начальник же у нас не матерится//... Где он душу отводит? Как он ее отводит?; Да/ классный у нас начальник/ да Валера? Смешной сука/ как воспитатель в детском саду//.*

¹⁰ *Неетый* — в значении ‘голодный, ничего не евший’.

Установка на производство необсценированного диалога является осознанной в общении с начальством. Отсутствие обсценизмов в речи подчиненных демонстрирует недопуск в «свой круг» [Лингвокультурологические проблемы... 2001: 3—162]. Объясняя намеренное исключение обсценизмов из своей беседы с начальником цеха, **В. В.** подчеркивает невозможность доверительного общения с этим человеком (*Мы с ним не настолько близки*). Выбор необсценированного типа ведения диалога — способ намеренного отчуждения, демонстрации нерасположения к адресату (*ты его держишь на расстоянии*):

М. *⟨...⟩ то есть/ вот понимаешь/ почему ты не стал вот с Этим разговаривать так?* (имеется в виду употребление обычных в речи **В. В.** бранных слов).

В. В. *С кем?*

М. *Ну с этим/ как его/ с начальником// То есть ты его держишь на расстоянии как начальника-то да?*

В. В. *Мы с ним не настолько близки//*

М. *А! Вот!*

В. В. *Чтоб [нец. выраж.] //*

М. *Вот ты понимаешь/ как интересно/ вот уже что-то вырисовывается//*

В. В. *Я все понимаю/ наскрозь//*

Стихийная лингвистическая оценка обсценизмов носителями просторечия показывает, что рабочие считают обсценированный диалог непременным условием доверительного мужского общения (*в мужской компании сидим/ употребляем*). Высказывания-рефлексивы позволяют говорить о том, что в данном языковом коллективе осознается особый репертуар функций обсценизмов, способствующих эмоциональной разрядке (*матерятся со злости*), служащих средством заполнения пауз (*для связки слов*), восполнения бедности речи (*с простыми словами проблемы//; У него (о Ю.) слов нету/ он начинает матом крыть/ слов не находит*). Основной же признается функция интимизации коммуникации (*нам друг другу не обидно/ да?*).

«Свои» (исключение составляют отдельные ситуации межличностных конфликтов) не воспринимают на свой счет бранную составляющую диалогической реплики. Традиционно сам механизм реплицирования предполагает ее наличие. Например, в диалоге на производственную тему, который приводится ниже, ни одно нецензурное слово (выражение) не направлено в адрес собеседника. В диалогическом взаимодействии нет «вербальной дуэли» [Жельвис 2002: 200]. Коммуниканты не соревнуются в умении «завернуть» хлесткое словцо, а скорее выплескивают с помощью ненормативной лексики и фразеологии недовольство отсутствием производственной дисциплины, возмущение воровством¹¹ и разгильдяйством. Обсценизмы употребляются здесь не в номинативной, а в экспрессивной функции.

¹¹ Речь идет о ломе твердосплавных материалов, в состав которых входят такие металлы, как вольфрам и кадмий. Подобный лом имеет достаточно высокую цену.

М. Ну в пятницу мы-то работали/ пока начальник не сказал/ «Смена «Е»/ рабочий день окончен»/ а седьмой-то цех/ уже в час никого не было/ блин!

В. Ф. Вишь/ они наверно работали в пятницу/ а мы же не работали/ цех не работал в пятницу//

М. Но//

В. Ф. И это/ они наверно работали в пятницу/ а сегодня отдыхают//

М. Нет/ в пятницу рабочая смена была/ ты чё?

В. Ф. А сегодня отдыхают/ да?

М. Почему? Все работают/ в понедельник не работали//

В. Ф. Я звонил в табельную короче/ звонил и в эту/ и [нец. выраж.]//

М. С похмелью значит все// Чё/ сегодня весь завод работает//

В. Ф. Не/ надо [нец.] / а вдруг работу привезут [нец. выраж.]// Этот короче цас у нас [нец. выраж.] //

М. (перебив.) Ты там все сдал?

В. Ф. Где?

М. Выжимки из фильерной¹²//

В. Ф. Давно [нец.] все увезли [нец.] / со Ставрополя//

М. А/ начальник что ли?

В. Ф. Ну [нец.] / он приехал тогда/ КАМАЗ с прицепом загрузил на [нец.] и уехал [нец.] / я бы знал/ дак полные бы ящики себе загрузил [нец.] / можно было бы поработать//

М. Но за это можно было и получить неплохо// [нец. выраж.]

В. Ф. Смотря как работать [нец. выраж.] //

М. У нас же тут стояла коробка/ ниче нету уже//

В. Ф. УжЕ [нец.]? Молодцы [нец. выраж.] //

М. Да а кто бы? Мы же люди честные/ смотрим/ нету//

В. Ф. Кто взял? Никто не брал//

М. Ну как/ есть подозрения// Не пойманный не вор//

В. Ф. Все правильно//

Попытки регламентации ругани «сверху» рабочие считают несправедливыми. Распоряжение начальника цеха (*начальник матерится запретил/ издал распоряжение*) для них лишнее доказательство отсутствия общности с человеком, не принимающим обценную коммуникацию естественного речевого быта как норму. Это подтверждается, например, многоаспектными метаязыковыми оценками «мата», содержащимися в диалоге-рассуждении о корпоративной сущности обценного:

М. Матерятся-то все/ одни красиво/ другие нет//

В. В. Ты понимаешь/ один матерится со злости/

М. А другие просто других слов не знают//

В. В. Для связки слов/ [нец. выраж.]//

М. Ладно для связки слов/ у них вот с простыми словами проблемы//

¹² *Фильерная* — мастерская по изготовлению фильеры. *Фильера* — инструмент из твердого сплава для калибровки цилиндрических изделий.

В. В. Или просто [нец.]//

М. А/ просто [нец.]? Ну ты понимаешь/ опять же в мужской компании/ то есть мы с тобой сидим/ употребляем/ в сущности-то обидные слова/ но нам друг другу не обидно/ да?

В. В. Да-да-да-да-да//

М. То есть мы свои/ да?

В. В. Вот я тебя муднем назвал/ ты не обиделся?

М. Не/ ну чё я на дураков буду обижаться? (смеется)

В. В. [Нец. выраж.] я с тобой не буду разговаривать//

М. Вот видишь//

В. В. Вот щас вот//

М. Вот щас все да? А ведь если б я тебя не нехорошим словом назвал/ нормальным/ литературным словом дурак/ ты б обиделся/ а если б я тебя назвал [нец.]?

В. В. (улыбается)

М. Ты вот смотри/ повеселел//

В. В. Я б тебя назвал [нец.]//

М. Вот видишь/ пошло-поехало/ ка-ак интересно//

В. В. [Нец. выраж.]//

М. Слово за слово/ [нец. выраж.] как говорил товарищ начальник/ как интересно//

Анализу просторечия с позиции носителя литературного языка соответствует взгляд на просторечную коммуникацию как сферу «по преимуществу... вульгарного общения» [Химик 2000: 10]. Такое впечатление во многом объясняется высокой плотностью обценной лексики в составе диалогических реплик. Действительно, со стороны общения просторечного типа нередко предстает как «поле брани» [Жельвис 1997].

Внутри просторечного коллектива обценизмы не воспринимаются как средства пошлые и непристойные. «Согласное» употребление обценизмов в «кругу своих» формирует существенную грань коммуникативной гармонии [Шалина 2000: 274], которая осознается партнерами общения как важная примета просторечной культуры.

3.3. Эстетическое отношение к языку / речи

Рассматриваемый просторечный дискурс характеризуется наличием эстетической составляющей: во-первых, в репликах коммуникантов содержатся прямые эстетические оценки фактов языка / речи; во-вторых, в конструировании реплик ощущается эстетическая установка, причем реплика-реакция эстетически поддерживает (реже не поддерживает) реплику, стимулирующую эстетическую установку.

Эстетическое отношение к фактам языка прямо выражается с помощью метаязыковых указателей *нравится / не нравится, красиво / некрасиво*. Так, для **В. В.** эстетически неприемлемы формы типа *победю*; он оценивает не-

гативно возможность замены дефектной формы грамматическим синонимом (*Мне так не нравится*). **М.**, опираясь на специальные знания, пытается разъяснить суть грамматического явления, но, поняв тщетность своих усилий, обращается к спасительному правилу: *как хочешь, так и говори*. В данном случае **В. В.** отстаивает необходимость эстетически мотивированного выбора формы слова. Отсутствие такого выбора его не удовлетворяет:

- М.** *Поклади предмет на место//*
В. В. *Поклади? Покладю//*
М. *Покладю/ и победу/ и пропылесосу//*
В. В. *Вот как объяснить?*
М. *Давай//*
В. В. *Победу или побегу? Скажи правильно//*
М. *А нету первого лица будущего времени//*
В. В. *Победу или побегу?*
М. *Буду побеждать//*
В. В. *Не буду/ а вот примерно/ я его победу или побегу? Как правильно?*
М. *Никак//*
В. В. *Ну как?*
М. *Нет первого лица тут//*
В. В. *КАк нету?*
М. *Нету/ вот так вот/ нету//*
В. В. *Вот я его/ вот как сказать? Я его...*
М. *(перебив.) Понял или пónял/ как хочешь/ так и говори/ и всё//*
В. В. *Я его победу или побегу?*
М. *Побежишь ты/ в другую сторону//*
В. В. *Побегу значит//*
М. *Побегу/ побежишь блин//*
В. В. *Победу значит//*
М. *Говори «победу»/ Валера//*
В. В. *(упрямо) Не нравится мне//*
М. *Да/ я его победу//*
В. В. *Не/ не/ вот объясни пожалуйста/ вот ты/ занимаешься этой [пец.]// как правильно? Вот и объясни//*
М. *Но?*
В. В. *Я его победу или побегу?*
М. *Он будет побежден//*
В. В. *Мне так не нравится//*
М. *А как это тебе не нравится? Ну не говорится так//*
В. В. *Ну Я же не буду так говорить//*

При восприятии чужой речи сочувственные эмоционально-эстетические реакции вызывают прямые грубые оценки без оглядки на общепринятые приличия: *Американцам/ как сказал Жириновский / к р а с и в о/ м н е п о-н р а в и л о с ь/ че-то он их всяко-разно оплёвывал значит/ эти посольства/ НАТО/ представительства стран/ типа «вы козлы/ люди без родины/ ваша*

родина могила/ мы вам ее приготовили» (...). Подобные оценки подтверждают наблюдения об отношении носителей просторечия к обсценизмам как ценностным объектам речевой культуры.

Как и в литературно-разговорной речи, эстетическое отношение к языку проявляется в конструировании и подхватах значимой для коммуникантов «сферы шутливой тональности» [Земская и др. 1983: 180], которая поддерживается творческой установкой на языковую игру [Гридина 1996; Санников 1999]. Сигнал эстетического удовольствия — общая смеховая реакция на игровую реплику-шутку. Например, взрывами смеха сопровождаются произвольные деформации звуковой формы слова:

В. Ф. *Глюпый ты глюпый//*
Д. *Сам ты глюпый [нец.]* (смеются)

Самостоятельный объект языковых шуток — специфика звуковой организации слова. Коммуникантам нравится делиться своими наблюдениями (иногда вторичными) о звучании слов. Смеяться будут и при повторных пересказах лингвистической шутки, которую слушают как анекдот:

М. (...) *он (начальник цеха) ко мне подходит/ грит/ «Максим Олегович/ знаете грит/ слово где шесть букв «ы»?*
В. Ф. *Но// (...)* (обращается к Н. и М.) *А вы знаете?*
М. (...) *в Бл Бл с Бл п Бл д Бл ст Бл //* (смеются)
Н. *А три буквы Е знаешь? Подряд/ длиннош Е - Е - Е//* (смеются)
М. *Понял? Даже Федорыч засмеялся//*
Н. *Где шесть букв «ы»/ все репу чешут долго//*

Обыгрывается случайное звуковое сходство слов. При этом игра, как и в других случаях, смягчает психологическое напряжение:

А. (берет чайник) **[нец.]** (с раздражением) *Он холодный?*
Н. *Ну я не знаю/ вАша смена работает/ дак все холодное//*
А. *КтО выключил?*
Н. *КтО? Друг твой/ Юрик//*
А. *Он ваще не подходит к нему// На [нец.] он ему нужен?*
Н. *Значит ты//*
А. *Я его унОс//*
Н. *УнОс/ да? У нОса/ с-под нОса начальника? (смеются)*

Обыгрывается омонимия иноязычного и русского корней, причем подчеркивается искусственно выделяемое смысловое притяжение, понятное тем, кто увлекается компьютерными играми (это в основном молодые рабочие):

В. В. *Чё он там делает/ да?*
М. *А чё/ какие игрушки идут?*
А. *Ну «DOOM-а»¹³ надо принести//*

¹³ «DOOM» - компьютерная игра.

М. «DOOM-а»? Все для ДУМ-а/ все для дОма/ все для семьи [нец.]//
(смеются)

Распространена игра внутренней формой, приводящая к двусмысленностям. Часто она сопровождается грубоватой шутиливой перепалкой:

М. Слушай ты/ за сланец//
В. В. (смеется) Засланец?
М. Тебя все засылают куда-то/ значит ты за сланец//
В. В. Молчи хохол//
М. Молчи за сланец//
В. В. Давай пиши//
М. Цветуёчки/ цветуйки// Чё тебе написать?

Эстетическим эффектом сопровождается игра внутренней формой собственных имен. Трансформация имени передает и отношение к соответствующему лицу. Например, Черномырдина с удовольствием называют *Черномордовым*, *Черномордой*, *Мордовым*, *Мордой*, а вот игра фамилией губернатора Свердловской области одним из коммуникантов эстетически и этически не принимается:

М. ⟨...⟩ У нас ведь свободная страна/ каждый имеет право выбора//
Н. Естественно//
М. Пожалуйста/ кому за Жирика/ кому за Дросселя//
Н. За Дросселя?.. Россель мужик ничего...

В речи молодых рабочих ситуативно используется игра советскими стереотипами, актуализация которых мотивирована речевым контекстом. Так, семантическая доля 'разъединение / распад целого', содержащаяся в лексическом значении глагола *разобрать*, способствует появлению в диалоге на профессиональную тему прецедентного текста, присутствующего в языковом сознании молодых рабочих, как правило, критически относящихся к идеологическим символам. Трансформация прецедентного текста приводит к семантической двуплановости реплик, осознаваемой в опоре на общую апперцепционную базу.

М. А разборка с чего начинается?
Н. Разборка начинается с проверки на наличие напряжения//
Е. Мы по-советски/ до основанья все разрушим//
М. А затем?
Н. А потом ёлки-палки/ оказывается зря разобрали/ Олег вчера пришел/ до-олго ругался/ специалисты...

Игра семантикой идеологических ярлыков также обнаруживает эстетическую составляющую: молодые рабочие используют ярлыки иронически, как знаки чужой речи. Такое употребление усиливает ощущение корпоративности:

А. *А у нас на заводе/ беруши ввели//*

Ю. *Их когда еще ввели// Я еще помню/ в школе/ нас на экскурсию водили/ Я их воровал//*

А. *Вот они/ расхитители государственной собственности!*
(смеются)

Ироническая разработка семантики стереотипа-советизма сопровождается меной привычных контекстных партнеров данного стереотипа. В языковую игру с удовольствием включаются все участники разговора:

М. *Валера сегодня целый день философствует//*

В. В. *Дак Черноморда [нец.]// Вчера как раз включил телевизор/ как раз он выступал//*

М. *Дак те повезло// Чё сказал?*

В. Ф. *Дак чё там? Подъем производства/ третью пятилетку у нас везде уже вовремя плотят [нец.]//*

А. *Подъём/ да?*

М. (радостно) *Уже подъем пошел!*

Ю. (подхватывает) *Вы никак/ не можете почувствовать/ что подъем идет//*

А. *В ихний карман!* (смеются)

Эстетическое удовольствие коммуникантам доставляют наблюдаемые факты погружения идеологического стереотипа в профанный контекст. Например, смех вызывает ругательство, выведенное чьей-то дерзкой рукой на лозунге, который вывешен на заводской проходной:

М. *Видели там (имеется в виду лозунг «Слава труду»)/ кто-то уже «х...» написал// (хохочет) Вот это люди! Вот это люди! Вот это приколы! Я же грю/ тУт-то весело!* (все смеются)

Эффект удовольствия — главный эстетический и эмоциональный коммуникативный результат, усиливающий ощущение причастности коммуникантов к «своему кругу».

4. Кодекс речевого поведения

Можно говорить о существовании неписаного кодекса речевого поведения, коммуникативных и этических конвенций, регулирующих общение внутри речевого коллектива.

Феномен «своего круга» основан на взаимодействии ряда факторов: «свой» узус, общность апперцепционной базы, общность профессиональной деятельности и интересов, локализованность общения, его темпоральная прикрепленность (время общения — между сменами), следование правилам речевого поведения. Эти правила можно сформулировать в форме императивов: не нарушай традиций; говори как все, не выделяйся; исполняй свои коммуникативные обязанности в соответствии с принятой роле-

вой иерархией¹⁴; добивайся понимания / рассчитывай на понимание; будь откровенным / рассчитывай на откровенность; умей «материться» / цени «матерное» слово; шути / одобряй шутки; не перечь старшим наставникам / относись к младшим по-товарищески.

Отметим некоторые особенности ролевой иерархии, связанные с механизмами коммуникации. Важной является оппозиция *свой* — *чужой*. «Чужие» не принимаются в «свой круг»: их присутствие сдерживает речеповеденческую свободу.

«Своей» считается исключительно мужская компания. Женщин приглашают в гости по праздникам, а вот их появление в подсобке без приглашения расценивается как вторжение в личностное пространство, не одобряется. Так, например, **М.** высказывает крайнее неудовольствие в адрес **В. И.**, вызванное тем, что мастер долго беседовал в подсобке с женщиной-инспектором. **В. И.** объясняет, чем вызвано нежелательное присутствие женщины, старается напомнить о вежливости, которая, однако, не считается молодыми людьми обязательной:

В. И. *Дак она же изучала//*

М. *Кого¹⁵ изучала? Знаю я/ с вами поизучаешь// Спорттили¹⁶ всех женщин и в седьмом и в тридцать восьмом цехе// Ходят табунами все сюда//*

В. И. *Я просто очень доброжелательный такой//*

М. *(с издевкой) А-а/ да знаю я/ доброжелательный!*

Из круга «своих» исключается начальник цеха. Нелюбовь к начальству традиционна — начальника положено не любить:

М. *Чё ты так Юрик начальника не любишь?*

Ю. *Почему? За что его любить? Начальник есть начальник [нец.] / положено его ненавидеть каким-то образом//*

Начальника лишают права на наставничество, традиции которого сохранились в рабочем коллективе:

Ю. *Я ему (начальнику цеха) / «Пошел ты со своими идеями/ [нец.] / наставник [нец.]»// Он такой/ глаза по десять блин копеек//*

Люди авторитетные пользуются всеобщим уважением. Это мастера своего дела, лидеры, учителя профессии — истинные наставники. Наставническая роль признается безоговорочно. Так, о старом мастере Владимире Ивановиче, которого в 2000-ом году отправили на пенсию, говорят с неподдельным чувством утраты:

¹⁴ Ср. анализ коммуникации в неиерархизированных общностях говорящих в работе: [Китайгородская, Розанова 2003: 402—454].

¹⁵ *Кого* устойчиво употребляется как синоним литературного *что*.

¹⁶ Глагол *спортить* здесь приобретает смысл ‘отучить от порядка, потворствовать’.

М. *Эх Иванныча нет! Иванныч бы нам тут всё распятнал/ давно не приходил/ он-то в политике разбирался лучше тебя//*

В. В. *Я и не спорю//*

М. *Еще бы ты спорил/ Иванныч был авторитет/ как Иванныч скажет/ так и будет/ а ты...*

Е. *Иванныч на лунке щас наверно сидит//*

М. *Чё? На лунке? Но Иванныч не просто на лунке сидит/ он там ходит полит-агитацию на пруду ведет/ блин//*

Наставничество распространяется на все сферы жизни. Это воспринимается молодыми с пониманием, хотя и не без легкой иронии: *Ты пытаешься меня/ это/ жизни учить//; Федорыч/ поучи нас немного//; За жизнь рассказывай давай//* Т ы-формулы не мешают уважительному отношению к старшим, напротив, создают атмосферу коммуникативного равенства, укрепляют корпоративность общения.

Наставниками становятся рабочие с большим стажем, как, например, **В. В.**: они передают секреты своего мастерства молодым. В фатических диалогах наставника и ученика доминирует тональность дружеского расположения, которая не нарушается принятыми в кругу «своих» грубыми шутками: конвенционально заданы обценная направленность процесса реплицирования, приятие языкового творчества, допуск иронии:

В. В. *А вдруг ты [нец.] выйдешь действительно в люди [нец.]/ а я потом скажу своим внукам/ «Вот с этим раздолбаем я вместе работал/ учил его суку/ натаскивал»//*

М. (смеется, удивленно) *Ты?! Меня?!*

В. В. (смеется) *Конечно//*

М. *На что ты меня натаскивал? А я буду им говорить/ «Вот ваш дедка сматериться даже правильно не умел/ все пришлось брать в свои руки»//*

В. В. (смеется) *[Нец.] ты/ одно слово/ [нец.] и больше тебе никакого определения нету//*

В диалогах старшего с младшим иногда возникают очаги напряжения, основанные на нарушении иерархии, но, как правило, эти очаги гасятся шуткой и / или крепким словцом. Так, **В. В.** раздражает стремление молодых продемонстрировать свою образованность (...до [нец.] вас тут грамотных/ указчиков//): в соответствии с принятой иерархией «указывать» может он, а не младший. Шутливый тон угрозы (*Каждому указчику [нец.] за щек//*) и тонально соответствующая ответная реакция шутливого укора (*Ох ты/ какой ты грубый неотесанный мужлан//*), переход с дистантного в ы-общения на контактные т ы-формы — все это способствует восстановлению привычной дружеской атмосферы коммуникативного взаимодействия:

В. В. *Чё ты ваще против меня-то имеешь?*

М. *Я имею//*

В. В. *Чё тЫ имеешь против меня?*

- М.** *То чё имею/ то и имею//*
В. В. *Ну и имеешь/ ну/ конкретно//*
М. *А чё вы имеете в виду?*
В. В. *Чё имею то и введу//*
М. *Валерий Владимирович//*
В. В. *Чё имею то и введу [нец.]//*
М. *Ну это уже старо как мир/ чё ты тут ломаешь?*
В. В. *Кого [нец.]? До [нец.] вас тут грамотных/ указчиков//*
М. *Да/ нас много грамотных//*
В. В. *Каждому указчику [нец.] за цеку//*
М. *Да?*
В. В. *Да//*
М. *Ох ты//*
В. В. *Ох я//*
М. *Ох ты/ какой ты грубый неотесанный мужлан//*
В. В. *С вами [нец. выраж.]/ [нец.]//*
М. *Да?*
В. В. *Да//*

Упрек, адресованный старшему, встречается редко и обусловлен ситуацией. Например, **Д.** упрекает **О. М.** в неряшливости лишь потому, что нитки падают на пол, а сам **Д.** недавно убрал подсобное помещение. Оправдания **О. М.** связаны с занятостью. Он даже обещает заняться своей одеждой в воскресный день и предостерегает **Д.** от излишней горячности (*Щас наговоришь/ блин//*), не допуская ссоры. Эмоциональная сдержанность старшего противопоставлена вспыльчивости младшего:

- Д.** *Грязь от тебя / блин//*
О. М. *Какая?*
Д. *Вон в каких-то нитках ходишь/ сам-то ты на себя посмотри//*
О. М. *Я-то работаю//*
Д. *Джинсы хоть бы постирал/ а?*
О. М. *Я-то работаю//*
Д. *Рабочую спецодежду//*
О. М. *Вот//*
Д. *Вот// Ходишь как чукча//*
О. М. *Будет выходной/ дак...*
Д. *Будет выходной/ у тебя каждый день выходной//*
О. М. *Щас наговоришь/ блин//*

Разговоры, которые ведутся в отсутствии старших рабочих, нередко отличаются резким снижением «коэффициента просторечности». В них появляются значительные по объему логически выстроенные монологизированные реплики, синтаксис которых отличается усложненностью, включением причастных форм, вводных слов. Отбор лексики определяется информационными задачами, хотя фатические фрагменты могут присутствовать [Винокур 1993: 5—29]. Например:

Н. В пятницу была директорская оперативка/ проводил ее господин Т. (о заместителе директора завода)//

М. Антошу позовите/ вѣсти с директорской послушать//

Н. Если ему интересно/ позовем//

М. Он уж забыл наверно/

Н. Может ему это не надо//

М. Ну как же это? Он у нас...

Н. (перебив.) Я приглашал всех// Значит/ пришло письмо от горкома местного/ то ли КППФ то ли еще какой-то партии/ в общем благодарственное письмо начальникам цеха четыре/ цеха девять и цеха четырнадцать/ потому что кровящи сдали трудящиеся этих цехов больше всех// Проблема с кровью щас большая/ да Максим?

М. Какая щас проблема с кровью?

Н. Проблема с деньгами?

М. У людей денег нет/ вот они кровь и сливают//

Н. Четвертый и четырнадцать не самый/ ну девятый понятно/ подписан приказ/ который на две тире три недели полностью запрещает отгрузку некондиции и труб ВТУ четыре эн семьдесят два и по сорок двенадцать и еще по какому-то/ потому что обнаружили очень много злоупотреблений//

М. Угу//

Н. Весь город этими трубами торгует//

М. А то их раньше не было//

Н. Не знали раньше/ раньше не обнаруживали// Щас обнаружили значит/ Т. (о заместителе директора) он же экономист/ с металлом сказал что плохо/ даже положение ухудшилось// Г./ Р./ и З. (о руководителях предприятия) уехали в Нижний Тагил договариваться с металлом/ потому что Россель (о губернаторе Свердловской области) там обещал помощь какую-то/ но помощь обещана/ а металла нет// С Осолом договоренность есть/ и договор подписан// (НРЗБ) тоже нет/ потому что его на заводе успели вывезти уже/ а новый еще не сделали/ значит приходится даже отказываться от экспортных заказов/ потому что на существующий экспорт не хватает четыре тысячи тонн/ заготовки/ металла нет/ значит снова встает вопрос по режиму работы завода/ потому что цеха основные без металла// Раз цеха без металла/ значит нет смысла людей держать на работе// В пятницу оставались В. (о заместителе директора по кадрам и социальным вопросам) с начальниками основных цехов/ плюс Т./ плюс там еще кого-то позвали// Ну видимо опять будет неполная рабочая неделя или передвинут/ кого в воскресенье работать/ кого в понедельник/ потому что еще с четверга по-моему/ или со среды/ опять начались ограничения по газу// Газ не дают нам/ нечем платить за него//

М. Кикабидзе все пропел¹⁷// {...}

¹⁷ Администрация завода устраивала в честь 8-го Марта праздничный концерт, который проходил во Дворце ледовых видов спорта. В нем принимали участие И. Угольников, Л. Лещенко, В. Винокур и В. Кикабидзе.

Традиции просторечной культуры поддерживаются всем речевым коллективом, но стержнем этой культуры все же являются старшие рабочие, в большей степени связанные с носителями просторечия-1. Противоречие между достаточной открытостью по отношению к литературной речевой культуре, которым характеризуется речевое поведение молодых, и лингвистическим консерватизмом старших не осложняет общения: соблюдение принятых в данном рабочем коллективе правил речевого взаимодействия укрепляет своеобразное мужское братство.

5. Тематика разговоров и стереотипы просторечной культуры

5.1. Общая характеристика тематического спектра. Жизненные стереотипы

Тематика разговоров задана ситуативно, что соответствует специфике живой коммуникации. Естественна активность профессионально значимых тем дня. Диалоги делового характера отличаются тематической цельностью, связностью и лаконичностью. Так, перед началом смены **Н.** и **В. В.** обсуждают содержание предстоящей работы. В диалоге в качестве тематических слов активно употребляются профессионализмы (*токарный станок, токарные работы, муфты, задиры, промежуточные кольца, проточить*), обеспечивающие фактическую точность информации. Сигналы неофициальности общения — экспрессивно-разговорные вставки (например: *незавершенка, эскизик, набросать*). Коммуникативная слаженность объясняется общностью профессиональных задач коммуникативных партнеров:

Н. Чем сёдня будем заниматься/ какая у нас незавершенка?

В. В. Незавершенка? Надо с токарным решать//

Н. Ремонт токарного станка сёдня да?

В. В. Потому что мне надо куда-то или в седьмой цех обращаться или в какой-то цех/ надо токарные работы там делать//

Н. Большие?

В. В. Большие — небольшие/ а вот эти три муфты//

Н. Задиры?

В. В. Да/ и подрезать просто нужно/ и промежуточные кольца сделать//

Н. Давай с седьмым цехом договоримся/ нужно типа эскизика набросать/ чё там нужно проточить/ с седьмым или четырнадцатым/ и там и там можешь/ где повободнее//

Поскольку общение проходит в неофициальной обстановке, собственно информационная составляющая темы часто соединяется с фатическим развитием последней. Например, **Н.** беседовал с сотрудницей финансового отдела Ольгой Сергеевной о разработке нового документа. Соответствующую информацию нужно передать начальнику цеха, но **Н.** спешит на смену, поэтому он инициирует тему, связанную с новым положением о заработной

плате, сообщая лично **В. Ф.**, что встреча Ольги Сергеевны с начальником отодвигается. Содержание реплик **Н.** и **В. Ф.** определяется необходимостью уточнения информации: **В. Ф.** выясняет, что новое положение о зарплате будет готово завтра и таким образом получает сведения в объеме, необходимом для предстоящего делового телефонного разговора с начальником. После ухода **Н.** разработка темы нового положения о зарплате получает фатический разворот: информационная суть разговора редуцируется (в значительной степени потому, что **В. Ф.** ничего не знает о содержании документа); обыгрывается несбыточная возможность щедрой раздачи денег. Тема диалога сохраняется, однако ее переводят в шуточный регистр. При этом выбор фатики активизирует коммуникативную координацию [Борисова 2001: 218—222]. Образную конкретизацию получает идеологический стереотип «каждому по потребностям» (*Надо ребятам денег дать (...)* Максиму Махнутину/ сколько тебе надо?). Деформация известного коммунистического мифа, его ироническая интерпретация в реплике старшего рабочего свидетельствует о том, что данная мифологема не служит более жизненным ориентиром:

Н. *К-в (начальник цеха) если будет звонить/ скажи что Ольга Сергеевна не видит смысла встречаться с ней/ токо есть смысл встречаться с ней када будут разногласия по готовому положению (о заработной плате)//*

В. Ф. *А када оно будет готово?*

Н. *Ну она день просит сёдняшний/ завтра значит будет//*

В. Ф. *Положение что ли будет?*

Н. (утвердительно) *Передай//*

(**Н.** уходит)

Ю. *Чё он сказал?*

В. Ф. *Завтра положение будет новое//*

М. *Она его напишет что ли?*

Ю. *И чё/ просит/ чтобы К-в подписал?*

В. Ф. *Никто ничё не просит//*

М. *И чё?*

В. Ф. *Чё/ завтра напишет/ посмотрела/ все нормально (смеется)// Надо ребятам денег дать/ щас придет/ [пец. выраж.]/ Максиму Махнутину/ скоко тебе надо?*

М. *Лепешек пять//*

В. Ф. *Лепешек пять? (смеются)*

Общение в нерабочее время требует эмоциональной разрядки, поэтому основную часть дискурсивного пространства занимают разговоры собственно фатического характера.

Часто обсуждаются новомодные перемены, сопряженные с возможностью / невозможностью ломки традиционных жизненных установок. В рабочей среде ценностные ориентации вырабатываются на основе группы стереотипов. Вот некоторые из них: мужской способ заработка — честный труд; деньги нужно зарабатывать своими руками; собственность заводская

(общественная) — плод коллективного труда, собственность частная (принадлежащая новым русским) — результат воровства, мошенничества; продажная любовь аморальна. Молодые рабочие, как видно из нижеприведенного текста, иронически переосмыслиют набор указанных стереотипов. Усиливается жаргонизация реплик, что соответствует внедрению в текст новокультурем (*стриптиз-шоу, автостоянку купить, прибыльное дело*).

Коммуникативная кооперация поддерживается общими ценностными предпочтениями, пониманием парадоксальности сконструированной условной ситуации (*публичный дом открыть <...> его (Федорыча) устроить... в стриптиз-шоу*):

- М.** Я вот предлагал Федорычу публичный дом открыть/ возить вон на зеленой//
Д. Запросто//
М. А его устроить куда-нибудь в стриптиз-шоу/ да чё -то не согласился//
Д. Не хочет?
М. Не-е/ не хочет//
Д. Зря//
М. Прибыльное дело// Вася уже...(смеются)
Д. Можно такие бабки [нец.] крутить [нец.] // Автостоянку купить [нец.] и там публичный дом открыть [нец.] // Прямо в машинах [нец.]// Чисто конкретно//
М. Да?
Д. [Нец.]
М. Димыч/ у тебя мысль работает ваще!

Необходимо отметить, что старшие рабочие предпочитают стереотипные рассуждения о жизни; молодые прислушиваются к их мнению, но все же пытаются выйти за пределы стандартных жизненных схем. Споры о должном свидетельствуют о постепенном смещении традиционных для данной культуры жизненных стереотипов. Старшие рабочие уверены в правильности избранного жизненного пути; младшие — сомневаются:

- М.** Я понимаю один день/ два дня/ но каждый день [нец.] / придешь на работу/ садишься и паяешь/ паяешь/ потом собрался/ домой ушел/ на следующий день пришел/ опять паяешь/ паяешь//
В. Ф. Ну если работа такая дак чё?
М. Дак нет/ тЫ понимаешь/ это работа такая/ Я понимаю// Если б у нас всё работало как тЫ тут паяешь//
В. Ф. А вот ты [нец.] / када закончишь университет/ будешь/ придешь будешь [нец.] / [нец.]//
М. (смеется)
В. Ф. Домой уйдешь/ опять придешь и будешь [нец.] / [нец.] / и так каждый день// Понимаешь в чем дело// (смеются)
М. То есть это профессиональное/ то есть тебе неважно чё ты делаешь/ тебе токо бы паять//

В. Ф. *Я-то знаю чё я делаю/ а вот чё ты [нец.] будешь?*

М. *Тоже логично//*

Особая тематическая линия — отношение к инородцам (см.: [Философские и лингвокультурологические проблемы... 2003: 458—475]). В разговорах реализуются этностереотипы (*жид, черный, черножопый, хохол* и др.). Прослеживается существующая в языковом сознании оппозиция *мы / «наши»/ русские — они / «не наши»/ нерусские*, причем нерусскость часто не дифференцируется. Например, коми и коми-пермяки отождествляются и нечетко отличаются от башкир¹⁸:

В. В. *Ну Антон-то конечно за земляков//*

М. *Кто у него земляки-то?*

В. В. *У него же мать/ я не знаю//*

М. *Ну Антон-то не башкир//*

В. В. *Нет/ подожди/ кто же у него мать по национальности? Но она нерусская/ или...*

М. *Кто?*

В. В. *Или коми/ коми-пермячка/ ну чё-то оттуда//*

М. *Ну Башкирия и Коми-Пермяцкий автономный округ это рядом/ локоть влево/ локоть вправо/ по карте мира ничё не значит//*

В. В. *Я грю я не знаю кто//*

М. *Тебе лишь бы оговорить женицину//*

В. В. *Почему оговорить? Я чё такого...*

М. *А тЫ кто? Ты даже не знаешь своих истинных корней//*

В. В. *Знаю/ дед белорус//*

Все нерусское привычно признается не только не «своим», но и смешным; расовые признаки обобщаются (*желтый, раскосый — значит японец / китаец / кореец*); особо выделяются кажущиеся странными национальные предпочтения в пище (*корейцы едят собак*). Непохожесть фиксируется, вызывает некоторую настороженность, о чем свидетельствует шутивная тональность, пронизывающая диалогическое взаимодействие или накладывающаяся на возможный очаг напряжения. Так, в диалоге, который приводится ниже, обращает на себя внимание небрежность взгляда на разные этносы (*Ну он же не китаец// — Ну кореец/ какая разница?*), высокомерно-пренебрежительное отношение к чужому языку и чужим кулинарным предпочтениям:

В. Ф. *Как по-китайски блюдо из тухлых яиц?*

А. *Жопа наверно// Вон Х. (о рабочем-корейце) идет/ спроси у него//*

В. Ф. *А чё он знает?*

А. *Он на японскую разведку работает/ вчера признался/ или када с утра работали? В понедельник?*

¹⁸ О коми и коми-пермяцком народах см.: [Новый энциклопедический словарь 2001: 540].

- В. Ф.** Ну он же не китаец//
А. Ну кореец/ какая разница?//
В. Ф. Да [нец.] его знает/ сложный вопрос// Спроси/ собачку любит если/ значит кореец//
А. Чего?
В. Ф. Если собачку любит/ значит кореец//
А. Собачку? Любит? В смысле жареную что ли?
В. Ф. Но-о//
А. А ты не любишь?
В. Ф. Не приходилось//

Прямые по отношению к адресату номинации *хохол*, *татарин* вызывают стереотипные реакции (*За хохла ответишь//; За татарина/ как ты говоришь/ ответишь*¹⁹//). Встречаются попытки дать объяснение маркированным номинациям:

- Ю.** У нас в армии стоко хохлов было/ дак вот они мне сами хохлы говорили/ знаешь откуда произошло (имеет в виду слово *хохол*)?
В. В. Вот из-за этой [нец.] (показывает на затылок)//
Ю. Это же не оскорбление//
В. В. Да/ это ж не оскорбление [нец. выраж.]//

Исследуемый материал обнаруживает наличие некоторых этнических предрассудков, однако национальная враждебность в диалогическом взаимодействии нами не зафиксирована.

Нередко тематика разговоров задается кругом чтения (инициальная реплика *А ты читал?*), телевизионными передачами (*Видел/ по телеку показывали...?*), киносеансами (*Смотрел...?*). Инициатору темы обычно дают возможность изложить сюжет или рассказать о собственном впечатлении. Часто в подобные разговоры включаются внутрикультурные оценки. Например, пересказ **В. В.** газетной публикации позволяет собеседнику (**М.**), хорошо представляющему себе композиционное соотношение газетных материалов, сделать вывод о ценностных предпочтениях **В. В.** Последний понимает намек на узость интересов, однако рассказать может лишь об очередной газетной сплетне (но не о политических новостях). Фатическая направленность диалога не деформируется:

- В. В.** Вчера «АиФ» пришел/ про деда одного печатали/ восемьдесят один год/ за изнасилование сел [нец.]/ дело завели//
М. Валера/ у тебя какая-то это...
В. В. (перебив.) Да перестань//
М. «АиФ» такая толстая газета [нец.] / и ты из всей газеты вынес только то/ что дед/ восемьдесят...

¹⁹ Подобные реплики содержат указание на чужую речь: обычно так говорят молодые люди; старшие рабочие перенимают модель, удобную в инвективной ситуации.

В. В. (перебив.) *Нет/ просто я по порядку так//*
М. *А/ по порядку/ с этого да/ на первой странице//*
В. В. *На последней странице про внучку Шолохова/ ну там всегда криминал какой-нибудь/ якобы внучка Шолохова/ ездила по северу там/ собирала сведения там/ лекции читала/ про своего дедушку/ потом выяснилось/ что это аферистка/ у нее ваще три паспорта//*
М. *Но-о//*

Обсуждение телевизионных передач нередко перерастает в споры о политике и политике. Политика, как правило, представляется в лицах, деятельность которых одобряется или порицается. В разговорах на политическую тему также обнаруживаются стереотипные жизненные установки. Например, в диалоге молодых людей **М.** и **Н.** о Жириновском, его высказываниях и шансах стать губернатором Свердловской области содержится цепочка имплицитных и эксплицитованных стереотипов: колхозники — народ отсталый, рабочие — передовой класс; наша сила в единстве; НАТО — враг нашей страны (эти стереотипы, отраженные в речи Жириновского, одобряются); мы развалим, разрушим все, что можно (ироническое восприятие отечественной истории); народ не дурак: за клоуна не проголосует; политики продажны; пропадать — так с музыкой:

М. *А там от аграриев какой-то выступал/ подколот его (о Жириновском)/ ну он и сказал/ «Вы колхозники ничё не понимаете/ я предлагал чё? Если б Украина вступила/ Беларусь/ Россия/ НАТО бы захлебнулась от этого/ и сама собой бы распалась бы»//*
Н. *Ну мы бы там точно развалили//*
М. *По-любому//*
Н. *Ну Жирик-то/ ты знаешь// Чё/ он будет у нас губернатором? Надо голосовать//*
М. *Ну и чё? Ну и чё голосовать? А вы знаете что в Свердловской области три миллиона токо избирателей/ и миллион из них живет в Екатеринбурге/ то есть Жирику там нече ловить/ это вон подняли тУт ребята флаг/ и счастливы//*
Н. *Они уже линкольн подогнали//*
М. *Они его еще не подогнали//*
Н. *Подогнали/ показывали по «Четвертому каналу»//*
М. *Уже приехал? А машины приехали?*
Н. *Машины нет еще/ там бронированный ЗИЛ будет и чё-то еще//*
М. *Не/ а сказали что выехали//*
Н. *Не/ линкольн токо//*
М. *И тут останется//*
Н. *Закоцанный такой/ старенький//*
М. *Ну и чё теперь/ чё теперь за линкольн голосовать что ли?*
Н. *Ну почему? Жирик классный мужик/ он за бабки про любого правду скажет//*
М. *Чем он классный?*

Н. Зато весело будет/ представляешь/ новости врубаешь/ областные/ там токо Жирик будет всегда//

М. Ну и чё?

Н. Будет цитаты давать//

М. Чё там интересного/ и будем токо хохотать//

Даже неполная характеристика тематического спектра обнаруживает его широту и разнообразие, подтверждает наличие открытости просторечной культуры. Отраженные в речевой ткани текстов и в подтекстных семантических структурах жизненные стереотипы имеют как собственно русские, так и советские корни. Тенденция к переосмыслению традиционных жизненных установок молодыми носителями просторечной культуры свидетельствует о возможности нивелировки ее особенностей.

5.2. Тема любви и семейных отношений: стереотипные интерпретации

Тема любви неразрывно связана с семьей и семейными отношениями. Активно обсуждаются следующие аспекты темы: физиологические потребности, первые (добрачные) связи с женщиной, вынужденная женитьба, случайные связи женатого мужчины, ревность (жены), свободная полигамия, выбор жены, теща как причина семейного разлада. Открытость мужчин в разговорах о плотском имеет положительную сторону: каждодневная возможность выплеснуть эмоции, рассказать о сокровенном, тайном, не страшась сплетен, способствует психологической разрядке. Конвенция конфиденциальности в речевом коллективе строго соблюдается. В текстах данного тематического блока ярко проявляются стереотипы просторечной культуры: собственно речевые (устойчивые словосочетания, типовые оценочные средства), поведенческие схемы, цепочки хода мысли, или «ход мысли в ее становлении и развитии, а затем завершении» [Матвеева 1990: 43].

Низкой частотностью обладают слова с корнем *люб*. Глагол *любить* не употребляется в значении 'чувствовать сердечную склонность к лицу другого пола'. Невелик ряд существительных, обозначающих лиц женского пола: *девка, баба, маманя, бабка, свекровка, прабабка*; употребляются литературные номинации *девушка, мама, теща*. Жаргонизмы этого ряда нами не зафиксированы.

Мужчины охотно говорят о физиологической стороне любви, табуированной в литературной коммуникации. Женщина в исследуемых диалогах и монологах выступает как объект вожеления, похоти, удовлетворения естественных потребностей, но не душевной привязанности. В диалогических контактах то и дело возникают инициальные вопросы, связанные с сексуальным поведением, однако ответные реакции могут обнаруживать нежелание коммуниканта отвечать прямо. Это происходит, например, в случае перехода одного из участников диалогического взаимодействия на литературный код. Так, наличие в репликах **М.** сигналов книжного языка (*сексу-*

альная озабоченность, доминирует), не входящих в просторечный лексикон, раздражает **В. В.**, который таких слов никогда не употребляет. Книжные слова и выражения тормозят коммуникативную активность, служат причиной коммуникативной неудачи [Ермакова, Земская 1993: 31]. Вот почему реплика-стимул ...*давай рассказывай/ мне же интересно с научной точки зрения/ почему ты так...* не встречает ожидаемой ответной реакции. Очевидно, что книжная экспансия обуславливает обрыв основной тематической линии — стереотипная интерпретация темы в данном речевом коллективе не предполагает логизирования:

М. Ты Валера какой-то озабоченный/ все-таки чё-то в тебе озабоченность какая-то сексуальная есть//

В. В. Озабоченности не будет знаешь у кого?

М. У кого? Ну всё/ ну никто так уж не говорит как ты//

В. В. Как?

М. Так часто и так много/ никто приходя на работу/ и на вопрос «Где был?»/ не отвечает/ что ты там занимался онанизмом//

В. В. Ну чё тебе любопытному больше сказать?

М. Чё любопытному больше сказать? То есть это у тебя значит доминирует//

В. В. Ага//

М. Вот эта вот сторона жизни//

В. В. Э-э//

М. Чё ты/ чё ты/ чё ты «э»? Ты давай рассказывай/ мне же интересно с научной точки зрения/ почему ты так...

В. В. (перебив.) Чё тебе рассказывать?

М. Себя ведешь как? Вот так вот//

В. В. Ну конкретно/ конкретно/ как?

М. Вот ты у нас сексуально озабоченный мужчина/ это мнение коллектива//

В. В. Это твое мнение// <...>

Обыденное представление о взаимоотношении полов отражает стереотип *спортить девку*. Просторечный глагол *спортить* употребляется в значении 'лишить невинности'. Например, в разговоре за столом (в этом разговоре участвуют также **Ж. Н.** и **Т. В.** — женщины, приглашенные по случаю праздника) данное словосочетание используется в функции ключевого, причем женщины не пытаются заменить его более мягкими обозначениями.

Текст состоит из трех тематически связанных частей: история любви и женитьбы неудачливого Васи; оценки действующих лиц обсуждаемой истории; общие суждения о сексуальном поведении мужчины.

Обнаруживаются стереотипные зависимости, за которыми стоит мужской этический кодекс: *спортит девку* — виноват, значит, обязан жениться; если можно скрыть факт прелюбодеяния, сделай это; каждый мужчина в молодости должен *спортить* хоть одну *девку* — это закон природы; *девка* рада первой связи — это для нее возможность выйти замуж; *девка* всегда старается извлечь для себя выгоду — не жалеет ее:

М. Как его сюда занесло? (о рабочем В., который в момент разговора отсутствует).

Т. В. Служил в армии// С девкой//

Ж. Н. Спортил девку тут// Мы его уже ругали// (смеется)

В. В. Дак может девка его спортила?

Т. В. Нет/ он ее// Она молоденькая очень была/ а он ушлый// Спортил ее// Пришлось остаться//

Ж. Н. Нет/ Он уехал// Она за нИм поехала//

М. И вернула Васю//

Т. В. И привезла его сюда (смеется) // Их в горисполкоме дедка списал²⁰//

А. М. Вася-то связанный был нет?²¹ Когда списывались?

М. Вася-то глупый// Оставил все координаты//

Т. В. Мы его ругали уже/ что он девку спортил//

М. А девку не спрашивали? Она/ может быть/ довольная? Надо спросить сначала//

Т. В. Все равно мы Васю ругали//

В. В. А зря/ зря//

М. Вася там/ прикинь/ один работал// Там ваще стрельба такая/ как наядут там вчетвером// Тогда их было четверо//

В. В. Ваще Васю заели//

М. Он сам признался/ что Он спортил-то?

Ж. Н. Да/ он нам рассказал//

М. Вот дурак/ блин// Она воспользовалась ситуацией/ и Вася попал//

Т. В. (показывает на В. В.) Во-он сидит/ тоже девку спортил//

В. В. Я ничё не грю// Все в свое время спортили// Поднимите руку/ кто не спортил? (все смеются)

Интересно, что девичья невинность традиционно воспринимается как условие, соблюдение которого позволяет девушке вступить в «честный» брак. Не случайно добрачные встречи с девушкой привычно обозначаются глаголами *ходить*, *дружить*, семантика которых лишена сем физической близости: *Мы с ней/ два года ходили//; В жизни бывает/ со школьной скамьи ходят/ а женятся на других//; Коля со своей долго дружил/ до горисполкома//*. Горисполком воспринимается как символ насильственного заключения брака: *Под ручки/ и в горисполком//; Она его силком/ в горисполком повела; Она тебе мозги компостирует// Моргнуть не успеешь/ в горисполкоме окажешься//*. Семантика данных высказываний позволяет говорить об определенных этических уступках: необязательность уважительного отношения к девушке, а также искренности, правдивости в вербальных контактах молодого человека с девушкой до вступления в брак. Очевидно, что границы этической позволительности расширяются.

²⁰ Глагол *списывать(ся)* употребляется в значении ‘регистрировать брак’.

²¹ Фраза произносится без паузы. Вопросительная интонация сочетается с иронической. Такая интонационная конструкция широко распространена в речи уральцев.

Отношение к жене, независимо от возраста, носит собственнический характер. Слово *жена* имеет устойчивый просторечный местоименный синоним *моя*, например:

(Входит **Z.** — муж одной из работниц)

Z. *Здравствуйте/ с наступающим!* (о празднике 8 Марта) *Где моя?*

В. В. *Наступает где-то// Шас м о е й позвоню//*

М. *Звонари// Вам звонить токо//*

Внутри просторечной культуры подобные формы осознаются как общепринятые. Ср.: *Вася со своей придет //; Твоя дома? В женской речи здесь наблюдается аналогия: Твой-то дома?; Мой выпить любит//*. Подобные языковые стереотипы свидетельствуют о специфике ролевых функций супругов — носителей просторечной культуры (ср.: [Занадворова 2001: 13]).

Невероятные истории рассказывают о ревнивых женах. Одна из таких историй связана с незадачливым мужем, который решил скрыться от ревнивой жены за границей, наивно полагая, что уж там жена не найдет его, а связь с любовницей останется тайной. Мужская ложь, супружеская измена не осуждаются, над горе-любовником незлобиво смеются:

О. М. *Она (жена общего знакомого) недолго думая... билет туда в Эмираты// Там узнала/ где он завис// Той бабе²² волосы выдрала/ мужика на самолет/ и сюда//*

М. *А-а-а//*

О. М. *И это все/ (...) в Эмираты он ни ногой// Завис там с бабой // (смеются)*

Рабочие без стеснения рассказывают друзьям о состоявшихся и несостоявшихся любовных связях, полагаясь на конвенцию неразглашения тайны:

В. В. *Лет наверно около пятнадцати прошло// Она (подруга жены) раз меня попросила свозить ее в поселок// У них там дом// Ну думаю [нец.]// Сама же [нец.] себя выдашь/ краснеть начнешь// Моя что-нибудь подковырнет²³/ и все/[нец. выраж.]²⁴ // А ведь была возможность! (с досадой)*

Подобные «живые» истории активизируют речевой жанр наставления, основанный на разработке поведенческих стереотипов. Так, стереотип «себе дороже», смысл которого передается в откровенном рассказе **В. В.**, развивается в наставлении **М.**, в котором акцентируются приоритеты: семья дороже столь привлекательной временной связи.

²² Любовницу привычно называют *бабой*.

²³ Глагол *подковырнуть* употребляется в переносном значении: ‘узнать, догадаться, доискаться’.

²⁴ Здесь и в других случаях физиологические отношения привычно обозначаются нецензурными с точки зрения носителя литературно-разговорной речевой культуры [Сиротинина 1998: 352—353] словами, которые употребляются также как своего рода экспрессивные междометные сигналы, повышающие эмоциональный накал устного рассказа.

В. В. *Где-то все это всплывет (о внебрачной связи)// Она (подруга жены) сама же проболтается [нец.]//*
М. *Вот именно// А зачем тебе такие неприятности?*
В. В. *Да//*
М. *Отец семейства/ ерунда на уме// Еще вот тем более подруга жены// Ты Валера/ Валера// (с укором)*

Коммуникантами, хотя и в шуточной форме, живо обсуждается тема свободной полигамии:

О. М. *Вот у них (у немцев) единственное чё хорошее/ бани общие// Мужики с бабами вместе// Раздеваются токо по отдельности/ а моются вместе//*
М. *Ну а чё такого? Вполне естественно//*
О. М. *Нормально//*
В. В. *Это правильно//*
М. *Да господи// Ты в своей бане// У тебя чё/ женское отделение/ мужское отделение// А там все люди братья// (смеются)*

Простейшая бытовая ситуация нередко трансформируется в ситуацию сексуального контакта:

В. В. *К тетке поеду//*
М. *Тетка молодая?*
В. В. *Она ж пять раз бабушка// (с иронией) Молодая //*
М. *А ты [нец.]/ спонсор-рецидивист//*
О. М. *Бабушки в 35 лет бывают/ так что...*
М. *Вот-вот// Водки не надо/ тетку молодую// (смеются)*

Собственно нравственные суждения в разговорах о любовных утехах, как правило, отсутствуют; моральный аспект темы не интерпретируется. Здесь главное не анализ ситуации, а возможность пошутить, посмеяться. Намеки и соленые шутки, как и обсценизмы, — знаки корпоративности, мужской солидарности. Например, занимаясь обустройством подсобки, рабочие конструируют понятную всем присутствующим ситуацию. Каждая последующая реплика подхватывает и развивает имплицитные смыслы, содержащиеся в предыдущей. Множественное число в заключительной реплике используется как средство языковой игры:

А. *Вот с Валерой/ второй этаж заделаем/ диван поставим/ самовар//*
Ю. *Шторки/ цветочки// (смеется)*
В. В. *Женщина/ лучшему рабочему//*
Ю. *Лучшим рабочим// (смеются)*

В записях живой речи заводчан отражена тема выбора жены. Это, в частности, объясняется наличием в рабочем коллективе холостяков. По нашим наблюдениям, не обсуждаются душевные качества будущей избранницы, ее интеллект. В то же время мужчины охотно говорят о работоспособности женщины, ее умении ухаживать за мужем, смотреть за ним, готовить, стирать. Это связано с традицией разделения трудовых обязанностей: «В семье

существуют естественные функции: мужчина зарабатывает деньги, а женщина заботится о доме. И так было веками» [Piirainen 1997: 156].

Стереотип *братъ жєну*, реализованный в диалоге **В. В.** и **М.**, не имеет активной родо-половой пары (обычно не говорят «братъ мужа») и свидетельствует о сохранении патриархальных отношений в семье (ср.: стереотип «отец семейства» не имеет активной параллели «мать семейства»). Глагол *любить* в этом диалогическом единстве употребляется в значении 'заботиться о муже, ухаживать за ним'. Контекст позволяет выделить более конкретные смыслы: 'следить за внешним видом мужа, приводить в порядок его одежду, обувь'. Содержательное наполнение глагольного слова отражает факт оставшегося до настоящего времени в семье разделения труда, которое мужчины считают целесообразным. Оказывается, внешний вид (*наглаженный, начищенный, отутюженный*) небезразличен для мужчины, однако заботу о состоянии одежды он привычно перекладывает на плечи жены:

В. В. (наставительно) *Ваще так и надо/ жєну старше братъ// Где-то лет на десять//*

М. *Наоборот//*

В. В. *К старости у ней открывается материнская любовь// Она знаешь/ как любит мужа// Вот как у нас этот/ Васька Ф. был// Она ж у него старше// Он всегда придет наглаженный/ начищенный// Он на работу ходит/ как ты по улицам не ходишь// Всегда отутюженный//*

Рассуждения о возрасте супругов опираются на стереотип «жена должна быть моложе мужа — так заведено». Стандартная цепочка хода мысли: если молодой мужчина женился на женщине, которая старше его, через некоторое время он обязательно «сбежит» к молодой. Такая логическая зависимость прослеживается, например, в разговоре о супружеских отношениях А. Пугачевой и Ф. Киркорова:

О. М. *Вон Алла//*

М. *Алка Пугачева// (пауза) Любитель старины/ блин// Собиратель антиквариата// (о Киркорове)*

В. В. *У ее похоже это самое/ в крови такое//*

М. *Это есть такое расстройство сексуальное// Не помню/ как это называется// У них там чуть ли не на 25 лет// Скоко ей?*

В. В. *Алке где-то/ ей уже 50//*

М. *Ну а ему 26 было?*

В. В. *30//*

М. *20 лет разницы// Она ему в матери годится//*

В. В. *Ну ничё/ потом Кристину захомотает и все нормально будет//*

М. *Но-о//*

Как следует из материала, общее место мужских разговоров о семье — тема тещи. Слово *теща* приобретает отрицательно-оценочный смысл. Теща — причина семейного разлада, ссор, конфликтов. Она превращает

жизнь в ад. Стереотипная цепочка хода мысли: Теща невыносима → Совместная жизнь с ней невозможна → Лучше умереть, чем жить с тещей. Эта схема лежит в основе многих мужских суждений о семейной жизни. Например:

О. М. Мужик был// Он с тещей жил долго// Скоко лет ему? Уже под 40 было// Он grit/ «Теща в отпуск уехала/ я на вокзал ее провожал// Я был готов паровоз целовать/ что она уезжает»// (все смеются)

В. В. Ну это хорошо// Я токо одну зиму вытерпел//

М. А потом ты ее куда?

В. В. Нет/ Я ушел//

М. Под паровоз?.. (смеются)

Молодые люди, еще не вступившие в брак, испытывают страх перед будущей тещей, заранее настраиваются на конфликт в семье. Общее мнение: «С тещей жить нельзя». Женские доводы и даже простые жизненные наблюдения в расчет не принимаются: стереотип негативного, настороженного отношения к теще очень устойчив. Главным недостатком тещи признается ее разговорчивость. Коммуникативные права тещи в семье явно ущемляются. Даже естественное желание поговорить с зятем воспринимается негативно. Молчаливость, напротив, признается коммуникативным достоинством тещи, а также свекрови. Так, **Т. В.** говорит о своей долгосрочной коммуникативной стратегии (*Я свекровка/ а тоже рот не открываю//*, т. е. «не вмешиваюсь в разговоры сына с дочерью, не настаиваю на своей правоте, не высказываю своего мнения») с внутренним принятием маргинальности коммуникативной роли свекрови. Все признают трудовой вклад тещи в семейное хозяйство (*...у меня теща все сама делала// Она у нас гусей колола/ кур колола сама/ валенки ребятам подшивала/ все делала//*), однако жизнь тещи привычно ограничивают стенами дома (*Вон Я с тещей никуда не пойду//*). Объективной причиной ущемления прав (в том числе коммуникативных) тещи (иногда свекрови) является совместное проживание двух семей (*Там/ где две женщины/ у одной плиты не сварят//*).

Приведем в качестве примера полилог, в котором холостяк **М.** настаивает на невозможности хороших отношений с тещей вообще (не с конкретной женщиной), а люди семейные делятся собственным житейским опытом:

М. Со мной теща жить не сможет// Сама уйдет//

Т. В. Надо думать/ Максим//

О. М. Не скажи/ Максим/ какая теща попадется//

Ж. Н. Вот моя мама/ я грю/ 25 лет живет//

Т. В. Может/ она все причуды твои исполнять будет//

М. Ну щас// Да нет/ у меня как/ с потенциальными тещами проблем никаких//

В. В. Вон Я с тещей никуда не пойду//

О. М. У меня теща все сама делала// Она у нас гусей колола/ кур колола/ сама валенки ребятам подшивала/ все делала//

- М.** Ну/ такую тещу можно держать// Главное/ чтобы рот не открывала//
В. В. А чё/ у меня теща даже печки лóжила/ в свое время// Щас 82 года уже// Уже не ложит//
Т. В. А чё вы все про тещ да про тещ// Я свекровка/ а тоже рот не открываю// (смеется) Я тоже молчу//
О. М. Свекровки обычно молчаливые//
Ж. Н. Не открываешь рот?
Т. Н. Не открываю// Тоже молчу//
В. В. Там/ где две женщины/ у одной плиты не сварят// Там все равно/ дележка начнется//
М. Но-о//

Анализ стереотипных интерпретаций информантами тем, характерных для данного просторечного дискурса, убеждает в том, что носителей просторечной речевой культуры связывают общие мировоззренческие установки. Коммуникативная координация внутри речевого коллектива поддерживается набором стереотипов, выступающих в качестве константных составляющих данной культуры. Дальнейшее изучение стереотипов позволит описать речевые реакции носителей просторечия в типовых ситуациях, даст возможность более полно охарактеризовать ментальные особенности коммуникации.

Литература

- Баранникова 1997 — Л. И. Баранникова. Просторечие и литературная разговорная речь // Язык и общество. Вып. 4. Саратов, 1977. С. 59—77.
- Беликов, Крысин 2001 — В. И. Беликов, Л. П. Крысин. Социолингвистика. М., 2001.
- Борисова 2001 — И. Н. Борисова. Русский разговорный диалог: структура и динамика. Екатеринбург, 2001.
- Вепрева 2002 — И. Т. Вепрева. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. Екатеринбург, 2002.
- Винокур 1993 — Т. Г. Винокур. Информативная и фатическая речь как обнаружение разных коммуникативных намерений говорящего и слушающего // Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический аспект / Отв. ред. Е. А. Земская и Д. Н. Шмелев М., 1993. С. 5—29.
- Герд 2000 — А. С. Герд. Несколько замечаний касательно понятия «диалект» // Русский язык сегодня / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2000. С. 45—52.
- Гридина 1996 — Т. А. Гридина. Языковая игра: Стереотип и творчество. Екатеринбург, 1996.
- Ермакова, Земская 1993 — О. П. Ермакова, Е. А. Земская. К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании... М., 1993. С. 36—64.
- Ермакова и др. 1999 — О. П. Ермакова, Е. А. Земская, Р. И. Розина. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999.

Ерофеева 1991 — Т. И. Ерофеева. Опыт исследования речи горожан (территориальный, социальный и психологический аспекты). Свердловск, 1991.

Жельвис 1997 — В. И. Жельвис. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема. М., 1997.

Жельвис 2002 — В. И. Жельвис. Вербальная дуэль: история и игровой компонент // Жанры речи. Вып. 3. / Отв. ред. В. Е. Гольдин. Саратов, 2002. С. 200—205.

Живая речь ... 1995 — Живая речь уральского города: Тексты / Под ред. Т. В. Матвеевой. Екатеринбург, 1995.

Занадворова 2001 — А. В. Занадворова. Функционирование русского языка в малых социальных группах (речевое общение в семье): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.

Земская 1973 — Е. А. Земская. О понятии «разговорная речь» // Русская разговорная речь / Отв. ред. Е. А. Земская. М., 1973. С. 5—17.

Земская и др. 1983 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Языковая игра // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Жест. М., 1983. С. 172—211.

Земская, Китайгородская 1984 — Е. А. Земская, М. В. Китайгородская. Наблюдения над просторечной морфологией // Городское просторечие: Проблемы изучения / Под ред. Е. А. Земской и Д. Н. Шмелева М., 1984. С. 66—102.

Капанадзе 1984а — Л. А. Капанадзе. Современное городское просторечие и литературный язык // Городское просторечие... С. 5—12.

Капанадзе 1984б — Л. А. Капанадзе. Современная просторечная лексика (московское просторечие) // Городское просторечие... С. 125—129.

Китайгородская 1988 — М. В. Китайгородская. Наблюдения над построением устного просторечного текста // Разновидности городской устной речи / Отв. ред. Е. А. Земская и Д. Н. Шмелев. М., 1988. С. 156—182.

Китайгородская, Розанова 1999 — М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999.

Китайгородская, Розанова 2003 — М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речевое общение в иерархизированных общностях говорящих // Современный русский язык: Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2003. С. 403—454.

Крыжановская, Матвеева 1989 — О. Д. Крыжановская, Т. В. Матвеева. Фонетические регионализмы в литературной речи на Урале и пути их устранения при подготовке актеров // Живая речь уральского города. Свердловск, 1989. С. 55—63.

Крысин 1977 — Л. П. Крысин. О некоторых понятиях современной социальной лингвистики // Язык и общество. Вып. 4. Саратов, 1977. С. 3—19.

Крысин 2001 — Л. П. Крысин. Современный русский интеллигент: попытка речевого портрета // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1. С. 90—106.

Крысин 2003а — Л. П. Крысин. Просторечие // Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. М., 2003. С. 53—68.

Крысин 2003б — Л. П. Крысин. Толерантность как социолингвистическая категория // Толерантность и коммуникация: Теоретические и прикладные аспекты. Международная научная конференция. 15—18 мая 2003 г. Екатеринбург, 2003 (в печати).

Купина 1990 — Н. А. Купина. Разговорное диалогическое единство как текст // Языковой облик уральского города / Отв. ред. Н. А. Купина. Екатеринбург, 1990. С. 38—46.

Ларин 1928 — Б. А. Ларин. О лингвистическом изучении города // Русская речь. Вып. 3. Л., 1928. С. 61—74.

Лингвокультурологические проблемы... 2001 — Лингвокультурологические проблемы толерантности: Тез. докл. междунар. науч. конф. 24—26 окт. 2001 г. Екатеринбург, 2001.

Матвеева 1990 — Т. В. Матвеева. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. Свердловск, 1990.

Матвеева 2000 — Т. В. Матвеева. Нормы речевого общения как личностные права и обязанности // Юрис-лингвистика-2. Русский язык в его естественном и юридическом бытии / Отв. ред. Н. Д. Голев. Барнаул, 2000. С. 46—55.

Махнутин 2000 — М. О. Махнутин. Мужская речь уральского города: социолингвистический очерк. Дипл. раб. Екатеринбург, 2000.

Морозова 1984 — Т. С. Морозова. Некоторые особенности построения высказывания в просторечии // Городское просторечие... С. 141—162.

Николаева 1991 — Т. М. Николаева. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность: Проблемы и перспективы развития русистики: Доклады Всесоюзной научной конференции. Ч. 2. М., 1991. С. 73—75.

Новый энциклопедический словарь 2001 — Новый энциклопедический словарь / Гл. ред. А. П. Горкин. М., 2001.

Ожегов 2001 — С. И. Ожегов. О просторечии (К вопросу о языке города) // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М., 2001. С. 412—419.

Розанова 1984 — Н. Н. Розанова. Современное московское просторечие и литературный язык // Городское просторечие... С. 37—65.

Санников 1999 — В. З. Санников. Русский язык в зеркале языковой игры. М., 1999.

Сиротинина 1998 — О. Б. Сиротинина. О терминах «разговорная речь», «разговорность» и разговорный тип речевой культуры // Лики языка / Отв. ред. М. Я. Гловинская. М., 1998. С. 348—353.

Сиротинина 2000 — О. Б. Сиротинина. Русский язык в разных типах речевых культур // Русский язык сегодня / Отв. ред. Л. П. Крысин. М., 2000. С. 240—250.

Словарь русских говоров 1996 — Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург, 1996.

Словарь русских народных говоров 1966 — Словарь русских народных говоров. Вып. 2. М.; Л., 1966.

Словарь синонимов... 1970 — Словарь синонимов русского языка / Гл. ред. А. П. Евгеньева: В 2 т. Т. 1. Л., 1970.

Философские и лингвокультурологические проблемы... 2003 — Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. Н. А. Купина и М. Б. Хомяков. Екатеринбург, 2003.

Химик 2000 — В. В. Химик. Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен. СПб., 2000.

Хорошая речь 2001 — Хорошая речь / Под ред. М. А. Кормилицыной и О. Б. Сиротининой. Саратов, 2001.

Черняк 1994 — В. Д. Черняк. наброски к лексическому портрету маргинальной языковой личности // Русский текст. 1994. № 2. С. 115—130.

Шалина 2000 — И. В. Шалина. Коммуникативно-речевая дисгармония: ее причины и виды // Культурно-речевая ситуация в современной России / Отв. ред. Н. А. Купина. Екатеринбург, 2000. С. 272—287.

Щерба 1974 — Л. В. Щерба. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 24—39.

Piirainen Timo 1997 — Timo Piirainen. Towards a new social order in Russia: transforming structures in everyday life. Dartmouth; Aldershot, 1997.

Н. А. НИКОЛИНА

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Одним из ключевых образов русской поэзии является образ языка (речи, глагола). В поэтических текстах XIX — XX вв. встречается множество контекстов, отражающих рефлексию над словом, его звуковым обликом, содержащих размышления о его силе, власти, о судьбах родного языка. Достаточно разнообразен и состав образов языка. «Язык становится как бы двойником *homo sapiens*. Он проникает внутрь человека. Он формирует его сознание. Он пишет портрет этноса и отдельных личностей» [Арутюнова 2000: 12]. Несмотря на высокую частотность слов *язык, речь, слово, глагол* в поэтической речи, несмотря на разнообразие контекстов, включающих различные образы языка (слова), периферийной для русской поэзии в течение длительного времени оставалась «грамматическая» тема.

В поэзии первой половины XIX в. обращение к грамматическим характеристикам и терминам связано преимущественно с развитием стиховедческих тем и мотивов. Так, в поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» названия частей речи используются в строфах, посвященных «правам» глагольных рифм: «... Уж и так мы голы... / Отныне в рифмы буду брать глаголы. / Не стану их надменно браковать, / Как рекрутов, добившихся увечья, / Иль как коней, за их плохую статью, — / А подбирать союзы да наречья, / Из мелкой сволочи вербуя рать».

Образная характеристика рифм дополняется оценочной дифференциацией частей речи: глаголы противопоставляются «мелкой сволочи», в состав которой, наряду с союзами, зачисляются и «наречья».

В стихотворении П. А. Вяземского «Александрыйский стих», эпиграф к которому отсылает к поэме «Домик в Коломне», глагол и его свойства служат уже центром образных притяжений; грамматический термин входит в состав сложных метафор: «Глагол наш великан плечистый и с брюшком, / неповоротливый, тяжелый на подъем, / И руки что шесты, и ноги что ходули, / В телодвижениях неловкий. На ходу ли / Пядь полновесную как в землю вдавит он — / Подумаешь, что тут прохаживался слон»...

С течением времени все большее место в поэтических текстах начинает занимать языковая и речевая рефлексия. Объектом ее служат не только фо-

нические особенности русской речи или семантика отдельных слов, но и употребление грамматических форм, и их категориальные значения. Так, лирика обращается к коммуникативной ситуации урока грамматики. Например, А. Фет в стихотворении «*Светлое чувство какое-то в несколько дней овладело...*» включает в монолог лирического героя полемику с учителем, разбирающим залого глагола и комментирующим их семантику. Урок грамматики оценивается как способ постижения мира, как «урок» чувств. Отрицание ложной, с точки зрения лирического героя, информации перерастает в утверждение ценности любви, истинной жизни сердца: «Как отворялися двери, расслушать я мог, что учитель / Каждый отдельный глагол прятал в отдельный залог: / Он говорил, что любить есть действие — не состоянье. / Нет, достохвальный мудрец, здесь ты не видишь ни зги; / Я говорю, что любить — состоянье, еще и какое! / Чудное, полное нег!.. Дай Бог нам вечно любить!».

В поэзии XIX в. такие контексты, однако, единичны. «Грамматическая» тема входит в русскую поэзию в XX в. В текстах резко возрастает количество грамматических терминов, которые становятся дополнительным источником экспрессии, одновременно в поэтической речи все чаще проявляется метаграмматическая рефлексия, ее объектом служат разные аспекты употребления форм и категорий, которые при этом рассматриваются или как отражение духа народа, его особой картины мира, или как эстетическое явление, или, наконец, как ключ к постижению закономерностей бытия. Так, Вячеслав Иванов в стихотворении «Славянская женственность» обращается к формам женского рода глаголов прошедшего времени. Флексия и суффикс глагольных форм интерпретируются как звуковое единство, обладающее особыми смысловыми «обертонками». Этот комплекс — *да* включен в тексте в ряд звуковых повторов, пронизывающих стихотворение: «Как речь славянская дедеет / Усладу жен! Какая мгда / Благоухает, дунность мдеет / В медлительном глагольном да! / Воздушной даской покрывала, / Крылатым обаяньем сна / Звучит о женщине *она*. / Поет о ней: *очаровала*».

В результате это сочетание морфем семантизируется: в нем как в целостности актуализируются такие семы, как 'сладость', 'ласка', 'благоухание', 'тайна' и др. При этом формы женского рода рассматриваются как яркая примета именно «славянской речи»: грамматическая форма в трактовке поэта отображает национальное мировидение и воплощает музыкальность языка (ср.: «*звучит*», «*поет*»). Эта грамматическая форма, наконец, служит поэтическим портретом «славянских... *жен*» и приобретает характер грамматического символа — символа женственности.

Грамматические термины в поэзии XX в. начинают занимать сильные позиции текста — позицию заглавия, начала или конца произведения. Так, В. Ходасевич называет свое стихотворение 1907 г. «Passivum»: в его тексте концентрируются формы кратких страдательных причастий. Например: «Итак, лишь нитью, тонким стеблем / Он [день] к жизни был легко прицеплен! / В моей душе огонь затеплен / Неугасим и неколеблем».

В поэтической речи XX века грамматические термины, развивая в текстах переносное значение, служат дополнительным источником образности, регулярно используются как тропы. Например, в одном из ранних стихотворений О. Мандельштама термин «окончание» входит в состав генитивной метафоры: *И глагольных окончаний колокол / Мне вдали указывает путь...*

В «Попытке комнаты» М. Цветаевой наименование падежа метафоризируется и одновременно употребляется как метонимия: «Оттого ль, что не стало стен — / Потолок достоверно крен / Дал. Лишь звательный цвел падеж / В речах. А пол — достоверно брешь».

В поэме Б. Пастернака «Лейтенант Шмидт» и слово *падеж*, и фрагмент парадигмы, включенный в текст, участвуют в создании двух противопоставленных друг другу образов: «мятежа» прибоя и избыливающей повторениями речи агитатора. «Образец» склонения вызывает ассоциации с уроком и подчеркивает *каторжность миссии* оратора, а механистичность повторов противопоставляется естественной и свободной мощи моря, сила мятежа которого находит выражение в гиперболе *в семидесяти падежах*: «И каторжность миссии: переорать / (Борьба, борьбы, борьбе, борьбою, / Пролетарят, пролетарят) / Иронию и соль прибоя, / Родящую мятеж в ушах / В семидесяти падежах».

За грамматическими терминами в поэтических текстах закрепляется ряд устойчивых ассоциаций. Так, склонение в русской поэзии первой половины XX в. ассоциируется или с унылым однообразием, «дурной бесконечностью», или с властью рока, см., например: «Окно склоняется вот так: / Окно, окна. / А за окном все тот же мрак / И та же ночь видна... / Окно склоняется вот так: / Окно, окна, / О этот рок, о этот мрак / Бессмысленного сна» (В. Андреев).

Ситуация же знакомства со склонением (или спряжением) может осмысливаться как урок жизни, урок любви: «Любите ли вы “тянули”, / Птичку “сплю”, / А также в предмете “русский язык” / Прошли ли спряжение / Глагола “люблю”?»... (В. Хлебников. Крымское); «...Склонение местоимения “он” учим, — / Могли бы ответить детские глаза спросившему, чем занять / Ныне дитя. Наступят сроки, и главным станет то, / Что сейчас как отдаленный гнев и ужас мерещится» (В. Хлебников. Маркиза Дээс).

Именно термины «склонение» и «падеж», наряду с обозначениями частей речи, особенно часто используются в поэзии 1-й половины XX в. в составе тропов, см., например: «Конькобежец и первенец, веком гонимый взащей / Под морозную пыль образуемых вновь падежей» (О. Мандельштам).

Обозначения падежей не только входят в состав тропов, но и служат моделью, по которой образуются новые образные средства, при этом обнажается внутренняя форма терминов, а слова «падеж» и «склонение» последовательно выступают в переносном значении. Так, в стихотворении С. Кирсанова «Склонение» склонение служит метафорой любовных отношений, а падеж — обозначением характерных для них ситуаций: «Именительный /

это ты, / собирающая / цветы, / а родительный — / для тебя, / трель и щелканье / соловья. / Если дательный — / все тебе, / счастьем названное / в судьбе, / то винительный — / нет, постой, / я в грамматике / не простой, / хочешь — новые падежи / предложу тебе? / — Предложи! / — Повстречательный / есть падеж, / узнавательный / есть падеж, / любительный, / обнимательный, / целовательный / есть падеж. / Но они / не одни и те ж — / ожидательный / и томительный, / расставательный / и мучительный, / и ревнительный / есть падеж. / У меня их / сто тысяч есть / а в грамматике / только шесть!».

Функционируя в составе тропов, грамматические термины, прежде всего названия частей речи, сближают в поэтической речи первой половины XX в. мир природы и мир языка, внутреннюю жизнь человека и речь. Ср.: «Речной волны писал глаголы я» (*В. Хлебников. Синие оковы*); «Как колокол на перекладине дали, / Серебряный слиток глотательной впадины, / Язык и глагол ее, — месяц небесный» (*Б. Пастернак. Дурной сон*); «Чего мне бояться? Я тверже грамматики / Бессонницу знаю...» (*Б. Пастернак. Марбург*).

Грамматические термины привлекаются также в поэтических размышлениях о судьбах литературы, о пределах изобразительности, об экспрессивных возможностях языковых средств, при этом термины, как правило, также входят в состав тропов или сочетаются с глагольными метафорами: «Все наклоненья и залюги / Изжеваны до одного. / Хватить бы соды от изжоги! / Так вот итог твой, мастерство?» (*Б. Пастернак*); «“Но вместо всех изобразительных / приемов и причуд, нельзя ль / одной опушкой существительных / и воздух передать, и даль?” / Я бы добавил это новое, / но наподобие кольца / сомкнуло строй уже готовое / и не впустило пришельца» (*В. Набоков. Как под стихами силы средней...*).

Грамматические термины дополняются обозначениями знаков препинания, которые столь же активно употребляются в поэтической речи первой половины XX в. и также функционируют как тропы: «Расстрел царя был знаком восклицанья, / Победа войск служила запятой, / А толпы — многоточия. / Чье бешенство не робко»... (*В. Хлебников. Азы из Узы*); «Укусов запяты / Учили препинанью голос»... (*В. Хлебников. «Сегодня строго боярыней Бориса Годунова...»*); «Судьбой не точка ставится в конце, / А только клякса» (*М. Кузмин. Эпилог*); «Сегодня ж мне кажется точкой / Та ночь в небесах бытия... / Громадой рубцов напряжась, / От жару грязен и наг, / Был одинок, как ужас, / Ее восклицательный знак» (*Б. Пастернак. Appassionata*).

Тропы, базирующиеся на использовании грамматических терминов, характеризуются взаимодействием разноплановых сущностей, сопрягают фрагменты двух различных картин мира: наивной и научной. С одной стороны, термин осознается как единица определенной системы со своим местом в ней, значением и стилистическим ореолом, с другой — воспринимается как компонент метафорического высказывания, как конструктивный элемент образного строя текста. Отсюда — высокая степень напряженности метафор, включающих грамматические термины, и двуплановость ситу-

аций, отраженных в этих тропах: они совмещают и реальное, и призрачное, и конкретное, и абстрактное.

Грамматические термины пополняют арсенал тропов в художественной речи. Если метафора всегда «речь в речи» [Жинкин 1985: 78], то грамматические термины в функции метафоры одновременно и «речь о речи». С функцией создания художественного образа взаимодействует функция метаязыковая.

В основе метафоры и сравнений, включающих грамматические термины, часто лежит имплицитное или эксплицитное метаязыковое суждение, которое выявляет лингвистическую интуицию автора, см., например: «Каких тягот и мает / Блаженство стоит их! / Их множество (как звезды / В понятии “звезда”» (*Г. Оболдуев*); «Не знает любовь повторений / И множественного числа»... (*Г. Глинка*).

В результате границы «между метаязыковыми высказываниями и суждениями о мире... почти стираются» [Булыгина, Шмелев 1992: 152]. Оценка, которой грамматические единицы подвергаются в поэтических текстах, также обычно строится как развернутый метаязыковой комментарий, отражающий концептуализацию языка.

Как метаязыковой комментарий может строиться и весь текст. Это явление характерно для «лингвоцентрической» поэзии XX в. в целом. Так, в стихотворении И. Чиннова «Занимательная грамматика» традиционная для лирики тема смерти находит неожиданное выражение в метаграмматической рефлексии, объектами которой служат форма инфинитива, ее семантика, наконец, этимология самого термина *и н ф и н и т и в*: «”Занимательная грамматика”: / совершенно возможно / неопределенное наклонение / в будущем времени: / У М Е Р Е Т Ь. / Или это — пример / более определенного наклонения? / Форма безусловного будущего? / Пиши: умереть — инфинитив / (сравнить английское инфинити, / бесконечность)».

Для осмысления неизбежности смерти и поэтического обобщения привлекаются грамматические категории и термины, которые дополняются «воображаемой филологией» — «открытием» в языке новых форм и значений (неопределенное наклонение, безусловное будущее). В результате в слове *умереть* последовательно актуализируются разные смыслы: «неопределенность», «отнесенность к будущему», «неизбежность», «бесконечность». Их последовательность в тексте значима и служит формой образного представления жизненного пути.

Наибольший интерес к «грамматической» теме в русской поэзии 20—30 гг. XX в. проявили обэриуты. Грамматика для них и модель мира, и способ его познания. Обращение к грамматическим категориям выявляет в поэзии обэриутов ложные знания о мире, преодоление которых позволяет «реконструировать» его как живую целостность, преодолеть статичность, раздробленность «окаменевшего» в своем детерминизме существования. Показательна следующая запись разговора чинарей, сделанная Л. Липавским: «Самая большая ошибка науки состоит в том, что она принимала время,

пространство, предметность мира за что-то данное, неразложимое, о чем говорить не стоит, а надо считаться с таким, как все это есть. Это было искажение в самом начале, закрывшее все пути» [Сборище друзей 1998: 185]. Центральной грамматической категорией, позволяющей осмыслить законы бытия, для обэриутов была категория времени глаголов. А. Введенский писал: «Глаголы в нашем понимании существуют как бы сами по себе. Это как бы сабли и винтовки, сложенные в кучу. Когда идем куда-нибудь, мы берем в руки глагол *идти*. Глаголы у нас тройственны. Они имеют время. Они имеют прошедшее, настоящее и будущее. Они подвижны. Они текучи...» [Сборище друзей 1998: 544]. Текучесть глаголов противопоставляется устойчивости и плотности, вневременности в природе, «свободе от времени»: «Я думал о том почему лишь глаголы / подвержены часу, минуте и году. / А дом лес и небо, как будто монголы, / от времени вдруг получили свободу» (А. Введенский. Серая тетрадь).

Неслучайно, с точки зрения А. Введенского, «глаголы... доживают свой век» (Сборище друзей 1998: 544). Время, «съедающее события», в поэтическом мире А. Введенского оказывается и «фикцией», условностью, и воплощением детерминизма: «Я с временем незнаком, / увижу я его на ком? / Как твое время потрогаю? / Оно фикция, оно идеал. / Был день? был / Была ночь? была»... («Кругом возможно Бог...»).

Грамматическим символом атемпоральности и бесконечности, мира «чистых предметов» для обэриутов, прежде всего Д. Хармса, служит инфинитив, «пустая» форма; см., например, стихотворение Д. Хармса «Нетеперь», где утверждается единство Бога и мира, в котором остановилось время. Сигналом остановки временного потока является и употребление инфинитива в независимой синтаксической позиции, и развиваемая им в тексте семантика вневременности, и объединение противопоставленных в языке местоимений и местоименных наречий, снятие их оппозиций: «Где же теперь? / Теперь тут, а теперь там, а теперь тут, а теперь тут и там. / Это быть то. / Тут быть там. / Это, то, тут, там, быть Я, МЫ, БОГ».

Вещи и природные явления воспринимаются обэриутами с учетом семантики грамматических форм и особенностей лексико-грамматических разрядов, образные характеристики реалий проецируются на мир грамматики. Например: «Снег был зимой числом. / Он множествен. / Теперь в ручье кивать веслом / ты можешь» (А. Введенский. Снег).

Тропы, в которые включены грамматические термины, в поэзии обэриутов содержат парадоксальные характеристики частей речи, связанные, однако, с их реальным категориальным значением. Интересно в этом плане стихотворение Н. Заболоцкого «Битва слонов», рисующее сражение слов, в котором участвуют разные части речи. В тексте концентрируются метафоры различных типов. Существительным приписывается «слабость», статика, прилагательным — динамизм, глаголы изображаются как «конница», они сближаются с прилагательными и одновременно противопоставляются им (в результате в характеристике глаголов актуализируются такие признаки,

как 'организованное множество', 'боевая активность'), в междометиях же подчеркивается способность к взрыву, мгновенность существования: «Воин слова, по ночам / Петь пора твоим мечам! / На бессильные фигурки существительных / Кидаются лошади прилагательных, / Косматые всадники / Преследуют конницу глаголов, / И снаряды междометий / Рвутся над головами, / Как сигнальные ракеты. / Битва слов! Значений бой! / В башне Синтаксис — разбой».

Во второй половине XX в. круг грамматических терминов, которые используются в поэтических текстах, резко расширяется. Бурно развивается «учебная» поэзия, предназначенная для уроков русского языка. Грамматические классы слов (причем не только знаменательных), их семантика и особенности строения все чаще привлекают внимание поэтов и могут служить темой стихотворения. Так, А. Кушнер обращается к значению и особенностям употребления вводных слов: «Возьмите вводные слова. / От них кружится голова, / Они мешают суть сберечь / И замедляют нашу речь. / И все ж удобны потому, / Что выдают легко другим, / Как мы относимся к тому, / О чем, смущаясь, говорим» (Вводные слова).

Б. Слуцкий в стихотворении «Странная судьба междометий» сопоставляет употребление междометий в поэзии XIX и XX вв., выявляя архаизацию некоторых из них, при этом в тексте использованы наименования и других частей речи: «Чу! — Пушкина, Жуковского, Некрасова, / звучавшее когда-то как труба, / в негодованье из стихов выбрасываю: / у междометий странная судьба. / И в этом веке горести, печали, / злосчастия не обошли Москвы, / но вы, конечно, замечали — / никто не говорит о них: увы! / Числительные и местоимения / спокойно пережили те имена, / те вотчины, где их вставляли в стих. / Их голос до сих пор не стих...».

Наряду с собственно грамматическими терминами в поэтических произведениях этого периода столь же активно употребляются и термины морфемки и словообразования, см., например, стихотворение Б. Слуцкого «Составные слова» или стихотворение И. Лиснянской «При».

Осмысление терминологии словообразования и грамматики связано с актуализацией в тексте деривационных и грамматических значений. Обязательные, максимально обобщенные и абстрактные грамматические значения при этом выражают содержательно-концептуальную информацию, значимую для текста в целом: «из смыслового фона речи они превращаются в ее содержательную часть» [Ремчукова 2003: 182]. Так, в стихотворении И. Сельвинского, развивающего тему «Славянской женственности» Вяч. Иванова, актуализация формального грамматического значения рода у форм глаголов прошедшего времени оказывается «настолько важной, что перерастает в «женское спряжение» [Ремчукова 2003: 183]: «Я говорю: “пошел”, “бродил”, / А ты: “пошла”, “бродила”, / И вдруг как будто веянем крыль / Меня осенило!... / С тех пор прийти в себя не могу — / все правильно, конечно. / Но этим “ла” ты на каждом шагу / Подчеркивала: “Я — женщина!”».

Особенно интенсивное употребление лингвистических терминов во 2-й половине XX в. характерно для поэзии И. Бродского, одним из сквозных мотивов которой является мотив изоморфизма языка и мира. «Слово, человек и вещь у Бродского одновременно и противопоставлены, и сходны. Они взаимообратимы» [Ранчин 2001: 37]. Язык неизменно рассматривается Бродским и как творящее начало, которое наделяет предметы «признаками существования», и как субстанция, поглощающая лиц и реалии, ср.: «“Вещь, имя получившая, тотчас / становится немедля частью речи”. / “Как быстро распухает голова / словами, пожирающими вещи”» (Горбунов и Горчаков).

Язык в художественном мире Бродского «превосходит» природу и подчиняет себе поэта, включая его в мир непрерывных изменений, отражающихся в изменениях грамматических: «Так утешает язык певца, / превосходя самое природу, / свои окончания без конца / по падежу, по числу, по роду / меняя, Бог знает кому в угоду...» («Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...»).

Уже в раннем творчестве И. Бродский последовательно использует грамматические термины как средство изображения окружающего мира и как способ его постижения. Так, в стихотворении «Глаголы» развернутые цепочки метафор базируются на терминах *глагол*, *существительное*, *время глагола*. Человек, жизнь которого механистична и связана с утратой «я», уподобляется «глаголу без существительного», а время глагола отождествляется с временем человеческой жизни в разных ее измерениях. В текст включен и ряд оценочных эпитетов, распространяющих слово *глаголы*. Выбор их определяется как семантическими, так и фонетическими факторами. Персонификация глаголов, таким образом, сопровождается их разноаспектными аксиологическими характеристиками: «Меня окружают молчаливые глаголы, / похожие на чужие головы глаголы, / голодные глаголы, голые глаголы, / главные глаголы, глухие глаголы. / Глаголы без существительных, глаголы — просто. / Глаголы, которые живут в подвалах, / говорят в подвалах, рождаются — в подвалах / под несколькими этажами / всеобщего оптимизма... / И уходя, как уходят в чужую память, / мерно ступая от слова к слову, / всеми своими тремя временами / глаголы однажды восходят на Голгофу».

Поэтические дефиниции и оценочные характеристики грамматических явлений в поэзии Бродского всегда проецируются на отношения в мире, а язык выступает как подлинный «дом бытия» (М. Хайдеггер), см., например, главу «Песня в третьем лице» в поэме «Горбунов и Горчаков»: «“Да, собственное имя — концентрат. / Оно не допускает переносов, / замен, преобразований и утрат”. / “И это, в общем, двигатель вопросов”. / “Вот именно! И косвенная речь / в действительности — самая прямая”. / “И этим невозможно пренебречь / без личного ущерба...”».

Исследователи отмечают «лингвоцентризм» поэтики И. Бродского: фрагмент ассоциативно-смыслового поля концепта «Язык: лингвистические термины и понятия» содержит в его текстах 42 слова, насчитывающих 630 употреблений. «Особенно ярко “лингвоцентризм” мирознания писателя

проявляется в обилии и разнообразии (20 лексем, 102 словоупотребления) используемых в его поэтических текстах грамматических терминов» [Орлова 2002: 20]. Ср., например: *За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим; / Голос представляет собой борьбу глагола с ненаставшим временем; / И как-то тянет все чаще прикладывать носовой к органу зрения, / занятому листвою, / принимая на свой / счет возникающий в ней пробел, / глаголы в прошедшем времени, букву «л».*

Грамматические термины в поэзии Бродского служат основой метафор, образующих в тексте тропеические цепочки и максимально сближающих мир языка и бытие. Так, время грамматическое оказывается и категорией языка, и знаком темпорального измерения человеческой жизни: «Возможно также — прошлое. Предел / отчаяния. Общая вершина. / Глаголы в длинной очереди к “л”» (На выставке Карла Вейлинка); «Сказуемое, ведомое подлежащим, / уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим, / от грамматика новой на сердце пряча / окончания шепота, крика, плача» («Помнишь свалку вещей на железном стуле...»).

«Лингвоцентризм» можно рассматривать как одну из отличительных особенностей современной поэтической речи [Зубова 2000]. Это проявляется в последовательном обращении к грамматическим понятиям и категориям, обозначения которых приобретают текстообразующий характер. Грамматика все чаще воспринимается и как устойчивая модель мира, и как «общее философское понятие о человеческом слове» [Ломоносов 1982: 7]. Можно даже говорить о своеобразном «грамматическом буме» в современной поэзии, в которой высокочастотны именно грамматические термины. Круг их достаточно широк. Перечислим их. Это:

1) родовые обозначения разделов языкознания и грамматического строя (грамматика, морфология, синтаксис): *Что их жалеть — это только слова! / Их просто грамматика вместе свела... (Л. Лосев); И опять в грамматике смятенье (И. Лисянская); Эта видимость смысла в стихах современных советских поэтов — / свойство синтаксиса, / свойство великого русского языка / управлять государством... (Я. Сагуновский); Мы были оголеннее, чем синтаксис... (А. Паршиков);*

2) названия частей речи: *На ходу изменяется время глаголов (А. Петрова); «Глаголы что-то делают, / Наречия знают как, / Существительные как-то существуют, / Находя для этого предлоги / И вступая в союзы» (С. Моротская);*

3) обозначения морфем: *Можно сказать уверенно: / здесь и скончаю я дни, теряя / волосы, зубы, глаголы, суффиксы (И. Бродский); Морская пена — суффиксы, предлоги... (С. Липкин);*

4) названия грамматических категорий и грамматических форм: *Сошлись голконда и голгофа / в земле загробного житья / и первое лицо глагола / употребить не может я (А. Цветков); Жизнь, увы в страдательном залоге... (И. Чиннов); ...Он хотел сказать праха / В смысле прах в родительном (Д. Веденяпин);*

5) обозначения синтаксических конструкций и их частей: *Стоит ли говорить о том, что я думаю сложноподчиненными предложениями, уснащая их деепричастными оборотами и риторическими вопросами / и даже расставляя знаки препинания большим / пальцем правой ноги?* (В. Павлова); *«Тебя» и «Меня» — в соты полые слов, в одно предложение* (А. Драгомошенко); *Я успел написать ответ без придаточных* (М. Айзенберг);

6) названия членов предложения: *Не любовь и не дружба, а что-то другое, третье, / Ускользящее, странным смыслом своим не схожим / С тем привычным, заученным, будто бы междометие / Подлежащим стало, а не звучком расхожим...* (Е. Елагина);

7) термины коммуникативного синтаксиса (тема, рема, порядок слов): *Яль не тема? Ты ль не рема?* (В. Павлова).

Особенно часто встречаются в современных поэтических текстах (как и в предшествующий период) названия частей речи, см., например: *«Бесплотный гений лишь наметил / Мир, что наполнен тишиной, / Без шепота и междометий»* (Л. Миллер); *«...Как на посадке самолет, / Когда от слабости немея, / Летит с хвостом, хоть не имеет / Артикля в русском языке»* (А. Еременко); *«Я прошел все слова словаря, / все предлоги и местоименья, / что достались мне вместо имения, / воя черни и ласки царя»* (Д. Новиков).

Названия частей речи регулярно сочетаются с оценочными прилагательными, ср.: *«Слышишь медных глаголов дрожанье? / Это римские речи звучат»* (С. Липкин); *«Чтобы не растерять продувные глаголы, / Жизнь настояна на пустяках»* (М. Чердынцев).

Эти определения не только отражают точку зрения поэта (лирического героя), но и трансформируют то или иное высказывание о грамматических единицах в высказывание об отношении его автора к миру. Оценочные прилагательные дополняются глаголами эмоциональной оценки (отношения): *«...Определенно / люблю прилагательные, их свет / в глаголах стоит, чтоб зеленело зеленое, / белело белое, звенело звонкое...»* (Ю. Мориц).

Названия частей речи служат способом выражения иерархии, существующей в мире (разных мирах), средством оценочной дифференциации различных точек зрения: *«В далеком лексиконе звезд / мы пока еще числимся / В разряде / Междометий»* (В. Куприянов).

Названия частей речи не только сигнализируют в тексте о функциях грамматических классов, но и используются как эвфемистические замены, ср.: *«Все мы смертны, господа следователи преследователи / Стоя в гробу — что я могу / во имя существительное, / прилагательное, глагол? / Извините, что я старый»* (Я. Сатуновский).

Грамматические термины часто объединяются в одном контексте, см., например, их концентрацию в стихотворении М. Еремина «Поселок», где они используются в составе сравнения и сложной метафоры: *Поселок (В сумерках туман подобен / Присубстантиву: наблюдатель — ... / пред Свя-*

тым его Евангелием и животворящим Крестом... / — становится свидетелем аблактировки Инфинитива и супина.)...

В современной поэтической речи грамматические термины обычно входят в состав образных средств, расширяя и обновляя его: они служат объектами сравнений и их образами, используются как метафоры разных типов (именные, предикативные и др.), как цепочки тропов. Например: «...Кто учит нас осваивать, как / встарь, / чернофигурный синтаксис / любовный?» (Б. Кенжеев); «...На подступах к развенчанной столице / И царственна, / Как бронзовый каузатив, что оживлен / Лишь чертовой зеленью...» (М. Еремин); «Жаль частицу, что в парусном платье плыла, / Вся — на пуантах...» (О. Бешенковская).

Части речи и грамматические формы персонифицируются, им приписываются признаки живых существ, прежде всего способность к активным действиям: «Мы б спорили на языке “люблю” / поют ли гимн служебные частицы» (А. Прокопьев); «Здесь все еще местоимения / Ночами делают зарядку...» (О. Бешенковская).

На базе грамматических терминов возникают новообразования, как правило, также тропеического характера: «Мы станем безусловно / родительны и дательны / Смирительно — Ивановны / Улыбчиво — Петровны / Не то чтобы творительны / Но в общем-то предложны / Простительно — Борисовны / И Глебовны прилежны» (Н. Искренко); «И все это причащается и де причащается / К Слову...» (С. Моротская).

Актуализации образных «приращений смысла» способствуют «обнажение» (и обыгрывание) внутренней формы термина, обращение к его этимологии, сопоставление с омонимичными или сходнозвучными словами, см., например: «Тебе родительный; творительный — тому, / кто не стыдился перегибом лечь / не в землю даже, но в родную речь» (В. Куллэ); «...никто по именному падежу, / о чем на ты немедленно сужу, / когда стоит падеж заглавной точки...» (А. Поляков).

Так, в приведенном фрагменте стихотворения В. Куллэ оживляются связи калькированных названий русских падежей с исторически однокоренными с ними глаголами *родить* и *творить*, само слово падеж служит метафорой судьбы, а обозначение творительного падежа в составе метафоры развивает мотивы истинного творчества и жертвоприношения. В стихотворении же А. Полякова каламбурно сближаются термин падеж и существительное падёж, в результате в семантической структуре грамматического термина актуализируется не только сема 'изменение', но и сема 'гибель' ('исчезновение').

В стихотворении А. Парщикова «Мемуарный реквием» как повторяющийся троп используется термин *инфинитив*, при этом образные смыслы, которые он выражает в тексте, вновь опираются на этимологию слова: «Ты сцеплен с пустотой наверняка. / Перед тобою — тьма в инфинитиве, / где стерегут нас мускулы песка».

Внутренняя форма термина оживает, а слово *инфинитив* приобретает в тексте семантическую диффузность, совмещая значения 'бесконечность', 'потусторонний мир', 'мир мертвых', наконец, 'даль прошлого': «В инфинитиве — стол учебный и набор / приборов, молотки на стендах, пассатижи, / учителя, подозрные в упор, / в инфинитиве — мы, инфинитива тише».

Учитывается в тексте и атемпоральность инфинитива как грамматической формы: воспоминания останавливают время, и его преодоление утверждает бесконечную власть прошлого, которое для лирического героя становится настоящим: «И зоокабинет — Адама день вчерашний, / где на шкафу зверек, пушистый, как юла, / орел — инфинитив с пером ровней, чем пашня, / сплоченная в глазу парящего орла».

Как мы видим, в художественной речи оказывается значимой прежде всего информация о грамматических терминах, которая основана на внутренней форме слов и далеко не всегда осознается носителями языка. При этом в поэтических текстах учитываются и стершиеся образы, закрепленные в терминах и метаязыковых глаголах. Это, во-первых, «строительные, конструкторские мотивы: образы построения, размещения, расположения компонентов... Во-вторых, ... мотив плетения: речь, речевое произведение — как ткань, как сплетенное, как “текстиль”» [Мечковская 2000: 377, 378]. См., например: «Текст значит ткань. Расплести по нитке тряпицу текста. / Разложить по цветам, улавливая оттенки. / Затем объяснить, какой окрашена краской каждая нитка... / Ткань — это жизнь, и ткачи её ткут» (*Л. Лосев*).

Дополнительным источником образности служат ложные грамматические определения и квалификации. Обратимся, например, к стихотворению М. Еремина «Пути (Происхождение забыто...)»: «...Лиственная молвь / Подобна “не” в местоимениях / “Некто” и “нежность”».

Выделение квазипрефикса *не-* в существительном *нежность* и квалификация его как местоимения, во-первых, актуализируют семантику неопределенности (ср.: *некто*), во-вторых, позволяют интерпретировать это слово как замену подлинного имени, как условный знак, не закрепленный за определенным референтом. «Лиственной молви», таким образом, приписываются такие признаки, как размытость смыслов, беспредметность, неустойчивость. Сравнение преобразуется в метафору, при этом слово *местоимение* одновременно реализует в тексте и прямое, и переносное значение.

Ложные грамматические характеристики дополняются примерами «воображаемых» грамматических категорий и парадигм. Так, в стихотворении М. Сухотина иллюстрируется особая категория — «время в залоге»: «время в залоге: / несу — несусь — несут».

Квазипарадигма здесь служит образом человеческой жизни в ее развитии: динамика субъектно-объектных отношений отображает необратимое течение времени.

Интенсивное употребление грамматических терминов в составе тропов подчеркивает онтологическое значение языка в современной поэзии. Именно

он воспринимается как реальность, более того, именно он творит ее и поддерживает связь времен: «И слово, творенья основа, / Опять поднялось над листвою, / Грядущее жаждет былого, / Чтоб снова им стать, ибо снова / Живое живет для живого, / Для смерти живет неживой» (С. Липкин).

Троп всегда воплощает тот или иной способ восприятия действительности, выражает особое видение мира. «Грамматические» метафоры в современной поэзии уподобляют мир языку, а языковые единицы и структуры — живым существам и природным или бытовым реалиям, см., например: «Гори, глагол, гемоглином!» (Д. Авалиани); «И ветки движутся серьезные, / как будто в кровь артериальную / преобразается венозная / пройдя сосуды вертикальные, / и междометия прилежные, / как будто профили медальные, / и окончания падежные, / вдохнув пространства минимальные...» (А. Еременко).

Изменение грамматических форм осмысливается в поэзии как течение времени, как динамика жизни, как отражение законов бытия: «Все, как было когда-то, как будет на свете и ныне и присно. / Просто все это прежде когда-то случилось не с нами, а с ними, / а теперь это с нами, теперь это с нами самими. / А теперь мы и сами уже перед Господом Богом стоим, неприкрыты и голы, / И звучат непривычно — теперь уже в первом лице — роковые глаголы. / Это я, а не он, это ты, это мы, это в доме у нас, это здесь, а не где-то. / В остальном же, по сути, совсем несущественна разница эта... / Как рекрутский набор, перед Господом Богом стоим, неприкрыты и голы, / И звучат все привычней — звучавшие некогда в третьем лице — / роковые глаголы. / И звучит в окончанье глагольном, легко проступая сквозь корень глагольный, / Голос леса и поля, травы и листвы перезвон колокольный» (Ю. Левитанский. «Были смерти, рожденья, разлады, разрывы...»).

Показательно, что в приведенном стихотворении Ю. Левитанского собственно грамматические термины взаимодействуют с названиями морфем, которые метафоризируются. Уподобление жизни (мира) языку основывается на привлечении названий разных языковых единиц и категорий.

В современных поэтических текстах развиваются сквозные образные параллели «язык (речь) — жизнь», «словоизменение (склонение, спряжение) — судьба», «грамматическая единица — человек (его душа, тень)», «грамматический класс — народ», «грамматика — мир, государство», «грамматика — тюрьма», ср.: «От всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть речи» (И. Бродский); «Судьбою выпав, падежи должны / бесповоротно быть закреплены / в грамматике, похожей на тюрьму» (В. Куллэ); «Не веривший в бессмертие души / теперь скажи / ты сильно удивлен / или, напротив, скукой раздражен / что превратился в буквы, падежи» (Д. Авалиани).

Основные тематические сферы, с которыми связано употребление «грамматических» тропов в современной поэзии, — это тема бытия, существования (личного, реже исторического), тема самоидентификации и тема творчества, ср.: «...Местоимения бьются за места на стыке анекдота и плаката,

и каждое боится третьих лиц, а были годы — и себя боялась, когда на убиенных и убийц грамматика эпохи распадалась» (*И. Лиснянская*); «Известно, что у нас, хоть в крик кричим, местоименьям личным без личин прожить нельзя» (*И. Лиснянская*); «Слова рожали, / Кто бы мог / подумать, каждый слог, союз, какой-нибудь предлог... / И жемчугом дрожали» (*Е. Шварц*).

Поэтому самыми «востребованными» грамматическими терминами оказываются в современной поэтической речи названия таких частей речи как местоимение (и обозначения их отдельных форм), глагол и междометия. Например: «...Все сбылось, как хотели, / домогаясь изгнания / из тоски несобытий / в кислород междометий» (*Ю. Мориц*); «В пределах грамматического строя я потеряла первое лицо в попытках отыскать лицо второе» (*И. Лиснянская*); «А вечером уборщицы в тиши / Переставляли рамки междометий / и старческие ахи или вздохи / Слышны были / на разных полюсах...» (*А. Еременко*); «Местоименье “Я” имеет место быть, / Неосторожность жить, дышать неосторожность» (*Л. Миллер*).

Регулярно участвуя в раскрытии экзистенциальной темы и темы творчества, «грамматические» тропы могут использоваться, хотя и значительно реже, и при изображении жизни природы. Их основные тематические сферы здесь — жизнь растений и «жизнь» огня, см., например: «Язык деревьев зная от корней / До разветвлений сложносочиненных, / Идеограммы бликов и теней / Он [костер] рисовал в пирамидальных кронах» (*Н. Мориш*); «Как много говорят его [огня] крючки / И завитки, и знаки препинанья, — / Все восклицанья, точки и тире, / Да, восклицанья, точки и тычки / Начальных строк. Здесь самовозгоранья / В помине нет...» (*И. Лиснянская*); «А может, в пейзаж мне вписаться, / Где к корням нет приставок, лишь суффиксы — стебли, цветы — окончанья...» (*И. Лиснянская*).

Грамматические термины в описаниях огня и растений создают обобщенный образ их «языка»: «Там проповедует ветер, / Что в нем заключен гений / Березовых междометий, / Сосновых местоимений» (*В. Куприянов*).

«Языки» огня, растений дополняются «языками» воды, звезд, пространства, времени. Тем самым получает дальнейшее развитие мотив изоморфизма мира и языка.

Употребление грамматических терминов в составе тропов предполагает знания адресатов текста об основах грамматики. Современная поэзия, таким образом, становится все более «филологической». Термины же, не используемые в школьной грамматике (например, супин, каузатив, рема), сближаются со специфически «поэтической» лексикой: усиливают неопределенность обозначений, делают отдельные фрагменты текста неясными, даже «таинственными» для читателя-нефилолога.

Употребление грамматических терминов сочетается в современной поэтической речи с обращением к самим языковым явлениям, которые вызывают метаграмматическую рефлексию над ними как у автора, так у читателя. Это, во-первых, примеры ненормативного употребления форм и использо-

вание их разных вариантов: «Вот и чудю (чужу), / бузю (бужу), / дудю (дужу); / шкюдю (шкюжу), / вяжа и рвя, / стрижа и шья...» (М. Сухотин).

Во-вторых, это фрагменты грамматической парадигмы, включенные в текст; см., например: «Я одену белый похоронный китель, / ты оденешь белый похоронный китель, / он оденет белый похоронный китель» (М. Сухотин).

В-третьих, это обращение к «школьным спискам исключений из орфографических правил», которые рифмуются, «фразеологизируются и становятся частью культурного текста» [Зубова 2000: 27]: «без малейшего принятия конца — собственное полноправное участие / в уничтожении... самого себя? Как?... Стоящего на ногах, теплого, готового бежать, дышать, смотреть, вертеть... Боже! / Не готового только зависеть, ненавидеть, терпеть...» (Е. Ушакова); «Бог есть! ва, ова, ива, ыва, / Бог есть! уж, замуж, невтерпеж» (М. Сухотин).

Наконец, это обращение к единицам языка, которые дополнительно семантизируются в тексте, сочетаются с оценочными эпитетами и становятся своеобразными грамматическими символами. Концептуализация, прежде всего, характерна для наречий с временной семантикой, выделяющих основные темпоральные координаты мира: «Топорное теперь / бетонное вчера / и лазерное послезавтра / и нету ничего как только ты за дверь / в окно влетит имперская пчела / она хозяйка здесь хотя и полосата» (В. Кривулин).

Устойчивый характер носит также концептуализация личных местоимений, оппозиция которых обычно описывается в лингвистических терминах и организует текст: ...*Как же не додумались умы, / Что делить толику местоимений можно только на они и мы! как сильны они и как ничтожны...* (И. Лиснянская); *Неправ был Бубер / В Боге нету «ты», / «Ты» и «Оно» — где мир и ад, / Условные и временные «Я» / Даны от Бога напрокат* (Е. Шварц).

Интерпретация тех или иных сущностей или отношений в грамматике служит способом познания мира и самооценки: «Умирал — умер: / чередование гласных / в корне мира мер» (В. Павлова); «...я — / только неопределенная форма / существования и бытия» (М. Амелин); «Не там, где в морфологии есть брешь, / произошел неслыханный мятеж: возликовав, / взметнулось отщепенство, — воскрес распятый / звательный падеж! Позвать бы: “Отче!”» (И. Лиснянская).

Грамматика в современной поэзии предстает и как мир устойчивости, строгой логики, и как мир, где возможны «бреши», «разломы», где ощутима власть времени: «Ускоренная современным ритмом, / Грамматика — как белка в колесе, / и магмой дохнет на Вас постскриптом, / Где смешаны местоименья все...» (И. Лиснянская).

Развитие «грамматической» темы в современной поэзии сочетается с возрождением жанра азбуки, восходящего к творчеству Симеона Полоцкого. Так, ряд произведений Д. Пригова и Д. Авалиани строится как алфавит,

где последовательность букв определяет развитие лирического сюжета; с одной стороны, алфавит, как и грамматика, интерпретируется как универсальная модель, с другой, позволяет показать разнообразие мира. В то же время это не столько энциклопедия, «сколько языковой порядок, который в силу своей условности дает повод к игре и потому — способ осознать подвижность души и мира» [Кукулин 2000: 142]. Комментарий к букве часто трансформируется в метаграмматический комментарий, который в свою очередь приобретает личностный смысл, ср., например: «...А то же, что Но. / еще можно было бы писать вместо А не... А, / или не... НО. / Не то, а это, не то, но это, опять же поиск, / выбор, отпор, все то же: ИЩИ... / У — это около, возле, рядом. У — это почти что та, / около того, может быть не совсем то, / а может быть и совсем то. Кто знает? Ищу» (*Д. Авалиани*. «Всю жизнь ищу...»).

Использование грамматических терминов, «азбук» сочетается в современной поэтической речи с употреблением фонетических терминов, терминов лексикологии и стилистики, наконец, лингвистической поэтики, см., например, последние стихотворения Н. Горбаневской: «И на ощупь, как полено, / и на вкус / это право, это лево / на ди с курс, / отвоеванное право / сотрясать / бедный воздух невозбранно / и плясать...; Архип охрип, а Укроп — утоп. / На карте ищи-свищи хронотоп / Для рифмы — катись в Конотоп».

Одновременно в поэтических текстах «упоминаются имена знаменитых лингвистов» [Зубова 2000: 24] и авторов популярных книг о языке и учебников. Эти имена включаются в языковую игру, сопровождаются тропеическими определениями, входят в оценочные структуры, переходят в нарицательные существительные или подвергаются плюрализации и приобретают обобщенное значение, ср.: «...Молчание / речь мою караулит давно. / Бархударов, Крючков и / компания, / Разве нам это свыше дано!» (*С. Гандлевский*); «Не пушечный, хочу найти подушечный — / мне сильно видно на глазах: / успенский мышечный и ожегов макушечный / в отрывках, сносах, черепках...» (*А. Поляков*); «Настоящее, / прошедшее и будущее — / старики сепира и ворфа детища — чудища...» (*М. Гронас*).

Итак, поэтические тексты с течением времени становятся все более «лингвоцентричными», при этом «грамматические» темы и образы теряют в них периферийный, маргинальный характер, присущий им раньше. Показательно, что современная речь вообще изобилует рефлексивами [Вепрева 2003: 3], погруженными в общекультурный контекст или контекст конкретной ситуации. «Грамматические» тропы расширяют состав образных средств поэтического языка, обновляют его и используются для развертывания сквозных мотивов текста, а грамматические явления регулярно служат предметом рефлексии и объектом оценки. Интенсивное употребление грамматических терминов в поэтических текстах свидетельствует о последовательном развитии и углублении в современной поэзии мотива изоморфизма мира и языка, и — соответственно — о тенденции к «слиянию вечно разорван-

ной субъективности» [Слотердайт 2001: 500], при этом именно грамматика служит для поэтов моделью мира, а грамматические единицы и категории — способом оценочной интерпретации разных ее аспектов.

Л и т е р а т у р а

Арутюнова 2000 — Н. Д. Арутюнова. Наивные размышления о наивной картине языка // *Язык о языке*. М., 2000. С. 7—19.

Булыгина, Шмелев 1999 — Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев. Человек о языке (Металингвистическая рефлексия в нелингвистических текстах) // *Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке*. М., 1999. С. 146—161.

Вепова 2003 — И. Т. Вепова. Метаязыковая рефлексия в функционально-типологическом освещении (на материале высказываний-рефлексивов 1991—2002 гг.): Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Екатеринбург, 2003.

Жинкин 1985 — Н. И. Жинкин. Проблема художественного образа в искусствах // *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.*, 1985, № 1. С. 76—82.

Зубова 2000 — Л. В. Зубова. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.

Кукулин 2000 — И. Кукулин. Преображенный алфавит, дыхание оды и метафизика // Д. Авалиани. *Лазурные кувшины*. СПб., 2000. С. 137—145.

Ломоносов 1982 — М. В. Ломоносов. *Российская грамматика*. М., 1982.

Мечковская 2000 — Н. Б. Мечковская. Метаязыковые глаголы в исторической перспективе: образы речи в наивной картине языка // *Язык о языке*. М., 2000. С. 363—380.

Орлова 2002 — О. В. Орлова. Коммуникативные аспекты лексической репрезентации концепта ЯЗЫК в лирике И. Бродского: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Томск, 2002.

Ранчин 2001 — А. Ранчин. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001.

Ремчукова 2003 — Е. Н. Ремчукова. Грамматика и рефлексивный дискурс // *Языковые функции: семантика, синтактика, прагматика*. Тарту, 2003. С. 181—197. (Труды по русской и славянской филологии. Лингвистика. Вып. 8).

Сборище друзей 1998 — «Сборище друзей, оставленных судьбою». «Чинари» в текстах, документах и исследованиях. М., 1998. Т. 1—2.

Слотердайт 2001 — П. Слотердайт. Никчемный человек возвращается, или конец одного алиби // *Немецкое философское литературоведение наших дней*. СПб., 2001. С. 475—506.

Р. Н. КРИВКО

ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЫЧКОВСКО-СИНАЙСКОЙ ПСАЛТИРИ. I*

Темой статьи является описание графико-орфографических особенностей одной из древнейших восточнославянских псалтирей — Бычковско-Синайской (далее: БСП). Названная рукопись содержит Псалтирь с библейскими песнями («Псалтирь с прибавлениями»), которая сохранилась в трех отрывках. Первый, объемом восемь листов (РНБ. Q. п. I. 73; далее: L), известен как «Бычковская псалтирь» (по имени первого известного владельца памятника, академика А. Ф. Бычкова). Два других отрывка, 135 и 17 лл., хранятся в собрании славянских рукописей монастыря св. Екатерины на Синае (шифры, соответственно, sin. slav. 6.0¹ и sin. slav. 6/n). БСП — одна из пяти славянских псалтирей XI в., к которым относятся еще старославянская глаголическая Синайская псалтирь, древнерусские псалтири Евгениевская, Чудовская с толкованиями св. Феодорита Киррского, утраченная ныне Слуцкая, а также текст Псалтири на новгородских церах первой трети XI в. [Зализняк, Янин 2001]. По объему сохранившегося текста БСП превосходит все древнерусские псалтири XI в. и является самым полным и самым характерным представителем той древней редакции Псалтири XI в., которую принято называть «второй редакцией» (первая редакция, или древнейшая, представлена старославянской глаголической Синайской псалтирью, а так называемая «толковая», т. е. с толкованиями св. Феодорита Киррского, — древнерусской Чудовской псалтирью) [MacRobert 1989: 4—28; 1990: 8, 11—15; 1991: 405—417; 1998: 928—933; 2003; 2003a: 288]².

* Приношу глубокую благодарность В. Б. Крысько и А. А. Пичхадзе за советы и замечания, высказанные при подготовке статьи. Выражаю свою признательность Х. Микласу (Вена) за консультации по ряду вопросов, связанных с глаголической письменностью.

¹ Далее при цитировании данного отрывка шифр не указывается, а приводятся только номера листов. Рукопись цитируется по фототипическим изданиям М. Альтбаэра — Г. Ланта и И. Тарнанидиса (см. БСП в списке сокращений).

² В работах К. М. Макробрет [MacRobert 1989; 1990; 1991; 1998] доказывалось древнерусское происхождение «второй» редакции. В своем итоговом докладе, прочитанном на XIII Международном съезде славистов в Любляне, К. М. Макробрет

Графика и орфография БСП описана лишь частично. Наибольшее количество работ посвящено петербургскому отрывку (Бычковской псалтири) [Срезневский 1875; Кузнецова 1967; Тот 1975; Тот 1985: 46—51, 98—103, 163—167 и др.]. Издан этот отрывок был трижды: И. Х. Тотом в приложении к его статье [Тот 1975], М. Альтбауэром и Г. Лантом (см. БСП в списке сокращений) и В. Христовой [Христова 1991]. Первые два издания фототипические, последнее — наборное, к нему составлен словоуказатель. Самую значительную часть БСП — 135 лл. — нашел в славянском собрании монастыря св. Екатерины на Синае Г. Лант [Lunt 1976] и в 1978 г. издал фототипически совместно с М. Альтбауэром (см. БСП ниже в списке сокращений). Во вступительной статье к изданию на основании анализа почерков рукопись датируется концом XI — началом XII века, позднее ей был присвоен шифр *sin.slav. 6.0* [Tarnanidis 1988, 109—110]. В 1975 году И. Тарнанидис обнаружил в синайском собрании славянских рукописей третью часть той же псалтири, *sin.slav. 6/n*, 17 лл. [Tarnanidis 1988, 109—110], и в 1988 году издал ее фототипически [Tarnanidis 1988, 249-281]. Издание сопровождается описанием, в котором рукопись датируется концом XI — началом XII века [Tarnanidis 1988: 109-110]. В новейшей научной литературе более ранняя датировка — XI в. [Зализняк, Янин 2001: 19; Jurić-Kappel 2000: 191]. Текстологическое исследование синайской части рукописи и общее описание орфографических особенностей ее меньшей части представлено в статье А. Тодорова [Тодоров 1990], выводы которого — по части текстологии — были подвергнуты критике К. М. Макробрет [MacRobert 2003]. Исследованию же орфографических особенностей всего памятника на общеславянском фоне посвящены короткая заметка [Кривко 1996], энциклопедическая статья [Кривко 2003] и пространное неопубликованное исследование [Кривко 1998a], подготовленное под руководством профессора И. Г. Добродомова.

Три части БСП содержат в общей сложности 160 лл., на которых представлены (с лакунами) тексты Псалтири и библейских песней. На нижних и верхних полях рукописи находятся сделанные киноварью гадательные приписки — короткие изречения, в том числе предсказания, по которым пытались понять свою судьбу. Гадательные приписки БСП — самые древние в истории славянской письменности, они не находят параллелей среди более поздних аналогичных записей, специально изученных М. Н. Сперанским

пришла к выводу, что «вторая редакция и редакция с толкованиями Феодорита Кирского, имея, безусловно, общую основу в виде первой редакции, отражают различные процессы редактирования и интерпретации с использованием отличающихся друг от друга греческих текстов. (...) Таким образом, признавая независимость двух редакций друг от друга, обе они не могут быть отнесены к одной и той же “преславской школе”. (...) Утверждения, что вторая редакция связана с Преславом, не имеют достаточных оснований (*are by comparison weak*), ее происхождение продолжает оставаться неясным» [MacRobert 2003; ср.: MacRobert 2003a, 288]. Пользуюсь случаем поблагодарить К. М. Макробрет за возможность ознакомиться с полным текстом доклада.

[Сперанский 1899]. После работы М. Н. Сперанского гадательные приписки не публиковались и не исследовались, не упомянуты они и в недавно созданной типологии писцовых записей, приписок, помет и других так называемых «вторичных текстов» древнерусских кодексов [Столярова 1998: 27—49]. Сказанное означает, что содержание гадательных приписок заслуживает отдельного исследования, не только лингвистического, но и общепилологического, литературоведческого.

Части БСП располагаются в следующей последовательности, ср. [Тодоров 1990: 50; в работе не указаны начальные слова отрывков]:

1) Псалтирь — sin.slav. 6/n, 1—8 об., начиная со слов *врагоу оскоудѣша оружиѣ въ коньцѣ* (Пс. 9:7) до слов *избавит(ь)ль мой* (Пс. 17:3), далее лакуна; sin.slav. 6/n, 9—9 об., со слов *Избави мѧ отъ врагъ* (Пс. 17:18) до слов *нозѣ мой яко елени* (Пс. 17:34); L, 1—8 об., со слов и на *высокихъ поставила мѧ* (Пс. 17:34) до слов *възненавидѣша мѧ* (Пс. 24:19); sin.slav. 6/0, 1—100 об., со слов *схрани шю мою* (Пс. 24:20) до слов *спси ны гѣ бѣ нашъ* (Пс. 105:47), далее лакуна; sin.slav. 6/0, 101—124 об., со слов *желаниѣ грѣшникъ погубити* (Пс. 111:10) до слов *гѣ има твоѣ въ вѣкѣ* (Пс. 134:13—9 об.), далее лакуна; sin.slav. 6/0, 125—133 со слов *избави мѧ отъ гонящихъ мѧ* (Пс. 141:7) до слов *ѡухъ ноше/ниѣ* (вместо *поношение*; греч. *ὄνειδος*) *отъ снѣгъ илѣтъ* (Пс. 151:7);

2) библейские песни: sin.slav. 6/0, 133—133 об., с начальных слов первой из них (*пѣ · мариагъ · сѣрты мѡѡ/сѣвты · и аароновты ·* · — *Поимъ гви* <титло не читается> *славнь* <так!> *во прослависѧ* (Исх. 15:1) до слов *въ стынхъ днѣтъ* <так!> *въ главахъ* (текст наведен поверх угасшего, титло не читается; (Песнь I) Исх. 15:11); sin.slav. 6/n, 10—17 об., со слов *творамъ уюде-са* ·: (Песнь I; Исх. 15:11) до слов *развѣ / во тебе иного не вѣмъ* (*оѡдоев*) *има твоѣ* // (Песнь V; Ис. 26:13); sin.slav. 6/0, 134—135 об., со слова *нарицаймъ* ·: (Песнь V; Ис. 26:13) до слов *лжквнѣишѣ / пауче всѣи земли* (Песнь VII; Дан. 3:32). Окончание библейских песней утрачено. Представленное здесь описание позволяет исправить ошибку, допущенную в более раннем и менее полном описании состава памятника [Tarnanidis 1988: 109—110]: лл. 10—17 sin.slav. 6/n восполняют лакуну не между лл. 125 об. и 126 sin.slav. 6/0, как сказано в каталоге, а между лл. 133 об.—134, тогда как на отмеченном И. Тарнанидисом отрывке лакуны нет.

Над БСП изначально работали три писца [Lunt 1976] (далее: БСП¹, БСП², БСП³). БСП¹ занимает пространство от начала всего сохранившегося текста до шестой строки л. 13 (то есть на промежутке sin.slav. 6/n, 1—9 об., L (полностью), sin.slav. 6/0, 1—13) и от первой строки л. 17 до л. 42 sin.slav. 6/0. Почерку БСП¹ принадлежат и гадательные приписки на нижних и верхних полях листов. БСП² включает в себя оставшуюся часть текста Псалтири и библейские песни (sin.slav. 6/0, 42 об.—135 об.; sin.slav. 6/n, 10—17 об.). БСП³ содержит текст Псалтири с 7-й строки sin.slav. 6/0, 13 до sin.slav. 6/0, 16 об. Лист 60 об. sin.slav. 6/0 был оставлен незаполненным, значительно позднее на нем был повторно написан 151-й псалом. Написанный тремя

основными писцами текст Псалтири прошел правку, о чем можно судить по вписанным между строками отдельным стихам псалмов. Судя по языковым данным, эта правка была сделана одновременно с основным текстом, однако приемы письма правщика отличны от тех, которыми пользовались основные писцы.

Первоначально написанный текст рано начал выцветать, поэтому он во многих местах либо наведен, либо поверх него написан новый. Как полагал Г. Лант, поновление делалось древнерусскими (XII в.) и сербскими (XIII в.) писцами, которые оставили также различные по содержанию маргиналии.

Для анализа графики и орфографии БСП важен тот факт, что текст рукописи представляет собой единую редакцию Псалтири, следовательно, различие в приемах письма всех писцов и правщиков памятника не обусловлено текстологической традицией либо влиянием протографов, а является отражением индивидуальных навыков древнерусских и южнославянских книжников, что служит еще одной иллюстрацией плодотворной идеи об автономности письменного узуса [Живов 1998]. Манера письма всех трех основных писцов и первого правщика, вписавшего между строк пропущенные стихи, сходна: начертания букв наклонные, их высота меняется не только на отдельных листах, но даже в пределах одной строки, письмо беглое. С характером письма согласуется и скромное художественное оформление БСП: рукопись украшена кинноварными инициалами старовизантийского стиля, выполненными, возможно, самими писцами. Листы на внешних углах и в центре у сгибов сильно загрязнены от длительного использования и местами проклеены кусочками листков из какой-то средневековой греческой рукописи.

Далее описаны графика и орфография всех писцов БСП, включая правщиков основного текста (в первой части статьи описывается БСП¹).

Используемые в БСП¹ буквы и варианты, датирующие начертания

Буквы и варианты, используемые в БСП¹, следующие: а б в г д е ж з и ї (і) к л м н о ѿ [широкое очное] п р с т оу ѝ ф х ѡ ц ч ш щ ѣ ю (оі) га ѣ ѡ (ж) ѱ ү (v). Палеографической приметой рукописи являются начертания омеги (ѡ) и ѣ. Вариант ѡ отмечен девять раз, причем четырежды в начале строки: / ѡ влнстаниа sin.slav. 6/n, 4 об. / И ѡ ненавидациихъ 9; / Яще ѡпъльчутьса (на ма пълкѣ) 2; / И ѡтѣ (въсѣхъ скърви) 9. Четыре раза вариант ѡ отмечен в составе лигатуры ѡѣ: не ѡѣми ѡ мен... 31 (возможно, текст наведен поздним правщиком), ѡ врагѣ sin.slav. 6/n, 8 об.; один раз верхний элемент лигатуры пропущен в результате описки: ѡмѣтанѣ 8, вместо ѡмѣтанѣ. Средний элемент варианта ѡ в этих написаниях доходит до верхней строки, петли не разведены, что представляет собой архаическую черту [Князевская 1999: 30], в рукописях XI в. вариант ѡ пишется так «почти без исключений» [Щепкин 1967: 112]. Одно из этих исключений — облик оме-

ги **ѡ** в гадательной приписке на л. 17 об. в составе предлога **ѡ̄**: **ѡ̄** (печали <слева к букве **ѣ** приписана петля буквы **а**>). Здесь средний элемент **ѡ** не доходит до верхнего уровня строки, петли слегка сведены. Это написание — второй пример обозначения предлога *отъ* в виде лигатуры, в остальных случаях в БСП¹ используется более древнее по происхождению [Князевская 1999: 32] сочетание **отъ**.

Мачта буквы **ѣ** едва выступает над верхним уровнем строки, горизонтальная черта расположена на верхней линии строки. Такое начертание не характерно для XI века и встречается только в Изборнике 1073 г., широкое же распространение оно получает в XII в. [Щепкин 1967: 112]

Буква **ж** и варианты **ѵ** («укороченный» вариант ижицы **ѵ**), **џ** («зеркальное» **ю**), строго говоря, не могут считаться постоянной характеристикой БСП¹, так как используются они крайне редко. Диграф **џ** отмечен один раз в конце строки (ѡблѣгахѡу ма занѣ гонѣхъ) блѣстѣноџ / 17 об. (без соединительной линии, или она не читается на фотокопии). Древнейший пример зеркального **џ**, правда, с соединительной линией, известен в Ен.: вѣ/зловѣнѣ 149 (366—7). Такой вариант буквы **ю** встречается в древнерусских Пандектах Антиоха XI в., Изборнике 1073 г., в рукописи 13-ти слов Григория Богослова, в Толстовской псалтири, а также в южнославянских Охридском апостоле XII века, в Болонской псалтири, в Погодинской псалтири [Гольшенко 1987: 48]. Вариант диграфа **џ** особенно свойствен болгарским памятникам, написанным на Западе, в области Солуни и Охрида [Карский 1979: 170], он известен и в новгородской берестяной письменности с древнейшего ее периода, где выступает в ряду других зеркальных написаний [Worth 1985; Янин, Зализняк 2000: 212—213]. Существует гипотеза, согласно которой «зеркальное» **џ** указывает на греческий диграф **џ** как прототип кириллического **џ** [Дурново 1926: 686]. Эта гипотеза объясняет распространенность «зеркального» **ю** на западе древнеболгарского ареала, а также в области Солуни, то есть в славяно-греческой контактной зоне. Написание «зеркального» **ю** в книжном памятнике со столь сильно русифицированной орфографией, т. е. в БСП¹, уникально.

Дважды в БСП¹ отмечено уникальное для рукописей XI в. написание варианта буквы **ѵ** в виде **ѵ**, из них один раз в составе диграфа: да ѡбслѣшатъ 9 (над диграфом стоит надстрочный знак, похожий на дугу), скѵ/мѣнъ 36. Отмеченные примеры представляют собой древнейшие известные случаи употребления варианта **ѵ** (не **ѵ**!) в славянской письменности. Считается, что ижица, «написанная как **ѵ**, встречается редко и, в основном, в заглавиях» [Илчев, Велчева 1995: 50]. Эти сведения не нашли отражения в [SJS 52 (1997): 1040], где сказано, что ижица «в древнейших кириллических рукописях, а именно в Sav. и Supr., имеет начертание **ѵ**, в более поздних — также **ѵ**». Примеры из «заглавий» и «более поздних рукописей» не приведены, поэтому можно утверждать, что до сего дня самым ранним известным примером употребления варианта **ѵ** были его написания (в том числе в составе диграфа) в заимствованных словах МЕ (до 1117 г.): и/совсовъ 210 (1566—

18—19), *исовсовама* 78 (43а—4), *їсовсовоу* 222 (166в—2—3), *ївон* 125 (846—1); *eva(r)*./ *ѡ ї* ~ / 249 (1866—2, в заглавии зачала). О написаниях *v* в качестве второго элемента диграфа в этом источнике впервые упомянул Е. Ф. Карский [Карский 1979: 199], правда, не приведя примеров; *v* «без хвоста и с хвостом, обычно с надстрочным знаком в форме будущей оксии» упомянуто в описании МЕ [Жуковская 1983: 15]³.

В БСП¹ трижды использована буква *ж*: *жстрашишасѧ* *slav. slav.* б/п, б; *моѡж* 3 об.; *пжть* 7 об. К числу мало характерных для БСП¹ букв относится *ү*: в трех случаях она отмечена соответствии с греческой *υ*: / *үмүрьна* 24 об., греч. *σύρνα*; *түрова* 25, греч. *τύρου*; *күминъ* *slav. slav.* б/п, 8 об., греч. *σκόμνος*; в этот же ряд можно отнести уже упомянутое *скв/минъ* 36. В двух случаях *ү* использована в славянских лексемах как эквивалент *ю*: *лүта* / 10, *пстүрү* (вос.; 36 об., 12-я буква в строке из 18-ти). Особого внимания заслуживают написания *ү* со значением ⟨u⟩ в сочетании ⟨Cu⟩ на месте этимологического ⟨q⟩. Как было сказано, буква *ж* отмечена в БСП¹ три раза, и столько же раз на ее месте встретилась *ү*⁴. Написания *зүви* 36, *вүстанү* 36 об., *гүсли* 36 об. отмечены на коротком отрезке текста не в конце строк, что свидетельствует об отсутствии описки или стремления к особому экономному письму в конце строки. Один раз *ү* написана на месте *ѡж*: *пърү* *ass. sg.* 12 (16-я буква в строке из 19-ти). Буква *ѡж* не используется в БСП¹, однако большой юс отмечен в позиции начала слога как древнерусский эквивалент *ю*: *моѡж* 3 об. Нетрудно заметить, что обе буквы, *ж* и *ү*, употребляются в БСП¹ безразлично к твердости или мягкости (а также палатальности) предшествующего согласного и независимо от наличия йота⁵, что позволяет судить об их функциональной близости.

³ В более ранней обстоятельной монографии К. И. Невоструева о Мстиславовом евангелии, впервые опубликованной по авторской рукописи лишь в 1997 г. [Невоструев 1997], буква *v* передана (издателями?) как *ү* [Невоструев 1997: 582].

⁴ В данной статье не разделяются монограф *ү* как функциональный эквивалент *оү* и ижица *ү* как эквивалент *ю*. Многофункциональность кириллической *ү* сопоставима с такой же неопределенностью глаголической *ѡ*. Так, если в *Mar.* буква *ѡ* (*v*) используется для обозначения ⟨u⟩ после твердых согласных в грецизмах с исконными *υ* и *ου*, а также в славянских лексемах и флексиях только в соответствии с *ѡ* (*оү*) [Ягич 1883: 422], то нет никаких оснований называть одну и ту же букву *ѡ* то монографом, то ижицей. Правильнее было бы говорить, что в *Mar.* буква *ѡ*, или ижица (*v*), имеет значение, тождественное диграфу *ѡү* (*оү*) [ср. Diels 1932: 41]. Дополнительные обоснования для такого подхода см. в: [Кривко 2004].

⁵ Функции буквы *ү* как знака для ⟨u⟩ в сочетании ⟨Cu⟩ ранее рассматривались редко, но все же примеры, воспроизведенные в данной статье [см. впервые: Кривко 1998а: 52], не выглядят подозрительно одиноко на фоне предшествующей традиции [ср.: Гольщенко 2000: 15]. На употребление буквы *ү* для обозначения ⟨u⟩ в сочетании ⟨Cu⟩ в *Mar.* указывал еще В. Ягич [Ягич 1883: 422], а В. С. Гольщенко впервые подробно и обстоятельно описала иные случаи написания буквы *ү* со значением [u] в других славянских рукописях XI—XIII вв. [Гольщенко 1982: 11]. Известно также,

Буквы ѡ, ѡа, ѣ, ѣ

Буква ѡ употребляется в БСП¹ независимо от ее исконного значения как буквы носового гласного переднего ряда. Основная позиция ѡ — после буквы согласного, буква ѡа в этой позиции почти не встречается; исконно палатальные согласные никак не обозначены, что представляет основную древнерусскую орфографическую тенденцию [Дурново 1924: 259; Lunt 1949: 82—93; Lunt 1955: 20—22]: съѡраѡеть 4, ѣа gen. sg., 1 об., овьяѡ adj. nom. plur., 13, изѡавляѡ 11, ѣа nom. sg., sin.slav. б/п, 5, поѡраѡяютьѡ 10 об. и др. В словах с гласной ⟨а⟩ в начале слога пишутся буквы ѡа или ѡ, причем последняя чаще: ѡако 1 (2 раза), 2 об. (2 раза) и др., ѡаости 4 об., ѡаша 19 об., ѡаѡа 1 об., 5 об. и др., всего в синайских частях — около 170 раз, из них в начале слова — около 90; ѡко 1 (2 раза), 5 об. и др., ѡзгыкъ 7, 8, 9 об. и др., ѡвѣ 28 об., ѡ проп. masc. acc. plur., 3 об., 4, проѡѡалъ 5 и др., всего в синайских частях в позиции начала слога — более 330 раз, из них в начале слова — около 80. Буква ѡа лишь дважды употреблена в БСП¹ после буквы согласного: ѡриѡа 24 об., второй раз — в результате описки: (окропиши ѡа оуѡфѡмъ и) оуѡѡа/ѡа 31, вместо оуѡѡѡѡѡ.

Буква ѣ встречается в основном после букв согласных и гораздо реже, всего десять раз, в позиции начала слога, причем, как правило, либо в грецизмах, либо в лексемах с начальным южнославянским ѣ, соответствующим восточнославянскому о: ѣлени 4 об., ѣлень 21 об.; ѣмоньскыѡ 21 об., ѣфрѣмъ 39; ѣда 4 об., 20 об., 29 об.; sin.slav. б/п, 5 об. Рядом с нейотированным ѣ в слове ѣда стоит написание / (ѣда) ѣмъ (ѡѡѡѡ) 29 об.

В форме ѣси 39 об. ѣ наведено поверх угасшего текста; сопоставление с другими случаями передачи на письме личных форм глагола ѣгъти показывает, что буква ѣ наведена, скорее всего, поверх ѣ: ѣсмъ 30 об., ѣси 4, 4 об., 5 (2 раза), 9 об., 23 и др., ѣсть 30 об., ѣсмъ sumus, 24 об. В двух случаях ѣ написано в начале слога после буквы и: иѣрѣимъскыѡ 31 об., тѣрѣпѣниѡ sin.slav. б/п, 1 об., такие написания имеют старославянские параллели в кириллических рукописях. Употребление ѣ после и позволяет предполагать обозначение йотации с помощью и. Один раз буква ѣ написана в конце строки: твоѣ<го> gen. sg., sin.slav. б/п, 8. Что касается буквы ѣ, то она употребляется в БСП¹ только в позиции начала слога: твоѣѡ 1 об., твоѣго 1 об., проѡѡѡѡѡѡѡ 1 об. и др.

что «передача оу с помощью у в слав. лексемах ⟨...⟩ засвидетельствована, напр., в Златоусте Бычкова XI в., у основного писца Изборника 1073 г.» [Илчев, Велчева 1995: 49], а также в Изборнике 1076 г. [Страхов 2001: 16]. Написания / ѡмѡрѡна 24 об., тѡрѡѡа 25, ѣкѡмѡнъ sin. slav. б/п, 8 об., скѡмѡнъ 36; лѡѡѡа 10, пѡѡрѡѡ 36 об.; зѡѡѡн 36, вѡѡѡѡѡѡѡ 36 об., гѡѡѡн 36 об.; пѡрѡѡ ass. sg. 12 и другие подобные многочисленные примеры из славянских рукописей XI—XIII вв. изучены в отдельной статье [Кривко 2004] в сопоставлении с историей греческих заимствований с исконными ѡ, ѡа, ѡѡ, ѡѡ и с особенностями обозначения на письме слогов с ⟨u⟩ любого происхождения в анлауте и после согласных.

Рефлексы сочетания **tert*

В БСП¹ рефлекс сочетания **tert* ни разу не передан в полногласном варианте, он выступал, как правило, в неполногласных формах с ϵ : *потрѣвилъ* *иси* 23, *потрѣвиши* 33, *прѣисподънѣа* 41, *тревоуши* *sin.slav.* б/п, 7 и др. Буква τ в рефлексах сочетаний **tert* встретилась только четыре раза: *жрѣви* 6, *потрѣвить* 10 об., *оврѣдъши/ихъ* (так!) 25 об., *прѣзъриши* *sin.slav.* б/п, 2. Среди рукописей XI в. столь значительное преобладание написаний с ϵ при обозначении рефлексов **tert* до сих пор было отмечено только во втором почерке Архангельского евангелия, широкое распространение написания рефлексов **tert* с ϵ получает с XII в. [Дурново 1926—1927: 40; ср.: Живов 1999: 778—779 и след.]. Рефлексы сочетаний **telt* в БСП¹ не отмечены.

Обозначение рефлекса **ēd-*

В БСП¹ отмечен единственный пример написания буквы ϵ для обозначения фонемы $\langle e \rangle$ в начале слога после палатального глайда: *ѣстѣ* (*surinum*) 38. Такое написание, распространенное в древнерусских рукописях, отражает нейтрализацию оппозиции $\langle e \rangle$ — $\langle \hat{e} \rangle$ после палатального глайда. В двух других случаях этот корень написан с буквой τ : *ѣдѣтъ* L., 6, *ѣша* L., 6, но *ѣди* 40.

Обозначение рефлексов праславянских сочетаний

**tj, *kti, *dj, *pj, *bj, *vj, *mj*

Древнерусский рефлекс **tj* отмечен в единственном случае: *полюю* 33 об. Всегда с буквой τ пишется корень **teudj-*: *чюждимъ* 28, *чюждимъ* 28, *чюжди* 33. Показательна допущенная описка: *дѣлаютьши* 32 об., которая позволяет усмотреть влияние на эту форму южнославянского по происхождению диграфа *шт*, чей облик был искажен первым писцом. Рефлекс праславянского **tj* передается с помощью буквы τ : *просвѣщение* 1 об., *посѣщаа* 2, *съмоущенъ* 4 об., *отъвѣщають* 37 об., *искоуци* 10, *враждоуци/и* 11 об., *искоуци* 17 (2 раза), 19 об., *съмоуцаши* 21, *въсхоуцетъ* 25 и др. Примеры со старославянским обозначением рефлекса **dj*, в отличие от сочетания **tj*, единичны: *вижди* *sin.slav.* б/п, 3 об., *виждь* 25, *въздаждь* 3, *чюждимъ* 28, *чюждимъ* 28. Один раз рефлекс праславянского сочетания **dj* был передан согласно древнерусским фонетическим особенностям, но это написание было исправлено: *чюжди* 33. Видимо, не случайна также описка *съждижються* 31 об., вызванная и тем, что писец нетвердо владел южнославянским узусом. Рефлекс праславянского сочетания **dj* передается в БСП¹ в подавляющем большинстве случаев согласно древнерусской фонетике: (да не) *постгыжюся* 1; *предаждь* 2 об.; *даждь* 3 (2 раза), 38, 39; *подаждь* 4 об.; *оутвържение* 3 об.; *оутвържю* 7 об.; *ноуждахоуся* 17; *преже* 18 об., 34 об., 37; *въхожаше* 20 об.; *хожю*

21 об., 22; *ражаючи* 27; *въздажь* 29 об., 31; *оүгожю* 35 об.; *вижь* 37 об.; *жажю* 40; *оүтвѣрженіи* sin.slav. 6/n, 8 об. Древнерусское обозначение рефлекса *dj с помощью буквы ж и в то же время передача рефлекса *tj согласно южнославянскому узусу, то есть с помощью џ, является характерным признаком древнерусской редакции церковнославянского языка, который отчетливо проявился уже в Архангельском евангелии и новгородских служебных минеях 1095—1097 годов [Дурново 1969: 36; Успенский 1995: 33—34]. Так, во втором почерке Архангельского евангелия буква ж используется для обозначения рефлекса *dj в 90 % случаев, а буква ч, соответствующая старославянской џ (штѣ), встречается в 10 % написаний [Lunt 1949: 106].

Лексема *ночь* всегда пишется в БСП¹ согласно южнославянскому узусу (лл. 7, 21, 34). В БСП¹ единственный раз отмечено написание рефлекса праславянского *vj без *l-erentheticum*: *оумьрцьвѣнии* 24. В остальных лексемах рефлексы праславянских сочетаний губных с йотом переданы со вставочным плавным, согласно восточнославянскому и раннему общеевропейскому узусам: *ѣлгословенгы* 6 об., 21 об., *прилѣплахоу* 1, *противляющинхъ* sin.slav. 6/n, 8 и др.

Буквы для обозначения гласных в начале слога

Буква *а* употребляется в БСП¹ только в начале первого слога следующих слов: *азъ* 18 об., 26 и др., *лицѣ* 23 об., 29 об., 30, 31 об., 34 (2 раза) и др., *акты* 8, 11, 12 об., 23 (*акъ* вместо *акты*), 32, 34, 37, 37 об.), *адъ* 6, 34, 37), (*въ*) *адѣ* 28, 28 об., *аспида* 36 об. В соответствии с начальным восточнославянским ⟨о⟩ в полном согласии с южнославянской книжной традицией в БСП¹ всегда употребляется *ѣ* (ѣ): *ѣлени* 4, *ѣлень* 21, *ѣленьмъ* 102, *ѣдиною* 40 об., 78⁶.

В начальном слоге слова употребляется исключительно диграф *оу*: *оухо* 5; sin.slav. 6/n, 3, 8; *оутрѣва* 5 об., 24 об.; *оуность* 22; *оутро* 25 об.; *оуныча* 29 об.; и и *оудоль* 39 (так!); или: и *иоудоль* [т. е. *i judolb?*]). Последовательная передача начального *оу* в соответствии со старославянским *ю* отличает БСП¹ от многих церковнославянских памятников XI — начала XII вв. [Тот 1985: 315]. И. Х. Тот обратил внимание, что только в Архангельском евангелии 1092 года отмечалось семь примеров с начальным *оу* в корне слова, типа *оуности*, *оунъ* [Соколова 1930: 118; Тот 1985: 315]. В таких же рукописях XI в., как Пандекты Антиоха, Минея Дубровского, Туровские листки, Слуцкая псалтирь, Житие Кондрата, Житие Феклы, Реймское евангелие и русская часть Саввиной книги в позиции начала слова используется исключительно *ю* [Тот 1985: 315]. На этом фоне иначе как недоразумение не может расцениваться вывод, что «старославянские по происхождению варианты типа *юноша* вы-

⁶ Написание *олѣн* L., 7 является романским заимствованием в южнославянские и западнославянские языки (ср. лат. *oleum*, но греч. ἔλαιον → *ѣлени*) и поэтому не имеет отношения к противопоставлению ю.-сл. *ѣ* и вост.-сл. *о* в начале слова, как полагала И. Кузнецова [Кузнецова 1967: 84].

ступили на первый план, во всяком случае, после второго южнославянского влияния» [Лукина 1968: 114]. Такая ошибка допущена, видимо, в связи с тем, что в качестве источника для исследования была выбрана картотека Словаря древнерусского словаря XI—XIV веков, составители которой не учитывали такие источники, как «церковно-каноническая литература», в частности, «книги Нового и Ветхого Заветов» [СДРЯ I, 9].

Буквы а и ѡ после букв шипящих и ц

В БСП¹ после шипящих употребляются только буквы а и ѡ (кроме двух случаев, из которых один — описка: ѡрица 24 об., оуицѡса [вм. оуицюса] 31): после ш, щ, ч — только а (ѡша 1 об., 5 об., 8 об., и др., независимо от падежной формы), изнемогоша и падоша 1 об. и др., творащаго 5, приѡжица 5, вѡцаднѣ 11, ѡаеть 9, ѡада 9 об., овлаѡахъса 11 и др.; после ж два раза употребляется буква ѡ (маѡежа 5 об., дѡржавьно sin.slav. 6/n, 7), четыре раза — а (сѡтоѡжающимъ 2 об., сѡтоѡжаа 10 об., сѡтоѡжаеть 22, приближѡтьса 1 об.). После ц 26 раз употребляется ѡ (дѡсница пом. sg., 1 об., 22 об., 24 об., ѡрдца gen. sg., 6, 8 об. и др., вѡсклицаниемъ 8 об. и др., 17 раз — а (лица gen. sg., 2 об. (2 раза), 6 об. и др., ѡрдца пом. plur., 6 об., скорописѡца gen. sg., 24 и др.

Буквы оу, ю после букв шипящих и ц

В БСП¹ после букв шипящих (кроме ц) и ц, везде употребляется буква ю: ѡшю 1, 1 об., 20 об.; sin.slav. 6/n, 8 и др.), са оустрашю ∴ / 1 об., сѡгрѡшю ∴ / 17 об., шюма 21 и др.; постѡжюса 1, оутвержю 7 об., хожю 21 об., 22 и др.; ѡудѡса 19, приѡжю 23 об., 27 об., ѡюждимъ 28, ѡюжии 33 и др.; лицю 21, 21 об. и др., мѡышьцю sin.slav. 6/n, 3, зѡницю sin.slav. 6/n, 8. После буквы ц два раза отмечено ю (ницю 1, вѡзицю 2) и столько же раз оу: вѡзицоу 2, ницоушии 20 об., ср.: искоушии 10, искоушии 17, 19 об., искоуши 17.

Варианты ѡ — ѡ — ѡ; надстрочные знаки

Вариант ѡ встречается в БСП¹ четыре раза, причем дважды в начале стиха и с диакритическим знаком: / ѡше ѡпѡльгъуиѡтьса 2, / и ѡтъ 9. Один раз вариант ѡ написан в результате описки, из-за пропуска надстрочного элемента " в лигатуре ѡ: ѡмѡктаеть (сѡвѡкты) 8 (вместо ѡмѡктаеть). Один раз вариант ѡ написан в середине строки: ѡтъ мене 11 об. Подобно ѡ, четыре раза в начале стиха написан вариант ѡ (широкое очное ѡ), в том числе в составе диграфа оу, один раз над ним поставлен диакритический знак *spiritus lenis*: ѡмножишася sin.slav. 6/n, 7, ѡупѡвающаго 7 об., ѡубоитѡса 8, ѡвидохъ 2. Широкое очное ѡ написано киноварью и имеет больший размер,

чем остальные буквы в строке. *Spiritus lenis* используется в БСП¹ только над буквами гласных первого слова стиха, который всегда начинается с новой строки. Этот знак употребляется в БСП¹ на следующих листах рукописи: лл. 4 — 4 об., 6 — 6 об., 7 (один пример: ѿмножишася sin.slav. б/н, 7), 8 об. (непоследовательно), 9 sin.slav. б/н и далее с л. 1 по л. 10 об. включительно sin.slav. б: ѡце ѡпльзуться 2, ѡдино҃го 2, ѡце 2 (2 раза), ѡ не оуклониса 2 об., ѡ не остави 2 об., ѡко 2 об., 4 об., ѡ оуподоблюса 3, ѡгда 3, 6, ѡ по зловѣ 3, ѡко 3, ѡтъвратилъ 4 об., ѡда 4 об. и др. Особенность употребления вариантов ѡ, ѿ в сопоставлении с Ѡ и знака *spiritus lenis* в БСП¹ состоит в том, что эти знаки обозначали начало стиха, маркируя каждый очередной ритмико-смысловый период в тексте Псалтири. Такой способ употребления вариантов ѡ, ѿ, насколько нам известно, до сих пор не был отмечен в древнерусской орфографии [Worth 1996], хотя орнаментальным, или «зрительно-эстетическим» (термин Х. Микласа) приемам графического оформления средневекового славянского рукописного текста посвящена большая литература. Прием графического выделения начала стиха описан здесь впервые, причем сопоставление с оформлением конца строки позволяет выявить его главную особенность. Если при обозначении конца строки используются «узкие» варианты графем и, оу — і и ѡ, то в начале стиха употреблены «широкие» варианты ѡ и ѿ, а над остальными буквами гласных ставится надстрочный знак. Таким образом, если основной принцип обозначения конца строки состоит в «графической редукции», то при обозначении начала стиха используется «графическая эмфаза»⁷. Вместе с тем нужно заметить, что написание лигатуры ѡ в БСП¹ не подчиняется «эстетически-техническому принципу»: ѡими ѡ мен(...) 31, ѡ врагы роукы твои sin.slav. б/н, 8 об.

Обозначение конца строки и орфография гадательных приписок

Зрительно-эстетический принцип орфографии определял и употребление вариантов і и ѡ, использовавшихся в БСП¹, как правило, в конце строки или над строкой в случае пропуска отдельных букв или слогов: силѡ ∴ / 4 об., немѡ / 7 об., вѡ/доу 18 об., преѡ/крашена ∴ 24 об., немѡ / 25, вѡноутрьоудѡ ∴ — / и др. В слове шю 1 (вм. доушю), написанном не в конце строки, слог ^{ас}ш, пропущенный писцом, надписан им над строкой и немного сдвинут влево, как в

⁷ Выявленные единичные примеры обозначения начала строки в БСП¹ — не исключение в средневековой письменности. Так, в одной старорусской рукописи XVI в. мной отмечено написание / ѡѡе раздѡленіе Библ.(Рум.) 162 об. Буква ѡ написана в начале строки, причём размер ижицы ѡ больше, чем у остальных строчных букв, что в данном примере ясно показывает её декоративную, или зрительно-эстетическую функцию — выделения начала строки. Показательно, что здесь для оформления начала строки и стиха использована графема, свойственная прежде всего грецизмам.

слове г⁸ви(н?).../ 33 об. Похожим образом в слове славѣ 3 об. вариант ѣ написан в стихе, сначала пропущенном писцом, а затем вписанном над строкой более мелкими буквами. Один раз лигатура ѣ написана с надстроочным элементом ѵ над буквой ѡ, немного сдвинутом влево, что, скорее всего, связано с тем, что писец пропустил ижицу — второй элемент диграфа оу — в самой строке: вѣнидѣть 41. Интересно, что вариант ѣ использовался на месте оу при поновлении угасшего основного текста поздними правщиками: рлзѣнѣють sin.slav. б/п, 1 об., слог зѣ- написан заново на месте угасшего текста, злвѣди sin.slav. б/п, 2 об., слог вѣ- написан заново на месте угасшего текста, под новым текстом отчетливо просматривается оу. Аналогично употребляется и вариант і: вѣні/доу 1 (буквы «вѣні» написаны заново поверх угасшего текста в конце строки), мї : / 3 об., 18 об., достоанї/ѣ 3 об., ливаньскыі :— / 4, подвї/жюса 4 об., гї : / 6 об. и др.; живї/ции 8, вместо живоуции, вариант і написан поздним правщиком поверх угасшего текста в конце строки.

В связи с приемами конца строки уместно рассмотреть графику и орфографию гадательных приписок, которые сделаны на верхних и нижних полях рукописи киноварью. Почти все приемы оформления конца строки используются в БСП¹ в гадательных приписках независимо от расположения слова по отношению к началу или концу записи. К числу приемов графико-орфографического оформления гадательных приписок относятся: использование і как «узкого» варианта и, употребление вариантов букв ѣ и ѣ с высокой мачтой, написание лигатуры ѣ из Т + ѣ. Все эти приемы использованы в конце строки при написании основного текста. К обычным приемам конца строки в БСП¹ в гадательных приписках добавлен еще один — преимущественное употребление ѣ за счет сокращения использования ѣ. Приведем текст некоторых записей⁸: вѣроуи вѣѣмь срдцьмь <так!> и цѣлѣши sin.slav. б/п, 6 об.; дѣло емоуже хошеши троудѣ имать 18 об.; не пѣчисл боудеть дѣло твоє 24; иже їмаши на оумѣ помалоу испълнит<..> 57; вѣ ти есть помощникѣ не воеса : / 67; многы тлжа на тл вѣстают <так!> 70 об.; аще пождешї моласл боудеть ти надежа добр: 91 об., не воеса вѣзнесешисл по днѣхѣ : / 71 об. Ср. в основном тексте: вѣздоушнѣиїхѣ :— / 4 об., оправданѣи / L, 2 об., мѣ(ѣ?)ногахѣ : / 3 об., прѣвѣванѣтъ / 8 об., отѣ / 17 об., спѣѣ с / 8 об., велїцѣи : / 19 об., вѣкѣи / 23, мѣ/ною 35 об., съплѣтаютѣ : / 36 об. и др.

В использовании приемов оформления конца строки в гадательных приписках имеются исключения. Один из немногих случаев употребления буквы ѣ отмечен в записи, которая, кроме прочего, ценна тем, что в ней отмечается древнейшая фиксация слова съчастїи в истории русского языка: съчастїю прошеїи <..> 43 (если это не сочетание съ частїю). Насколько можно судить по фотокопии, окончание записи утрачено, однако его можно попытаться восстановить с помощью другого отрывка, благо содержание гада-

⁸ Записи, сделанные на нижних и (реже) верхних полях листов, приводятся полностью, поэтому начало и конец строки в приведённых примерах не указывается.

тельных приписок либо полностью, либо с различными вариациями часто повторяется: ...*тию естъ прошение твоє* sin.slav. б/п, 7 об. Сказанного о слове *съчастие* достаточно для того, чтобы признать крайне желательным знакомство с рукописью de visu и с применением необходимых технических средств, что позволит гораздо более уверенно прочитать неполностью сохранившийся текст многих гадательных приписок, да и весь текст Псалтири и библейских песней, включая угасшие отрывки, которые не привлекались к изучению в рамках данной статьи.

Другое исключение касается употребления графического варианта : *неиже* <так!> *печешисѧ моли ба и ми/мо идеть* 53 об. Этот вариант поместился в середине инициала, с которого начинается первый стих 72-го псалма; этим стихом завершается текст Псалтири на листе 53 об. Инициал занимает пространство листа почти до нижнего края. Таким образом, начало гадательной приписки совпадает графически, точнее, зрительно с зачалом псалма.

Приемы графико-орфографического оформления в БСП¹ гадательных приписок и конца строки уместно сопоставить с тем, как оформляется конец строки и стиха в БСП³, где отмечены два написания узких вариантов хотя и в конце строки, но с сохранением после них значительного незаполненного пространства; особенно это касается первого примера, где вариант *ѡ* находится не только в конце строки, но в конце стиха: *отъпа/дѡтъ ѡ* / 13 и *кѡдѡ* / 15 об. Аналогичная особенность просматривается и в написании буквы *ѡ* в БСП², которая часто используется в конце строки и стиха так, что после нее в строке остается незаполненным значительное пространство (см. об этом во второй части статьи).

Графико-орфографическое оформление гадательных приписок в сопоставлении с приемами оформления конца строки и стиха в БСП² и БСП³ заставляет по-особому взглянуть на эти приемы письма. Использование узких вариантов графем нельзя объяснять стремлением к экономии места в строке. Вспомним верное наблюдение В. С. Гольшенко, что «вряд ли только стремлением к экономии места можно объяснить, например, отмеченные в УЕ¹¹ <11-й почерк Учительного евангелия Константина Болгарского XII в. (ГИМ, Син. 262). — Р. К.> написания: *п/слѣди* 216а 20, *зап/вѣди* 215б 4, *сътѣв/ристѣ* 216а 10, тем более что писцы не стремились строго, как это делали они в отношении левой стороны столбца, соблюдать ровной правую его сторону» [Гольшенко 1982: 24, сноска 57]. В сопоставлении с приемом графической эмфазы в начале стиха и в сравнении с употреблением узких вариантов графем в пропущенных словах стихах или в наведенном тексте становится ясным, что смысл использования «графической редукции» состоит не в экономии драгоценного писчего материала. Оформление конца строки и различных по содержанию маргиналий связано с восприятием записанного текста не только как смыслового единства, но и как единства графического, зрительного. В этих приемах отражается особая, нефонетическая

(символическая?) сторона письма, исследование которой представляет отдельную проблему⁹.

Буквы њ, њ. Рефлексы сочетаний типа **ьrt*

Буквы њ, њ регулярно пропускаются в БСП¹ в следующих морфемах: а) в корне *ѡлѡ-* — 20 раз: *ѡлѡю* 1 об., *ѡлѡюущи* 1 об., *ѡлѡ* 9 об., 17, *ѡлѡл* 10, 10 об. и др.; буква њ для обозначения редуцированного в этом же корне отмечена семь раз: *ѡлѡ* 2, 9 об., *ѡлѡю* 1 и т. д.; б) местоименный корень *къ-* почти всегда пишется без буквы њ в словах *къто* и *къде*: *къто* 9 об., 18, 33 об. и др., отмечено лишь три написания корня *къ-* с буквой њ: *къто* 19, *къде* 21 об.; *къто* sin.slav. б/п, 6 об.; в) в корне *мъног-* буквы њ, њ не пишутся 18 раз: *мног* 6 об., 12 об. и др., в восьми случаях в корне *мъногъ-* пишется буква њ: *мъножьствѣ* 8 об. и др., один раз буква њ: *мъногахъ* 3 об.; г) в формах dat. sg. и instr. sing. местоимения *азъ* буква њ/ь пропущена 17 раз: *миѣ* 5, 10 и др., *мною* 9, 17, 34 об., 35, 30 об., sin.slav. б/п, 9, в 23 случаях пишется буква њ: *мънѣ* 10 об., 17 об., *мъне* 17, 17 об. и др.; д) в корне *всѡ-* буква њ пропущена 11 раз: *всѡкого* 9 об., *всѡ* 10, 23, 25, 31, 35, *вси* 13, 41 об., *всѡкы* 41, *всѡка* 42, *всѡколѡ* 33, тогда как с буквой њ этот корень отмечен более чем в 20 случаях: *всѡ* 7, 8 об. (2 раза) и др.; е) в суффиксе *-ьн-* буква њ пропуще-

⁹ Неверно полагать, будто «славянская филология в целом (за исключением частных метких наблюдений) из этих эффектов (графического оформления конца строки — Р. К.) восприняла и удержала в памяти, кажется, только использование *ї* и *ѡ*» [Страхов 1998: 123]. Из истории славянского письма давно известно, что орфография и графика не связаны напрямую с фонетическим и фонологическим уровнями языка [Дурново 1933: 45—82; Винокур 1959: 456—467], что особенно характерно «для средневекового сознания с его интересом к символу» [Колесов 1982: 57]. Написания, не обусловленные смыслоразличительными отношениями, опираются на древнюю традицию использования «эстетически-технического принципа», отражённую в классических старославянских памятниках [Миклас 1993: 3—12; Miklas 1988: 52—65]. Даже сами древнерусские фонетические особенности могли передаваться на письме в согласии с требованиями оформления конца строки. Это происходило не только при обозначении на письме второго полногласия [Голышенко 1962: 20—28; Кандаурова 1968: 7—18], но и при всяком написании букв њ, њ и надстрочных знаков, которые могли их замещать [Schaecken 1994: 369—387]. Таким образом, исследование элементов древнего славянского письма, связанных с его зрительной стороной, в частности, с оформлением конца строки, имеет прочную научную традицию, в этой области собран богатый фактический материал и выработаны особые приёмы для работы не только с книжными памятниками, но и с текстами бытовой письменности [Schaecken 1995; Семенов 2003]. К сожалению, из упомянутых в данном примечании работ только исследование Й. Схакена [Schaecken 1994: 369—387] попало в список литературы к статье А. Б. Страхова [Страхов 2001: 69], специально посвящённой зрительно-эстетической стороне славянского средневекового письма.

на 17 раз: ближнии 3, прѣднии 4 об., прискървно 7 об., правьднаго 6 об., 10, sin.slav. б/п, 3 об., правьднѣа 9 об., правьднии 10, прискървна 22 (2 раза), неправьдна 22 об., правьдникуѣ 35, разоумно 26 об., правьднии 7 об., 32, правьдникы sin.slav. б/п, 3 об.; тот же суффикс написан с буквой ѣ 63 раза: неправьднии 2 об., потревьно 7, грѣшьномуѣ 7 об. и т. д.; ж) в корне кѣназъ- буква ѣ пропущена дважды: кназъ 8, кнази 26 об., других примеров употребления этого корня в БСП¹ нет. Лексема пѣтица, которая в современных БСП древнерусских рукописях часто пишется без буквы ѣ, в БСП¹ встречается лишь дважды, и оба раза она написана с ѣ: пѣтица 29 об.; sin.slav. б/п, 3.

Набор морфем, которые писцы XI—XII вв. писали без букв ѣ, ѣ, подробно описан А. И. Соболевским [Соболевский 1907: 46], Н. Н. Дурново [Дурново 1925—1926: 96—112] и Г. Лантом [Lunt 1949: 18, 70 etc.; ср.: Gribble 1989: 2—6]. С разной степенью частотности в различных рукописях XI—XII вв. буквы ѣ, ѣ пропускаются в морфемах кѣниг-, кѣназъ-, пѣтиц-, кѣто, въс-, мѣног-, зѣл-, дѣн-, дѣв-, пѣс-. По наблюдениям Н. Н. Дурново, в основном почерке Остромирова евангелия ѣ, ѣ почти не пропускаются в основах; в Туровских листках, Синайском патерике, первом почерке Архангельского евангелия, Реймском евангелии, втором почерке Успенского сборника ѣ, ѣ пропускаются только в основах, но не в аффиксах; близко к ним стоят Чудовская псалтирь, новгородская служебная минея 1095 года, МЕ, в которых буквы ѣ, ѣ сохраняются всегда в префиксах, а в суффиксах пропускаются редко. Именно эта последняя особенность характеризует и БСП¹ и БСП². В Изборнике 1073 года, втором почерке Архангельского евангелия, первом почерке Успенского сборника буквы ѣ, ѣ пропускаются, как правило, только в основах и редко в аффиксах [Дурново 1925—1926: 96—112; ср.: Колесов 1964; Успенский 1995: 238—239].

Уже А. А. Шахматов [Шахматов 1915: 203—228] считал, что пропуск букв ѣ, ѣ в древнерусских церковнославянских рукописях XI—начала XII вв. не является отражением восточнославянских языковых процессов, а представляет собой результат влияния орфографии старославянских памятников. Позже С. Гриббл предположил, что пропуск букв ѣ, ѣ в морфемах кѣниг-, кѣназъ-, пѣт(иц-), кѣто, мѣног-, мѣн- (супплетивные формы от азѣ), въс-, сѣ-, зѣл-, дѣн-, дѣв-, пѣс- является всего лишь сокращенной формой написания тех морфем, которые легко опознаются при чтении благодаря буквам фонем «полного образования». По словам С. Гриббл, «именно Г. Лант первый обратил внимание на важнейший момент (crucial point) в употреблении определенных сочетаний согласных букв (consonant clusters), которые более нигде не встречаются» [Lunt 1949: 18; Gribble 1989: 6, etc.], то есть используются только в одной морфеме. Пропуск ѣ, ѣ в таких «блоках» Г. Лант вслед за Р. О. Якобсоном объяснял скоростью речи, против чего С. Гриббл справедливо возражает.

Вместе с тем существует статистика, учитывающая количество морфем с систематически пропускаемыми буквами ѣ, ѣ, которая показывает, что в XII—XIII вв. число таких морфем увеличивается по сравнению с древне-

русскими рукописями середины XI в. [Колесов 1964: passim], в связи с чем В. М. Марков считал отражение судьбы ъ, ь в древнейших рукописях одним из наиболее важных факторов, датирующих письменный памятник [Марков 1964: 80].

Таблица показывает, как отразился процесс падения ъ, ь в БСП¹ и БСП²:

Морфема	БСП ¹		БСП ²	
	Число написаний с ъ, ь	Число написаний без ъ, ь	Число написаний с ъ, ь	Число написаний без ъ, ь
зѣл-	7	20	17	5
кѣтѣ	3	В большинстве случаев	4	В большинстве случаев
мѣног-	8	18	15	21
мѣн-/мѣн-	23	17	28	39
вѣс-	20	11	В большинстве случаев	4
-ѣн-	63	17	148	14
кѣнѣз-	0	2	4	11
-ѣц-	1	1	все	0

Подсчеты позволяют судить, что в БСП¹ утрата ъ, ь надежно отражается в пяти морфемах (зѣл-, кѣтѣ-, мѣног-, мѣн-/мѣн-, кѣнѣз-), в БСП² — в четырех (кѣтѣ-, мѣног-, мѣн-/мѣн-, кѣнѣз-). Близкое количество морфем с последовательно пропускаемыми ъ, ь отмечено В. В. Колесовым в Чудовской псалтири (семь морфем), сборнике 13-ти слов Григория Богослова (XI век, девять морфем), Типографском уставе (№ 142) XI—XII в. (девять морфем) и Синайском патерике (девять морфем). Для сравнения, в Изборнике 1073 года, в первом почерке Архангельского евангелия 1092 года и в новгородских служебных минеях 1096 и 1097 годов, а также в Пандектах Антиоха и в Реймском евангелии ъ, ь опускаются регулярно в одиннадцати морфемах. Меньшее количество морфем с регулярно пропускаемым ъ или ь в отмечено только в Остромировом евангелии и в Путятиной минее, причем в Путятиной минее ъ пропускается только в корне зѣл-. В новгородской служебной минее 1095 года отмечено 15 морфем с регулярно пропускаемыми буквами ъ/ь, во втором почерке Архангельского евангелия — 16, а в МЕ, Ефремовской кормчей и Успенском сборнике XII—XIII вв. отмечаются 20 морфем с регулярно пропускаемыми ъ, ь в слабой позиции [Колесов 1964: 30—44, 37].

Таким образом, рукописи XI в. не позволяют усмотреть какую-либо устойчивую динамику в утрате слабых ъ/ь, скорее, они отражают колебания индивидуального письменного узуса и степень ориентации на старославянские образцы (достаточно сравнить различные данные первого и второго почерков Архангельского евангелия). В то же время динамическая разница

между рукописями XI и XII—XIII вв. существует, и она позволяет датировать БСП XI веком, вопреки мнению Г. Ланта и И. Тарнанидиса.

Существует хорошо известное противоречие, касающееся отражения падения **ъ, ь** в русско-церковнославянских, т. е. книжных, и бытовых письменных памятниках. В берестяной письменности раннедревнерусского периода слабые **ъ, ь** сохраняются во всех грамотах, причем даже в тех, которые, скорее всего, написаны не новгородцами [Зализняк 1995: 47—49]. Это значит, что показания берестяной письменности поддерживают точку зрения А. А. Шахматова о независимом от языковых изменений характере пропуска букв **ъ, ь** в слабой позиции. Если обратиться к материалу БСП, то можно легко увидеть, что ситуация с пропуском букв **ъ, ь** в слабой позиции в БСП¹ и БСП² сходна, разницу составляет корень **зъл-**, в котором в БСП¹ **ъ** пропускается регулярно, в отличие от БСП². В остальных корнях буквы **ъ, ь** последовательно пропускаются только в абсолютно слабой позиции, что, с одной стороны, указывает на архаический старославянский узус, усвоенный обоими писцами, с другой стороны, на такое состояние древнерусской фонологической системы, в котором еще сохранялись фонемы ⟨ъ⟩, ⟨ь⟩. Это еще раз подтверждает раннюю датировку графико-орфографических систем памятника¹⁰.

Смешение букв **о** и **ъ, ь** и **ѣ** и **ь** в слабой позиции

Регулярно пишется с буквой **о** южнославянская лексема **оупъвати**, что характерно для древнерусских церковнославянских рукописей: **оуповаю** 2, **оупова** 32, **оуповаютьъ** sin.slav. б/п, 1, **оупованиѣ** 39. Иной характер носят написания, параллели которым хорошо известны и описаны в других памятниках; материал БСП¹ расширяет круг ранее известных в книжных памятниках примеров XI в.: **бѣ иѣлво** 37 об., **кото** 41 об.; **въспасть** 30 (**ъ** исправлен из **о**), **отъ рѣва** 18 об. (буквы **ъ** и **ѣ** исправлены из **о**; **о** во флексии, исправленное на **ѣ**, появилось в результате графической ассимиляции предшествовавшего **о**, которое, в свою очередь, было исправлено на **ъ** в результате гиперкоррекции).

Рефлексы сочетаний ***tbrt**, ***tbrt**, ***tblt**

В подавляющем большинстве случаев рефлексы праславянских сочетаний ***tbrt** / ***tbrt** и ***tblt** / ***tblt** переданы согласно древнерусскому узусу:

¹⁰ Тема букв **ъ, ь** в церковнославянских рукописях XI—XII вв. требует дальнейшей разработки и, возможно, пересмотра имеющихся сведений на основе сплошного расписывания широкого круга памятников XI—XII вв. с целью получения исчерпывающих числовых данных. Эти данные должны учитывать не только употребление букв **ъ, ь** в отдельных лексемах, но и позицию написаний по отношению к концу строки.

потърпѣхъ 1, жьртвоу 2, пѣакъ 2, потърпи 2 об., пьреть 4 об., мьртвь 6, скървини 9, сьмьрть 10, отъвьрзана 17, тьрпѣнии 18, пьрвья 22 и др. В БСП¹ отмечены всего четыре примера второго полногласия: ѿпѣльчуться 2, / ѿпѣльчуть 9 об., испѣльниша 1 об., прѣмѣльчужиши 3. Имеются несколько написаний согласно южнославянскому узусу, причем только в двух корнях: скръви 10, скръвѣхъ 33 об., скръвини 9 об., скръвьхъ 25 об., скръвь sin.slav. 6/п, 4; испльнь 8, 27, испльнимъся 42, испльниши sin.slav. 6/п, 7 об., испльниша sin.slav. 6/п, 8 об.

Описки

В БСП¹ отмечено большое количество описок, которые разделяются на несколько типов. Описание и классификация ошибок письма позволяют прежде всего судить о лингвистической достоверности источника. Поэтому В. В. Колесов с сожалением отмечал, что «указатели ошибок, типичных для древнерусских рукописей, еще не составлены, хотя необходимость в них весьма высока, поскольку всякое научное описание рукописи должно быть предварено полным перечнем отмеченных в ней описок и ошибок написания» [Колесов 1982: 30]. В БСП¹ выявлены следующие описки, количество которых позволяет ожидать отражения в памятнике не книжных, собственно древнерусских языковых явлений и инноваций, о которых пойдет речь ниже.

Пропущенные буквы: sin.slav. 6/п: раздоушилъ ѳси ∴ / 1, / Въ рдсти (вместо въ гьрдсти, 2), / разгѣва 2, вькоу 6 (вместо вькоупѣ), поуи 8 (вместо поути), / И съ трьпѣтивъмь 9 об. (вместо и съ стрьпѣтивъмь); sin.slav. 6: съ сворнь 1, / И бави ма 6 (вместо и избави ма), молтвоу 18 об., подвижаста 17 (вместо подвижаста), съханю 17 об., не прѣмчи ∴ / 18 об. (вместо не прѣмчужи), ирданьскыа 21 об., оемоньскыа 21 об., вместо оермоньскыа, греч. *Ермоуици* (славянский текст отражает контаминацию с формой *Аермоуи*), вьздаю (вм. вьздалъю) 29 об., / <..>ъ пренеманиа 33 об. (вместо пренемаганиа), вѣконие 34 (вместо безаконие), безание 37 об. (вместо безаконие), мло-т-воа 36 об. (вместо млотъ твоа, если это не написание слова мло как нѣ), вьзвелитьса 41, / вьзвелитьса 37 об., / Вьзвелитьса 42, въ / знетьса (вм. вьзнетъса) 41 об., онѣмѣ 18 (вместо онѣмѣхъ), / И на Гд 1, въ достоа себе ∴ (вместо достоание, 8 об.), / Ако отъ (пропущено того) тьрпѣнии моа 40; пропущенное титло: срдциъ 10;

графическая ассимиляция: а) под воздействием предыдущего слога: вьплъ sin.slav. 6/п, 4; б) под воздействием последующего слога: хвалоу 31 об. (вместо хвалоу), печели 21 об., вьздалю / уютъ 37 об., ви / тить 37 (вместо видить), мьшаца 22 об., вьсклѣкнѣте 26 (других примеров смещения ѣ и и нет); в) под воздействием сходного начертания другой буквы: зашититель (нашь) / 9, оумножица 17 об., (развогатѣть) ѿлвкы ∴ 28 об.;

повторное написание одной и той же буквы, слога или слогов: / И не оуклони и са 2 об., / Законъ помози 2 об. (буква м написана по сходству с л,

вместо положи), / В вкоушите 9 об., бѣ нашъ вѣ вѣ вѣкы : / 27 об., / Исповѣсть тѣ ти сѧ 28 об.;

описки, вызванные графическим и паронимическим сходством словоформ и словосочетаний: а) употребление неуместных с точки зрения семантики паронимов: мѣсто вселенъ (вместо вселени) славъ твоя 1 об., раждени (вместо гаждени) б, (възддстьсѧ) отъ вѣ (вместо молитва вѣ) ирѣк [иероусалимѣ] 42, облищаша (вместо обнищаша) 9 об.; б) неверное употребление грамматической формы: вѣ окилинѣ мочень 4 об., (окропиши мѧ оусофѣмъ и) оуищасѧ 31;

другие описки: обраддтьсѧ 31 (вместо обратадтьсѧ).

Написания о, ѓ вместо оу, ѿ; ѣ, ѡ вместо ѣ, ѡ; ѓ (о) вместо ѿѣ (ж), ѡ(ѡ) вместо ѡѣ (л)

Особо стоит обратить внимание на описки, связанные с пропуском второго элемента диграфа ѣ: испѣтаѣта 3 об., середина строки, / да постѣддтьсѧ 10 об., / Стрѣль 41 об. (вместо стрѣлы), сльзъ мѧ 21 (вместо сльзы), акъ 23. Интересно, что в БСП² выявлены только две описки такого типа: тождѣ (вместо тоуждѣ) sin.slav. б/п, 11 об., (животънаѧ твѧ) животъ (на неѣ) 45 об., хотя случаев пропуска букв в написанной им части БСП отмечено довольно много. В то же время в БСП³, то есть на трех листах рукописи, выявлены два надежных случая пропуска букв, из них один — написание о вместо оу: вѣ роуко 15 об.; правънъимъ (вместо правдънъимъ, 16); ср. также: (не видѣхъ <..> семени ѣго) просѣще (хлѣба) 14 об. (вместо просѣща, если это не свидетельство развития деепричастий).

Написания о, ѓ вместо оу, ѿ; ѣ, ѡ вместо ѣ, ѡ; ѓ (о) вместо ѿѣ (ж) неоднократно привлекали к себе внимание исследователей, однако до сих пор не получили надежного объяснения. В исследованиях В. Ягича, А. М. Селищева, П. А. Лаврова, В. Н. Щепкина, обобщенных в работе В. С. Гольщенко [Гольщенко 1982], убедительно показано, что материал старославянских и древнерусских памятников не позволяет усмотреть какие-либо фонетические причины в написаниях первого элемента диграфа вместо всей буквы. Как писал А. Вайан, «нельзя принимать во внимание спорадические написания ѣ вместо л, о вместо ж и др., представляющие собой просто ошибки писцов» [Вайан 2002: 56]. В ряде работ появление написаний типа ѣ вместо ѣ или о вместо оу рассматривалось параллельно с фонемными функциями буквы у, развитие у которой значения ⟨u⟩ в сочетании ⟨Cu⟩ объяснялось описками [Diels 1932: 41—42; Гольщенко 1982: 18].

При более внимательном рассмотрении подобных написаний обращает на себя внимание ряд обстоятельств, которые мешают видеть в них обычный пропуск букв и сопоставлять их с написаниями у в качестве эквивалента оу. Это, во-первых, отсутствие написаний типа і вместо ѣ в кириллических памятниках, не знающих мены и и ѣ, или ѣ (л) вместо ѿѣ (ж) в глаголи-

ческих рукописях, не знающих мены юсов¹¹. Во-вторых, написания с первым элементом диграфа осознавались как ошибочные самими же книжниками. Об этом свидетельствуют многочисленные случаи исправлений ѣ на ѣ, о на ѝ [Гольшкенко 1982: 21—23] или один случай исправления о (Ѡ) на ж (ѠЄ) в Мар. [Ягич 1883: 424]. Этого нельзя сказать о написаниях с ѣ вместо оу, которые нигде не исправлялись (единственное исключение — Путятинина, где имеется одно исправление ѣ на ѣ не в конце строки, что связано с устойчивым использованием буквы ѣ в этом памятнике для обозначения фонемы ⟨u⟩ после исконно палатальных [Колесов 1973: 178; Кривко 2004]). В-третьих, не все рукописи, в которых встречаются написания ѣ вместо оу или ю (ѣ), содержат также написания о вместо оу или ѣ вместо ѣ. Сопоставление количества всех описок в памятнике с количеством написаний одного только первого элемента диграфа позволило бы выявить, насколько корректно с точки зрения статистических данных видеть в рассматриваемых нами написаниях о бычную описку с пропущенной буквой¹².

Иную точку зрения на причины появления написаний о, Ѡ вместо оу, Ѡ; ѣ, Ѡ вместо ѣ, Ѡ; Ѡ (о) вместо ѠЄ (ж) высказал Ю. Нуорлуото [Nuorluoto 1994: 104—110; 1995—1996: 308—309]. Исследователь, опираясь на известные ранее противоречивые данные относительно употребления букв ѣ и Ѡ, пришел к выводу, что в первоначальной форме глаголицы, возможно, был один монограф для обозначения фонемы ⟨u⟩, а именно Ѡ (т. е. второй элемент диграфа Ѡ (оу), который сближается с ижицей и вместе с тем по форме похож на Ѡ — о). К этой букве впоследствии были добавлены диграф ѠЄ (оу) и монограф ѣ (ю), чьи функции стали в результате смешиваться друг с другом [Nuorluoto 1994: 104—109; 1996—1996: 308]. Эта гипотеза позволила ученому объяснить целый комплекс орфографических явлений, в том числе непоследовательное употребление букв оу — ю после букв шипящих и ц и смешение букв оу — о. Объяснение написаний о вместо оу и ѣ вместо ѣ как результат влияния древнейшей глаголической традиции представляется проблематичным на фоне многочисленных описок такого типа, отмеченных, например, в Выголексинском сборнике XII в., орфография

¹¹ Особым исключением является Синайская псалтирь, где «имеется немало написаний с Ѡ вм. юса малого нейотированного» [Селищев 2001: 272], вызванное графическим сходством глаголических букв Є и Ѡ (последняя входила в состав диграфа ѠЄ — ж). В этой же рукописи отмечено одно написание с і вместо ѣ: ѣзѣцѣхѣ (125 об.) [Селищев 2001: 273].

¹² В. Ягич приводит следующие примеры написаний о вместо ж и их гиперкоррекции в Мар.: «вѣдѣтъ матф. VI 10, ио XV 4, вѣдѣтъ матф. XIX 30, сѣвѣдоуѣтъ сѣ матф. XIII 35, сѣдитѣ ио III 17, прикосно сѣ марк. V. 27, рѣгахо матф. IX. 24, радѣваахо сѣ лук. XIII 17, сѣмѣахо лук. XX 40, гѣлаахо ио VII. 40, вѣдино марк. IX 5 описка была замечена и исправлена. ⟨.⟩ вѣсѣноѣтъ матф. XVII. 15, полилон XX. 30, трѣждѣше лук. V. 5, оуѣникѣ ио. VI. 8, охо (вм. оухо) лук. XXII. 50, сл. еще слѣпоуѣмоу ио. XI. 37 и наоборот гроуѣоу (вм. гроѣоу) лук. XXIV. 12, поуѣѣати XXI. 14» [Ягич 1883: 424].

Написания њ вместо њы: помѣсломиъ 36 об.-9, середина строки, начертание буквы с напоминает правый элемент диграфа њы; нѣнѣ 46 об.-17, вѣшьнѣ 91-16, середина строки; вѣвьъ 60 об.-5, начало строки; азъкъъ 105-19, начало строки; вѣвьшеъ 45-10; нѣнѣъ ∴ — / 45-20; съмѣслъ ∴ 3 об.-1, (икѣ ∴ пѣ ∴ оу ∴ ми) азъкъ ∴ 51-17, левая мачта буквы к могла быть при письме воспринята как правый элемент диграфа њы; вѣвьъ ∴ 59 об.-13; вѣсокыни / 65 об.-14;

о вместо оу: (канѣ ∴ прѣпраздъ ∴ гла ∴ гъ ∴ пѣ ∴ а ∴) погрожьшо ∴ — / 31-5, (оусти) говою щедръ-т-воихъ, 23-20; вместо гоубою щедротъ твоихъ (ἐκκαθάρου τῶ σλόγγου τῶν οἰκτιρῶν σου MR VI, 391), середина строки; Орожи 61-11, середина строки, начало первого стиха тропаря; Окрѣпи с 10-17, начало строки, начало первого стиха тропаря; Вѣро 73-11, начало строки, начало первого стиха тропаря; въ истиню 24-10, середина строки; искоушо ∴ 19-9, начало строки, конец стиха; праздноемъ 43 об.-12, середина строки.

Анализ материала августовской минеи показывает, что њ вместо њы употреблен одиннадцать раз, из них в середине или в начале строки четыре раза, в семи случаях сокращенное написание встретилось в конце строки, стиха или в сокращенной форме зачала подобна, которое завершает строку. Буква о вместо оу отмечена в той же минее восемь раз, из них один раз в сокращенной форме зачала ирмоса первой песни канона, замыкающем строку; пять написаний о вместо оу не в конце строки не позволяют видеть в них сознательный графический прием. Следовательно, рассматриваемый тип написания представляет собой такую ошибку, появление которой лишь иногда, возможно, стимулируется концом строки, стиха или сокращенной формой записи (например, зачала ирмоса или подобна).

Подтверждение этому предположению мы находим в Ен., состоящем из 39 листов крайне плохо сохранившегося пергамента. Обычных пропусков букв в этом памятнике нет. Издателями отмечены лишь отдельные случаи гаплографии, типа еж-е-стѣ агаръ 27б, вместо еже естѣ; то же в оуни-и филитъ 2а, вместо оуни-и филитъ [Мирчев, Кодов 1965: 208]. Тем не менее одно написание с о вместо оу в рукописи все же есть, появилось оно в результате сознательного приема сокращенного письма при оформлении заглавия: нѣ ∴ съропѣ ∴ (т. е. сыропустная) 23 (4б-15) (ср.: сърѣоу ∴ 21 (4а-4, середина строки); греч. τῆς τυροφάγου). Один раз встретилось написание с њ вместо њы (в Ен. с соединительной чертой!): погъвнѣт ∴ 85 (20б-14). Рассматриваемая форма находится в конце последнего стиха первого псалма перед припевом застѣпи ма гѣ, застѣпи, записанном в сокращенной форме: Ёко съвѣстѣ гѣ пѣтѣ праведъ/ныхъ ∴ и пѣтѣ нечѣстивыхъ / погъвнѣт ∴ — застѣпи ма гѣ ∴ — /. Примечательно, что пропуск второго элемента диграфа њы соседствует здесь с сокращенной графической формой финали глагольной флексии, в которой нет буквы њ, что часто встречается в старославянских и древнерусских рукописях. Один аналогичный пример отмечен в Путятиной минее, где њ вместо њы также употреблен довольно часто:

иъ-д-роукы/ вседръжителѣвъ : ѱ ѱ // 96 об.-17 (последний стих канона, абсолютный конец листа, больше половины строки осталась незаполненной).

Количественное соотношение примеров типа *дрогъ* Асс. 12 (6с-30), *въккѣ* Асс. 15 (8а-14) и проч. с другими пропусками букв (одиннадцать случаев против тринадцати) заставляет видеть в них особую группу описок, выделяющуюся из ряда тех обычных случаев, которые книжники обозначали емким словом *недописахъ*. Как показывает материал БСП, написания только первого элемента диграфа определяются индивидуальными навыками письма, что объясняет неустойчивые количественные их соотношения с описками других типов.

Для понимания природы написаний с первым элементом диграфа вместо всей графемы необходимо учитывать особое положение диграфов как периферийных по своей структуре элементов глаголического и кириллического алфавитов. Нужно иметь в виду, что алфавит в средневековом сознании «представляет собой некоторый закрепленный культурной традицией список, функционирующий как канонический текст (качественно подобный, например, молитве, заговору, этикетной формуле и т. п.). Текстам такого рода обучают; они обладают большой устойчивостью... Особую проблему оставляют диграфы (типа *оу*, *чы*) и буквы, складывающиеся из частей, из которых одна или обе совпадают с самостоятельными буквами (типа *ю*, *я*, *чы*). Обычно такие единицы в момент формирования алфавита не получают статуса самостоятельных его членов, иначе говоря, трактуются как буквосочетания, а не как единые буквы» [Зализняк 1999: 544; см. также: Marti 1984: 126—127, 141]. Поэтому неслучайно в древнейшей Азбучной молитве, написанной Константином Болгарским (кон. IX — нач. X в., древнейший список — конца XII — начала XIII в.: РНБ, Q I 1202), диграф *оу* (глаголическое **Ѡ**) отсутствует, на алфавитной позиции после *т* читается ижица (*у*, исконно **Ѣ**): акроним буквы *у* в соответствующем стихе молитвы Константина Болгарского начинается со слова *у́постась* [Veder 2000: 82; Mareš 1971: 162; Nauprová 2000: 52]. В большинстве списков читается *оу́постась*, однако на этом месте «должен был быть поставлен монограф **Ѣ** = *у/у* как часть буквенного ряда в акростихе» [Veder 2000: 82], преобладание же написаний с *оу*, по мнению В. Федера, «вероятнее всего должно указывать на мощное влияние кириллической традиции (в точности как последовательное обозначение на письме йотации)» [Veder 2000: 82]. В трех циклах азбучных стихир на Рождество Христово и Богоявление, написанных Константином Болгарским, после акронима буквы *т* читается то же слово — *у́постась* (*у́постас'ми*, *оу́постасню*, *оу́постасиѡ*) [Попов 2003: 34—35], в Ильиной книге (РГАДА, ф. 381, № 131; XII в.): **ОУ**́постаси 79 об.-7¹⁶, тогда как особого акронима для диграфа *оу* в стихирах нет. Это указывает на отсутствие **Ѡ** (*оу*) в том варианте глаголического алфавита, который знал один из ближайших учеников Мефодия [ср. иначе: Marti 1984: 127].

¹⁶ Сообщение В. Б. Крысько.

Аналогичная ситуация наблюдается и в *Abecedarium bulgaricum* (или Парижский абедарий), глаголической азбуке с названиями букв в латинской рукописи XI—XII вв. (ныне утрачена; см. публикацию фотографии [Mareš 1971: obr. 2]). В этом тексте на алфавитной позиции после **т** («на месте ожидаемой буквы **ѣ** или **ѥ** находится **ѳ**. ⟨..⟩ Либо буква **ѳ** использована здесь по ошибке, либо мы встречаемся здесь с буквой **ѣ**, повернутой на 90°, что является нередкой особенностью абедариев, написанных неславянином (хепографичес абедария)» [Marti 1999: 183-184]. Последний вариант объяснения предпочтительнее [Зализняк 1999: 547; ср. иначе: Mareš 1971: 159]. В Мюнхенском абедарии (кон. X—нач. XI в.) и в абедарии Дивиша (или Стокгольмском, первая треть XIII в.) «старое **ѣ** (**v**) вытеснено диграфом **ѣѣ** (**ov**)» [Зализняк 1999: 550; ср. Marti 1999: 199]. Та же инновация представлена в позднейших глаголических абедариях [Veder, Marti 2000: 233].

Как свидетельствуют сводные данные средневековых славянских азбучных молитв (всего их известно семь), в алфавитной позиции после **т** в четырех акростихах выступает графема **ѳ** (**ѣ**) с акронимами **Ѵпостась** (**ѳпостась**) и **оѴпостасьми**, и в трех более поздних акростихах после **т** находится диграф **оѳ** с акронимами, начинающимися с **оѳ** (в разных редакциях отмечены акронимы **оѳдарить**, **оѳдаритье**, **оѳдарение**, **оѳски**, **оѳмы**, **оѳ**) [Veder, Marti 2000: 236—240].

Что касается диграфа **ѣѣ** (**ny**), то он отсутствует во всех девяти известных глаголических абедариях XI—XV веков [Marti 1999: 187, 199-200; Veder, Marti 2000: 234]. (Нужно заметить, что Синайский абедарий (монастырь св. Екатерины на Синае, *sin. slav.* 3/n; XII в.) на интересующем нас алфавитном отрезке содержит лакуны [Marti 1999: 187, 199—200], а древнейший глаголический Преславский абедарий 972 г. состоит из 18 букв и обрывается на букве **ѳ** (**n**)).

Только в Мюнхенском абедарии [Дурново 1930: 615], в котором содержатся и глаголический, и кириллический алфавиты, стоящие одна за другой «легко узнаваемые» буквы **Ш ѳ ѣ Ѧ** [Marti 1999: 185] позволяют предположить среди них диграф **ѳѣ** (**ny**) с обратной последовательностью элементов [Зализняк 1999: 548]. Такая гипотеза представлена в единственной работе, в ее пользу были выдвинуты следующие аргументы: «Что касается соответствия **ny** — **ѳѣ** (**ny**), то оно укладывается в рамки реально встречающихся в южнославянской письменности колебаний: 1) **ny** вместо **ny** чрезвычайно распространено; 2) перестановка знаков диграфа — явление достаточно известное; так, довольно часто встречается **ѳѳ** вместо **оѳ**; в древнеболгарских надписях отмечены написания типа **вѣсок**- вместо **высок**-. ... К тому же в самом Мюнх. абедед. встречаются зеркальные повороты букв... Заметим еще, что между знаками **ѳ** и **ѣ**, как кажется, нет двоеточия, которое стоит в Мюнх. абедед. почти после каждой буквы (если только его не скрыла темная полоска на фотографии)» [Зализняк 1999: 548].

Эти аргументы встречают ряд возражений в пользу традиционного чтения букв **ѳ ѣ** Мюнхенского абедария как двух отдельных графем, а не

диграфа **ѣ**, маловероятного для глаголического алфавита как устойчивого текста.

Во-первых, написание **ы** вместо **ѣ** действительно известно уже в XI веке как в южнославянских рукописях (например, в Саввиной книге), так и в древнерусских (например, в обоих почерках Изборника 1073 г.) [Дурново 1927: 709, 716], однако все эти рукописи кириллические: арсенал буквенных средств глаголических памятников не содержит варианта ****ѣѣ**, аналогичного кириллическому **ы**. Глаголические диграфы, обозначающие **ы**, всегда имеют в первой части **ѣ** (**ѣ**), позиционное варьирование отражается только на второй составляющей диграфа: **ѣѣ**, **ѣѣ** или **ѣѣ** [Tkadlčík 1956; Vrana 1964; Nedeljković 1971: 85—88; Marti 2000: 67—69].

Во-вторых, перестановка знаков диграфа известна лишь в кириллических рукописях; в новгородской берестяной письменности такого рода написания выступают в ряду зеркальных вариантов целого ряда букв [Worth 1985; Янин, Зализняк 2000: 188, 189, 201, 212]. В Мюнхенском алфавитариуме зеркальные написания встречаются только в кириллической части, тогда как в глаголической азбуке их нет. В древнейшей хорватской глаголической эпиграфике XI—XII веков [Fučić 1971: 229—254¹⁷] аналогичные написания также не отмечены, неизвестны они и в глаголических рукописях.

Наконец, в-третьих, двоеточие действительно не просматривается между буквами **ѣѣ** в публикации Н. Н. Дурново [Дурново 1930: 615], с которой работал А. А. Зализняк [Зализняк 1999: 543—576]: фотография в ней воспроизведена на обычной бумаге в натуральную величину, на рассматриваемом промежутке между буквами **ѣѣ** действительно видна только темная полоса. Однако Н. Н. Дурново был не единственным, кто опубликовал фотографию Мюнхенского алфавитариума: в 1971 году лучшая по качеству публикация была осуществлена Ф. Марешем в виде приложения к основному тексту статьи [Mareš 1971: 133—199]. Между интересующими нас буквами сквозь темную полосу на пергамене отчетливо просматривается то самое двоеточие, которое разделяет в Мюнхенском алфавитариуме соседние графемы: **ѣ** : **ѣ** [Mareš 1971: obr. 1]. Следовательно, в глаголической части Мюнхенского алфавитариума диграфа, тождественного кириллическому **ы**, нет, что соответствует структуре и составу других глаголических алфавитариумов¹⁸.

¹⁷ Монография [Fučić 1982], на основании которой можно было бы представить более полные и убедительные данные по глаголической эпиграфике, при подготовке статьи оказалась мне недоступна.

¹⁸ При таком прочтении в Мюнхенском алфавитариуме оказываются все три глаголических знака для фонемы <i>: **ѣ** (по своему начертанию схож со знаком **ѣ** в последовательности **ѣ** : **ѣ** [Mareš 1971: obr. 1]), **ѣ**, **ѣ** [Veder, Marti 2000: 234]. Три знака для <i> представлены и в Парижском алфавитариуме, причём **ѣ** стоит не рядом с **ѣ**, **ѣ**, а так же, как и в Мюнхенском алфавитариуме, в конце алфавита, перед **ѣѣ** [Mareš 1971: obr. 2; Veder, Marti 2000: 234].

Ни один из глаголических абecedариев не содержит всех четырех юсов [Marti 1999: 200; Veder, Marti 2000: 234]. Эти данные поддерживают гипотезу Н. С. Трубецкого о том, что в первоначальной глаголической азбуке существовал один знак носового Ѣ [Trubetzkoy 1954: 229].

На сегодняшний день описано и опубликовано десять кириллических абecedариев XI—XIV вв. [Зализняк 1999: 551—570], описаны азбуки из новонайденных новгородских цер [Зализняк 2003]. Из всех известных азбук XI—XIV вв. диграф оу отсутствует в семи: в Азбуке храма св. Софии в Киеве (XI в.), в азбуках новгородских берестяных грамот №№ 199, 201, 205 (сер. XIII в.¹⁹), грамоты № 24 из Старой Русы (2-я пол. XIV в.), церы XIV в. и иконы св. Николы из церкви на Озерах (Государственный русский музей, I пол. XIV в.). Во всех перечисленных азбуках в алфавитной позиции после т находится ү. Диграф ѣ представлен в кириллических абecedариях столь же неполно. «Разумеется, речь здесь не идет о том, что данное начертание не употреблялось или не признавалось составителями азбук законным, а всего лишь о том, что оно рассматривалось не как единая буква, а как буквосочетание» [Зализняк 1999: 560].

Периферийное положение диграфов в абecedариях и в Азбучных молитвах хорошо согласуется с тем, что в сознании писцов диграфы воспринимались не как одна буква или единый знак, а как сочетание из двух знаков. Это положение верно не только для эпохи формирования алфавита, о чем сказано в работе А. А. Зализняка [Зализняк 1999: 544], но и для более поздних периодов. Сама двучленная структура диграфа вступала в противоречие с устойчивым соотношением «один звук — одна буква» [Mareš 1971: 133], характерным для славянских азбук.

Восприятие диграфа как двух самостоятельных единиц хорошо показывают следующие примеры. В одном из двух древнейших славянских переводов канона на Рождество, выполненном Константином Болгарским, содержится открытый Г. Поповым изошренный акростих, в котором есть слова: *ѣгоже род истаа оплот[а наша]* (или, в реконструкции Е. М. Верещагина, *ѣгоже род[и наи п]о плоти стѣа*) [Верещагин 2001: 430—450; там же см. другие варианты прочтения акростиха и историю вопроса]. Букве о в слове *род* (или *роди*) в четвертом стихе 26-го тропаря соответствует диграф оу в акростихе *оувициѧ* (в Минее праздничной (ноябрь — январь), РГАДА, ф. 381, № 98, к. XII — нач. XIII в.; 129 об.) [Верещагин 2001: 442].

В акростихе цикла триодных песнопений, сочиненного Константином Болгарским (начало акростиха: *гранеса добра константинова*), имеется слово *сверѣте*. «Буквы для *сверѣте* образуют следующие слова: **Сѣ Брани Лже Родоу Ико Тверди Лже**. Использование **И** в качестве **ѣ** может быть объяснено только в том случае, если у акростиха предполагается глаголический протограф.

¹⁹ Эти три грамоты — ученические, две из них бесспорно принадлежат мальчику Онфиму, грамота № 201 написана «либо тем же самым почерком, либо весьма похожим» [Зализняк 1999: 551].

⟨..⟩ В то же время, буква **Є**, взятая из **ѦЖЄ** (дважды) указывает на глаголический оригинал, в котором буква **Ѧ** (или, чтобы быть точным, **ѦѦ**) была представлена в виде диграфа, который воспринимался как две отдельные буквы» [Martí 1984: 126].

Еще один, более поздний, аналогичный пример известен в надписях на древнерусских иконах. Написание в нимбе Христа **ΩΝ** (ὁ ὢν) ‘сущий’ отмечено на них «с кон. XIV — нач. XV вв. Буквы **О-Ѧ-Н** встречаются также на иконах Троицы в нимбах одного или всех трех ангелов. Значение греческих аббревиатур, видимо, стиралось со временем, с XVII в. в письменности встречаются их искусственные толкования: **О-Ѧ-Н** — “⟨...⟩ **Ѧ-Т** еже есть ѡтчески, **О** — оум, **Н** — непостижим сѣи...”» [Замятина 2002: 5—6].

Наконец, уже в древнейших славянских рукописях первые буквы строки, стиха или зачала песнопения часто выделялись не только большим размером, но и особым цветом с помощью киновари. В БСП¹ буква **о** в составе диграфа **оу**, находящегося в начале строки, предстает в своем широком варианте, с внутрисклочной точкой: **Ѡу** *линожишасѧ* sin.slav. б/н, 7, **Ѡу** *пъвающаго* 7 об., **Ѡу** *вонитсѧ* 8. В трех более поздних просмотренных памятниках XV—XVI вв. киноварью и размером в начальном диграфе **оу** выделяется также только первая буква: **Ѡу** *лютѣ*, **Ѡу** *лютѣ* / Кн.прор., 101; **Ѡу** *готови* там же, 104 об.; **Ѡу** (*горы*) Кн.прор.¹, 84; **Ѡу** *готовитѣ* там же, 82 об.; **Ѡу** *двоѣ* Псалт. толк., 215 об. Разумеется, такая практика оформления двух элементов диграфа как разных букв не является обязательной и абсолютно последовательной (ср. упомянутый выше пример в Ильиной книге [РГАДА, ф. 381, № 131; XII в.]: **Ѡу** *постаси* 79 об.-7).

Если диграф не воспринимался писцом как единый знак, то во время прочтения писцом переписываемого текста (скорее всего, вслух, менее вероятно «про себя») возникало противоречие между одной фонемой как означаемым и двумя графемами как означающим. В ряде случаев это приводило к тому, что первый написанный элемент диграфа ошибочно отождествлялся в сознании книжника с целым диграфом. Диктант (внутренний или же простое чтение вслух при переписывании текста) объясняет отсутствие написаний с буквой **ѣ** (**ѣ**) вместо диграфа **ѣѣ** (**ѣѣ**) в Мар. и Зогр., где диграф **ѣѣ** используется только в начале слога, то есть не после букв согласных *r, l, n* в Мар. употребляется **ѣѣ** (**ѣѣ**), так же, как и после всех прочих согласных.) Буква **ѣ** (**ѣ**), первый элемент диграфа **ѣѣ** (**ѣѣ**), передает йотацию, а буква **ѣѣ** (**ѣѣ**) — назальность. Йотовая и назальная артикуляции не могли накладываться друг на друга и произносились раздельно, в соответствии с фонологическими функциями йота и фонемы *E* в пределах слога: *j + E* (или *E^N*). При этом йот рассматривается как фонологически значимый элемент, показатель тембра на суперсегментном уровне, или «линейный признак дизности» [Колесов 1973: 175]. Носовые же интерпретируются как единые фонемы, а не как сочетания гласного с сонорным. (Исчерпывающие аргументы в пользу такого подхода изложены в работах В. В. Колесова [Колесов 1973:

170—175] и Р. Марти [Marti 1984: 138—139], там же подробная критика противоположной точки зрения.) Следовательно, диграф **ѠѢ** (**ѠѢ**) в позиции начала слога обозначает две смысловозначительные единицы, и поэтому условий для ошибки внутреннего диктанта здесь нет, в связи с чем случаи пропуска элемента **Ѣ** ($=E^N$) в позиции начала слога в рукописях отсутствуют. Напротив, в позиции после согласного диграф **ѠѢ** (**ѠѢ**) указывает на одну смысловозначительную единицу, что создает условия для описки. Так, в Асс., где буква **ѠѢ** (**ѠѢ**) [= **Ѡ** (**Ѡ**) + **Ѣ** (**Ѣ**)] употребляется как после букв исконных палатальных, так и после непалатальных согласных (реже), на первых 25 листах рукописи был отмечен один пропуск второго элемента **Ѣ** (**Ѣ**) диграфа после **л**, в результате чего появилось написание с **Ѡ** (**Ѡ**): **ꙗꙗ** 20 (10с-13).

Подобным образом объясняются и написания с **Ѡ** (**Ѡ**) вместо **ѠѢ** (**ѠѢ**). Устройство глаголического юса большого **ѠѢ** (**ѠѢ**) (**Ѡ** + **Ѣ**) не имеет отношения к произношению носовой фонемы <ɔ> ([ɔ] или [o^m]) и не указывает на две фонемы, но отражает структуру дифференциальных признаков одной гласной фонемы: **лабиальность** + **назальность**. На уровне фонем эти признаки образовывали единство, которое графически выражалось с помощью двух знаков. Это противоречие и вызывало описку при внутреннем диктанте, когда первый написанный элемент диграфа ошибочно связывался с фонемой и поэтому заменял собой всю графему.

Отсутствие описок с первым элементом буквы **ѠѢ** (**ѠѢ**) также следует из закономерностей восприятия диграфа при внутреннем диктанте. Дело в том, что буква **ѠѢ** (**ѠѢ**), строго говоря, не может считаться диграфом, так как первый ее элемент нигде самостоятельно не употребляется: его нет ни в абecedариях, ни в глаголических рукописях, о чем свидетельствует надежный свод данных (*Synopsis der Abecedarien*), представленный в работе Р. Марти и В. Федера [Veder, Marti 2000: 234]²⁰. Подобно тому, как в глаголических рукописях отсутствуют описки с левым элементом графемы **ѠѢ** (**ѠѢ**) на месте всей буквы, в кириллических рукописях нет написаний с внутрискрипным знаком **Ѡ** вместо йотированных букв. Отсутствие такого типа описок объясняется тем, что в обоих случаях левый элемент графемы не обозначал отдельную фонему.

Таким образом, в примерах с первым элементом диграфа, заменяющим собой всю графему, просматривается иной, более сложный, тип описки, чем тот, который наблюдается при обычном пропуске буквы или слога «по не-

²⁰ Первый элемент буквы **ѠѢ** существует как самостоятельная графема в реконструкции первоначального глаголического алфавита, выполненной Н. С. Трубецким [Trubetzkoy 1954: 22]. А. А. Зализняк [Зализняк 1999: 547, 550] и Р. Марти [Marti 1999: 185], вслед за Н. Н. Дурново [Дурново 1929: 594, 611; 1930: 616], усматривали ту же графему в Мюнхенском абecedарии в алфавитной позиции после **Ѡ** («паукообразное» **Ѡ**). Публикация Ф. Мареша [Marš 1971: obr. 1] позволяет прочесть явно искаженный знак после **Ѡ** как большой юс (**ѠѢ**) (перевернутый на 90°), что следует из новейшей сводной публикации глаголических абecedариев [Veder, Marti 2000: 234].

внимательности». Периферийное положение диграфов в кириллическом и глаголическом письме было обусловлено их структурой, которая противоречила главному принципу древнейших славянских алфавитов одна графема — одна фонема. В связи с нарушением этого принципа диграфы становились факультативными элементами азбук и могли восприниматься не как единый знак, а как две отдельные графемы. Это и провоцировало ошибку внутреннего диктанта, когда первая написанная буква, соответствующая одной фонеме, заменяла собой весь диграф, который из-за этого оставался недописанным. Описки такого типа по-разному представлены в славянских рукописях, что объясняется индивидуальными особенностями восприятия отношений между буквой и фонемой (или же, если угодно, особенностями индивидуального «фонемного мышления») и его реализации на графико-орфографическом уровне (ср. «phonologische Denken» Н. С. Трубецкого [Trubetzkoy 1954: 15])²¹.

На фоне изложенного нужно учитывать и то, что в среднерусских памятниках фонетически необусловленное смешение *ѣ* и *ы* может быть вызвано не только особым типом описок, но и проницаемостью границ между бытовыми и книжными системами письма, так как бытовым системам особенно свойственно написание *ѣ* вместо *ы* и наоборот. Именно такая ситуация представлена в Архивском хронографе XV в. [РГАДА, ф. 181 (МГАМИД), № 279], в котором написания *ѣ* вм. *ы* (и наоборот) значительно превосходят по частотности остальные описки [Баранкова, Пичхадзе 2004: 45—46]. Не исключено, что такого рода написания в бытовой письменности обусловлены периферийным положением диграфов в древнейших азбуках, о чем шла речь выше. В этом случае проблему написаний *ѣ* вместо *ы*, *о* вместо *оу* можно рассматривать в более широкой перспективе.

²¹ Разумеется, такой подход имеет смысл только тогда, когда мы считаем фонему не научной абстракцией, инструментом для упорядоченного описания многочисленных звуков, представляющих собой открытое множество, а реальностью, существующей независимо от сознания носителя языка. Идея о том, что фонема представляет собой реальность, которая существует помимо наших знаний о ней, высказывалась уже Э. Сепиром [Сепир 1933: 298—312], который, в согласии с терминологией своего времени, говорил о «психологической реальности фонем (la réalité psychologique des phonèmes; the psychological reality of phonemes)»: «Трудности, которые, как кажется, многие продолжают ощущать при различении понимания этих двух категорий (звука и фонемы. — *Р. К.*) должны, вероятно, исчезать по мере роста понимания того, что никакая сущность в человеческом опыте не может быть определена адекватно как механическая сумма или производное ее физических свойств (разрядка моя. — *Р. К.*). (...) Неискушенный носитель языка слышит не фонетические элементы, а фонемы» [Сепир 1933: 298]. Показательно, что современный комментатор этих идей считает их «лингвистической истиной» [Кибрик 1993: 18]. Подход к фонеме как к «положительной и вполне специфической реальности» представлен, например, у А. Ф. Лосева [Лосев 1989: 88].

**Диалектные особенности БСП¹:
написания типа скървь-; новый ѣ**

Первый писец происходил с юга восточнославянского ареала, о чем свидетельствуют написания скървь L, 5, прискървно 7, прискървна 22 (ср.: скървь 4, скървьхъ 25 об.) с буквой ѣ после к, характерные именно для памятников, созданных на юге Древней Руси, где мы встречаем такие написания, как скървь, оскървѣты, скървѣти (Синайский патерик), скървь (Добрилово ев. 1164 г.), скърва, прискървна (Типографское ев. № 7 XII—XIII вв.), скървь (Галицкое ев. 1266—1301), скърва (Ев. № 25 /София/), скърваша (Одесское ев. XII в.) [Ягич 1889: 15, 26; Ляпунов 1907: 89; Тот 1985: 329; Колесов 1980: 98-99; Shevelov 1979: 60]²².

Не менее интересны следующие написания БСП¹. Речь идет о смешении букв ѣ и ѣ во флексиях перед слогом с исконным редуцированным и *i*-напряженным в конце слова: **О сѣмь познахъ ѡко въсхотѣ ми** 20 об., **по въсѣи земли** 26. Среди многочисленных примеров написаний ѣ вместо ѣ, известных в рукописях XI в., нет ни одного, который можно было бы сопоставить с формой о сѣмь [Дурново 1927]. В целом, в письменных памятниках XI в. нет никаких данных, которые бы могли отражать изменения фонемных отношений в оппозиции <е> — <ѣ>. Заметим, что иных случаев смешения ѣ и ѣ у первого писца БСП не отмечено, а исчерпывающий материал описок, приведенный выше, не позволяет нам видеть в формах **О сѣмь** 20 об., **по въсѣи** 26 какую-либо описку. Интересующие нас два написания не содержат следов правки или наведения текста, что заставляет обратить самое серьезное

²² А. А. Шахматов [Шахматов 1915: 158] не связывал написания типа скървь, скървь с диалектным членением языка восточных славян, считая, что эти примеры «явились результатом церковного произношения перенесенных из древнеболгарских памятников написаний скървь, скървѣти». Вместе с тем автор этих строк пока не готов полностью отказаться от точки зрения на форму *скървь* как пример неосуществления первой палатализации *k перед *i после *s на юге восточнославянского ареала [Кривко 1998а: 7], хотя, как показано в работе Н. Н. Дурново [Дурново 1926а: 383—390], праславянское сочетание *sk сохранялось только перед ѣ (← *oi), например, в формах типа оскѣпъ, скѣпати, а также на воскѣ (сборник 13-ти слов Григория Богослова, XI в.); въ ѡлѣскѣи 457 (1326-7), (золѣвѣ) женьскѣ/ 542 (174г-16) (Изборник 1073 г.); (въ) мѡрьскѣи 177 (14-3-4), ѡлѣскѣ 366 (172 об.-7) (Изборник 1076 г.); см.: [Соболевский 1907: 213; Shevelov 1979: 58]. Первая палатализация в сочетании *sk проходила последовательно, о чём говорит распространение слов щитѣ, щипѣ и др. Ряд исключений был описан Н. И. Толстым [Толстой 1999: 197—227] лишь на примере корней *geg-, *gep-, *kek-, *kev-, *kep-; исключения во многом объясняются особенностями значения и функционирования лексем. И всё же думается, что окончательное решение вопроса о происхождении форм типа *скървь* ещё впереди; ср. [Крысько 2003: 350 (литература)]. Упомянутое различие во взглядах на происхождении написаний типа скървь, исключая точку зрения А. А. Шахматова, не касается основного положения о диалектном характере этой формы.

внимание на формы **О сѣмь** 20 об., по **вѣсѣ** 26. Выше было сказано, что принятая в отечественной научной традиции датировка памятника — XI в., а согласно Г. Ланту и И. Тарнанидису — рубеж XI и XII столетий. Следовательно, перед нами древнейшая фиксация «нового **ѣ**», открытого А. И. Соболевским [Соболевский 1884: 25] и описанного ранее в рукописях XII в., причем древнейшей из датированных является Добрилово евангелие 1164 г. К XII в. относится и Типографское евангелие № 7, согласно Н. Н. Дурново, «второй половины XII в.» [Дурново 1969: 58], другие книжные памятники датируются XIII и XIV вв. [Шахматов 1915: 300 (примеры, литература)].

При рассмотрении форм **О сѣмь** 20 об., по **вѣсѣ** 26 возникает закономерный вопрос: если данные написания действительно отражают новый **ѣ**, то почему мы не находим аналогичные формы в других памятниках XI в. южнорусского происхождения? Ответим, что особенности письма и состав графики БСП¹ выделяют памятник из ряда других рукописей XI в. (Изборники 1073 и 1076 гг. и Синайский патерик) наименьшим стремлением к следованию южнославянским образцам и отсутствием архаизирующих тенденций, что отразилось, в частности, не только в единичных примерах употребления **ж** (которые выглядят как исключения), но и в унификации обозначения фонемы ⟨а⟩ в слогах не после твердых согласных за счет обобщения функций графемы **ѧ** и вытеснения **ѧ**. Хорошее сохранение букв **ѣ**, **ѥ** в слабой позиции также является одним из результатов преимущественной ориентации писца БСП¹ на восточнославянский письменный узус. Кроме того, манере письма первого писца БСП красноречиво характеризует количество описок, несопоставимое ни с одним из упомянутых южнорусских памятников XI в. Все это позволяет ожидать появления во втором почерке БСП древнерусских диалектных инноваций, для которых были закрыты графика и орфография памятников, где более тщательно соблюдается старославянский письменный узус и более аккуратно записан текст.

Наконец, нужно учесть, что новый **ѣ** распространялся не повсеместно в южнорусском или даже галицко-волинском ареале, о чем говорит его отсутствие в Выголексинском сборнике или Галицком евангелии 1144 г. Не исключено поэтому, что в БСП¹ отразился именно такой южнорусский диалект, в котором новый **ѣ** развился раньше, чем в диалектах писцов других известных нам рукописей XI — первой половины XII в.

Более древнюю датировку появления нового **ѣ** дает Суздальский змеевик — «каменный амулет-филактерий, происходящий из ризницы Суздальского Рождественского собора и хранящийся ныне в Государственном Историческом музее (№ 19726)» [Гиппиус, Зализняк 1998: 540]. Его традиционная датировка (1189 г.) была относительно недавно серьезно уточнена: сегодня памятник датируется второй четвертью или серединой XII в. [Гиппиус, Зализняк 1998: 553, 556]. Убедительная расшифровка индивидуальной тайнописи позволила выявить в текстах змеевика не только новый **ѣ**, но и напряженное **о**, причем отражение противопоставления «двух фонем “типа **о**” примерно на век (если не более) опережает его отражение книж-

ными памятниками» [Гиппиус, Зализняк 1998: 552]. Как отмечают исследователи, случаи пропуска слабых редуцированных в текстах амулета отсутствуют [Гиппиус, Зализняк 1998: 554]. Это подтверждает мысль, что «удлинение *o (и *e) происходило раньше падения редуцированных, одновременно с формированием различия между “сильными” и “слабыми” ерами» [Николаев 1996: 210; курсив С. Л. Николаева]. Следовательно, Суздальский змеевик отражает такое языковое состояние, когда «слабые редуцированные еще сохраняли свое положение в слове, но их ослабленность уже успела сказаться в удлинении *o и *e предшествующего слога» [Гиппиус, Зализняк 1998: 555]. Очевидно, такой ослабленностью должна была быть утрата слоговости [ср.: Журавлев 1977: 37—40], что и вызывало явления слоговой компенсации в предшествующем слоге. Предложенное объяснение раскрывает причины появления нового ѣ уже в конце XI в. или начале XII в., что демонстрируют два написания в БСП¹.

Написание стюденць

На третьей и четвертой строках л. 35 большей синайской части БСП находится текст, хотя и выцветший (настолько, что нижняя половина стороны листа, начиная с девятой строки, аккуратно наведена поздним правщиком), но все же ясно читаемый на фотокопии: *низъведеши ѿ въ стюде/ньць истълѣнню*. На фоне хорошо известных в древних славянских рукописях замен ю на оу, ж на ю, ү на оу и на ю и наоборот на форму стюде/ньць можно было бы и не обращать внимания. Тем не менее рассмотренные типы отражения на письме тембровых характеристик в слогах с <u> не дают оснований для такого легкомыслия [Кривко 2004], более того, создают основу для надежного объяснения уникального для древнерусского периода написания.

Прежде всего укажем, что в славянских лексемах 1) буквы оу, ж менялись на ю, ѿ и наоборот только в позиции после букв исконно палатальных, 2) буква ю употреблялась после букв твердых согласных только под влиянием исконного ж [Кривко 2004 (литература)]; многочисленные написания в декабрьской служебной минее РГАДА, ф. 381, № 96²³ являются пока ис-

²³ Сплошной просмотр рукописи даёт следующую картину (в выборке не учитываются написания буквы ю после букв исконно палатальных типа лючь). Написания ю для обозначения <u> из <o>: *стюдица* 15 об., *люжюульнана* 15 об. и др., всего одиннадцать примеров; пять написаний ю для обозначения <u> из *<ou>: *дюшю* 20 об., *ѿтоудю* 35, *мирю* 35, *пастюха* 36, (*прѣкоу или рвьнюта*) *юданю* (также *кръстителеви*) 48 об. В этом же источнике отмечен ряд написаний, которые раскрывают отношение писца к использованию буквы ю вместо ожидаемой оу: во многих случаях буква ѿ написана после пробела по затёртой букве ю [Gottesdienstmenäum I, XXX, LIII]. Написания ѿ из ю для обозначения <u> из <o>: *мѿвительства* 3, *добр ѿю* 10 об. и др., 34 примера; ѿ из ю для обозначения <u> из *<ou>: *вогъразѿмьнъли* 1 об., *уистѿ* (dual.) 5 и др., 31 пример. Всего буква ѿ из ю, включая исправления, была написана для обозна-

ключением из общего правила, других рукописей, где столь широко была бы представлена буква ю для обозначения <u> (из *ou), нет. Более того, в названной минее буква ж вообще не употребляется, чего нельзя сказать о БСП¹. Добавим, что в БСП¹ отсутствуют замены ж на ю или оу на ю не после букв исконно палатальных, что не позволяет нам рассматривать написание *стюде/ньць* как проявление неустойчивости письменного узуса в обозначении <u>.

Внимательный взгляд обратит внимание и на то, что буква ю в форме *стюде/ньць* использована в конце строки, а следовательно, в этом написании можно было бы легко увидеть употребление «экономного» эквивалента ю вместо оу. Однако в БСП¹ буква ю не используется в конце строки как эквивалент оу — в этой позиции всегда употребляется ѝ. Примеры показывают, что написание буквы ю в форме *стюденьць* не обусловлено местом в строке, поэтому мы вправе цитировать его далее без косой черты.

На фоне сказанного нет никаких оснований отрицать фонологическую значимость формы *стюденьць*. До сих пор считалось, что сочетание *С'и* или *С'и* могло появляться в XI в. лишь в грецизмах с исконным ч (в формах типа *мюро*), тогда как самый ранний пример сочетания *т'и* (или *т'и*) был отмечен в новгородской берестяной грамоте № 904 (перв. четв. XII в.): *ѡ тюткы къ нѣжатѣ* [Янин, Зализняк 2000а: 5]. В комментарии разъяснено, что «имя *тют(ъ)ка* — либо иноязычного, либо звукоподражательного происхождения. (...) Словоформа *тюткы*, засвидетельствованная в столь ранней грамоте (...) показывает, что в эту эпоху уже допустимо сочетание [т'у]» [Янин, Зализняк 2000а: 5]. Написание *стюденьць* из БСП¹ доказывает, что сочетание *т'и* было возможным и раньше (в XI в.), причем не в заимствованной, а в исконно славянской лексеме.

Формы с корнем *стюд-* нередки в древнерусских рукописях. Однако просмотр КДРС и КСДРЯ не позволил найти пример древнее того, который известен по «Материалам» И. И. Срезневского, а значит, между написанием *стюденьць* из БСП и более поздними известными примерами лежит разрыв в четыре столетия: «*Стюденѣць, рекомѣи кладазь, близѣ на вѣ. Ип. л. 6767 г.*» [Срезневский III (1), 575]. Заметим, что три древнейшие фиксации корня *стюд-* отмечаются в памятниках южного или югозападнорусского происхождения: кроме БСП¹ и Ипатьевской летописи, к ним относится Рог. лет. 183, сер. XV в.: «(6917 г.) Бяшетъ бо тогда зима тяжка зѣло, и студень преизлише велика (361 об.)»; другие примеры более поздние: Сборник Нила Сорского 88, XVI в.: *вѣ же зима/ вна студена зѣло; рыба на стюдени/ сѣщи (...)* не смьрдить/ (33); Днев. зап. 57, 62: «(7168 г. Февраль 16) И тот день был

чения <u> из <о> 45 раз, а для обозначения <u> из *<ou> — 36 раз. Количественное соотношение примеров из обеих групп, в сопоставлении с аналогичным материалом Чудовской псалтири, Триоди Моисея Киянина и ряда сербских рукописей [Кривко 2004], позволяет заключить, что написания буквы ю на месте оу появились в декабрьской минее под влиянием написаний с ю на месте ж.

вѣтрень, была метѣлица, и в ночи студено же (120); ⟨..⟩ (7168 г. Март 5) I в тот день было студено (150)»; Дон. д. П, 677, 1645 г.: «А мы, холопи твои, наги и боси вконецъ погибли, помираемъ студеною смертью»; Пам. дипл. отн., 834, 1581 г.: «Студеное море»; Посольство Елчина, 335, 1640 г.: «Зимы бывають студены и реки замѣрзають»; ДАИ X, 302, 1686 г.: «⟨..⟩ въ такихъ далнихъ и сѣверныхъ студеныхъ странахъ»; Там же, 189, 1686 г.: «студеные морозы»; Кн. расх. Хлын., 28, 1679 г.: «Двои ноги на студень»; АИ П, 75, 1605 г.: «⟨..⟩ съ студена умереть».

Материал письменных источников имеет многочисленные соответствия в современных русских говорах. Областной великорусский словарь [Опыт, 219] отмечает три лексемы с корнем *стюд-*: «**студено**, нар. Холодно. См ол. Росл. Там б.; **студеный**, ая, ое, пр. Холодный. См ол. Росл. Там б.; **студень**, и, с. ж. Студень, желе. Там б. Твер. *Вышневолоц.*»; в специальном томе дополнений к этому словарю [Дополнение, 258] отмечена лексема «**студенец**, нца, с. м. Студень. Псков. Твер. *Осташ.*» Согласно данным современной русской диалектологии, форма *студено* развивается в *стидено* в результате делабиализации [u], поэтому вариант *стидено* как более поздний этап развития корня *стюд-* («картографируется условно как *студено*») [ДАРЯ III (справ.)]. Наречие *студено* не имеет четкого ареала на Европейской части России, причем относительно многочисленные ареалы употребления формы *студено* соседствуют с ареалами формы *студено*²⁴ [ДАРЯ III(2). Карта № 92. Наречия со значением ‘холодно’]²⁵.

Как следует из материала, в лексемах с исходным корнем **stoud-* осуществляется переход *tu-* → *t'u-* только в алломорфах корня с мягким *d'*, то есть *stud'* → *st'ud'*, тогда как перед твердым *d* сохраняется исконное сочетание *stud-*. Очевидный позиционный характер изменения доказывает, что написание *стюдѣньць*, отмеченное в БСП¹, представляет собой не только первый пример сочетания *t'u* в славянской письменности. Перед нами древнейший случай дистантной межслоговой ассимиляции согласных по признаку тембра в слогах не с исконными ⟨ъ — ь⟩²⁶. Впервые форму *студень* как резуль-

²⁴ В силу того, что древнейшие фиксации форм с алломорфом *стюд-* отмечены в памятниках южнорусского и юго-западного происхождения, эти формы можно рассматривать как распространившуюся на север южнорусскую или западнорусскую инновацию.

²⁵ Выражаю глубокую признательность Л. Л. Касаткину и Н. В. Пшеничновой за консультации по диалектному материалу и за возможность ознакомиться с неопубликованным выпуском ДАРЯ III(2).

²⁶ Явления межслогового сингармонизма в слогах с исконными ⟨ъ, ь⟩ подробно описаны в научной литературе [Соболевский 1893; Шахматов 1915: 66 (литература)]. Идеи А. И. Соболевского были подвергнуты критике Г. А. Ильинским [Ильинский 1917], однако его взгляды не получили развития в последующей традиции [Колесов 1980: 98—100; Зализняк 1995: 223]. В этот ряд надёжных примеров вписывается и древняя диалектная форма *скърбь* [Соболевский 1907: 90].

тат межслоговой ассимиляции объяснил А. И. Соболевский: «Влияние звуков последующего слога, мягкого, на предыдущий, твердый, выразилось ⟨..⟩ в смягчении согласного в этом последнем. Мы решаемся указать лишь два случая, где мягкость согласного — несомненно позднего происхождения. Это общерусское *стюден*, вместо *студен* (церковно-славянское *студь* и т. п.) ⟨..⟩, и великорусское *дюж*, вместо *джъ* (церковно-славянское *неджъ* и т. п.)» [Соболевский 1893: 30]. Добавим, что, по мнению М. Фасмера, в русском диалектном *скелья* (ср. украинское *скеля* ‘скала, утес’) «сохранение -к- перед -е- указывает, по-видимому, на древнее **скьль*, **скьля*, где ь было ассимилировано последующему ь» [Фасмер III, 638]. Диалектные (и просторечные) формы *стюденец*, *стюдень*, *стюдено* отражают тот же процесс, наблюдаемый и в других основах. К ним относится отмеченное А. И. Соболевским *ребенок* (из *робенок*) [Соболевский 1894: 51; Фасмер III, 453], украинское *дитина* (из *дѣтина*), северновеликорусское *цоловать* (из *цѣлова-ти*), упомянутое выше *дюжь*, а также многие другие диалектные и литературные восточнославянские формы, во множестве описанные А. И. Соболевским [Соболевский 1894: 27—30]. В этот ряд следует добавить современные диалектные *бисиком* и *бисиками*: «**Бисиками**, нареч. Босиком (если речь идет не об одном человеке). ⟨..⟩ Барнаул., 1929—1935. **Бисиком**, нареч. Босиком. Покр. Влад., 1910. Барнаул.» [СРНГ 1: 296]. На этом фоне едва ли стоит рассматривать как рядовую описку форму «(да шлюсь...) кинителного (дѣла мастера на Ульяна...)» АЮБ I, 648; 1648 г., на которую нам указала А. Н. Шаламова.

Ряд примеров межслоговой тембровой ассимиляции можно найти в заимствованной лексике, особенно в ономастике, греческого происхождения. Ср.: «**порфира (перфира, порфура)**, ж. ⟨..⟩ Иванъ же о перфирѣ царьстѣи являеть, нико же бо перфиры не носить, точию единъ царь (τὸ δὲ πορφύρου). Физ., 346. XV в. ⟨..⟩ Црѣ Дарии сътворилъ вечерю... всѣм одѣаннымъ въ перфиру (purpuras). (2 Ездр. III, 1—2) Библи. Генн. 1499 г. ⟨..⟩ **порфирный (перфиръный)**, прил. ⟨..⟩ Ткание же перфиръное многоцѣнное. Флавий. Полон. Иерус. (М.), 446. XVI в. ~ XI в.» [Сл. РЯ XI—XVII вв. Вып. 17. С. 144]. Б. О. Унбегаун [Унбегаун 1995: 48] описал процессы ассимиляции гласного заднего ряда с предшествующим гласным переднего ряда на примере фамилий *Нефедьев* (из *Μεθόδιος*) и *Нестеров* (из *Νέστωρ*). В этот ряд примеров по недосмотру попала фамилия *Перфильев* (из *Πορφύριος*), где отражается то же направление ассимиляции предшествующего слога последующему, что и в формах *стюденьць*, *ребенок*, *бисиками*. В результате межслоговой ассимиляции появился вариант имени *Фотина*, *Фотинья (Фотиния)* — *Фетиния (Фетинья)* (греч. *Φωτεινή*), распространенный в «народном употреблении» [Соколова 2000: 177]. Обратный процесс ассимиляции гласного переднего ряда гласному заднего ряда имеет место в имени *Артамон* (греч. *Ἀρτέμων*) [Унбегаун 1995: 48].

Написание *стюденьць* выделяется из общего ряда примеров, открытых и описанных А. И. Соболевским и дополненных в данной статье. Уникаль-

ный пример из рукописи XI в. доказывает, что межслоговое взаимодействие, приводившее к смягчению согласного предшествующего слога под воздействием согласного последующего слога, было возможным одновременно с аналогичными процессами в слогах с исконными <ь — ъ>. Значит, можно уточнить замечание А. И. Соболевского, что мягкость согласного в формах с алломорфом *стюд-* «несомненно позднего происхождения» [Соболевский 1894: 30]. Относительно поздняя письменная фиксация других примеров с тем же вариантом корня (*стюд-*) объясняется особым статусом форм, отражающих межслоговой сингармонизм, в истории русского языка. Появление этих форм не является результатом действия фонетического закона, который, как известно, не знает исключений и имеет обобщающий характер. Еще А. И. Соболевский писал, что это явление межслогового взаимодействия «принадлежит к числу спорадических» [Соболевский 1893: 50]. Очевидно, именно вследствие своей спорадичности примеры межслогового взаимодействия не получили необходимого теоретического осмысления в исторической русистике. В дальнейшем рассмотренные выше примеры межслогового сингармонизма необходимо изучать в ряду форм типа *Глигории* (SJS 8 (1964), 434: s.v. Григории «apparent etiam formae ГЛИГОРИИ (semel in As Und, bis in Mak), ГЛИГОРЪ (bis in As)»), *Перфилий*, которые отражают межслоговую дистантную диссимиляцию согласных по признакам места и способа образования, свойственную и южнославянским языкам.

Теоретическим основанием для поиска понимания описанных явлений могут стать соображения Э. Косериу относительно последовательности и регулярности языковых преобразований, среди которых следует различать инновацию и языковое изменение; собственно изменение «представляет собой распространение или обобщение инновации, то есть оно является рядом последовательных принятий» [Косериу 2001: 54] инновации носителями языка. Рассмотренные случаи межслогового взаимодействия, к которым, возможно, добавятся и другие, нельзя назвать проявлением фонетического закона или отражением некоего языкового изменения. Как правило, они представляют собой ряд инноваций, которые не были обобщены в системе языка и остались существовать в пределах отдельных лексем.

Список сокращений

АИ II — Акты исторические, собранные и изданные Археологической комиссией. Т. II. 1598—1613 гг. СПб., 1841.

Acc. — *Evangeliarum Assemani. Codex Vaticanus 3 Slavicus glagoliticus*. Т. II. Ed. J. Kurz. Pragae, 1955.

АЮБ I — Акты, относящиеся до юридического быта древней России. Изд. Археологической комиссии под ред. Н. Качалова. Т. I. СПб., 1857.

Библ.(Рум.) — Пятикнижие, Книга Иисуса Наввина, Книги пророков, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова. РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 28. XVI в.

БСП — An Early Slavonic Psalter from Rus'. Vol. 1. Photoreproduction. Ed. by M. Altbauer, with the collaboration of H. G. Lunt. Cambridge (Mass.), 1978 (предисловие, фототипическое издание петербургской (РНБ. Q. п. I. 73) и большей синайской (sin. slav. 6) частей); [Tarnanidis 1987: 249—281]: фототипическое издание меньшей синайской (sin. slav. 6/n) части).

ДАИ X — Дополнения к актам историческим, собранные и изданные археографической комиссией. Т. X. СПб., 1867.

ДАРЯ III(2) — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Карты. Выпуск III (часть 2). Синтаксис. Лексика. М., (в печати).

ДАРЯ III (справ.) — Диалектологический атлас русского языка. Центр Европейской части России. Вып. III. Синтаксис. Лексика. Комментарии к картам. Справочный аппарат. Под ред. Р. И. Аванесова, С. В. Бромлей. Москва, 1996.

Днев. зап. — Дневальные записки приказа Тайных Дел 7165—7183 гг. / С предисл. С. А. Белокурова // Чтения в Императорском обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете. 1908. Кн. I (224). С. I—X, 1—224.

Дон. д. II — Донские дела. Кн. 2 // Русская Историческая Библиотека. Т. XXIV.

Дополнение — Дополнение к Опыту областного великорусского словаря. Издание Второго Отделения Императорской Академии наук. СПб., 1858.

Ен. — [Мирчев, Кодов 1965].

КДРС — Картоoteca древнерусского словаря, или Словаря русского языка XI—XVII вв. (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва).

Кн. прор. — РГБ, ф. 256 (собр. Румянцева), № 31. Книги 12-ти пророков, частично с толкованиями. XV в.

Кн. прор.¹ — РГБ, ф. 304/I (собр. Троице-Сергиевой Лавры, фундаментальное), № 89. Книги 16-ти пророков, с толкованиями. XV—XVI вв. ~ 1047 г.

Кн. расх. Хлын. — Расходная книга земского старосты города Хлынова Ивана Репина 1678—1680 гг. // Труды Вятской ученой архивной комиссии за 1905 г. Вятка, 1906. Вып. V—VI. Отд. II. С. 1—105.

КСДРЯ — Картоoteca словаря древнерусского языка XI—XIV вв. (Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва).

МЕ — Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская. М., 1983.

Опыт — Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым Отделением Императорской Академии Наук. СПб., 1852.

Пам. дипл. отн. — Памятники дипломатических отношений с Римскою империею. Т. I. СПб., 1851.

Посольство Елчина — Посольство дьяка Федота Елчина и священника Павла Захарьева в Дадрианскую землю (1639—1640 гг.) / С предисл. С. А. Белокурова // ЧОИДР. 1887. Кн. 2. С. 257—376.

Псалт. толк. — Псалтирь с толкованиями св. Феодорита Киррского. РГБ, ф. 256, № 334. XV в.

Рог. лет. — Рогожский летописец // Полное собрание русских летописей. Т. XV (Вып. 1). 3-е изд. (стереотипное). М., 1965.

СДРЯ I — Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. Т. I. М., 1988.

СК — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. / Л. П. Жуковская и др. (изд.). М., 1984.

Сл.РЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1 — 26 — М., 1975 — 2002 —.

Соборник Нила Сорского — Т. П. Леннгрен. Соборник Нила Сорского. Ч. I. М., 2000.

Срезневский III(1) — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. III. СПб., 1912. (Репринт: М., 1989. Т. III, ч. 1).

СРНГ — Словарь русских народных говоров. Т. 1 — М.; Л. / СПб., 1965 —.

Фасмер I—IV — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 3-е русск. изд. Т. I—IV. М., 1996.

Gottesdienstmenäum I — Gottesdienstmenäum für den Monat Dezember nach den slavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts. Teil 1: 1. bis 8. Dezember. Besorgt und kommentiert von D. Christians, A. G. Kraveckij, L. P. Medvedeva, H. Rothe, N. Trunte, E. M. Vereščagin / Hrsg. von H. Rothe, E. M. Vereščagin. Opladen, 1996. (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften; Bd. 98. Patristica Slavica; Bd. 2).

SJS 1—52 — Slovník jazyka staroslověnského. Seš. 1—52. Praha, 1958—1997.

Литература

Баранкова, Пичхадзе 2004 — Г. С. Баранкова, А. А. Пичхадзе. История «Иудейской войны» в Архивском хронографе. 1. Палеографические и графико-орфографические черты // «История Иудейской войны» Иосифа Флавия: Древнерусский перевод. М., 2004. С. 39—47.

Вайан 2002 — А. Вайан. Руководство по старославянскому языку. М., 2002.

Ван-Вейк 1957 — Н. Ван-Вейк. История старославянского языка. М., 1957.

Верещагин 2001 — Е. М. Верещагин. Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.

Винокур 1959 — Г. О. Винокур. Орфография как проблема истории языка // Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 463—467.

Гиппиус, Зализняк 1998 — А. А. Гиппиус, А. А. Зализняк. О надписях на Суздальском змеевике // Балто-славянские исследования. 1997. М., 1998. С. 540—562.

Гольщенко 1962 — В. С. Гольщенко. К вопросу о качестве плавного в корнях, восходящих к *ТЬРТ, *ТЬРТ, *ТЬЛТ // Историческая грамматика и история русского языка. М., 1962. С. 20—28.

Гольщенко 1982 — В. С. Гольщенко. Немаркированный знак ҃ в ранних восточнославянских рукописях // История русского языка: (Памятники XI—XVII вв.). М., 1982. С. 3—29.

Гольщенко 1987 — В. С. Гольщенко. Мягкость согласных в языке восточных славян XI—XII вв. М., 1987.

Гольщенко 2000 — В. С. Гольщенко. Конец строки и приемы его маркирования в раннем восточнославянском письме // Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2000. М., 2000. С. 9—25.

Дурново 1924 — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI—XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 1924. Књ. IV. С. 72—94.

Дурново 1925—1926 — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI—XII вв. как памятники старославянского языка // *Южнославянский филолог*. 1925—1926. Кн. V. С. 93—117.

Дурново 1926 — Н. Н. Дурново. О возникновении обозначений гласных в славянских алфавитах // *Избранные работы по истории языка*. М., 2000. С. 685—689.

Дурново 1926а — Н. Н. Дурново. Рефлексы *sk в славянских языках // *Избранные работы по истории языка*. М., 2000. С. 383—390.

Дурново 1926—1927 — Н. Н. Дурново. Русские рукописи XI—XII века как памятники старославянского языка // *Южнославянский филолог*. 1926—1927. Кн. VI. С. 11—64.

Дурново 1927 — Н. Н. Дурново. Рец. на: [Д-р. Ст. М. Кульбакин. Палеографска и језична испитавања о Мирослављевом јеванђељу. Сремски Карловци, 1925] // *Избранные работы по истории языка*. М., 2000. С. 708—718.

Дурново 1929 — Н. Н. Дурново. Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // *Избранные работы по истории языка*. М., 2000. С. 566—612.

Дурново 1930 — Н. Н. Дурново. Мюнхенский абecedарий // *Избранные работы по истории языка*. М., 2000. С. 613—623.

Дурново 1933 — Н. Н. Дурново. Славянское правописание XI—XII вв. // *Slavia*. Vol. 12. С. 45—82

Дурново 1969 — Н. Н. Дурново. Введение в историю русского литературного языка. М., 1969.

Живов 1998 — В. М. Живов. Автономность письменного узуса и проблема преемственности в восточнославянской средневековой письменности // *Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации*. М., 1998. С. 212—247.

Живов 1999 — В. М. Живов. В плъкн у ангелов, на диком брегѣ — ах! // *Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вяч. Вс. Иванова*. М., 1999. С. 777—791.

Жуковская 1983 — Л. П. Жуковская. Апракос Мстислава Великого — рукопись конца XI (рубежа XI—XII века) // *Апракос Мстислава Великого / Изд. подгот. Л. П. Жуковская*. М., 1983. С. 3—28.

Журавлев 1977 — В. К. Журавлев. Правило Гавлика и механизм падения редуцированных // *Вопр. языкознания*. 1977. № 6. С. 30—43.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. М., 1995.

Зализняк 1999 — А. А. Зализняк. О древнейших кириллических абecedариях // *Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова*. М., 1999. С. 543—576.

Зализняк 2003 — А. А. Зализняк. Древнейшая кириллическая азбука // *Вопр. языкознания*. 2003. № 2. С. 3—31.

Зализняк, Янин 2001 — А. А. Зализняк., В. Л. Янин. Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси // *Вопр. языкознания*. 2001. № 5. С. 3—25.

Замятина 2002 — Н. А. Замятина. Текстологический анализ русских иконных надписей: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2002.

Илчев, Велчева, 1995 — П. Илчев, Б. Велчева. Ижица // Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 2. София, 1995. С. 49—50.

Ильинский 1917 — Г. А. Ильинский. Мнимая ассимиляция редуцированных гласных в праславянском языке // Изв. ОРЯС Имп. АН. Т. 22. 1917. Кн. 1. С. 188—204.

Кандаурова 1968 — Т. Н. Кандаурова. Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI—XIV вв. // Памятники древней письменности. М., 1968. С. 7—18.

Карский 1979 — Е. Ф. Карский. Славянская кирилловская палеография. М., 1979.

Кибрик 1993 — А. Е. Кибрик. Э. Сепир и современное языкознание // Э. Сепир. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 298—312.

Князевская 1999 — О. А. Князевская. Предисловие // Саввина книга. Древнеславянская рукопись XI, XI—XII и конца XIII века. Ч. I. Рукопись. Текст. Комментарии: Исследование / Изд. подгот. О. А. Князевская, Л. А. Коробенко, Е. П. Дограмаджиева. М., 1999. С. 7—40.

Колесов 1964 — В. В. Колесов. Падение редуцированных в статистической интерпретации // Вопр. языкознания. 1964. № 2. С. 30—44.

Колесов 1973 — В. В. Колесов. Праславянская фонема /ǫ/ в ранних преобразованиях славянских вокалических систем // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов (Варшава, 1973 г.): Докл. сов. делегации. М., 1973. С. 170—196.

Колесов 1980 — В. В. Колесов. Историческая фонетика русского языка. М., 1980.

Колесов 1982 — В. В. Колесов. Введение в историческую фонологию. Л., 1982.

Косериу 2001 — Э. Косериу. Синхрония, диахрония и история: (Проблема языкового изменения). 2-е рус. (стереотип.) изд. М., 2001.

Кривко 1996 — Р. Н. Кривко. Бычковско-Синайская Псалтирь как источник по истории славянской Псалтири // Религия и Церковь в в культурно-историческом развитии Русского Севера: (К 450-летию преподобного Трифона, вятского чудотворца). Т. 2. Киров, 1996. С. 30—35.

Кривко 1998 — Р. Н. Кривко. Бычковско-Синайская псалтирь как источник по истории русского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.

Кривко 1998а — Р. Н. Кривко. Бычковско-Синайская псалтирь как источник по истории русского языка: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.

Кривко 2003 — Р. Н. Кривко. Бычковско-Синайская псалтирь; Бычковская псалтирь, Синайская кириллическая // Православная энциклопедия. Т. 6. М., 2003. С. 450—451.

Кривко 2004 — Р. Н. Кривко. Функции буквы ҃ в древних славянских рукописях: (Преимущественно на материале Бычковско-Синайской псалтири) // Russian Linguistics. Vol. 28. № 3. (В печати).

Крысько 2003 — В. Б. Крысько. Русско-церковнославянские рукописи XI—XIV вв. как источник по истории старославянского и древнерусского языков: новые данные // Славянское языкознание. XIII Международный съезд славистов. Люблина, 2003 г.: Докл. рос. делегации. М., 2003. С. 339—355.

Кузнецова 1967 — И. Кузнецова. К истории русского письма и языка древнейшей поры // [Казанский государственный университет]. Вестник студенческого научного общества. Вып. 4. Общественные и гуманитарные науки. Казань, 1967. С. 82—92.

Лосев 1989 — А. Ф. Лосев. В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989. С. 5—92.

Лукина 1968 — Г. Н. Лукина. Старославянские и древнерусские лексические варианты с начальными *а-я, ю-у, е-о* в языке древнерусских памятников XI—XIV веков // Русская историческая лексикология. М., 1968. С. 104—114.

Ляпунов 1907 — Б. М. Ляпунов. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящейся в библиотеке Императорского Одесского общества истории и древностей // Записки Императорского Одесского общества истории и древностей. Т. XXVII. Одесса, 1907. С. 76—95.

Марков 1964 — В. М. Марков. К истории редуцированных гласных в русском языке. Казань, 1964.

Миклас 1993 — Х. Миклас. От Преславския събор до Преславската школа. Въпроси на графематиката // *Palaeobulgarica* = Старобългаристика. Год. 17. 1993. № 3. С. 3—12.

Мирчев, Кодов 1965 — К. Мирчев, Х. Кодов. Енински апостол. София, 1965.

Невоструев 1997 — К. И. Невоструев. Исследование о Евангелии, писанном для новгородского князя Мстислава Владимировича в начале XII века, в сличении с Остромировым списком, Галичским и двумя другими XII и одним XIII века // Мстиславово евангелие XII века: Исследования. М., 1997.

Николаев 1996 — С. К. Николаев. *Histoire d'O* // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. С. 203—242.

Попов 2003 — Г. Попов. Акrostих в гимнографическом творчестве учеников Кирилла и Мефодия // *La poesia liturgica slava antica*. XIII Congresso Internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15—21 Agosto 2003). Blocco tematico n° 14. Relazioni. Roma; Sofia, 2003. С. 30—55.

Селищев 2001 — А. М. Селищев. Старославянский язык. 2-е (стереотип.) изд. М., 2001.

Семенов 2003 — А. И. Семенов. Наблюдения над графикой конца строки в новгородских грамотах на бересте // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. Материалы международной конференции. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 279—283.

Сепир 1933 — Э. Сепир. Психологическая реальность фонем // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1933. С. 298—312.

Соболевский 1884 — А. И. Соболевский. Очерки из истории русского языка. Ч. I. Киев, 1884.

Соболевский 1893 — А. И. Соболевский. Одно из редких явлений славянской фонетики // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 290. 1893. С. 48—51.

Соболевский 1894 — А. И. Соболевский. Из истории русского языка // Журнал Министерства народного просвещения. Т. 337. 1894. С. 396—409.

Соболевский 1907 — А. И. Соболевский. История русского литературного языка. М., 1907.

Соколова 1930 — М. А. Соколова. К истории русского языка в XI веке // Изв. по русскому языку и словесности. 1930. № 3. С. 75—135.

Соколова 2000 — Т. П. Соколова. «Молчалива и грустна милая Светлана» // «Слова, слова, слова...»: Межвуз. сб. науч. трудов, посвященный 65-летию доктора филологических наук профессора И. Г. Добродомова. М.; Смоленск, 2000. С. 163—179.

Сперанский 1899 — М. Н. Сперанский. Из истории отреченных книг. I. Гадания по Псалтири // Памятники древней письменности и искусства. Изд. Общества любителей древней письменности. Вып. 129. СПб., 1899. С. 1—168, 1—99 (приложение).

Срезневский 1875 — И. И. Срезневский. Псалтирь без толкований русского письма XI века с гадательными приписками // Сб. ОРЯС Имп. АН. 1875. Т. XII. С. 38—62.

Столярова 1998 — Л. В. Столярова. Древнерусские надписи XI—XIV вв. на пергаменных кодексах. М., 1998.

Страхов 1998 — А. Б. Страхов. Об издании Путятиной Минеи (предисловие редактора) // *Palaeoslavica*. Vol. 6. 1998. С. 114—129.

Страхов 2001 — А. Б. Страхов. Об орнаментальных принципах организации строки в древнерусских текстах как основе графико-орфографического варьирования // *Palaeoslavica*. Vol. 9. С. 5—71.

Тодоров 1990 — А. Тодоров. Псалмы новой части Бычковской псалтири // *Palaeobulgarica* = Старобългаристика. Год. 14. 1990. № 1. С. 49—71.

Толстой 1998 — Н. И. Толстой. О непоследовательности первой палатализации заднебных согласных в славянских языках // Избранные труды. Т. III. Очерки по славянскому языкознанию. М., 1998. С. 197—227.

Тот 1975 — И. Х. Тот. Бычковская псалтирь XI в. // *Acta universitatis Szegediensis de Attila Josef nominatae. Dissertationes slavicae* (= Материалы и исследования по славяноведению). Szeged, 1975. Т. 8. С. 71—96, + 8 л. (фото).

Тот 1985 — И. Х. Тот. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII в. София, 1985.

Унбегаун 1995 — Б. О. Унбегаун. Русские фамилии. 2-е рус. испр. изд. М., 1995.

Успенский 1995 — Б. А. Успенский. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX в.). М., 1995.

Успенский 1997 — Б. А. Успенский. Древнерусские конадкари как фонетический источник // Избранные труды. Т. III. М., 1997. С. 209—245.

Христова 1991 — В. Христова. Бичковски псалтир. Текст. Индекс на словоформите // Годишник на Софийския университет «Климент Охридски». Фак. по слав. филол. Езикознание. 1991. Т. 79/2. С. 49—71.

Шахматов 1915 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.

Щепкин 1967 — В. Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967.

Ягич 1883 — В. Ягич. *Quattor Evangeliorum codex Marianus glagoliticus*. Берлин; СПб., 1883.

Ягич 1889 — В. Ягич. Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889.

- Янин, Зализняк 2000 — В. Л. Янин. А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990—1996 гг.). М., 2000.
- Янин, Зализняк 2000a — В. Л. Янин. А. А. Зализняк. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1999 г. // *Вопр. языкознания*. 2000. № 2. С. 3—15.
- Diels 1932 — P. Diels. *Altkirchenslavische Grammatik mit einer Auswahl von Texten und einem Wörterbuch*. Heidelberg, 1932.
- Fučić 1971 — B. Fučić. *Najstariji hrvatski glagoljski natpisi* // *Slovo*. Vol. 21. 1971. S. 227—254 (+ VIII).
- Fučić 1982 — B. Fučić. *Glagoljski natpisi*. Zagreb, 1982.
- Gribble 1989 — C. E. Gribble. Omission of the Jer Vowels in Early East Slavic Manuscripts // *Russian Linguistics*. Vol. 13. 1989. № 1. P. 1—9.
- Hauptová 2000 — Z. Hauptová. Die altkirchenslavischen Akrostichen und die Glagolica // *Glagolitica*. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000. S. 47—53.
- Jurić-Kappel 2000 — J. Jurić-Kappel. Der Frašćić-Psalter (Wiener glagolitische Psalter) in der slavische Psaltertradition // *Glagolitica*. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000. S. 175—191.
- Lunt 1949 — H. G. Lunt. *The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts*. Ann Arbor, High Wycombe, 1949.
- Lunt 1955 — H. G. Lunt. *Old Church Slavonic Grammar*. The Hague, Paris, 1955.
- Lunt 1976 — H. G. Lunt. The Bychkov Psalter // *Slovo*. 1976. № 25/26. P. 255—266.
- MacRobert 1989 — C. M. MacRobert. Two for the Price of One: the Psalter MS Peć 68 // *An offprint from: Oxford Slavonic Papers*. Vol. 22. 1989. P. 1—28.
- MacRobert 1990 — C. M. MacRobert. The Greek Textological Basis of the Early Redactions of the Church Slavonic Psalter // *Palaeobulgarica = Старобългаристика*. Год. 14. 1990. № 2. С. 7—15.
- MacRobert 1991 — C. M. MacRobert. What is a Faithful Translation? Changing Norms in the Church Slavonic Version of the Psalter // *The Slavonic and East European Review*. Vol. 69. P. 401—417.
- MacRobert 1998 — C. M. MacRobert. The Textual Tradition of the Church Slavonic Psalter up to the Fifteenth Century // *Interpretation of the Bible*. Ljubljana, 1998. P. 921—941.
- MacRobert 2003 — C. M. MacRobert. On the Problems of Identifying a «Preslav Redaction» of the Psalter. 2003. [Unpublished Text of the Paper Presented for 13th International Congress of Slavists, Ljubljana, 2003, August 15—21].
- MacRobert 2003a — C. M. MacRobert. On the Problems of Identifying a «Preslav Redaction» of the Psalter // 13. *Mednarodni slavistični kongres*. Ljubljana, 15.—21. avgust 2003. 1. del. Jezikoslovje. Ljubljana, 2003. P. 288.
- Mareš 1971 — F. V. Mareš. Hlaholice na Moravě a v Čechách // *Slovo*. T. 21. S. 133—200 (+ II).
- Marti 1984 — R. W. Marti. Old Church Slavonic Nasal Vowels: V̆ or VN? // *New Zealand Slavonic Journal*. 1984. P. 119—152.
- Marti 1999 — R. W. Marti. *Abecedaria — a Key to the Original Slavic Alphabet: the Contribution of the Abecedarium Sinaiticum Glagoliticum* // *Thessaloniki, Magna*

Moravia: Proceedings of the International Conference Thessaloniki 16—19 October 1997. Thessaloniki, 1999. P. 175—200.

Marti 2000 — R. W. Marti. Die Bezeichnung der Vokale im Glagolica // Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000. S. 54—76.

Miklas 1988 — H. Miklas. Zur Struktur des kirillisch-altkirchenslavischen (altbulgarischen) Schriftsystems: (Ein Systematisierungsversuch) // Palaeobulgarica = Старобългаристика. Год. 12. 1988. № 3. С. 52—65.

Nedeljković 1971 — O. Nedeljković. Neke inovacije u fonološkom sistemu prvobitne glagoljice // Slovo. Vol. 21. 1971. S. 79—93.

Nuorluoto 1994 — J. Nuorluoto. Die Bezeichnung der konsonantischen Palatalität im Altkirchenslavischen. Eine graphematisch-phonologische Untersuchung zur Rekonstruktion und handschriftlichen Überlieferung. München, 1994.

Nuorluoto 1995—1996 — J. Nuorluoto. Besaß die Urglagolica Digraphen? // Croatica. 1995—1996. Vol. 42, 43, 44. S. 303—322.

Schaeken 1994 — J. Schaeken. Altkirchenslavische Silbentrennung und reduzierte Vokale am Zeilenschluss // Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava: Linguistics. Amsterdam, 1994. S. 369—387.

Schaeken 1995 — J. Schaeken. Line-final Word Division in Russian Birchbark Documents // Russian Linguistics. Vol. 19. 1995. № 1. P. 91—108.

Shevelov 1979 — Y. Shevelov. Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg, 1979.

Tarnanidis 1988 — I. C. Tarnanidis. The Slavonic Manuscripts, Discovered in 1975 at st. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessalonici, 1988.

Tkadlčík 1956 — V. Tkadlčík. Trojí hláholské i v Kijevských listech // Slavia. Vol. 25. 1956. S. 200—216.

Trubetzkoy 1954 — N. Trubetzkoy. Altkirchenslavische Grammatik. Wien, 1954.

Veder 2000 — W. R. Veder. Das glagolische Alphabet der Azbučna Molitva // Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000. S. 77—87.

Veder, Marti 2000 — W. R. Veder, R. W. Marti. Die Freiburger Diskussionsrunde zur Entstehung der Glagolica // Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000. S. 227—243.

Vrana 1964 — J. Vrana. Glagoljski grafemi **Ѣ** — **Ѣ**, **ѢѢ** — **ѢѢ** i njihova ćiriliska transcripcija // Slavia. Vol. 33. 1964. S. 171—181.

Worth 1985 — D. S. Worth. Mirror reversals in Novgorod Paleography // Language and Literary Theory. In Honor of Ladislav Matejka. Ann Arbor, 1985. P. 295—306.

Worth 1996 — D. S. Worth. OMEGA, especially in Novgorod // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996. P. 70—82.

О. Ф. ЖОЛОБОВ (Казанский ун-т)

**ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКИХ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ.
I: ПРИРОДА ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
В ГЕНЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ**

Счетные слова являются необходимой частью словаря в любом языке, а время их появления в человеческой речи с трудом поддается определению. В недавнем исследовании, посвященном этимологии и типологии числительных [Blažek 1999], отмечается, что они существуют и существовали во всех известных языках настоящего и прошлого. Они обнаруживаются по крайней мере уже в начале позднего палеолита. Симптоматично, что первые знаки в древнейших письменных системах (шумерской, эламской) были числовыми знаками, поэтому счетные слова допустимо рассматривать в качестве одного из импульсов развития письменности. Не случайно в древнейших системах письма буквенные знаки выступают в двух функциях, являясь, с одной стороны, обозначениями звуковых единиц, а с другой стороны — счетных единиц. С точки зрения этимологии противопоставление числительных в так называемых примитивных и цивилизованных языках не действительно, так как повсюду первичная семантическая мотивация счетных слов основывается на обозначениях частей человеческого тела. Обратившись к фактическим числам, следует заметить, что человеческая рука остается наиболее простым, но достаточно быстрым и эффективным инструментом счета в некоторых культурах [Honti 1999: 251]. Особое строение рук, совмещенное с их парной симметрией, обусловило развитие такой числовой системы, как десятичное счисление.

На фоне постоянного и растущего интереса исследователей к теме языкового выражения количественных представлений (см. библиографию) кажется неоправданным почти полное забвение данной проблематики в русском языкознании¹. Числительные остаются наименее изученным разрядом слов в исторической русистике. Систематическое исследование числительных в древнерусском языке до сих пор не было осуществлено. Имеющиеся многочисленные работы по скудости привлеченного в них исторического

¹ См. новые работы о числительных [Лукинова 2000; Blažek 1999; 2001; Indo-European Numerals 1992; Lehmann 1991; Numeral Types 1999; Smoczyński 1989; 1999].

материала можно признать лишь обзорными. Кроме того, они не всегда соответствуют современным теоретическим представлениям (ср. [Багрянский 1957; 1960; Глускина 1955; 1957; 1961; Дровникова 1985]).

Растворение числительных среди слов других частей речи распространено в палеославистике (см. [Багрянский 1957: 16²; 1960: 4; Дровникова 1985: 4; Еленски 1978: 81; Супрун 1969: 5; Хабургаев 1990: 258—259 и сл.; Kiparski 1967: 173; Šerech 1952: 39—40]). Понятно, в частности, что традиционная характеристика древнеславянских числительных *дѣва*, *триѣ* и *четыреѣ* как прилагательных, а числительного *дѣсѣтъ* как существительного мало что проясняет, а для практической грамматики является просто помехой. И в том, и в другом случае потребуются дополнительные разъяснения правил употребления этих слов, которые сведут на нет целесообразность вышеназванных частеречных дефиниций. Так, слово *дѣва* нельзя считать прилагательным не только потому, что оно имеет особое значение, но и потому, что оно принадлежит к местоименному, а не именному или членному declinacionному образцу. Числительные *триѣ* и *четыреѣ* нельзя признать прилагательными не только потому, что они имеют не свойственную прилагательным семантику, но и потому, что они являются словами основ на *-i* и согласный, к которым у славян прилагательные принадлежать не могут. Числительное *дѣсѣтъ* отличает не только собственно количественное значение, но и морфологические особенности, не свойственные существительным. Так, у него в древнеславянском развивается смешанный грамматический род: ср. РП ед. муж. *полѣ пѣта дѣсѣтѣ*, ТП ед. жен. *дѣсѣтнѣѣ*, *дѣсѣтѣю*.

Уже в рамках традиционного частеречного учения с его триадой флексивных форм, синтаксической функции и лексического значения древнеславянские числительные могут быть выделены в самостоятельный лексикограмматический класс слов, если не выносить за скобки какое-нибудь из трех оснований классической частеречной теории. Понятно, что морфологическая составляющая частеречной теории, которая в старых работах ставилась во главу угла, может носить лишь вспомогательный характер, потому что далеко не все слова имеют морфологические показатели (ср. неизменяемые прилагательные в старославянском: *исплѣнь*, *свободѣ*, *различѣ*, *соугубѣ*, *оудобѣ*)³. Иначе обстоит дело с синтаксическими показателями, хотя и они, как можно полагать, зависят от функционально-семантических характеристик лексем (см. [ЛЭС 1990: 578—579]). Тем не менее опора на синтаксические параметры позволяет основывать частеречные дефиниции на достаточно строгих формально-грамматических основаниях.

² В работе [Багрянский 1957: 16 и др.] речь идет даже о середине XVIII в. (в книге опечатка — середина VIII в.!).

³ Нужно также иметь в виду, что слова разных частей речи могут иметь одинаковые морфологические показатели, будучи разграниченными лишь синтаксически, однако вовсе не во всех позициях (ср. в праславянском: ИП **bratъ starъ*, РП **brata stara*, ДП **bratu staru* и под.).

В новых частеречных построениях все три части традиционной теории по-прежнему занимают важное место, хотя предполагается, что их необходимо дополнить новыми параметрами. В новых работах выделяются следующие частеречные основания: семантика, синтаксис, прагматика и автономность [Schmid 1994]; формальные параметры (словоизменение, деривация, дистрибуция), синтаксические параметры (потенциальная реакция на синтаксические категории), онтологическо-семантические параметры (отношение к онтологическим категориям или семантическим классам), дискурсивно-прагматические параметры (отношение к основополагающим положениям дискурса) [Sasse 1993].

В соответствии с новыми теоретическими представлениями обособленность числительных как частеречного класса задается их парадигматическими и синтагматическими свойствами, среди которых наиболее яркой особенностью является строгая упорядоченность и иерархичность семантической организации (см. [Gvozdanić 1992: 5—6])⁴. Рассматривая систему числительных, нужно иметь в виду, что концепт ‘место в ряду или серии’ является в этом случае основным [Hurford 1987: 86 и сл.].

Выделение древнеславянских числительных в отдельный лексико-грамматический разряд имеет также и формально-грамматические основания. Это прежде всего показания синтаксиса, на которых следует остановиться. Числительные — это слова, способные образовывать синтаксическую счетную последовательность, в которую не могут быть включены слова других лексико-грамматических разрядов.

В счетной функции морфологическая природа числительных в десятичном ряду никак не проявляет себя. В этом случае все морфологическое разнообразие форм сходится в одной «начальной» форме. Поэтому понятно развитие таких типологических особенностей в системе числительных, как отсутствие или утрата морфологических примет. «...В числительных синтаксис явно преобладает над морфологией» [Виноградов 1938: 120]⁵.

Счетная последовательность никаких определенных морфологических форм не требует и не предполагает. В этом случае существен лишь синтаксический порядок слов, который вместе с тем обуславливает морфонологическое сближение соседних слов, являющееся характерной особенностью числительных (ср. Auslaut- или Anlaut-«рифму» в древнеславянских лексических парах *пѣтъ, пѣть* — *шѣсть, шѣть*; *сѣдмъ, сѣдмь* — *осмъ, осмь*; *дѣвѣтъ, дѣвѣ(тъ)* — *дѣсѣтъ, дѣсѣ(тъ)*; звукообраз числительного ‘9’ здесь полностью подчинило себе следующее за ним числительное ‘10’)⁶. Особеннос-

⁴ «It is found in the presence of full ordering among the numeral meanings, which is not to such an extent found in the remaining parts of language» [Gvozdanić 1992: 5—6].

⁵ Однако и синтаксис подчинен смысловой природе числительных.

⁶ Ср. Auslaut-гармонизацию соседних числительных у балтов: лит. *aštuoni* ‘8’ и *septyni* ‘7’.

тью числительных является внутренняя гармонизация лексического ряда, неизвестная словам других лексико-грамматических разрядов.

В древнеславянской речи, как и во всякой другой речи, почти бесконечный счетный ряд задается строго упорядоченной комбинацией нескольких простых числительных. В этом нельзя не видеть известного противоречия, которое преодолевается в дальнейшей истории числительных: в лексической системе постоянно действует тенденция к выражению отдельного значения отдельным словом (ср. *трии на десѣте* > *тринадцать*).

В счетный ряд не допускается введение слов других парадигматических классов. Ни подлинные существительные, ни прилагательные, ни местоимения в этот замкнутый класс слов не могут быть включены, потому что они не входят в счетные синтаксические последовательности. Счетный ряд не совместим с таким свойством частеречных парадигм других имен, как синонимия. Каждому слову здесь отводится строго определенное место, а синонимические замены, как правило, невозможны. Принадлежность того или иного слова к числительным легко устанавливается по тому, возможно или нет его включение в синтаксическую счетную последовательность.

Предстает немотивированной морфологическая трансформация индоевропейских количественных числительных в праславянском. Несклоняемые индоевропейские числительные приобретают в нем именные морфологические показатели определенного типа, именно — **i*-основ. Несмотря на всю свою неординарность (ничего подобного не известно другим классам слов), этот процесс строго закономерен и обусловлен лексико-грамматическими факторами — корреляцией количественных и порядковых числительных. Порядковые числительные столь же функционально значимы, как и числительные количественные, и также образуют счетную синтаксическую последовательность. Количественные и порядковые числительные функционально соотносительны и семантически взаимобратимы. Референтное отношение указывает: когда называется числительное **petь*, подразумевается, что последнее звено в счетном ряду — **petьjь*; когда называется числительное **petьjь*, подразумевается, что счет достиг '5'. Эта последнее свойство числительных отложилось в особой счетной модели, имеющей праславянское происхождение, — **samъ petь*, **samъ desetъ* (т. е. всего — вместе с одним из выделенных считаемых (или самим считающим) — пятеро, десятеро). См.:

радѹѡ же са александръ въскочи въ скѹрадѣ · ѿдинъ же въниде · а
въстѣ видѣти въ скѹрадѣ самого третиа Супр I, 80 об.

Названные разряды числительных, будучи функционально взаимосвязанными, предполагают морфологическое выражение коррелятивных отношений — по крайней мере, некий минимум грамматической экспоненты.

Взаимодополнительность количественных и порядковых числительных в праславянском отложилась в особой морфосинтаксической модели, выполняющей функцию половинного счета: **polъ peta* букв. 'половина пято-

го', т. е. 'четыре с половиной', **polъ tretъja na desęte* букв. 'половина тринадцатого', т. е. 'двенадцать с половиной'. Поскольку исконные порядковые числительные **peťь*, **šestъ* сохранили ясный именной характер, не могли не наследовать именной природы и их функциональные корреляты **peťь* и **šestъ* (см. [Жолобов 2003: 164]).

Существенно то, что данная корреляция имела конкретный генетический источник — индоевропейские праформы. В индоевропейском связь количественных и порядковых числительных имела отчетливое морфологическое выражение. Порядковые числительные образовывались от количественных в результате тематизации последних и являлись склоняемыми именами: например, **penk^we* ~ **penk^wtos*, **septm̥* ~ **septm̥mos*⁷. В раннепраславянском эти морфологические формы корреляции не могли сохраниться по фонетическим условиям, что привело к разрыву регулярных морфологических связей между двумя разрядами числительных. Развившиеся инновации были вызваны восстановлением регулярных морфологических связей между количественными и порядковыми числительными, таким образом — внутривидовыми факторами. Точкой отсчета в этом изменении не могли не стать порядковые числительные, так как они сохраняли морфологически ясный именной характер. Таким образом, славянские числительные от пяти до девяти образовались в результате ремоделирования на основе порядковых числительных. Ремоделирование выразилось в обобщении основы порядковых числительных и утверждении вариантной полумягкой тематизации типа **sedmъ* — **sedmъ*. Этот процесс имеет генетическое основание — корреляцию количественных и порядковых числительных в языке-предке, подкрепленную гармонизацией соседних слов в счетном ряду.

В новейшей монографии, посвященной этимологии числительных в языках разных семей, автор — Вацлав Блажек [Blažek 1999: 141 и сл.] — приводит 3 разных источника для праславянских числительных от пяти до девяти: а) индоевропейские отвлеченные имена на *-ti*, образованные от числительных, б) ремоделирование количественных числительных на основе порядковых, в) совмещение обоих предшествующих типов при преобладающем влиянии первого типа. Однако О. Семереньи в свое время дал сводку всех индоевропейских образований с предполагаемыми исходными суффиксами *-t-* или *-ti*, которые традиционно относят к *nomina abstracta-collectiva*, и последовательно отклонил связь каждого из них с общеиндоевропейской стадией. Он отказался рассматривать албанские примеры числовых обозначений для '6'—'10' (типа *gjashtë* 'шестерка'), которые, как обычно предполагается, представляют замены исконных числительных на субстантивы, восходящие к формам на *-ti*, так как албанский язык сохранил лишь фраг-

⁷ Эта тематизация в ряде случаев носит квазисуффиксальный характер. Тематический суффикс **-tos* возник в результате переразложения формы порядкового числительного **dek^{m̥}tos* под влиянием сандхи-варианта числительного **dek^{m̥}(t)*.

менты исходной системы числительных [Szemerényi 1960: 105]. Тем не менее есть основания полагать, что в албанском языке старые количественные числительные были заменены вовсе не именами, восходящими к дериватам на *-ti*, а порядковыми числительными на *-të* (см. [Demiraj 1986: 193—194]), т. е. трансформация нумеративных форм в албанском сходна со славянской.

Анализ древнеисландских примеров (типа *sétt* и *niund* — имен, соотносительных с числительными ‘6’ и ‘9’) показал, что они генетически разнородны, семантически специализированы и не представляют единой группы, поэтому, как полагал Семереньи, не могут быть основанием для индоевропейской реконструкции [Szemerényi 1960: 106]. Однако его доводы не бесспорны, если иметь в виду изначальную ограниченность (таких слов от ‘5’ до ‘9’ не более пяти) и вторичный характер предполагаемых форм на *-ti*.

Исследователь отклоняет также другое распространенное мнение, ставя под сомнение обычно признаваемую связь суффиксальных образований abstracta-collectiva на *-ti* и индоиранских числительных ‘60’—‘90’ (типа вед. и авест. *ṣaṣ-ṭi* и *xšvaš-ti* ‘60’) и усматривая здесь морфонологически обобщенный пример гаплогонии (см. реконструкцию: вед. ‘80’: и.-е. **ok'tōk'ont-* > вед. **astāsant-* > **astī-śat(i)* > **aśī-(śa)ti* > **aśīti*) [Szemerényi 1960: 61—62]⁸.

Согласно О. Семереньи, традиционное представление о связи славянских форм с индоевропейскими собирательными или отвлеченными именами на **-t* и **-ti* основывается лишь на единичных примерах (вед. *daśát-* и *pañkti-* — с необъяснимым расхождением формативов для ‘10’ и ‘5’), которые не могут рассматриваться в качестве деривационных образцов в индоевропейском. Лексема *daśāti* (*i*-основа) в индийском появляется лишь в классический период, а в ведийском представлен дериват *daśátya*, не относящийся к *i*-основам. Как числовое обозначение ведийское *pañkti-* (*i*-основа) не имеет иных соответствий в родственных языках, кроме славянского **pęťь*. Семереньи считает, что *pañkti-* содержит вторичное **-ti* и восходит к и.-е. **pn̥kʷsti-* ‘кулак, (группа из) пяти’, которое получило продолжение в славянском **pęťь* (а вовсе не **pęťь*), нем. *Faust*, англ. *fist* < **funhsti-*, лит. *kūmštis* ‘кулак’ < **punkstis*⁹.

В индоевропейских языках складываются различные деривационные модели nomina abstracta-collectiva: скр. *tretā* ‘триада’, *pañcatā* ‘пятикратное

⁸ Ср. [Blažek 1999: 234; SP 3: 92] и др.

⁹ Числительное ‘5’ традиционно связывается не с числительным **penkʷe*, отраженным во всех индоевропейских языках, в том числе балтийских, а с гипотетическим abstractum **pn̥kʷ-ti*. Существование индоевропейского **pn̥kʷsti-* ставится под сомнение, что обосновывается отсутствием регулярного германского рефлекса *funsti* [Blažek 1999: 227]. У Семереньи, как указывалось выше, изолированное отвлеченное имя в древнеиндийском связывалось с формой **pn̥kʷsti-*, наряду со славянским рефлексом **pęťь*.

количество»; греч. *δύας*, *-άδος* ‘диада’, *τριάς*, *-άδος* ‘триада’; лит. *trėjetas* ‘триада’, *penketas* ‘пентада’ и под. Подобные примеры могут свидетельствовать о том, что *nomina abstracta-collectiva* как дериваты числительных получили распространение лишь в постиндоевропейский период, отражая усложнение количественной семантики и углубление ее отвлеченного характера.

Доводы О. Семереньи в пользу отсутствия в индоевропейском *nomina abstracta* на **-tis* от числительных, как можно предположить, с некоторыми отступлениями приняты в работе В. Смочинского, поскольку он даже не обсуждает традиционные славяно-индоевропейские этимологические параллели типа **penk^v-ti-* < **petь*, **(k)s(w)ek^s-ti-* < **šestь* [Smoczyński 1989: 82—83; 1999: 531]. Однако он полагает, оставив без внимания гипотезу Семереньи, что источником для трансформации древнеславянских числительных стала пара **desetь* — **desetь* (откуда далее **petь* — **petь*, **šestь* — **šestь* и т. д.). Его предположение неприемлемо, так как древнеславянское **desetь*, в отличие от других числительных, исконно являлось именем мужского рода консонантного склонения.

В изложении самого Семереньи непонятно обращение к позднепраславянским, а не раннепраславянским праформам. Он исходит к тому же не из ремоделирования, а из контаминации количественной и порядковой основ. Между тем обращение к исходным формам вроде **septьn* < **septm̃* и **septmās* < **septm̃os* проясняет причины морфологической реинтерпретации количественного члена в паре. Вероятно, неосторожно опираться также лишь на позднепраславянскую пару **setь* и **setmь* как образец дальнейших изменений, в то время как взаимодействие количественных и порядковых форм затрагивало и другие пары словоформ.

Можно представить иной ход событий — развитие **petь* как деривата **petьB*. Этот взгляд высказывался в свое время Т. Б. Лукиновой [Лукинова 1967: 64—65] и А. Е. Супруном [1969: 11], который распространил его на все числительные и предлагал произвольное семантическое толкование¹⁰. Недавно это предположение как единственно возможное было вновь повторено в монографии Т. Б. Лукиновой [Лукинова 2000: 91 и др.]. В этом случае появление новых числительных можно было бы сравнить со следующими парами соотносительных однокоренных слов. См.: *зълъ* — *зълъ*: *отъ въсѣхъ зълъи нашихъ очисти ныи Киев 4а 5—6* (ССС, 241); *сътъ* — *сътъ*: *отъ пяти хлѣвъ пѣтъ тысѣщъ до съти накръми Супр 344, 19* (ССС, 676); *лютъ* — *лютъ*: *ѿ великыа люти прѣмѣнѣна на тишинѣ МинП XI (май), 12; молодъ* —

¹⁰ «Между тем, семантически слова типа *пять* не оставались неизменными. Если первоначально они, по-видимому, обозначали опредмеченное свойство “быть пятым”, то постепенно связь между словами *пять* и *пять* (пятый) начинала пониматься не в соответствии с этимологией, а наоборот: *пять* (пятый) стало пониматься как производное от *пять*; слово, обозначающее порядковый номер, стало пониматься не как непосредственный результат счета, а как установление связи между тем предметом, к которому оно относится, и числом 5: *пятый предмет = предмет номер пять*».

молодь: Черныя Клобуки и *молодь* свою пустиста на передь ЛИ ок. 1425 (под 1149 г.); *бгыстръ* — *бгыстръ*: и изверже ѡ вода на соую съ мноую *бгыстрыю* ГА XIV₁, 237a [СДРЯ I: 338]¹¹.

В древнеславянской письменности таких лексических форм немного, гораздо шире представлены близкие им по значению субстантивы на *-ина*, *-ость*, *-ота*¹². Поэтому, если признавать связь количественных числительных с подобными образованиями на *-ь*, нужно считать их примерами специализированной модели. Впрочем, это не устраняет всех вопросов, поскольку такие важные в системе числительных лексемы, как **desę* и **deveę* находятся вне ее рамок. Другое препятствие состоит в том, что деривационные пары вроде **sedmь* < **sedmь* и *лють* < *лють* невозможно отождествить семантически. Числительные типа **sedmь* не могут формировать отвлеченного значения указанного выше типа, потому что не выражают признака в собственном смысле этого слова, а обозначают только остановку в движущемся счетном ряду. Эти особенности отчетливо выступают в следующей деривационной паре: **četvьrtь* > **četvьrtь* ‘четвертая часть’. См.: *прѣвѣднѣ* на *четвѣрты* Изб 1073, 232; и *прѣдължитъсѧ имь хлѣба по ѹдиной четвѣрти* УСт к. XII, 207 об. Ср. также **tretьь* > **tretь* ‘третья часть’: а *възми* (въ) *треть* ГрБ (смор.) № 12 (сер. XII)¹³. Таким образом, производные данной модели, если бы они существовали, должны были иметь значение ‘пятая часть’ (**petь*), ‘шестая часть’ (**šestь*) и под. Поэтому количественные числительные **petь*, **šestь* и под. затруднительно рассматривать в качестве производных, которые были образованы от соответствующих порядковых числительных по указанной словообразовательной модели.

Источники

ГрБ (+ номер грамоты) — Новгородские грамоты на бересте // [Зализняк 1995, 223—573; Янин, Зализняк 1999].

¹¹ В названных работах этих примеров нет.

¹² В старославянской письменности отмечается соответственно около 30, 50 и 30 производных, а дериватов на *-ь* А. Е. Супрун не находит [Супрун 1991: 45]. См. данные обратного словаря L. Sadnik.

¹³ Субстантивные образования от порядковых числительных на *-ина* обладают теми же особенностями. Так, *осмина* — это ‘восьмая часть (кади)’, *десѧтина* — ‘десятая часть чего-либо’: пшъницъ :в: *осмине* ГрБ № 893 (2 четв.—сер. XII); *десѧтинь* даганиа · и начатъци · и частыа мѣтвы КЕ XII, 252a. Ср. лексикализованные образования мн. ч., называющие третий и девятый день поминания усопших: Творите оусопшимъ памать *третины* · въ ѡалмѣхъ и въ мѣтвахъ · въскре(с)шаго радї триднѣвно · і *девѧтины* · на в(ъ)споминаниѣ сущихъ зде · і оусопшихъ КР 1284, 52в. Т. Б. Лукинова [Лукинова 2000: 272 и сл.] относит слова **tretь*, **četvьrtь*, а также дериваты на **-ина* к дробным числительным. Правомерность такого решения вызывает сомнения, так как эти слова не образуют системы.

Изб 1073 — Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 года. СПб., 1880.

КЕ XII — В. Н. Бенешевич. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. Т. I, вып. 1—3. СПб., 1906—1907.

КР 1284 — Рязанская кормчая, РНБ, Ф. п. I. 1 (по фотокопии).

ЛИ ок. 1425 — Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М., 1962.

МинП XI — Путятин Миня на май / Подгот. к изд. М. Ф. Мурьянов // *Palaeoslavica*. VII (л. 43—82). 1999.

Супр — Супрасльская рукопись / Труд С. Северьянова. СПб., 1904. (Памятники старославянского языка. Т. II. Вып. 1).

УСт к. XII — Устав студийский церковный и монастырский, конца XII в. // А. М. Пентковский. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001.

Словари

СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—6. М., 1988—2002—

ССС — Старославянский словарь (по рукописям X—XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

L. Sadnik, R. Aitzetmüller. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

SP — Słownik prasłowiański / Pod red. Fr. Sławskiego. Т. 1—7. Wrocław etc., 1974—1995.

Литература

Багрянский 1957 — И. М. Багрянский. Имя числительное в русском языке XI—XVII вв. // Тр. Узбекского гос. ун-та. Вып. 71. Самарканд, 1957.

Багрянский 1960 — И. М. Багрянский. Имя числительное в русском языке XI—XVII вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1960.

Виноградов 1938 — В. В. Виноградов. Современный русский язык. Вып. 2: Грамматическое учение о слове. М., 1938.

Глускина 1955 — С. М. Глускина. К истории составных числительных в русском языке // Учен. зап. Псков. гос. пед. ин-та. Вып. III. 1955. С. 111—134.

Глускина 1957 — С. М. Глускина. Категория грамматического рода имен числительных в истории русского языка: (К истории сложения числительных в часть речи) // Учен. зап. Псков. гос. пед. ин-та. Вып. IV. 1957. С. 199—222.

Глускина 1961 — С. М. Глускина. Сложные числительные в истории русского языка // Учен. зап. Псков. гос. пед. ин-та. Вып. VII. 1961. С. 5—34.

Дровникова 1985 — Л. Н. Дровникова. История числительных в русском языке. Владивосток, 1985.

Еленски 1978 — Й. Еленски. Параллелизм в развитии количественных сочетаний в славянских языках // Славянска филология. Том XV: Езикознание. София, 1978. С. 81—92.

Жолобов 2001 — О. Ф. Жолобов. Древнеславянские числительные как часть речи // *Вопр. языкознания*. 2001. № 2. С. 94—109.

Жолобов 2003 — О. Ф. Жолобов. Морфосинтаксис древнеславянских числительных // *Славянское языкознание. XIII Междунар. съезд славистов*. Люблина, 2003 г.: Докл. российской делегации. М., 2003. С. 162—176.

Журавлев 1991 — В. К. Журавлев. *Диахроническая морфология*. М., 1991.

Зализняк 1995 — А. А. Зализняк. *Древненовгородский диалект*. М., 1995.

Лукинова 1967 — Т. Б. Лукинова. До порівняльно-історичного вивчення словотвору слов'янських числівників // *Структура і розвиток слов'янських мов*. Слов'янське мовознавство. Т. V. Київ, 1967. С. 63—76.

Лукинова 2000 — Т. Б. Лукинова. *Числівники в слов'янських мовах (порівняльно-історичний нарис)*. Київ, 2000.

ЛЭС — *Лингвистический энциклопедический словарь*. М., 1990.

Супрун 1969 — А. Е. Супрун. *Славянские числительные: Становление числительных как особой части речи*. Мн., 1969.

Супрун 1991 — А. Е. Супрун. *Старославянский язык*. Мн., 1991.

Хабургаев 1990 — Г. А. Хабургаев. *Очерки исторической морфологии русского языка: Имена*. М., 1990.

Янин, Зализняк 1999 — В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1998 г. // *Вопр. языкознания*. 1999. № 4. С. 3—27.

Blažek 1999 — V. Blažek. Numerals. Comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications (Saharan, Nubian, Egyptian, Berber, Kartvelian, Uralic, Altaic and Indo-European languages). Brno, 1999.

Blažek 2001 — V. Blažek. [Recensio] // *Archiv Orientální. Quarterly Journal of African and Asian Studies*. Vol. 69 / 1. 2001. P. 73—84. Rec. ad: Numeral Types 1999.

Demiraj 1986 — B. Demiraj. Formanti -të në sistemin e numërimit të gjuhës shqipe // *Studime Filologjike*. 4. 1986. S. 181—194.

Gvoždanović J. Remarks on numeral systems // *Indo-European Numerals / Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Vol. 57. Berlin; N. Y., 1992. P. 1—10.

Honti 1999 — L. Honti. The numeral system of the Uralic languages // *Numeral Types and Changes Worldwide / Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Vol. 118. Berlin; N. Y., 1999. S. 243—252.

Hurford 1987 — J. R. Hurford. *Language and Number. The Emergence of a Cognitive System*. Oxford, 1987.

Indo-European Numerals 1992 / *Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Vol. 57. Berlin; N. Y., 1992.

Kiparski 1967 — V. Kiparski. *Russische historische Grammatik. Bd. II: Die Entwicklung des Formensystems*. Heidelberg, 1967.

Lehmann 1991 — P. W. Lehmann. Residues in the Early Slavic Numeral System that Clarify the Development of the Indo-European System // *General linguistics*. 1991. Vol. 31 / 3—4. P. 131—140.

Numeral Types 1999 — *Numeral Types and Changes Worldwide / Trends in Linguistics. Studies and Monographs*. Vol. 118. Berlin; N. Y., 1999.

Sasse 1993 — H.-J. Sasse. Das Nomen — eine universale Kategorie? // *Sprachtypologie und Universalienforschung*. 1993. Bd. 46, Hf. 4. S. 187—221.

Schmid 1994 — W. P. Schmid. Eine revidierte Skizze einer allgemeinen Theorie der Wortarten // *Linguisticae Scientiae Collectanea*. Ausgewählte Schriften von W. P. Schmid. Berlin; N. Y., 1994. S. 368—382.

Šerech 1952 — Ju. Šerech. Probleme der Bildung des Zahlwortes als Redeteil in den slavischen Sprachen. Lund, 1952.

Smoczyński 1989 — W. Smoczyński. *Studia bałto-słowiańskie*. Cz. I. Wrocław; Warszawa etc., 1989.

Smoczyński 1999 — W. Smoczyński. Zu baltisch-slavisch **ketur*- und Zubehör // *Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова*. М., 1999. С. 527—537.

Szemerényi 1960 — O. Szemerényi. *Studies in the Indo-European System of Numerals*. Heidelberg, 1960.

Vondrák 1928 — W. Vondrák. *Vergleichende slavische Grammatik*. II. Bd: *Formenlehre und Syntax*. Göttingen, 1928.

Ю. В. КАГАРЛИЦКИЙ

**ПРИДАТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
С СОЮЗНЫМ СЛОВОМ *КОЙ*
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА**

Настоящая работа посвящена синтаксическому явлению, которое хорошо известно не только профессиональным филологам, но и всем сколько-нибудь искушенным читателям. Речь идет об употреблении местоимения *кой* вместо *который* в позиции союзного слова. Фактически работа является продолжением статьи, написанной нами совместно с А. Ф. Литвиной [Кагарлицкий, Литвина 2002]. Однако если там речь шла преимущественно об особенностях употребления упомянутых союзных средств в переводе Ильи Минятия, выполненном С. И. Писаревым¹, то в настоящей работе делается попытка дать краткий обзор истории их использования в перспективе эволюции русского литературного языка XVIII в.

Кажется необходимым обозначить момент, с которого возник наш интерес к рассматриваемому в данной статье явлению. Напомним, что в предисловии к одному из последних изданий Ильи Минятия, вышедших при жизни С. И. Писарева, последний жаловался на произвол синодального справщика, который в одном из предыдущих изданий исковеркал текст перевода:

Въ семь второмъ Изданіи бывшій тогда въ Синодальной типографіи при наборѣ ея Справщикъ, самовольно ли по своему буйственному невѣжеству, или же и по чьему безсовѣстному нарочно наущенію (как видно въ вымышленную насмѣшку, ни малѣйше мнѣ пристойную, а только себѣ во всегдашнюю укоризну служащую) вездѣ по тѣмъ мѣстамъ, где у меня въ первомъ изданіи напечатана частица Местоименія, состоящая въ реченіяхъ: *Коя, Кою, Кон, Конхъ*, значащихъ *Которая, Которую, Которые, Которыхъ*; переправилъ на употребляемая токмо въ однихъ церковныхъ книгахъ, Славенскія, а въ сочиненіяхъ чистаго Россійскаго языка отнюдь напишемья слова, вставя вмѣсто ихъ сумозбродно сіи: *Кая, Кую, Кїи, Кїихъ*; чѣмъ всякому благоразсудному Читателю даль о себѣ узнать, что онъ не мой чистый слогъ, но свой мутной глазъ такимъ гнуснымъ бѣльмомъ изуродоваль [Илья Минятий 1773: (предисл.) л. 1об.].

¹ К этой статье мы и отсылаем читателя за любыми подробностями, касающимися биографии С. И. Писарева и его переводческой деятельности.

В современном нам языковом сознании относительное местоимение *кой* является показателем архаического стиля (возможно, несколько отдающего канцелярщиной, но лишь в той степени, в которой канцелярские штампы консервируют языковую архаику). Писарев же говорит о придаточных с союзным словом *кой* так, как будто речь идет о примете новой словесной культуры, о которой невежественный синодальный справщик не имеет должного понятия.

Мы упомянули об относительных придаточных, однако для текстов первой половины XVIII в. трудно еще говорить о сложившемся относительном синтаксисе (как он описан для русского языка последних полутора столетий [Зализняк, Падучева 1979]). Понятие придаточного кажется в значительной степени размытым, иногда трудно разграничить случаи относительно подчинения и, с одной стороны, отдельные предложения либо части сложносочиненного или бессоюзного предложения, с другой — придаточные другого вида. Например, в Уставе воинском (1716) читаем:

...весма потребно есть, чтоб для пропитания и ползования оным построить полевой лазарет. (...) К **которому** лазарету временем и караул бывает приставлен [Законодательство Петра 1997: 183].

Очевидно, что эта конструкция напоминает конструкцию относительно подчинения: *...*построить полевой лазарет, к которому временем и караул бывает приставлен*. Однако в данном случае можно говорить о двух независимых предложениях; *который* играет роль анафорического местоимения, или скорее, указания на весь предшествующий контекст (своего рода «артикля»).

Приведем другой пример (из Закона о наследии имений, 1714):

Ежели **которая** девица возраста своего по осмнадцати летех у брата своего жить не похочет, то оная, взяв долю имения своего, отоити от него волна при свидетелех же [Законодательство Петра 1997: 700].

Формально это предложение является условным: первая часть может рассматриваться как придаточное условия, а вторая — как главное предложение. Однако без *ежели* подобную фразу можно рассматривать уже как архаическую конструкцию относительного подчинения (из того же закона):

Которая жена после мужа останется бездетна, то недвижимое мужа ее имение да будет по смерти ее или по пострижение... [Законодательство Петра 1997: 701].

В тех же случаях, когда фиксируется конструкция относительного подчинения, она зачастую выступает в вариантах, запрещенных правилами современного нам литературного языка. Сюда относятся, в числе прочего (примеры, как и предыдущие, взяты из Устава воинского [Законодательство Петра 1997]):

1) Архаические конструкции с препозицией придаточного (см. выше).

- 2) Конструкции с постпозицией придаточного и повтором определяемого слова: тогда надлежит у всего караула поход одного полку бить, от **котораго** полку командующий офицер караул имеет [211].
- 3) Конструкции с нарушением тождества референции: оной бы разумел тем языком, в **которой** земле войско обретаетца [180].
- 4) Конструкции с дистантным расположением придаточного и определяемого слова.

Все сказанное заставляет нас отказаться от использования таких терминов, как «придаточные определительные с *который*» и «придаточные определительные с *кой*», или по крайней мере, ограничить их использование теми случаями, когда уместно указание на сформировавшуюся систему относительного подчинения. Чаще всего мы будем говорить о конструкциях с союзным словом *который* или *кой* (последние для краткости именуются *кой*-конструкциями).

Итак, речь пойдет об использовании союзного слова *кой* вместо союзного слова *который*. Однако мы исключаем из рассмотрения случаи употребления обоих местоимений в вопросительной, неопределенной, восклицательной функции, а также в функции союзного слова в придаточных изъяснительных (...*всем есть известно, коим* образом отец наш... начал регулярное войско употреблять [Законодательство Петра 1997: 155]). Отказавшись от употребления модернизирующей терминологии, мы, тем не менее, учитываем те конструкции, которые и в смысловом отношении, и в исторической перспективе связаны с формирующимся относительным синтаксисом².

Сам процесс формирования привычного нам относительного синтаксиса характеризуется как общеславянский: возникновение относительных предложений с союзными словами, восходящими к вопросительным местоимениям, отмечается во всех славянских языках [Бауэр 1967]. В этой перспективе естественным кажется появление конструкций относительного подчинения (или близких к ним) с союзными словами *который*, *кой*, *какой*, *каков(ой)*, *коликый*, *что*, *кто* и т. д. Нам, однако, будут интересовать некоторые аспекты становления системы относительного подчинения в языке русской письменности. Здесь приходится говорить о процессах различной временной локализации, разной продолжительности, разной широты охвата: о вытеснении книжной системы относительных местоимений *иже*, *яже*, *еже*;

² Зачастую трудно провести границу между конструкциями, которые связаны с формирующимся относительным синтаксисом, и употреблением *кой* и *который* как вопросительных или неопределенных местоимений. При подсчетах мы стараемся учитывать только те конструкции, которые обеспечивают синтаксическую связь между двумя частями сложного предложения (исключая при этом изъяснительные придаточные). В любом случае наши подсчеты носят условный, оценочный характер. Мы стремимся установить примерное количественное соотношение между относительными *кой* и *который*. И в первую очередь нас интересует момент, когда это соотношение меняется от 1:100 или 1:50 до 1:10 и выше.

о складывании репертуара конструкций, на основе которого формируется новый относительный синтаксис; о синтаксической, семантической и стилистической дифференциации союзных средств и т. д. В настоящей статье речь идет о частном явлении истории литературного языка — о конкуренции *кой* и *который* в роли относительного местоимения. Тем не менее, это соперничество разворачивается на фоне других, более общих процессов, о которых нам придется упоминать.

Кой как относительное местоимение хорошо известно старорусской письменности [Вьюкова 1958; Стеценко 1958]. В Словаре русского языка XI—XVII вв. приводится пример: пригороды, кои былъ за Лугвенемъ. Новг. I лет. 1419 г. [СРЯ XI—XVII 7: 28].

Встречаются *кой*-конструкции и в дальнейшем.

В книжном (церковнославянском) языке для *кой*-конструкций, вообще говоря, не было места. Вопросительное местоимение *кой* (*коя*, *кое*) представляло собой не книжный коррелят к книжному *кѣй* (*ка*, *ко*). Следует заметить, что для многих падежей книжная и не книжная формы совпадают: *кого*, *кому*, *о коей*³. *Кой* в различных формах используется в вопросительной, восклицательной, неопределенной функции, а также в качестве союзного слова в изъяснительных придаточных. Относительное подчинение в церковнославянском организуется с помощью местоимений *иже*, *яже*, *еже*.

В то же время язык книжных текстов как правило может быть определен как гибридный церковнославянский — он включает как книжные, так и не книжные элементы. В гибридных текстах широко употребляются конструкции с *который*. Фиксируются и *кой*-конструкции; ср. у Феофилакта Лопатинского: и сѣа словеса реченнаа сѣть Списителемъ **кои**ми словесаы показа Списитель нашъ [Феофилакт Лопатинский 1725: 10].

Ср. также у Софрония Лихуда в «Слове похвалительном на преславное венчание... Екатерины Алексеевны» (1724 г.; по: [Лихуд / Ундольский 1866]):

к тому **кой** молчит [стб. 338];

те, **коих** едина часть обретается на верх горы [стб. 339];

пчел, **кои** облетают семо и овамо [стб. 342];

Зевкса, **кой** от разных частей краснейших жен слагал образ Елены [стб. 342];

между иными, **кои** со тцанием стекающея пришли [стб. 345];

к тому, **кой** чтит [стб. 345];

в словесех **кои** в такой превеликой радости [стб. 347];

теми, **кои** до ныне имела [стб. 347].

Однако *кой*-конструкции для книжного языка начала XVIII в. нехарактерны: они оказываются «дважды не книжными». С одной стороны, они син-

³ Кроме того, формы *коимъ* и *кѣимъ*, *коихъ* и *кѣихъ* и др. могли соседствовать в одном тексте, принадлежащем к книжной традиции (например, в «Технологии» Федора Поликарпова [Поликарпов / Бабаева 2000]). Вообще, *кой* активно употребляется Поликарповым в вопросительной функции.

тактически противопоставляются книжным конструкциям: придаточным с *иже*, причастным оборотам [Поликарпов / Бабаева 2000: 275, 303]. С другой стороны, используемое союзное слово противопоставляется книжному корреляту⁴.

В деловой и бытовой письменности к началу XVIII в. можно встретить *кой*-конструкции (как и конструкции с *который*, *какой*, *каковой*, *коликый* и т. д.). Ср. например письма московских жителей (по: [ПМДП XVIII]):

а на родины свет мои сородичи твои жаловали ездили и **кои** советники твои ездили [3];
 а **кой** час путь зимней уставитца и ты Прокофьюшка скажи матушке своей [8];
 а **коево** гсдри дни та жонка мне отдана тово ж дни в ночи пожар и учинился [16];
 в повальной обыск на всех Баженовых гостей **кои** в те поры были на беседе [25].

Впрочем, исследовательница отмечает, говоря о московской деловой и бытовой письменности, что примеры относительных придаточных с *кой* (и *каков*) единичны [Белкина 1979: 12].

В деловом языке и в той или иной степени ориентированных на него языковых регистрах *кой*-конструкции не слишком распространены. В середине XVII века, за поколение до Петра, в Вестях-Курантах встречаются единичные изолированные случаи. Так, в изданных материалах за 1651—1652, 1654—1656 и 1658—1660 гг. отмечено лишь два случая, зачеркнутых в рукописи (по: [Вести-Куранты 1996]):

полевои маршалкъ ѳбит **кои** шестью съѳзжался і бился [143; кои зачеркнуто и заменено на *которои*];
 торговые карабли **кои** из Алезандреги в Црьгород шли [145; кои зачеркнуто и заменено на *которы*].

Изолированность этих случаев и наличие исправлений свидетельствует о том, что *кой*-конструкции воспринимаются пишущим как нечто маргинальное и нежелательное, вроде слова-паразита.

Деловые документы Петровской эпохи еще в 1710-е гг. содержат совсем немного *кой*-конструкций. Это касается как материалов делопроизводства, так и официально изданных законодательных актов. Так, просмотрев доклады и приговоры Сената за первые два месяца 1716 года (около 200 документов), мы обнаружили на сотни конструкций с *который* всего несколько случаев с *кой* (по: [Доклады и приговоры Сената VI]):

из 10 полков, **коим** в близости границы Литовской знайдваться велено [9];
 пушки, **кои** были при полках моей команды [10];

⁴ Как правило, в качестве союзного слова выступает не книжный вариант. Однако в текстах, возникающих на стыке книжной и деловой традиции, можно встретить и такую экзотику, как *кѳй*-конструкции; ср. в Прибавлении к Духовному регламенту (1722): Жен в келлии настоятелю и братии никогда же не попускать, разве гостиной келлии, и то не наедине, но при благоговейных монахах, **кня** на сие определены будут [Законодательство Петра 1997: 598].

с людьми, **кои** при них и бывали [10];
500 человекам, **кои** служили в полку стольника Дмитрия Бахметева [109];
кузнецким людям того города, в **коих** они станут торговать [153].

В опубликованных законодательных актах примерно того же времени наблюдается сходная картина. В большинстве случаев они содержат очень мало *кой*-конструкций. Так, в Артикуле воинском (1715) почти на полторы сотни случаев с *который* приходится 2 случая с *кой* (по: [Законодательство Петра 1997]):

тем, **кои** особого указа не имеют [775];
тем, **кои** ведая про то, а не известят [788].

В Уставе воинском (1716) более чем на 230 конструкций с *который* приходится (по: [Законодательство Петра 1997]) один случай придаточного определительного с *кой*:

тех, **кои** ружья не имеют [207],

а также единичные случаи близких к относительному синтаксису *кой*-конструкций:

А ежели иногда **кой** генерал по фелтмаршал занеожет и паролу сам от генерала фелтмаршала принять не возможет, то ему оной чрез генерала адъютанта, генерала фелтмаршала изустно или писменно пришетца [177];

И **кой** час то окончитца, тогда все прочие от полков кавалерии и инфантерии вдруг начнут тож бить [214].

Единичны *кой*-конструкции и в Уставе морском (1720).

При этом исследуемый нами феномен не исчезает вовсе из языка деловой письменности: время от времени можно наблюдать всплески его частотности. Можно было бы подвергнуть эти флюктуации анализу; но в любом случае можно уверенно утверждать, что мы имеем дело с периферийным явлением.

Книжным и деловым языком отнюдь не исчерпывается языковой континуум петровской эпохи. Обратимся к сочинениям ровесников и старших современников Петра.

В выборочно, примерно на первую треть просмотренном тексте путевых записок П. А. Толстого нам не встретилось ни одной *кой*-конструкции [Толстой 1992]. В путевых записках Б. П. Шереметева (просмотрены целиком) имеются единичные случаи употребления *кой* в качестве союзного слова (даны по: [Шереметев 2000]):

деревья ветла, **при коих** растет виноград [98];
две скрыни, в **коих** положено шитых золотом Римских рукавиц, изрядно устроенных [112];
три колодезя воды, **кои** и дондесь всем видимы [144];
всем, **кои** приходили от Сенаторов и из Академии по своим обыкностям [148].

В обоих памятниках в качестве относительного местоимения абсолютно лидирует *который* (сотни случаев).

Не отмечены *кой*-конструкции в «Рассуждении...» (1717) П. П. Шафирова [Шафиров 1717].

В описании возмущения московских стрельцов А. А. Матвеева (не ранее 1716) насчитывается более 70 конструкций с *который*, тогда как относительное *кой* встречается всего единожды (по: [Матвеев 1997]):

для некоторого самого злого намерения их, **коего** исполнение и секрет за присяжною верностью у них вельми крепко и скрытно был содержан [402].

Интересно, что в переписке Матвеева *кой*-конструкции являются, судя по опубликованным В. И. Щербаковым фрагментам, обычным явлением (по: [Матвеев 2000]). В письме к Ф. А. Головину от 10 ноября 1705 года:

при небытности Деторщевой в Париже, **кой** великого ума человек [317];

наши посланники и послы, **кои** не ведающия были в языке ни в каком <...> **кои** ни к чему были не приличны <...> **кои** сему умному и политичному народу всякими виды дуростей своих досаждали [318];

о великом Государе, **коего** будто бы несклонности к двору французскому [318].

В письме от 17 ноября 1705 года:

министры, **кои** и в характерах здесь у его двора живут [320];

фонтейны, **коих** изрядства, художества и богатой руки здания описать трудно [320];

в преславных обретаются покойцах, в **коем** месте одних струсов с 26 [320].

В письме от 3 декабря 1705 года:

смерть весьма брошена, **кою** он за своего Государя живот страдалчески пожерл [323].

Достаточно редки, хотя и не отсутствуют полностью *кой*-конструкции в эпистолярном наследии Петра Великого. Нами просмотрены подряд около сотни документов за 1708 и около сотни — за 1712 г. Для 1712 года примерно на сотню *который* приходятся следующие случаи употребления союзного слова *кой* (по: [Бумаги Петра XII-1]):

пъротчим, **кои** выше, не давать [21];

І **кой** час будет, дастъ богъ, мир, тотчас будут переведены із тѣх, **кои** старее [23];

а особливо королю і **кои** надежней поляки объяви [39];

Исследователь, собравший сводную статистику по томам I, II, III, VII (вторая часть), VIII (первая часть) и XI (первая часть) «Писем и бумаг...», отмечает, что *кой*-конструкции встретились ему 53 раза (наряду с 3901 конструкцией с *который*) [Макаров 1956: 6].

Характерно, что *кой*-придаточные чаще всего встречаются в письмах, памятных записках, собственноручно написанных указах Сенату. Тщательно подготовленные, несущие на себе печать канцелярской традиции указы

и дипломатические послания, как правило, не содержат подобных конструкций: предпочтение отдается союзному слову *который*.

Таким образом, если мы обращаемся к сочинениям соратников Петра, то наблюдаем там такое же глубоко периферийное положение *кой*-конструкций. Наши выводы подтверждаются и данными важнейшего памятника первых десятилетий XVIII в. — петровских «Ведомостей». При выборочном (первый месяц каждого года) просмотре текста по изданию [Ведомости I—II] были обнаружены лишь отдельные случаи употребления *кой*-конструкций.

В эпистолярном жанре относительное *кой* иногда улучшает свои позиции, что вполне закономерно: слабее давление внешних установок и норм. Мы еще будем говорить о причинах, которые могли способствовать распространению *кой*-конструкций. Сейчас важно отметить сам факт их присутствия в языковой практике исследуемого периода.

Существует также довольно обширный круг текстов петровской эпохи, насколько нам известно, очень мало исследованный с лингвистической точки зрения. Речь идет о всевозможных проектах и записках, написанных людьми самого разного социального происхождения и образования. Мы остановим внимание лишь на одном авторе проектов — И. Т. Посошкове. Составляя свои записки и проекты, Посошков явно стремился сконструировать некий особый язык, наиболее отвечающий, как ему представлялось, важной и престижной коммуникативной задаче. Особенно интересным кажется то, что у Посошкова практически безраздельно доминируют *кой*-конструкции. Такова ситуация в записке «О ратном поведении» (1701), которая известна в собственноручной рукописи Посошкова⁵. *Который* в ней отсутствует, зато *кой* систематически встречается в интересующих нас конструкциях⁶, например (по: [Посошков 1951]):

в Руси такова человека не изыщется, **кой** бы мог пушечную стрельбу устроить [252];

И **кои** им товары подобрались, тех они и вывезут [256];

Для земляной работы нарочных даточных из крестьянства взять, по работе смотря, на время, по **коих** мест будет служба [256].

Надо сказать, что тексты с широко представленными *кой*-конструкциями в эту эпоху сравнительно редки. Однако тексты, где *кой* полностью вытеснило бы *который*, нам вообще более неизвестны. Вполне вероятно, что попытка «придумать» свой собственный язык, отвечающий высокой миссии текста, приводила к тому, что повышались в ранге и выдвигались на передний план периферийные синтаксические средства.

⁵ Похожим образом дела обстоят и в других сочинениях Посошкова, которые известны в списках середины XVIII в.

⁶ Имеются даже случаи использования в этом качестве славянской формы: и *кая* дела полезна уриши, то пожалуй о тех делех, как тебя бог наставит, расположи [Посошков 1951: 263].

Итак, к концу Петровской эпохи *кой*-конструкции прочно занимают свои позиции на периферии: как правило, их концентрация в тексте почти незаметна, они уступают конструкциям с *который* на два порядка; в то же время они практически никогда не исчезают вовсе. Более того, на периферии же, в документах, плохо укладываемых в русло какой-либо традиции, мы обнаруживаем всплески употребления *кой*-конструкций.

Можно предположить, что, например, в приказной традиции *кой*-конструкции, по крайней мере к середине XVII в., третируются как не слишком уместные: мы видели, что в Вестях-Курантах единичные случаи *кой* направлены на *который*. Однако надежных сведений о подобных «запретах» у нас нет.

Обратимся теперь к более позднему периоду. Мы наблюдаем постепенный рост концентрации *кой*-конструкций в законодательных актах и государственных документах. Этот процесс трудно точно локализовать во времени; ясно, однако, что уже в начале 1730-х гг. отношение количества *кой*-конструкций к количеству конструкций с *который* часто превосходит 1:10.

Нами выполнен выборочный просмотр законодательных документов Российской империи, опубликованных в [ПСЗРИ VI—IX]. За 1721—1734 гг. просмотрены законы, датированные первыми двумя месяцами⁷. В каждом случае общий объем текста был различным и содержал разное количество интересующих нас конструкций. Тем не менее, сопоставляя общее количество близких к относительному подчинению конструкций с *который* и *кой*⁸, можно сказать, что вплоть до 1728 г. включительно количество относительных *кой* остается в пределах одного-двух на сотню *который*⁹. В 1729 г. мы наблюдаем неожиданный всплеск употребления *кой*-конструкций: целых 11 всего на 38 конструкций с *который* (общий объем документов, датированных

⁷ Из числа просматриваемых законодательных актов за 1721 г. исключен Духовный регламент (ввиду специфического характера этого документа). За 1730 г. вместо января-февраля просмотрены март-апрель, чтобы исключить из рассмотрения период политического кризиса. За 1734 г. просмотрен только январь.

⁸ Мы рассматриваем здесь сквозную статистику по всему массиву документов, что не вполне корректно, если предположить лингвистическую гетерогенность данного корпуса. Однако мы исходим из того, что значительная часть просмотренных нами документов вышла из одних и тех же канцелярий, в первую очередь сенатской, и следовательно, может считаться относительно однородной в языковом отношении. Разумеется, при этом данные по отдельным документам усредняются; следует еще раз отметить: наши расчеты носят весьма приблизительный, оценочный характер.

⁹ Общую статистику нарушают январь-февраль 1724 г.: в докладных пунктах генерал-майора Г. П. Чернышева (№ 4145 по [ПСЗРИ VII]) необычайно много *кой*-конструкций. Однако докладные пункты крупного военного деятеля по своей природе вообще отличаются от обычного законодательного акта, и мы сочли возможным не учитывать их в расчетах.

первыми двумя месяцами года здесь очень мал). Для 1730-х гг. ситуация приведена в таблице:

	1730	1731	1732	1733	1734
<i>который</i>	~80	~125	~85	~165	~48
<i>кой</i>	7	20	10	16	11

Итак, в начале правления Анны Иоанновны частотность *кой*-конструкций в законодательных актах довольно высока. Обратимся к материалам сенатского делопроизводства того же времени. С этой целью нами выборочно просмотрены материалы Второй Камчатской экспедиции (1730—1733; изд.: [Вторая Камчатская экспедиция]). В этих материалах довольно много выписок из протоколов Сената; ср. например:

«При первом случае об Охотске рассуждение» (проект И. К. Кирилова):
из тех 1500 человек, **кои** велено быть в Якуцку [38—39];
и **кои** будут посылаться из Охотска офицеры... чтоб они с тамошним народом поступали порядочно [39—40];
людей таких, **кои** осуждены бывают на каторгу и в сылки [41];
на те острова ж, **кои** от носу Камчатского к Японии пошли [42];
якуцким служилым людем, **кои** переведутца в Охотск на житье [43]
(конструкций с *который* 10);

Решение Сената об отсылке указов, касающихся мер по улучшению жизни на Камчатке (по предложениям В. Беринга):
в числе тех трехсот человек, **кои** выше сего определены [86]
(конструкций с *который* 14);

Мнение Сената о задачах Второй Камчатской экспедиции и маршрутах плавания (по предложениям В. Беринга):
на морских судах, **кои** определено ему зделать [88]
(конструкций с *который* 5);

Внутренний сенатский документ о посылке миссионеров на Камчатку:
тем иноверцам, **кои** крестятся [91];
служилых людей, **кои** ежегодно из Якуцка чинятца [91]
(конструкций с *который* 9).

Можно встретить довольно пространные документы и вовсе без *кой*-конструкций, и все же ситуация совсем иная, нежели десятью-пятнадцатью годами ранее.

Сравнительно часто встречаются *кой*-конструкции в бумагах Кабинета министров Анны Иоанновны; ср. просмотренные нами журналы за ноябрь 1731 г. [Бумаги Кабинета]:

Журнал ноября 3 дня:
в тех указах, в **коих** ко исполнению надлежит [3];

Журнал ноября 6 дня:

ландкарты российские печатныя, а **кои**х не напечатано, то письменныя [7];

Журнал ноября 13 дня:

военным, **кои** чинами ниже генерала [3];

Журнал ноября 16 дня:

солдат семи человек, **кои** были в гошпитале [21];

о статских чинах, **кои** в генералитетских рангах состоят [22];

Журнал ноября 17 дня:

копии с именных указов при доношении, **кои** взяты к сноске [24].

Еще шире распространены *кой*-конструкции в военных донесениях графа Б.-Х. Миниха 1736—1737 гг. Здесь приводится несколько примеров, относящихся к 1736 г. (цит. по: [Миних I]):

№ 4

от прочих полков, за дальним расстоянием и за обращением в марше, **из кои**х некоторые и поныне в винтер квартиры не вступили [12];

нарочных офицеров отправить, **кои** уповательно все и отправлены [13]

(конструкций с *который* 2);

№ 5

задержанных в Крыму Вашего Величества подданных, **из кои**х некоторые уже по присылке нарочного от Порты освобождены [14];

тех полков, **кои** по Дону расположены [15];

Васильковских жителей, **кои** там были задержаны [16]

(конструкций с *который* 6);

№ 6

потяготительнее дальних (в **кои** и подъемныя деньги выдавались) ближние походы есть [18];

таковые старшины, **кои** в походы и в службу командуются [18];

4 тысячи, **кои** имеют состоять от своих жилищ весьма в дальности [18];

да и достальные, **кои** при Донской [18];

тех, **кои** будут при Донской [19];

казаков, калмыков и татар, **кои** в сем походе будут [19]

(конструкций с *который* 3).

Здесь мы находим даже такие случаи, когда *кой*-конструкции преобладают в тексте документа над конструкциями с *который*.

Каковы же причины возрастания концентрации *кой*-конструкций в канцелярском языке? На этот счет можно высказать лишь ряд предположений. С одной стороны, именно в это время синтаксис канцелярских текстов начинается существенным образом меняться. Для старой приказной традиции был характерен специфический тип предложения, представляющего собой цепочку связанных сочинительными или бессоюзными связями предикативных групп. Смысловую связность обеспечивали разнообразные сред-

ства: союзы; лексические повторы; указательные местоимения — *тот* (*та, то*), *оний* (*оная, оное*) и т. д.; относительные местоимения — *кой, который, каковой, какой, кто, что, где, куда* и т. д. Например:

А которыя судныя дела и очныя ставки до сего государева указу в приказах и в городех вершены, а после того вершенья на те дела спору по се число не было, и тем быть так, как они вершены; а о невершенных и на которыя вершенныя дела челобитье принесено до сего государева указу, и по тем делам великаго государя указ чинить по сему ж своему великаго государя указу розыском [Законодательство Петра 1997: 823].

Различные союзные средства оказываются более или менее равноправными, взаимозаменяемыми и группируются вокруг основного показателя связности — лексического повтора [Живов 2000: 576].

Ситуация меняется в первые десятилетия XVIII в., когда в письменных текстах разных функциональных регистров начинает формироваться система относительного подчинения, близкая к современной. В процессе формирования утрачивает прежнее значение, признается стилистически нежелательным лексический повтор и возрастает значение относительных местоимений, которые становятся основным средством оформления синтаксической связи. В связи с этим внимание пишущего в значительной степени сосредотачивается на этом средстве.

С другой стороны, в эту эпоху меняется язык деловых документов. В этом языке, вообще говоря, высока степень консервации старых, освященных традицией языковых моделей. Однако именно в первой трети XVIII в. происходят существенные изменения в порядке делопроизводства. Появляются новые государственные учреждения, утверждается новая должностная иерархия и новые жанры деловой письменности. Меняется порядок формирования кадров, в канцелярскую деятельность включаются люди, получившие систематическое образование в тех или иных учебных заведениях, например в Московской Славяно-греко-латинской академии. Особенно интенсивный характер эти процессы приобретают после принятия в 1720 г. Генерального регламента. Разумеется, они затрагивают поначалу центральные учреждения (в первую очередь — Сенат), канцелярии крупнейших представителей правящей верхушки общества (Б.-Х. Миних).

Влияние описанной выше социальной динамики на языковые формы делового языка практически не изучено. Однако ясно, что это влияние имело место и способствовало проникновению в канцелярскую письменность новых языковых моделей. Само по себе появление в канцеляриях новых людей с сравнительно высоким уровнем образования способствовало выработке новых языковых пристрастий и привычек. Профессиональное сообщество канцеляристов становилось, с одной стороны, более открытым, с другой — более престижным и амбициозным. В нем возникали те или иные формы языкового щегольства. В частности, входило в обыкновение чаще использовать *кой* вместо *который*. Думается, что изначально самостоятельное местоимение воспринималось с некоторого момента как чер-

та своего рода «неполного стиля» делового письма. Не случайно в Словаре Академии Российской *кой* уверенно трактуется как «сокращенное из *который*» [САР III: 694].

Эта языковая привычка вырабатывалась на фоне становления нового синтаксиса, в котором относительные местоимения все в большей степени выдвигались на роль универсального средства оформления определенной, вполне унифицированной синтаксической связи — относительного подчинения. Именно этот функционально однозначный и постоянно используемый элемент иногда заменялся на свою «сокращенную форму»¹⁰.

В этой связи показательно неравномерное распределение падежных форм местоимения *кой* в тексте. Безусловное первенство имеет форма *кои*, от нее несколько отстают формы косвенных падежей множественного числа: *коих*, *коим*, *коими*. В этой связи интересно замечание А. А. Шахматова о современном ему языке: «*Кой* встречается весьма редко и притом именно во множ. числе» [Шахматов 1941: 498]. Разумеется, то, что в языке рубежа XIX—XX вв. уже может рассматриваться как норма *de facto*, не существовало в таком качестве в языковом континууме первой половины XVIII в. В текстах отмечаются и формы единственного числа, и даже формы женского рода *коя* и *кою*, наиболее проблематичные морфологически. Однако, коль скоро мы говорим об экспансии, есть смысл называть в качестве узких врат, в которые она устремляется, именно формы множественного числа, и, в первую очередь, именительного падежа¹¹. Нам представляется, что эта форма была вообще весьма частотной в деловой письменности, и не просто частотной, а обладающей определенным семантическим ореолом — она использовалось при нормативном или протокольном описании тех или иных

¹⁰ Напротив, в старом приказном синтаксисе *который* могло выполнять различные подфункции: анафорического указателя на предшествующий контекст («...долженствует к офицеру приведен быть, которой офицер имеет того приезжаго накрепко допросить»), показателя неопределенности, произвольного выбора («А *которые* судныя дела и очныя ставки до сего государева указу в приказах и в городах вершены...») и пр. Эта полифункциональность и ориентация на лексический повтор как на основное средство обеспечения связности текста препятствуют появлению у местоимения *который* регулярного синтаксического дублера. Спорадическое использование *кой* воспринимается скорее как шероховатость, чем как приятное разнообразие. Показательно, что когда *кой*-конструкции начинают встречаться в большем количестве, они чаще реализуют современную модель придаточного определительного («Васильковских жителей, кои там были задержаны»), чем архаические варианты с повтором определяемого слова в придаточном, препозицией придаточного по отношению к определяемому слову и т. д. Это показывает, что именно стабилизация относительного подчинения в формах, близких к современным, создает благоприятную почву для появления более или менее систематически используемого дублера.

¹¹ Вот результаты подсчетов, предпринятых нами на материале 30 донесений Миниха (см. выше): из 37 *кой*-придаточных 32 случая с формой *кои*, 4 с формой *коих* и 1 с формой *коими*.

категорий лиц и предметов. Нередко форма им. мн. входит в сочетание [*те,*] *кои*. Можно предположить, что относительное местоимение в форме им. мн. становится для канцеляристов своего рода «иероглифом», который естественно писать возможно более коротко. Так периферийное союзное средство оказывается востребовано новой канцелярской культурой.

Новая привычка вырабатывалась, прежде всего, в сенатской канцелярии и близким к ней. Именно здесь активнее всего происходила смена кадров; именно здесь концентрировались наиболее амбициозные и знающие себе цену клерки. В то же время распространение периферийной конструкции было в эту пору феноменом именно делового языка¹².

Последняя догадка как будто бы подтверждается анализом материала. Так, в документах Второй Камчатской экспедиции, вышедших из канцелярии Сената, *кой*-придаточные нередки, тогда как в академических распоряжениях и переписке мы их не видим или почти не видим. Нами просмотрен довольно большой массив деловой переписки, посвященной Камчатской экспедиции Г.-В. Штеллера (1740; изд. [Штеллер 1998]). В отличие от материалов Второй Камчатской экспедиции, среди материалов поездки Штеллера очень мало сенатских документов; основную часть составляют деловые письма, переписка с Академией наук, а также документы провинциальных канцелярий. *Кой*-придаточные в этом довольно разнородном массиве единичны.

Теперь обратимся к языку той новой словесности, которая возникает как раз в это время в России. Основным контекстом для выработки новой нормы стали тексты, создававшиеся академическими переводчиками (об этом см.: [Живов 1996]). Однако выборочный просмотр «Примечаний к Ведомостям» за различные годы не дает оснований говорить в этот период о *кой*-экспансии. За 1728 г. (просмотрен полностью) не зафиксировано ни одного случая; в течение 1730-х гг., и даже в начале 1740-х гг. *кой*-конструкции, по видимому, представлены единичными примерами [Примечания 1728—1741].

Обратимся к другим важным для этого времени текстам. В трех значительных памятниках переводной литературы: «Разсуждении об оказательствах к миру...», «Разговорах о множестве миров...» Б. Фонтенеля в пер. А. Д. Кантемира и «Военном состоянии Оттоманския империи» Л.-Ф. Марсилли в пер. В. К. Тредиаковского — *кой*-конструкции отмечаются только в «Разговорах...», причем в незначительном количестве (8; конструкций с *который* 651)¹³. В двух других памятниках *кой*-конструкций нет вовсе [Хютль-Фольтер 1996: 56, 69—71]. Нет их и в одном из важнейших сочинений В. К. Тредиаковского — «Новом и кратком способе к сложению рос-

¹² Ср. тягу к сокращениям в языке в начале советского периода [Карцевский 2000: 246 сл.].

¹³ Не намного больше (примерно вдвое, по нашим оценкам 2,5—3%) *кой*-конструкций в письмах Кантемира (просмотрены по: [Кантемир II]). На несколько сот конструкций с *который* приходится около двух десятков *кой*-конструкций.

сийских стихов...» (1734; просмотрено по: [Тредиаковский 1735]). Исчерпывается несколькими примерами употребление *кой* в качестве относительного местоимения в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах» (1733) В. Н. Татищева [Татищев 1979: 51 сл.].

Всплеск употребления *кой*-придаточных происходит позднее, в конце 1740-х—1750-х гг. Показательно здесь второе издание «Способа...» В. К. Тредиаковского. Оно представляет собой, собственно говоря, не переиздание, а совершенно новый трактат, написанный по следам старого и изданный в 1752 г. На 45 придаточных с *который* здесь приходится 18 *кой*-придаточных¹⁴ [Тредиаковский I—II]. Немало их и в других сочинениях этого времени.

Любопытным образом распределяются *кой*-конструкции в трудах М. В. Ломоносова (по: [Ломоносов I—II]):

Сочинение и год написания	<i>Краткое руководство к риторике</i> , 1744 ¹⁵	<i>Слово Елизавете</i> , 1749	<i>Слово Петру</i> , 1755
<i>который</i> <i>кой</i>	более 100 0	31 0	27 0
Сочинение и год написания	<i>Слово на освящение Академии художеств</i> , 1764	<i>Слово о пользе химии</i> , 1751	<i>Слово о явлениях воздушных</i> , 1753
<i>который</i> <i>кой</i>	7 5	60 1	более 150 1
Сочинение и год написания	<i>Слово о рождении металлов от трясения земли</i> , 1757	<i>Рассуждение о твердости и жидкости тел</i> , 1760	<i>О слоях земных</i> , 1760-е
<i>который</i> <i>кой</i>	98 5	22 13	42 32

Эти данные показывают, что Ломоносов к концу 1750-х—1760-х гг. начинает активно употреблять *кой*-придаточные. В середине 1750-х гг. в своей «Грамматике...» он узаконивает *кой* и в качестве вопросительного, и в качестве «возносительного» (относительного) местоимения [Ломоносов 1755: 169].

Наконец, важным свидетельством не только статического положения дел, но и динамики письменного узуса вновь оказывается перевод Илии Минятия, выполненный С. И. Писаревым. В уже упоминавшейся работе [Кагар-

¹⁴ Стихотворные цитаты при подсчете не учитывались.

¹⁵ Цитаты при подсчете не учитывались.

лицкий, Литвина 2002] подробно разбирается печатный текст этого перевода, увидевший свет в 1759—1760 гг. [Илья Минятей 1759—1760]. Однако сохранилась и рукопись перевода, датированная 1741 г. — Писарев надеялся издать ее еще тогда. Рукопись хранится в РНБ (собрание Колобова, № 38). Ниже приводится фрагмент сопоставления рукописного и печатного текста (при воспроизведении рукописного текста выносные опущены в строку, графические особенности не отображены):

Рукопись 1741 г.:

между всѣми тѣми вещми, **которымъ** мы
столь крѣпче вѣрим [л. 182]
то заблужденіе, **въ котормъ** ты
находишься [л. 183 об.]
Прелщени, **что** думали не умереть
[л. 184]
другихъ, **которыи** умерли [л. 184 об.]
сіе упованіе живетъ всегда въ тебѣ, **и**
принуждаеть тебя всегда помышлять
[л. 184 об.]
вся стѣнь **которая** мимо прошла
[л. 185 об.]

Печатное издание 1759—60 г.:

между всѣми вещами, **коимъ** мы столь
крѣпче вѣрим [368]
то заблужденіе, **въ коемъ** ты находишься
[370]
Онѣе, дѣвольскою прелестію обманутые,
кон того не подумали, что умеруть [371]
другихъ, **кон** умерли [372]
сіе упованіе живетъ въ тебѣ всегда, **ко**
заставляетъ тебя помышлять [372—373]
только одной тенью, **коя** мимо прошла
[374]

Легко видеть, что в издание 1759—1760 гг. вносится последовательная правка, вместе с которой привносятся *кой*-придаточные. Иногда эта правка состоит в существенной перестройке всей фразы, иногда ограничивается заменой союзного слова *который* (или другого). Насколько мы можем судить по выборочному просмотру рукописи, *кой*-конструкции в ней не употреблялись или почти не употреблялись. Характерное для печатного издания необычайное богатство *кой*-конструкций, отмеченное в [Кагарлицкий, Литвина 2002], — превосходство относительного *кой* над *который* в полтора-два раза — есть целиком результат этой правки. Очевидно, за прошедшие два десятилетия *кой*-конструкции стали восприниматься Писаревым как свидетельство особого лоска словесной культуры нового образца, — в противном случае он бы едва ли использовал их с таким рвением. Таким образом, конфликт с синодальным справщиком приобретает временную перспективу: если ранее казалось, что это столкновение разных письменных традиций (Писарев как представитель новой бюрократии считает *кой* законным элементом языка, а справщик, привыкший к книжным нормам, стремится исправить текст в соответствии со своими представлениями), то теперь ясно: попади рукопись 1741 г. сразу в типографию, этой проблемы попросту не было бы. *Кой*-конструкции в печатном издании 1759—1760 гг. — это элемент не канцелярского языка, а уже нового, престижного письменного узуса. Однако Писарев прекрасно помнит, что еще недавно *кой*-конструкции были периферийным явлением, более или менее регулярно встреча-

ющимся разве что в деловых текстах последнего времени. Теперь они вошли в моду, и переводчик активно использует их при переводе проповедей Ильи Миниятия. Справщик же (так, вероятно, думал Писарев) еще не знает, что *кой*-конструкции допущены к общелитературному употреблению, и пытается уколоть секретаря Коллегии иностранных дел намеком на его социолингвистическую ущербность.

Итак, приведенные нами языковые факты позволяют думать, что уже к 1730-м гг. *кой*-конструкции систематически употребляются в деловой письменности; в 1750-х гг. происходит закрепление *кой*-придаточных как общелитературной альтернативы придаточным с *который*.

О причинах первого явления мы уже говорили выше. Теперь следует сказать несколько слов о возможных причинах моды на *кой*-придаточные в новом литературном языке.

С одной стороны, распространение придаточных с *который* поставило вопрос об их переизбытке и загромождении ими текста. Формирование новых придаточных определительных, как мы уже говорили, происходило под давлением риторической традиции, ограничивающей использование лексических повторов и тем самым способствовавшей, например, отсеву конструкций с повтором определяемого слова [Живов 2000]. Однако эта же тенденция сказывалась и на отношении к повторяющемуся союзному слову *который*. Вдобавок это слово достаточно длинно и придаточные с ним достаточно громоздки. Поэтому практически одновременно с относительной стабилизацией в новом литературном языке относительного подчинения с союзным словом *который* встает вопрос об альтернативных стилистических решениях. В этом смысле показательно рассуждение А. П. Сумарокова:

Иныя говорятъ то, что реченіе *Который* во всѣхъ родахъ доле; такъ ради того *Что* употребляется; да и во Французскомъ языкѣ такъ; но того языка свойство иное; и иное и употребление: а мы и нужды такой во краткости реченія не имѣемъ, благодаря красоте языка нашего, не знаемую невѣжами, и отъ того ими презираему; ибо кто чево не знаетъ, тотъ того и хвалить не можетъ: не плѣняется слѣпой красотой. Въмѣсто чтобъ сказать: *Который подьячій взялъ съ меня взятки, и который заслужилъ себѣ за то наказаніе; котораго крючкотворца севодни сковали за вину, за которую осудили ево повѣсить*. Могу я такъ сказать не емля къ тому *Что: Подьячего взявшаго съ меня взятки, и заслужившаго себѣ наказаніе, скованнаго за вину, и осужденнаго на виселицу* [Сумароков X: 22—23].

Сумароков спорит с теми, кто считает возможным употреблять в качестве союзного слова в придаточных определительных местоимение *что*. Однако он не просто оспаривает неверный узус, но и предвидит возможную мотивировку, и эта мотивировка как раз та, о которой мы говорим: *который* длиннее, чем *что*, иными словами, употребление *который* делает фразу громоздкой. Сумароков предлагает вместо этого использовать причастные обороты.

Итак, проблема избыточного употребления *который* приводила к попыткам найти дублера для этого местоимения. Однако это лишь один из факторов, способствовавших широкому распространению *кой*-придаточных.

С другой стороны, то, что в 1730-х гг. было столичным канцелярским щегольством, в 1750-х естественным порядком могло стать общелитературной модой. Как раз в 1740-е—1750-е гг. в активную жизнь вступает поколение, для которого язык петербургских делопроизводителей оказывается не узкофункциональным «приказным» социолектом, но престижным языком новой государственности. Отчасти это напоминает ситуацию первых десятилетий советской власти, когда канцелярские штампы новоиспеченных органов управления входили в обиходную и письменную речь и даже становились знаками культурного престижа. Так или иначе, *кой*-экспансия, начавшись в 1720-е—1730-е гг. в сфере делопроизводства, могла впоследствии захватывать и те зоны коммуникации, которые были значимы для формирования единой языковой нормы.

Как нам представляется, история *кой*-экспансии позволяет поставить вопрос о своеобразной реабилитации участия деловой письменности в становлении нового литературного языка. В свое время В. М. Живов подробно разбирал распространенное представление о приказном языке как основе становления нового языка уже в петровскую эпоху и доказывал его несостоятельность [Живов 1996: 118—121]. Однако именно в петровскую эпоху, как мы уже говорили, начинает формироваться новый канцелярский язык (ср. об этом [Живов 1996: 121]). Интенсивная языковая практика в этой сфере не может не оказывать влияние на последующие процессы формирования литературного языка. Более того, не исключено, что язык нового делопроизводства становится одним из «плацдармов», с которых осуществляется экспансия важных для литературного языка в целом черт, особенно синтаксических¹⁶.

¹⁶ Показательно, что Сумароков, активно ведущий борьбу с «языком подъячих», никак не нападает на союзное слово *кой*, но и не предлагает его в качестве замены *который* (гораздо более эффективной, чем *что*, поскольку *что* обслуживает только именительный и винительный падежи). По-видимому, *кой* не воспринималось писателем как элемент приказного языка. Сумароков предпочитает скорее подводить под рубрику приказных слов типичные книжные союзы вроде *понеже* [Живов 1996: 304—305], чем относить к этой рубрике характерный элемент языка новой, послепетровской бюрократии. Сам Сумароков весьма нечасто использует этот элемент в прозаической речи (мы насчитали всего несколько случаев в [Сумароков X]), однако охотно пользуется им в поэтических произведениях. Употребление *кой*-придаточных в поэтической речи мы в настоящей работе не рассматриваем; думается, здесь могло играть немаловажную роль то очевидное обстоятельство, что *кой* гораздо лучше вписывается в стихотворный размер, чем *который*.

Источники

Бумаги Кабинета — Бумаги Кабинета министров императрицы Анны Иоанновны. 1731—1740 гг. Т. 1 (1731—1732 гг.). Юрьев, 1898. (Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 104.)

Бумаги Петра I—XIII — Письма и бумаги императора Петра Великого. Тт. I—XIII. М.; СПб. / Л., 1887—1992.

Ведомости I—II — Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1—2. М., 1903—1906.

Вести-Куранты 1996 — Вести-Куранты. 1651—1652. 1654—1656. 1658—1660. М., 1996.

Вторая Камчатская экспедиция — Вторая Камчатская экспедиция. Документы. 1730—1733. Часть 1: Морские отряды / Сост. Н. Охотина-Линд, П. У. Мёллер. М., 2001.

Доклады и приговоры Сената I—VI — Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого (1711—1716 гг.). Т. I—VI. СПб., 1880—1901.

Законодательство Петра 1997 — Законодательство Петра I. М., 1997.

Илья Минятей 1773 — Два слова поучительныя и четыре речи похвальныя, сочиненныя и говоренныя на Италианском языке греческим епископом Илиею Минятием Уроженцем Кефалонским. Переведенныя на Российский диалект статским советником С. Писаревым. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук. 1773.

Илья Минятей 1759—1760 — Поучения во святую и великую четырехдесятницу, То-есть Велико-постныя недели. Сочиненныя и проповеданныя Керникским и Кавлритским что в Пелопоннисе епископом Илиею Минятием, Кефалонитянином. С Греческаго, на Российский Язык Коллегии Иностранных Дел Переводчиком [что ныне тояж Коллегии Секретарь] Стефаном Писаревым В 1741. Году переведенныя. Том I—II. В Санктпетербурге. При сухопутном Шляхетном Кадетском Корпусе. 1759—1760.

Кантемир I—II — А. Д. Кантемир. Сочинения, письма и избранные переводы. Т. I—II. СПб., 1867—1868.

Лихуд / Ундольский 1866 — Софроний Лихуд. Слово похвалительное на преславное венчание благочестивейшия великия государыни нашея императрицы Екатерины Алексеевны. Публикация В. М. Ундольского // Русский архив, издаваемый при Чертковской библиотеке Петром Бартевым. Год 1 (1863). 2-е изд. М., 1866. Стб. 337—348.

Ломоносов 1755 — [М. В. Ломоносов.] Российская грамматика Михаила Ломоносова. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук 1775 года.

Ломоносов I—II — М. В. Ломоносов. Избранные произведения. Т. I—II. М., 1986.

Матвеев 1997 — А. А. Матвеев. Описание с совершенным испытанием и подлинным известием о смутном времени, приключившемся от возмущения бывших московских стрельцов и к тому воровскому бунту от возмутителей сообщников их, в прошлом 7190 году, то есть лета Господня 1689, месяца мая в 15 день // Рождение

империи / Неизвестный автор. Иоганн Корб. Иван Желябужский. Андрей Матвеев. М., 1997. С. 359—414.

Матвеев 2000 — А. А. Матвеев. Письма к Ф. А. Головину // Россия и Запад: Горизонты взаимопонимания: Литературные источники первой четверти XVIII века. Вып. I. М., 2000. С. 314—326.

Миних I—II — Всеподданейшие донесения графа Миниха. Часть I. Донесения 1736—1737 годов. Ч. II. Донесения 1737—1738 годов. СПб., 1897—1899.

ПМДП XVIII — Памятники московской деловой письменности XVIII века / Изд. подгот. А. И. Сумкина; Ред. С. И. Котков. М., 1981.

Посошков 1951 — И. Т. Посошков. О ратном поведении // И. Т. Посошков. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951. С. 247—272.

Примечания 1728—1741 — Месячные исторические, генеалогические и географические Примечания в ведомостях. СПб., 1728—1741.

ПСЗРИ I—XLV — Полное собрание законов Российской империи [Собрание I-е]. Т. I—XLV. СПб., 1830.

Сумароков I—X — [А. П. Сумароков] Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе... Ч. I—X. 2-е изд. М., 1787.

Татищев 1979 — В. Н. Татищев. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах // Избранные произведения. Л., 1979. С. 51—132.

Толстой 1992 — [П. А. Толстой.] Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе 1697—1699. М., 1992.

Третьяковский 1735 — В. К. Третьяковский. Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий. СПб., 1735.

Третьяковский I—II — В. К. Третьяковский. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою... Т. I—II. СПб., 1752.

Феофилакт Лопатинский 1725 — Феофилакт Лопатинский. Слово в день св. влмчцы Екатерины. М., 1725.

Шафиров 1717 — [П. П. Шафиров.] Рассуждение какие законные причины... Петр Первый... к начатию войны против Короля Карола 12, Шведского 1700 году имел. СПб., 1717.

Шереметев 2000 — [Б. П. Шереметев.] Записка путешествия графа Бориса Петровича Шереметева в Европейские государства (1697—1699) // Россия и Запад: Горизонты взаимопонимания. Литературные источники первой четверти XVIII века. Вып. I. М., 2000. С. 60—152.

Штеллер 1998 — Г.-В. Штеллер. Письма и документы. 1740. М., 1998.

Литература

Бауэр 1967 — Я. Бауэр. К развитию относительных придаточных предложений в славянских языках // Вопр. языкознания. 1967. № 5. С. 47—59.

Белкина 1979 — Е. М. Белкина. Относительное подчинение в московской деловой и бытовой письменности XVII века: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1979.

Вьюкова 1958 — М. Н. Вьюкова. Относительные предложения с союзными словами «кой», «какой» и др. в русском литературном языке XVIII в. // Учен. зап. ТГПУ. Т. XVII. Томск, 1958. С. 158—175.

- Живов 1996 — В. М. Живов. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
- Живов 2000 — В. М. Живов. О связанности текста, синтаксических стратегиях и формировании русского литературного языка нового типа // Слово в тексте и в словаре: Сб. ст. семидесятилетию академика Ю. Д. Апресяна. М., 2000. С. 567—581.
- Зализняк, Падучева 1979 — А. А. Зализняк, Е. В. Падучева. Синтаксические свойства местоимения который // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. V. М., 1979. С. 289—329.
- Кагарлицкий, Литвина 2002 — Ю. В. Кагарлицкий, А. Ф. Литвина. Союзные слова в придаточных определительных в переводе С. И. Писарева: Из языковой полемики второй половины XVIII в. // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. <2001>. М., 2002. С. 85—107.
- Карцевский 2000 — С. И. Карцевский. Язык, война и революция // Из лингвистического наследия. М., 2000. С. 213—266.
- Макаров 1956 — Г. М. Макаров. Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными в деловой речи начала XVIII столетия: (Определительные придаточные с относительными местоимениями «Писем и бумаг Петра Великого»): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Сызрань, 1956.
- Поликарпов / Бабаева 2000 — Ф. Поликарпов. *Технологія*. Искусство грамматики / Изд. и исслед. Е. Э. Бабаевой. СПб., 2000.
- САР I—VI — Словарь Академии Российской. Ч. I—VI. В Санктпетербурге при Императорской Академии Наук. 1789—1794.
- СРЯ XI—XVII 1—26 — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—2002.
- Стеценко 1958 — А. Н. Стеценко. Определительные придаточные предложения в древнерусском языке (По данным памятников русской письменности XIV—XVI вв.) // Учен. зап. ТГПУ. Т. XVII. Томск, 1958. С. 176—201.
- Хютль-Фольтер 1996 — G. Hüttl-Folter. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache: Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien; Köln, 1996.
- Шахматов 1941 — А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Л., 1941.

А. П. МАЙОРОВ

НОРМАТИВНОЕ И УЗУАЛЬНОЕ В ПРАВОПИСАНИИ ПРИСТАВОК И ПРЕДЛОГОВ НА *з/с* В ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XVIII ВЕКА

Как свидетельствуют памятники деловой письменности XVIII века, процесс становления орфографических норм в этот период еще нельзя считать завершенным. Несмотря на то, что фонематический принцип русской орфографии в XVIII веке уже является ведущим [Осипов 1992: 152], в деловой письменности данного периода (особенно в региональной) нормы правописания еще не стабильны. Их колебания в значительной мере обусловлены узусом деловой письменности, т. е. той традицией неморфологического, неэтимологического написания слов, которая складывалась под влиянием живого произношения и в результате применения особых графико-орфографических приемов, присущих деловому письму XVIII в.

Иными словами, орфографический узус деловой письменности противостоит орфографической норме литературного языка и в то же время взаимодействует с ней. Это взаимодействие порождает вариативность написаний, которая становится яркой чертой узуса деловой письменности XVIII в.¹ Задача статьи — охарактеризовать узуальные особенности правописания приставок и предлогов на *з/с* и отметить некоторые закономерности их варьирования в результате воздействия орфографической нормы литературного языка XVIII в.

Кодификация орфографических норм на основе фонематического принципа была предпринята М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике». В

¹ В принципе применительно к деловому языку можно говорить об узуальном варианте нормы, поскольку вариативность эта носит закономерный характер и в рукописных деловых документах достаточно регулярна и широко распространена. Аналогичный тип нормы, характеризующейся вариативностью, отмечается в церковнославянском языке донационального периода; его называют «норма сниженно-го типа» [Ремнева 1995: 31]. Однако применительно к литературному языку XVIII в. актуальным представляется анализ отношения «узус-норма», т. е. функционирование языковых единиц в речевой практике делопроизводства и кодификация применения языковых средств в любой социокультурной сфере.

области правописания согласных в приставках он отмечал следующее: «Слитные предлоги должны в сложении удерживать свои прежние согласные, невзирая на мягкость или твердость следующие согласные. Посему должно писать: *втекаю, обхожу, подпираю, отдыхаю*, а не так как выговариваются и как для того некоторые в правописании требуют: *фтекаю, опхожу, потпираю, оддыхаю*» [Ломоносов 1952: 434].

Утверждаемый М. В. Ломоносовым фонематический принцип правописания приставок, собственно, уже являлся нормативным в русской орфографии. Его кодификация в «Российской грамматике» носила ретроспективный характер и была необходима, скорей всего, в качестве противодействия фонетическому принципу русской орфографии (ср. «...как для того некоторые в правописании требуют: *фтекаю, опхожу, потпираю, оддыхаю*»).

Норма правописания приставок и предлогов *об, под, над, от, в* на основе фонематического принципа очевидна и в деловой письменности XVIII в. Крайне редки написания типа *потписуюсь*, которые, как правило, встречаются в документах, составленных малограмотными писцами². Их редкость свидетельствует о стабильности и строгости нормы правописания указанных приставок и предлогов.

Особо у М. В. Ломоносова оговаривается правописание приставок и предлогов³ на *з/с*: «... предлоги, которые из согласных *з* и *с* составляются, из сего правила должно выключить, ибо древнее их употребление к тому принуждает. Положим, чтобы употреблять *с*, невзирая ни на мягкость, ни на твердость следующих согласных, то должно писать *исбытокъ, раскрыть, восбраняю*. Положим, чтобы вместо *с* была *з*, то принуждены будем писать: *зколачиваю, зтекаю, изстребляю, воскресеніе*. Но видя коль странно и дико сие кажется перед *избытокъ, раскрыть, восбраняю, сколачиваю, стекаю, истребляю, воскресеніе*, мне кажется, должно признаться, что для привычки перед мягкими *з, воз, из, раз*, перед твердыми *с, вос, ис* надлежит оставить» [Ломоносов 1952: 435].

В данном случае ученый настойчиво обосновывает необходимость исторического принципа правописания приставок на *з/с*, поскольку написание не только приставок, но и предлогов на *з/с* в течение всего XVIII в., за исключением приставки *воз/вос* и приставки-предлога *через(чрез)/черес*, варьировалось в значительной степени. Как бы это ни было «странным и дико», но написания вроде *безпристрастно, безпокоиль, возчувствовалъ, изправитца, разговоръ* можно встретить и в опубликованных именных указах Анны Иоанновны и Екатерины II, и в московских документах самых раз-

² В частности, написание *потписуюсь* отмечено в забайкальском документе — ярлыке (НАРБ, ф.88, оп.1, д.59, лл.126—126 об., 1770), составленном целовальником, где также можно встретить написания *отдавать, соцтоит, звыше, цалавальника* и др., содержащие различные отклонения от орфографической нормы, описки.

³ О правописании предлогов на *з/с* см. ниже (с. 161 и сл.).

личных жанров, и в региональной деловой письменности⁴. Скорей всего, фонематическое написание некоторых приставок на *з/с* и всех одноименных предлогов являлось нормативным, а ломоносовские правила, касающиеся правописания приставок на *з/с*, носили прескриптивный характер.

В частности, в рукописных памятниках деловой письменности XVIII в. правописание приставок и предлогов *без/бес* противоречило традиционному принципу, установленному М. В. Ломоносовым. Так, в московской деловой письменности этого периода приставки и предлоги *без/бес* в позиции перед буквой глухого согласного употребляются совершенно равнозначно: *безпрекословно* (ПМДП, 23, л.14, 1771); *безприбыльное* (ПМДП, 26, л.8, 1771); *без всякаго* (ПМДП, 300, л.66, 1772); *но: беспредельный* (ПМДП, 111, л.171 об., 1786); *бескормица* (ПМДП, 118, л.179, 1788); *бес покровительства* (ПМДП, 13, л.21, 1771). При этом пишущий мог в одном и том же тексте и в одном и том же слове допускать вариативное написание: *безпокойства* (ПМДП, 117, л.4, 1788) и *беспокойство* (там же, л.4 об.).

Похожая картина в употреблении анализируемых приставок и предлогов наблюдается в региональной деловой письменности⁵: *безпреткновенно* (ГАЧО, ф.282, оп.1, д.21, л.153 об., 1755); *безъчинства* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.494, л.92, 1792); *беспамятствомъ* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.79, л.106, 1771); *безъ пропитания* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.219, л.108, 1779); *но: беспашпортной* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.79, л.405, 1771); *беспамятству* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.528, л.32 об., 1796); *бес таможеннаго* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.521, л.24, 1794); *бес посева* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.76, л.65 об., 1772).

Следует отметить, что и до ломоносовской кодификации в узусе делового письма прослеживается такое же употребление *без/бес*: *без тягости* (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.29, 1732); *безкабалных* (ПМДП, 143, л.28, 1704), *но: бес помъшателства* (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.73, 1733), *бес цены* (ПМДП, 207, л.21, 1737), *бескабалных* (ПМДП, 143, л.14, 1704).

Особо необходимо сказать о правописании приставки и предлога *без/бес* в позиции перед согласным *с* в начале корня. На протяжении всего XVIII в. в этой позиции регулярно пишется только *без*: *безсовѣстные* (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.19, 1732); *безславія* (РГАДА, ф.3, д.10, л.6, 1762); *без сомнение* (ПМДП, 2, л.79, 1771); *без седель* (НАРБ, ф.11, оп.2, д.2, л.15,

⁴ При анализе приставок и предлогов на *з/с* следует учитывать одно обстоятельство. В истории русской орфографии XVIII век характеризуется как период орфографического дуализма — существовала орфография печатных произведений, базирующаяся на морфологическом (фонематическом) принципе, и орфография рукописных памятников, где наряду с морфологическим принципом действовал фонетический [Осипов 1992: 152]. В данной статье главное внимание уделяется орфографии рукописных памятников. В приводимых примерах выносные выделяются курсивом.

⁵ Орфографические особенности региональной деловой письменности этого периода рассматриваются на материале забайкальских документов, хранящихся в архивах Иркутской, Читинской областей и Республики Бурятия.

1791). Эта особенность характерна и для других приставок и предлогов на *з/с* (*из, раз*)⁶.

В отличие от рукописного правописания *без/бес* в орфографии печатных документов довольно последовательно выдерживается фонематический принцип при употреблении приставки и предлога *без*: без послабления (РГАДА, ф. 271, оп.1., д.45, л.120, 1768); беспорядочные (там же, л.95); безпристрастие (там же, л.96); безчеловечно (там же, л.204).

Правописание приставки и предлога *без/бес* в рукописных памятниках деловой письменности XVIII в. продолжает традицию приказного письма XVII в. Фонематическое правописание *без/бес*, например, отмечается в «Вестях-Курантах» [Каверина 1998а: 72]. При этом выявляется определенная закономерность: перед гласными и звонкими согласными на конце приставок и предлогов пишется только *з/с*, перед буквами глухих согласных — *з/с* или *с* [Каверина 1998а: 77].

Эта особенность употребления *без/бес* прослеживается и в деловом письме XVIII в. Однако важно обратить внимание на другую черту в их функционировании: приставка и предлог *бес* употребляется только перед глухой согласной. Исходя из этого, можно представить причины экспансии приставки и предлога *без*, которые пишутся перед гласными, звонкими и глухими согласными.

Как известно, в древнерусский период в правописании данных приставок и предлогов строго выдерживался традиционный принцип: *без* писалась только перед гласными и звонкими согласными, *бес* — только перед глухими. Вместе с тем возможны были вариативные написания с характерными чертами фонетического принципа — *бецисла, бесоуда* и т. п.

Интересно то, что именно у приставки-предлога *без* в XVII в., в отличие от других приставок и предлогов на *з/с*, начинает оформляться написание по фонематическому принципу. Это значит, что *без* с буквой *з*, обозначающей <з> в сильной и слабой позициях, постепенно расширяет зону своего функционирования, в то время как *бес* продолжает писаться по традиционному принципу. Иными словами, написание *бес* только перед глухими согласными — это черта приказного узуса, усвоенная деловым письмом нового времени, употребление *без* во всех фонетико-орфографических позици-

⁶ Сложившаяся традиция фонематического написания приставок на *з/с* в позиции перед *с* корня также противоречила ломоносовским правилам исторического правописания этих приставок. О колебаниях Ломоносова относительно правописания данных приставок в позиции перед *с* корня свидетельствуют его собственные правки, отмечаемые издателями его трудов. В примечании они пишут: «Ломоносов в течение всей своей жизни довольно последовательно придерживался этого правила, однако по временам наблюдались у него некоторые колебания: так в рукописи Риторике (1744—1747), написав “разсуждению” и “безславия”, он переправил затем на “рассуждению” и “бесславия”... В одном документе 1753 г. он написал “исследования”, а в другом документе 1755 г. ... переправил “рассуждение” на “разсуждение”» [Ломоносов 1952: 873].

ях — это черта фонематического принципа, получившего нормализацию в литературном языке еще в донациональный период⁷. Столкновение узуса и нормы вызывает варьирование, которое в данном случае следовало бы охарактеризовать как отношение свободного варьирования, когда только *бес* маркировано в позиции перед глухой согласной, а *без* употребляется свободно, безотносительно к фонетико-орфографической позиции, как в приставках, так и в предлогах.

Много общего с правописанием *без/бес* у приставки и предлога *из/ис*. В позиции перед гласными и звонкими согласными употребляется только *из*, но оба варианта *из* и *ис* могут появляться перед глухой согласной. Так же, как *бес*, приставка и предлог *ис* выступает только перед глухой согласной. В московской и региональной деловой письменности XVIII в. приставка и предлог *из/ис* употребляются без каких-либо принципиальных различий. Так, в московских документах различных жанров (указах, допросах, челобитных и др.) встречаем: *из* крестьянь (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.36, 1732); *из* штатсь канторы (там же, л.106, 1733); *из* покоя (ПМДП, 300, л.66, 1772); *исполнить* (ПМДП, 23, л.14, 1771); *исправитца* (ПМДП, 19, л.3 об., 1770). Но: *ис* тунгусов (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.27 об., 1732); *ис* которыхъ (РГАДА, ф.10, оп.3, д.14, л.45 об., 1762); *искоренения* (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.77, 1733); *испортить* (ПМДП, 94, л.108, 1786).

В забайкальских документах: *из* пяти (НАРБ, ф.262, оп.1, д.19, л.5, 1736); *изъ* числа (НАРБ, ф.11, оп.2, д.18, л.23, 1793); *из* кроены (ГАЧО, ф.282, оп.1, д.4, л.120, 1758); *исправить* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.25, л.149, 1767); *исполне ни[е]* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.367, л.12, 1780). Но: *искупить* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.25, л.108 об., 1766); *исправного* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.219, л.17, 1779); *ис* повытка (НАРБ, ф.88, оп.1, д.463, л.10 об., 1786); *ис* карману (НАРБ, ф.88, оп.1, д.494, л.175, 1797).

В отличие от правописания *без/бес* написание вариантов *из* и *ис* в позиции перед глухой согласной дифференцируется с помощью дополнительных графических средств. Так, *из* в этой позиции может писаться либо с выносной буквой *з*, либо с *зь* в строке, либо с паерком. *Ис* с буквой *с* пишется в строке без каких-либо дополнительных графических знаков.

Подобная рукописная традиция, как и многие другие случаи узуальных приемов правописания в деловых памятниках, была известна и в XVII в. [Городилова 1986: 51—52; Каверина 1998а: 73]. Между тем в деловой письменности XVIII в. указанные графико-орфографические средства получа-

⁷ Орфографическим нормам в области правописания приставок и предлогов на *з/с* в XVII—XVIII вв. было присуще отсутствие единого принципа их написания. В частности, правописание *без/бес*, у которых преобладал фонематический принцип, резко отличалось от правописания других приставок-предлогов на *з/с*. В этой связи характерно то, что М. В. Ломоносов в «Российской грамматике», определяя правила написания приставок и предлогов на *з/с*, избегает примеров с приставкой-предлогом *без/бес*.

ют иное функциональное назначение. Как распределяются в своем функционировании приставка и предлог *из/ис*, лучше представить в виде таблицы:

		из, изъ, из'	из с буквой <i>з</i> в строке	ис с буквой <i>с</i> в строке	ис
I пол. XVIII в.	п р е д л о г и	из крестьянь (1732) із штатсь канторы (1733) из пяти (1736) из' каких (1743)	із штатсь канторы (1733) из коллеги (1737)	ис Тоболска (1732) ис тунгусов (1732) ис представле- ней (1732) ис казацких (1732) ис прави- тельствую- щаго (1732) ис того (1732) ис церкви (1737) ис Кремля (1738) іс плашинь (1743) ис табуна (1743) іс хоромь (1747)	ис тех (1732) ис каморь колегіі (1732)
	п р и с т а в к и	—	—	исполнение (1732) исчисления (1732) искоренения (1733)	—
II пол. XVIII в.	п р е д л о г и	из' штурмановъ (1762) изъ продажи (1765) из капитановъ (1772) из покоя (1772) изъ петли (1779) изъ шестисотъ (1780) изъ книги (1787) изъ положенных (1789) изъ показанных (1788) изъ числа (1797)	из флотскихъ (1762) из шхиперов (1762) из полку (1770) из чего (1788) из того (1789)	ис тех (1765) іс которыхъ (1765) ис Казани (1765) ис коих (1785) ис повытка (1786) ис карману (1797)	

п р и с т а в к и	—	изкроены	искроены
		(1758)	(1758)
		изправить	искупит
		(1767)	(1766)
		изправитца	испрашивать
(1770)	(1766)		
исполнить	исправного		
(1770)	(1779)		
исполнени	испужалась		
(1780)	(1794)		

Как видно из таблицы, написание *из* с выносной буквой *з*, либо с *зъ* в строке, либо с паерком в позиции перед глухой согласной характерно только для предлога. Такое правописание вполне согласуется с орфографическим правилом Ломоносова, в котором отмечалось: «В раздельном сочинении *из* приличнее нежели *ис*: изъ воды, изъ рьки, изъ ольхи, изъ крьпости...» [Ломоносов 1952: 435]. Следует сказать, что в печатной орфографии уже в I пол. XVIII в. употребление предлога *изъ* перед глухим согласным было регулярным. В этом случае использование пробела между словами в печатных документах играло заметную роль в разграничении правописания предлога *из* и приставки *из/ис*.

В узусе рукописных памятников сохранялась традиция слитного написания служебных слов со знаменательными. В связи с этим *из* как предлог маркируется с помощью указанных графических средств. Иными словами, использование *з* выносного, *зъ* в строке и паерка представляло собой попытку идентифицировать предлог *из* в рукописной традиции слитного написания служебных слов со знаменательными. Безусловно, при этом *з* выносное используется и как знак фонематического правописания по аналогии с другими выносными буквами (*д*, *б*, *ж*), которые применялись в этой функции в русской скорописи с XVI века.

Отметим также, что удельный вес написаний *изъ* (с *зъ* в строке) возрастает во II пол. XVIII в., т. е. правописание данного предлога маскимально приближается к норме печатной орфографии.

Написание *из* с буквой *з* в строке наблюдается как у предлогов, так и у приставок. Однако подобное написание становится регулярным только со II пол. XVIII в. Утрата актуальности в обозначении правой границы предлога *из* графическими средствами, видимо, связана с экспансией в этот период фонематического правописания предлогов и приставок на *з/с*.

Наконец, написание *ис* перед глухой согласной, за небольшим исключением, имеет букву *с* только в строке и пишется как в предлогах, так и в приставках на протяжении всего XVIII в. В этом прослеживается дань приказной традиции, как и в случае с приставкой-предлогом *бес*. Устойчивая практика написания *ис* с буквой *с* в строке как в предлогах, так и в приставках объясняется тем же фактором рукописной традиции слитного написания служебных слов с полнозначными. При такой записи, скорей всего, про-

исходит отождествление предлога и приставки, а традиционный принцип правописания в отношении приставок на *з/с* действовал достаточно строго.

Вариативность употребления приставки-предлога *из/ис* отражает эволюцию узувальной нормы делового письма под влиянием кодифицированной. Так, фонематическое написание предлога *из* представляет собой результат воздействия кодифицированной нормы литературного языка (ср., в частности, характерное написание *изъ* с *ъ* на конце, которое получает широкое распространение во II пол. XVIII в.). С другой стороны, узус рукописной традиции определяет устойчивое сохранение написания *ис* перед глухой согласной в приставках и предлогах.

Правописание приставок *раз (роз)/рас (рос)* в деловой письменности XVIII в. также имело свои особенности, обусловленные генетическими и фонетико-орфографическими факторами. Учитывая то, что варианты этих приставок еще могли допускать в XVIII в. равнозначное написание гласных букв *а/о*, выявляется значительное варьирование *раз/роз/рас/рос* в идентичных фонетико-орфографических позициях: разболочся (ГАИО, ф.783, оп.1, д.25, л.48 об., 1789) — розболочался (ГАИО, ф.783, оп.1, д.52, л.14, 1785); расплате (ПМДП, 27, л.6, 1775) — росплату (ПМДП, 52, л.9, 1725); разпорядок (ПМДП, 19, л.3 об., 1770) — расписатца (ПМДП, 14, л.174, 1778) — росписывался (НАРБ, д. 28, л.92, 1770); разшибся (НАРБ, ф.11, оп.2, д.10, л.80 об., 1794) — розшибить (РГАДА, ф.1092, оп.1, д.12, л.1, 1742) и т. п.

Чтобы выявить какие-либо закономерности в функционировании анализируемых приставок, попробуем распределить их в зависимости от позиции в слове и по времени их активного функционирования. Полученные сведения можно представить в виде следующей таблицы:

		раз-	рас-	роз-	рос-
перед гласными и звонкими согласными	I пол. XVIII в.	разбору (1743)	—	розвертной (1731) розводить (1732) розыскиват (1732) роздать (1733) роздачу (1737) розокой — «косоглазый» (1741) розбору (1743) розболок (1747)	—

		раз-	рас-	роз-	рос-
			—	розногой (1748) розлогъ (1750)	—
	II пол. XVIII в.	разновесок (1768) разосланы (1768) раздорахъ (1768) разлевина (1769) разговор (1769, 1788) раздорень (1785) разломать, разломаны (1788) разболокся, разболохся (1789) размотаны (1792) разгласка (1793)	расдѣленія (1768) расговоръ (1786) расбирательство (1786)	розведывать (1769) розрезана (1769) розболокался (1785) роздел (1765, 1786)	—
перед глухими согласными	I пол. XVIII в.	—	распределения (1732) распространением (1738) расколнической (1747)	розшиты (1731) розшибить (1742)	росписка (в разных формах — 1704, 1722, 1732, 1733) росход (в разных формах с 1704) роspутием (1722) роspлаты (1725) роspраву (1732) роspчистить (1733) роspходчик (1737)

		раз-	рас-	роз-	рос-
					роскат (1738) роspалением (1738) роspладывает (1747) роspашной (1750)
	II пол. XVIII в.	Разроspране- нии (1768) роspорядок (1770) роspышоту (1770) роspхищение (1775) роspтаскають (1775) роspтрясла (1788) роspтащила (1794) роspшибся (1794)	роspоряжению (1765) роspход (1768) роspположения (1768) роspподавать (1769) роspтруска (1771) роspплате (1775) роspписатца (1778) роspторопность (1781) роspпутица (1783) роspпечатыва- я (1786) роspкрашенные (1788)	роspкладкѣ (1768)	роspписка (в разных формах — 1768, 1783) роspход (в разных формах — с 1768) роspценке (1768) роspписание (1768) роspпахива- ниемъ (1772) роspкласть (1785)

Прежде всего следует отметить употребление приставки *роз/рос* на протяжении всего XVIII в. и ее преимущественное функционирование в I половине столетия. При этом у данной приставки за небольшим исключением (*роspшиты*, *роspшибить*, *роspкладке*) прослеживается традиционное правописание: перед гласными и звонкими согласными — *роз*, перед глухими согласными — *рос*. Очевидно, активное употребление *роз/рос* следует связывать с наследием приказной традиции, в узусе которой генетический параметр (восточнославянская огласовка *ро-*) трансформировался в стилеобразующее средство делового письма. В какой-то мере об этом свидетельствует традиционное написание в течение всего XVIII в. наиболее частотных делопроизводственных слов (*роspписка*, *роspход*) и, с другой стороны, распространение приставки *раз/рас* в первую очередь у слов книжного происхождения, не характерных для приказного письма (например, у отглагольных существительных с суффиксом *-ениѣ-, -ств-*: *роspроspтране-
ние*, *роspроspтране-
ние*, *роspхищение*, *роspоряжение*, *роspбирательство* и т. п.).

Вообще же приставка *раз/рас* в деловой письменности получает широкое распространение со II пол. XVIII в. Здесь уже не соблюдается традиционный принцип правописания: *раз-* пишется как перед звонкими согласными, так и перед глухими. Спорадически употребляется *рас-* в позиции пе-

ред звонкими согласными. Написание приставки *раз/рас* известно в деловой письменности XVII в. [Панин 1991: 131—132]. Насколько широко она была распространена, связано ли написание *раз/рас* с отражением аканья⁸ или представляет собой результат воздействия книжно-славянского письменного узуса — это тема отдельного исследования.

В рамках темы данной статьи интерес вызывает то, что расширение функционирования приставки *раз/рас* со II пол. XVIII в. с теми же правописными правилами, что и у других приставок на *з/с* (*без/бес, из/ис*) отражает тенденцию установления единых узуальных норм в рукописной деловой письменности XVIII в. В то же время орфографическая норма, опирающаяся на фонематический принцип, сталкиваясь с узусом — традиционным написанием, порождает варьирование *раз/рас/роз/рос*.

К группе приставок и предлогов на *з/с* следует отнести и приставку-предлог *с*, которая в деловой письменности XVIII в. в позиции перед звонкой согласной имела вариант *з*.

В отличие от всех анализируемых приставок и предлогов на *з/с*, традиционный принцип орфографии у приставки-предлога *с* выдерживается достаточно строго: перед гласными, сонорными и глухими согласными — *с*, перед звонкими согласными — *з*⁹. Приведем примеры правописания *з* в позиции перед звонкой согласной: *з*делать (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.137, 1733); *з* губернатором (там же, л.137, 1733); *з*бавить (РГАДА, ф.271, оп.1, д.45, л.103, 1768); *з* горницею (ГАИО, ф.121, оп.1, д.6, л.5, 1750); *з* животомъ (НАРБ, оп.1, д.48, л.55 об., 1772); *з*бросили (НАРБ, ф.88, оп.1., д.534, л.2, 1788); *з*дохлые (НАРБ, ф.88, оп.1., д.467, л.5, 1793).

Написание *з* перед звонкой согласной представляло собой узуальную норму деловой письменности XVII в. [Каверина 1998б: 81]. Унаследована она и деловым письмом XVIII в. Об этом, в частности, может свидетельствовать факт исправления писцом буквы *с* на букву *з* в следующем приме-

⁸ В одном московском документе XVIII в. отмечено написание *распискавь* (ПМДП, 18, л.243, 1779), которое, наряду с другими случаями написания *а* на месте этимологического *о* в этом памятнике, явно свидетельствует об отражении аканья. Однако подобные примеры в деловой письменности XVIII в. редки.

⁹ В данном случае термин «традиционный принцип» в отношении приставки-предлога *с/з* следует интерпретировать в связи с тем, что подобное правописание сформировалось не на древнерусской почве, а в старорусский период, когда в результате падения редуцированных на письме получили отражение ассимилятивно-диссимилативные процессы (оглушение, озвончение и пр.). Приставка-предлог *съ*, утратив редуцированный, в позиции перед звонкой согласной в правописании заменилась буквой *з*. Но поскольку фонетический принцип орфографии в Московской Руси был малоэффективен в силу сохранявшихся диалектных различий (ср. отражение на письме в XV—XVI вв. таких фонетических явлений, как цоканье, шоканье), он не мог получить дальнейшего развития. Поэтому правописание приставки-предлога *с/з* в дальнейшем стало формироваться под влиянием традиционного принципа написания приставок и предлогов на *з/с* (*без, из, воз* и др.).

ре: кисти шелковые с золотомъ (НАРБ, ф.262, оп.1, д.9, л.11, 1731). Кроме того, буква *s* (*з*) в этой позиции являлась не только орфограммой в соответствии с традиционным принципом, применяемым в письменном узусе делопроизводства, но и представителем особой приставки-предлога *з/с*. Включение приставки-предлога *с* в одну группу с приставками-предлогами *з/с* подтверждается правилом Ломоносова о том, что перед звонкими следует писать *з, воз, из, раз*, а перед глухими — *с, вос, ис, рас* [Ломоносов 1952: 435].

В результате функционирование приставки-предлога *с/з* подчиняется общим тенденциям употребления приставок и предлогов на *з/с*: во II пол. XVIII в. появляются написания типа *зипала* (НАРБ, ф.88, оп.1, д.494, л.147, 1795); *зъ собой* (там же, л.141 об., 1793), которые воспроизводились по аналогии с распространившимися в этот период фонематическими написаниями приставок и предлогов *без, из* и приставки *раз*.

Однако в последней трети XVIII в. все чаще встречаются фонематические написания приставки-предлога *с*: с глупости (НАРБ, ф.88, оп.1, д.534, л.18 об., 1788); сжогъ (ГАИО, ф.783, оп.1, д.52, л.112, 1785) и др. В этом видится влияние нормы печатной орфографии, поскольку правописание по крайней мере предлога *съ* в печатных памятниках деловой письменности XVIII в. было обычным: *съ другіхъ* (РГАДА, ф.24, оп.2, д.11, л.82, 1733); *съ бывшими* (РГАДА, ф.271, оп.1, д.45, л.95, 1768) и т. п.

В функционировании приставки-предлога *с* также наблюдается взаимодействие узуса и нормы. Узуальная традиция делового письма очень ярко проявляет себя в экстраполивании традиционного принципа древнерусской орфографии на правописание приставки-предлога <*с*> (буква *с* в позиции перед гласными, сонорными и глухими согласными и буква *з* — в позиции перед звонкими согласными). Эта узуальная традиция оказалась настолько сильна, что в период актуализации фонематического принципа в правописании приставок и предлогов на *з/с* (в частности, распространение написаний *без, из, раз* в позиции перед глухой согласной) появляются написания типа *зишбенные*, у которых буква *з*, представляя несуществующую приставку *з/с*, писалась по аналогии с той же буквой у приставок-предлогов *без, из* и приставки *раз*. С другой стороны, исконные фонематические написания буквы *с* в позиции перед звонкими согласными (*с братьями, с делать*) отражают уже влияние орфографической нормы, не свойственной орфографическому узусу делового письма. Их появление в рукописных памятниках последней трети XVIII в. связано с воздействием нормы печатной орфографии.

* * *

Правописание приставок и предлогов на *з/с* в XVIII в. отличалось значительной вариативностью и отсутствием единого принципа их употребления. Колебания в правописании этих приставок и предлогов вызвано взаимодействием нормы литературного языка и узуса деловой письменности

XVIII в. В результате орфография как отдельных групп приставок и предлогов на *з/с* (например, *без/бес* в отличие от *из/ис*), так и приставок в отличие от предлогов (например, приставка *из* в отличие от предлога *из*) опиралась на разные принципы, и здесь можно выделить следующие особенности их функционирования.

1) В основе правописания приставки и предлога *без* в русском литературном языке XVIII в. лежал фонематический принцип. Вариант *бес*, выступая в позиции только перед глухой согласной буквой как у приставки, так и у предлога, представлял собой характерную черту узуса рукописных документов данного периода. Вариативность, таким образом, обнаруживается в употреблении приставки и предлога в позиции перед глухой согласной, когда при взаимодействии нормы и узуса одинаково возможны нормативное фонематическое написание *без* и узуальное традиционное написание *бес*.

2) Употребление *из/ис* в деловой письменности XVIII в. обнаруживает тенденцию к разграничению правописания предлога *из* и приставки *из/ис*. Нормативным в XVIII в. становится фонематическое написание предлога *изъ*. К узуальным особенностям делового письма относятся вариативное написание приставки и предлога *из/ис* перед глухой согласной в рукописных документах. При этом в рукописной традиции в условиях слитного написания служебных слов со знаменательными прослеживается попытка маркировать фонематическое написание предлога *из* с помощью дополнительных графических средств (*з* выносное, *зь* в строке, паерок).

3) Ярким свидетельством взаимодействия нормы и узуса в области орфографии и постепенной эволюции узуальной нормы под воздействием кодифицированной является правописание приставок *раз/рас/роз/рос*. Приставка *роз/рос*, написание которой выдерживалось строго на основе традиционного принципа, применялась в I пол. XVIII в., когда еще приказная традиция XVII в., усвоенная деловым письмом нового времени, была достаточно влиятельна. Распространение во II пол. XVIII в. приставки *раз/рас*, в правописании которой прослеживается преобладание фонематического принципа, отражает влияние орфографической нормы литературного языка.

4) Примечательной особенностью орфографического узуса делового письма является правописание приставки-предлога *с* на основе традиционного принципа по аналогии с историческим правописанием приставок и предлогов на *з/с*. В соответствии с этим принципом узуальной нормой в деловой письменности было написание у этой приставки-предлога буквы *з* в позиции перед звонкой согласной. Фонематическое написание предлога <с> под влиянием печатной орфографии в рукописной деловой письменности активизируется в последней трети XVIII в.

Таким образом, роль узуса в правописании приставок и предлогов на *з/с* сводится к сохранению и затем к окончательной нормализации традиционного написания приставок на *з/с* в русском литературном языке. Фонематическое написание предлогов <без>, <из>, <с> в рукописных деловых па-

мятников активизируется под влиянием печатной орфографии, а вариативное традиционное написание предлогов *бес, ис, з* удерживается на протяжении всего XVIII в. в связи с актуальностью в этот период рукописной традиции слитного написания служебных слов со знаменательными.

Список сокращений

- ГАИО — Государственный архив Иркутской области
ГАЧО — Государственный архив Читинской области
НАРБ — Национальный архив Республики Бурятия
ПМДП — Памятники московской деловой письменности XVIII века. / Под ред. С. И. Коткова. М., 1981.
РГАДА — Российский государственный архив древних актов

Литература

- Городилова 1986 — Л. М. Городилова. Отражение графико-орфографических норм в восточносибирской деловой письменности XVII в. // Становление и развитие норм русского языка XVII—XX вв. Хабаровск, 1986, С. 50—55.
- Каверина 1998а — В. В. Каверина. Узуальная норма деловой письменности первой половины XVII века как этап становления современной орфографии приставок на <з> // Актуальные проблемы языкознания: Сб. работ молодых ученых филол. факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 2. М., 1998. С. 69—77.
- Каверина 1998б — В. В. Каверина. Особое место префикса <с> в орфографической системе русских приставок (на материале «Вестей-Курантов» первой половины XVII века) // Актуальные проблемы языкознания: Сб. работ молодых ученых филол. факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Вып. 2. М., 1998. С. 78—82.
- Ломоносов 1952 — М. В. Ломоносов. Российская грамматика // Полн. собр. соч. Т. 7. Труды по филологии. М.; Л., 1952. С. 434—435.
- Осипов 1992 — Б. И. Осипов. История русской орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1992.
- Панин 1991 — Словарь русской народно-диалектной речи Сибири XVII — первой половины XVIII в. / Сост. Л. Г. Панин. Новосибирск, 1991.
- Ремнева 1995 — М. Л. Ремнева. История русского литературного языка. М., 1995.

А. А. ГИППИУС

**СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ПИСЬМА
В ДРЕВНЕЙ РУСИ**
(О книге: S. Franklin. *Writing, Society and Culture
in Early Rus, c. 950 — 1300. Cambridge, 2002*)

Английский медиевист Саймон Франклин имеет заслуженную репутацию одного из наиболее тонких и глубоких исследователей культуры домонгольской Руси. Широкому российскому читателю его имя знакомо в первую очередь по появившейся недавно в русском переводе книге «Происхождение Руси», написанной совместно с Дж. Шепардом [Франклин, Шепард 2000; первое издание: Franklin, Shepard 1996]. Среди специалистов высоко авторитетны и другие публикации ученого, представляющие собой образцовые анализы отдельных сторон и явлений русской средневековой культуры в их отношении к культуре Византии. Наиболее важные из них перепечатаны в вышедшем в серии «Variorum» почти одновременно с рецензируемой монографией в том же издательстве [Franklin 2003]. Новая книга С. Франклина тематически и концептуально связана с предыдущими работами и опирается на них. Предметом ее является письмо как одно из важнейших составляющих культуры.

Вынесенный на обложку снимок первой страницы найденного в 2000 г. Новгородского воскового кодекса начала XI в. одинаково воплощает в себе древность восточнославянской письменной традиции и стремительный прогресс новейшей археологии, за полстолетия решительно преобразивший картину ее начального этапа, какой эта картина представлялась на основе традиционных источников. Поток новых находок естественно выдвигает на первый план задачи публикации и изучения первичного материала. Но чем полнее и разнообразнее становится этот материал, тем более насущной делается необходимость в обзоре и концептуализации целого, каким, при всем ее размахе — от роскошных иллюминированных кодексов до непритязательных надписей на бытовых предметах — является письменная культура раннесредневековой Руси. Эту двойную задачу и решает рецензируемая монография. Ее первая часть содержит обзор различных типов и категорий древнерусского письма, представляя собой своеобразный путеводитель по ранней русской письменности; вторая складывается из очер-

ков, посвященных отдельным аспектам социальной и культурной динамики письма в Древней Руси.

Очертив во Введении к книге круг общих вопросов социокультурного изучения письма (письмо как техника и технология, письмо и грамотность, письмо и социальное изменение и др.), автор констатирует, что исследования по древнерусской культуре до сих пор оставались в стороне от бурно развивающихся в Европе и Америке 'literacy studies'. Симптоматично, что само слово *literacy*, в том значении, в каком оно здесь выступает, не имеет точного русского соответствия. В контексте истории культуры оно служит обозначением всей совокупности социальных и культурных явлений, связанных с использованием письма, всей сферы письменного в противоположность сфере устного (*orality*). Структурно эквивалентом *literacy* в этом значении может быть только *письменность* (а не *грамотность*, являющаяся словарным переводом английской лексемы), однако в русском языке данное понятие традиционно употребляется более узко, обозначая только саму систему письма и совокупность текстов, в этой системе записанных. В какой-то мере это можно было бы объяснить лингвистическими причинами: предметная семантика предполагается уже словообразовательной структурой русского *письмо*, в то время как его английское соответствие *writing* этимологически представляет собой глагольную форму. И все же ограничения на круг потенциальных значений лексем накладывает, конечно, не язык, а сложившаяся научная традиция, которая, как справедливо замечает С. Франклин, интересуется в основном письмом «как таковым», в отвлечении от социального и культурного контекста, в котором оно функционирует и воспринимается. Опыты более широкого социокультурного подхода к древней русской письменности предпринимались до сих пор лишь в отношении отдельных ее сфер и памятников. В книге С. Франклина данный подход впервые применяется к ранней восточнославянской письменной культуре в целом.

Хронологические рамки книги — с середины X по конец XIII в., то есть не столько «домонгольский», сколько «домосковский» и «долитовский», по выражению автора, период. В качестве общего этногеополитического термина автор употребляет слово *Rus*, используя его не только как существительное, но и как прилагательное. Для английского языка это удачное и «политически корректное» решение. Мы же, не мудрствуя лукаво, будем переводить прилагательное *Rus* как *древнерусский* или просто *русский*, по традиции употребляя это определение и применительно к Киевской Руси.

Первая, обзорная часть книги называется «Графическая среда» («Graphical environment»). Это ёмкое понятие вводится автором как обозначение всего графического аспекта окружающей человека действительности, всего что «пишется» в самом широком смысле этого слова, включая и неалфавитные, идеографически воспринимаемые формы письма, а при максимально широком толковании — и всякое изображение, трактуемое как «текст». Принципиальная антропоцентричность понятия графической среды делает

его удобным для описания древней письменной культуры «изнутри», с точки зрения ее носителей. В этом качестве графическая среда Древней Руси представляет собой, как пишет С. Франклин, «виртуальный» ландшафт и может быть лишь объектом реконструкции, осуществляемой на основе «письменных остатков» (written remains)¹.

Отправляясь с читателем на экскурсию по этому виртуальному ландшафту, С. Франклин справедливо отмечает, что исчерпывающий путеводитель по нему отсутствует. «Дело не в том, что вся территория не картографирована, но в том, что разные ареалы нанесены на разные карты, созданные на основе различных критериев» (р. 16). Задавшись целью обозреть древнерусскую графическую среду в целом, автор констатирует непригодность для этого существующих схем классификации: традиционного подразделения на «рукописи» и «надписи» и предложенной в [Щапов 1991] классификации письменных источников по типам на основе жанрового критерия (первого — из-за размытости понятия «надписи», определяемого негативно, как «не-рукопись», и покрывающего собой широкий спектр во многих отношениях разнородного письменного материала; второй — из-за противоречий в разнесении материала по рубрикам, спорности жанровых определений и т. д.).

Все карты, пишет С. Франклин, искажают в соответствии с принятой перспективой. В перспективе собственного исследования автор предлагает новую схему классификации, основанную на формах продуцирования письма или, иначе, на отношениях между самим письмом и предметом, на котором оно выступает. Согласно этой классификации, письмо подразделяется на три категории, которые автор условно («owing to unfortunate lack of lexical inspiration») обозначает как «первичное», «вторичное» и «третичное» письмо.

Первичное письмо находится на предметах, изготовляемых специально с единственной целью размещения на них письменного сообщения. К этой категории относятся в рассматриваемую эпоху пергаменные рукописи, берестяные грамоты и покрытые воском деревянные таблички (церы).

Предметы с вторичным письмом — это те, в которых письмо является существенной составляющей, но не главной целью изготовления предмета. Данная категория включает, например, монеты, печати, иконы и фресковые композиции с надписями и др.

Третичное письмо выступает на предметах, выполнявших некоторые функции и до появления на них письменного текста. Большая часть образцов такого письма может быть определена как граффити (как на стенах сооружений, так и на предметах — керамике и пр.).

¹ Заметим, что принятое в русской традиции понятие «письменный памятник» (которое, по необходимости, будем использовать и мы), отражает, вообще говоря, принципиально иной, «внешний» взгляд на вещи: «памятниками» остатки древней цивилизации являются лишь в глазах современного человека.

С. Франклин подчеркивает, что три категории письма представляют собой «не строго разграниченные территории, а смежные поля с иногда размытыми границами» (р. 20). На одном и том же предмете могут быть представлены одна, две или все три разновидности письма, примерами чего могут служить фреска с надписями (вторичное письмо) и процарапанными по ней граффити (третичное письмо) или пергаменная рукопись (первичное письмо) с содержащими надписи миниатюрами (вторичное письмо) и позднейшими маргиналиями (третичное письмо).

Забегая вперед, скажем, что эта трехчленная классификация представляется в целом весьма удачным изобретением автора, помогая уловить целый ряд существенных социокультурных параметров ранней русской письменности. Однако, если по отношению к бинарному делению на рукописи и надписи данная модель действительно выступает как более совершенная альтернатива, тем самым отменяя его и делая излишним, то в отношении жанровой классификации этого сказать никак нельзя. Несовершенство существующих классификаций письменных источников по жанрам или типам текстов означает лишь, что они нуждаются в доработке. Характер информации, заключенной в письменном памятнике, является такой же неотъемлемой характеристикой этого памятника, как и предметный «носитель» этой информации. Может быть, наиболее адекватной моделью древнерусской письменной культуры была бы модель, основанная на соотношении двух классификаций — типов письма (по С. Франклину) и усовершенствованной классификации типов текстов.

Предлагаемый далее обзор трех категорий древнерусского письма носит не чисто дескриптивный, но аналитический характер. Не ставя перед собой цели каталогизации материала (ссылки на каталоги, новейшие исследования и публикации даются в очень насыщенных сносках), автор, представляя каждую категорию, сосредоточивается на ее общих свойствах и месте в графической среде.

Обзор памятников первичного письма открывает раздел, посвященный пергаменной письменности — фактически речь идет почти исключительно о книгах. При наличии целого ряда высококлассных обзоров ранней русской книжности сказать о ней новое слово в жанре компендиума сложно. Кратко охарактеризовав распределение сохранившихся пергаменных книг по столетиям и содержательным разрядам и обсудив вопрос о степени репрезентативности сохранившейся части древнерусской «библиотеки», С. Франклин находит ее достаточно неплохим индикатором общей природы и охвата книжной культуры средневековой Руси. Характеризуя отношение последней к ее основному источнику — византийской книжности, автор следует ставшему уже классическим наблюдению Ф. Томсона, согласно которому репертуар переводной литературы Киевской Руси соответствует составу библиотеки среднего византийского монастыря. Остановившись на роли церкви как главного катализатора и попечителя книжной культуры (что

проявляется и в характере светского патронажа в данной сфере), автор интересно трактует вопрос о соотношении духовной и материальной ценности пергаменной книги. То, что книга была не по карману среднему горожанину, само по себе ни о чем не говорит, считает С. Франклин, поскольку книга на Руси не была «потребительским товаром для личного пользования», но обладала иным, несравненно более высоким культурным статусом. С другой стороны, характер использования средней древнерусской книги, на протяжении многих десятилетий читаемой вслух за богослужением или монастырской трапезой, расширял ее аудиторию до масштабов, сопоставимых с числом читателей книги современной, так что в расчете «на читателя» («слушателя») такая книга безусловно стоила затраченных на нее средств. Нельзя не учитывать и того, что покупалось за деньги: заказчик древнерусской книги «инвестировал» в собственное посмертное будущее, и в сравнении с таким «возвращением инвестиций» платимая цена была ничтожной.

Книгопроизводство не было на Руси единственной формой использования пергамента: он мог использоваться и использовался также в административной сфере, для написания документов. Отмечая, что общее число сохранившихся русских пергаменных актов XI—XIII вв. едва достигает дюжины, С. Франклин видит в этом свидетельство неразвитости административной документации на Руси в рассматриваемую эпоху, противопоставляя в данном отношении Русь Византии. «В Византии пергаменная письменность функционировала в трех главных контекстах, будучи связана с тремя (пересекающимися) институциональными структурами: Церковью, (высшей) образованностью и администрацией. Русь усвоила церковные институты вместе с соответствующими технологиями, но не заимствовала ни византийского высшего образования, ни — что было бы несравненно более сложным предприятием — византийских структур и методов администрирования». В силу этого, «письмо на пергамене было ассоциировано на Руси преимущественно, определенно, почти исключительно с церковной книжной культурой» (р. 35).

Возрастающая категоричность последнего утверждения кажется чрезмерной. Оставляя пока в стороне формальные документы, заметим, что говоря о «некнижной» пергаменной письменности, С. Франклин упускает из виду такую ее разновидность, как княжеская и вообще элитарная переписка (хотя в другом месте [р. 178] именно с ней автор предположительно связывает основную массу древнерусских вислых печатей домонгольского времени). Грамоты, которыми обменивались между собой Рюриковичи — а интенсивность такого обмена ярко иллюстрирует, например, письмо Владимира Мономаха к Олегу Святославичу, упоминающее сразу несколько княжеских грамот, — явно писались не на бересте. Общее количество таких грамот не могло не быть большим, чем число пергаменных книг, так что считать, что пергамен как писчий материал ассоциировался «почти исключительно» с церковной сферой, оснований нет. Что, по-видимому, дей-

ствительно всецело принадлежало этой сфере, служило ее эмблемой, символическим воплощением, — так это книга, кодекс как способ оформления письменного текста. Показательно в этом смысле, что единственная найденная до сих пор берестяная книжка (грамота № 449) содержит литургический текст.

В характеристике берестяной письменности С. Франклин делает упор на сравнении с двумя типологически родственными явлениями мировой письменной культуры²: позднеантичными египетскими папирусами и британскими деревянными табличками римского времени, в большом количестве обнаруженными при раскопках пограничной крепости Виндоланда в северной Англии. Содержательная и интонационная схожесть (доходящая до полной неразличимости) бытовой переписки жителей Новгорода и Оксиринха, иллюстрируемая приведенными вперемежку текстами (р. 35—36), производит впечатление даже на подготовленного читателя, оттеняя в то же время концептуально более существенные отличия между берестой и папирусом как материалами для письма. «Папирус был стандартным писчим материалом, тогда как береста — лишь одной из возможностей» (р. 41). Как материал для первичного письма папирус в позднеантичное время выполнял функции, которые на Руси делили между собой пергамен и береста. Сравнение его с одной лишь берестяной письменностью, таким образом, обманчиво, при всей его привлекательности.

Более близкие аналогии берестяным грамотам представляют виндоландские таблички. Эти аналогии касаются как общих социокультурных параметров родственных явлений, так и отдельных аспектов самой переписки. Пример Виндоланды показывает, в частности, что освоение письменной культуры бесписьменным населением может, при наличии соответствующих предпосылок, происходить быстро, без долгого подготовительного периода. При этом, как и в Новгороде, фактором, способствующим распространению письменной коммуникации, является высокая степень мобильности населения. Упоминается также замечательная особенность виндоландских табличек: большинство их распадается на две части: основной текст, написанный рукой писца, и заключительные приветственные формулы, написанные автором собственноручно. Следовательно, использование писцов совсем не обязательно объяснять неграмотностью автора. Это верно и в отношении берестяной переписки.

Разделы, содержащие обзор памятников вторичного и третичного письма, представляют особый интерес, во-первых, потому что новизна классификации С. Франклина заключается в первую очередь в противопоставлении этих двух типов, а во-вторых, потому, что само по себе совокупное аналитическое представление всех письменных материалов нерукописного

² Это перспективное направление исследований представлено также недавними работами [Факкани 1999; Факкани 2003; Миура 2003].

характера осуществляется здесь впервые. Значительная часть фактов, о которых идет речь в этих двух разделах, оставалась до сих пор достоянием частных археологических, эпиграфических, сфрагистических или нумизматических штудий, не попадая в орбиту общей истории письменной культуры. В книге С. Франклина они впервые предстают как части единой графической среды.

Как предметы со вторичным письмом С. Франклином рассматриваются: печати, монеты, змеевики, медальоны, резные каменные иконки, монументальные каменные кресты, кресты-энколпионы, литургическое серебро и ткани, предметы оружия и посуда, кирпичи с клеймами, стены церквей с фресками, мозаиками и каменной резьбой, иконы, церковные двери, миниатюры в рукописях.

Несмотря на такое разнообразие, произведения вторичного письма обладают рядом общих черт. Во-первых, тексты вторичной письменности как правило автореференциальны, то есть относятся к предмету, на котором они выступают. Во-вторых, большинство предметов со вторичным письмом несут на себе изображения, причем изображения христианские. В-третьих, образцы вторичного письма часто характеризуются текстуальной усложненностью или содержат ошибки (монограммы, смешение славянских и греческих букв, зеркальные начертания букв, псевдографика). Симптоматичное безразличие к подобным отклонениям С. Франклин объясняет тем, что вторичное письмо, появляясь при изображениях, выполняло функции не только и не столько текстуальные: оно было частью изображения и прочитывалось скорее как эмблема, идеограмма, чем как алфавитное письмо. Крайним проявлением этого является псевдографика, имитация письма, при которой письмо выступает эмблемой себя самого.

К числу произведений третичной письменности относятся: граффити на стенах храмов, монументальных камнях, керамической таре, серебряных платежных слитках, кубках, шиферных пряслицах, счетных бирках и деревянных цилиндрах, а также некоторых индивидуальных предметах, не образующих рядов. Все эти предметы автор подразделяет на две категории: недвижимые и движимые. Последние, при всем их разнообразии, относятся почти исключительно к сфере коммерции и обмена, и в этом смысле использование третичного письма отличается большой последовательностью. Отметив, что некоторые предметы с третичным письмом примечательны своими особенно ранними датами (надписи на амфорах, цилиндрах, счетных бирках), автор замечает, что эти предметы не являются продуктом координированного курса на распространение грамотности. «Ранние образцы третичного письма суть результаты индивидуальных несоординированных решений, признания, хотя и в довольно ограниченных пределах, того, что при торговле, обмене и сборе государственных податей славянское третичное письмо может оказаться полезным, облегчив ведение дел. Хронология сохранившихся свидетельств показывает, что третичное славянское письмо могло появиться на Руси раньше первичного и вторичного,

что в строго хронологических терминах третичное письмо было, так сказать, первичным» (р. 82).

Отдельный раздел посвящен языковому и алфавитному компонентам раннедревнерусской графической среды. В вопросе о языковой ситуации эпохи автор занимает взвешенную позицию, представляя ее как континуум языковых регистров, простирающийся от относительно чистого церковнославянского до диалектного восточнославянского и допускающий различные формы спонтанной и сознательной гибридации.

Говоря об азбуках, С. Франклин отмечает контраст между значительным варьированием графического состава древнерусской кириллицы и относительной стабильностью самих буквенных начертаний. Монополия устава в рукописях рассматриваемой эпохи объясняется тем, что письмо на Руси было слабо востребовано в тех контекстах (администрация и частная ученость), которые способствовали развитию таких форм беглого письма, как курсив и минускул.

Из неславянских компонентов древнерусской графической среды подробно охарактеризован греческий. Впечатление широкого присутствия греческого письма и языка в культуре Древней Руси возникает, считает С. Франклин, вследствие недифференцированного рассмотрения различных категорий свидетельств. Применение трехчленной классификации типов письма открывает существенно иную картину. Византийское первичное письмо, хотя и было известно на Руси, не получило здесь сколько-нибудь значительного распространения. Постоянным и существенным компонентом графической среды было вторичное греческое письмо, однако динамика его использования была различной для двух категорий надписей. «Надписи-сообщения» (*message-inscriptions*) на печатях, в мозаичных и фресковых композициях и др. переживают всплеск моды в середине XI в., а затем быстро сходят на нет, тогда как греческие подписи (*captions*) при христианских изображениях сохраняются на протяжении всего периода. Последние, однако, являются по существу элементами иконографии, не предполагая действительного знакомства писавших с греческим языком. Таким образом, масштабы присутствия на Руси греческого письма и, особенно, активной реакции на него оцениваются С. Франклином как незначительные, особенно по сравнению с соседней Болгарией, где характер рецепции византийской письменной традиции и культуры в целом был качественно иной. В то же время автор не разделяет концепции пресловутого «интеллектуального молчания Древней Руси» и, допуская участие русских книжников в пополнении корпуса славянских переводов с греческого, объясняет невосприимчивость Руси к византийской высшей образованности не языковым барьером (который вовсе не был непреодолим), а сознательной культурной установкой (более подробное об этом см.: [Франклин 2002]).

В последующих разделах собраны свидетельства знакомства Руси с другими неславянскими письменными традициями (в первую очередь латинско-

кой и скандинавской рунической, но также арабским куфическим письмом, тюркскими рунами и еврейским письмом). Обзор этих свидетельств создает картину языковой и «алфавитной» гетерогенности восточнославянской графической среды, особенно важную для древнейшего периода, когда славянское письмо присутствовало в этой среде лишь на правах одного, причем не доминирующего компонента.

В заключающем первую часть книги разделе «Изменяющаяся среда» («The changing environment»), автор прочерчивает общие контуры хронологической динамики распространения письма на восточнославянской территории с конца VIII — начала IX в., когда образцы алфавитного письма начинают проникать на территорию будущей Руси, до конца XI в.

Ранние образцы славянского письма на Руси, отмечает С. Франклин, связаны с теми же типами активности, что и современные им образцы других азбук: это торговля, ремесло, сбор дани, обмен. Хотя славянское письмо было создано в миссионерских целях, к десятому веку употребление его в Болгарии вышло за пределы церковной сферы, так что христианизация не составляла необходимой предпосылки для контакта с ним восточных славян и начала его активного использования на Руси. Диффузность письменных свидетельств, сохранившихся от 930-х гг. до середины XI в., показывает, что к концу X — нач. XI в. кириллическое письмо было уже не просто спорадическим экспериментом, доступным лишь посвященным, но привычным и знакомым явлением в городских экономических и торговых контекстах. Это, по мнению автора, лишает официальное крещение Руси в 988 г. значения эпохального для истории русской письменности события, которое ему обычно приписывается. Распространение христианства было главным катализатором экспансии славянского письма, однако значимым было постепенное распространение веры, а не одномоментный акт Владимира.

Намного более важным рубежом в ранней истории письма на Руси автор считает середину XI в. «Во всех трех категориях письма середина XI в. составляет некий невидимый барьер. По одну сторону от него прямые свидетельства местного письма спорадичны и скудны; по другую — они сильны, продолжительны и с течением времени становятся изобильны» (р. 123). К концу XI в. древнерусская графическая среда, бурно эволюционировавшая на протяжении второй половины столетия, приобретает форму и характерные черты, составившие фундамент ее дальнейшей эволюции.

В разделе «Письмо и социальная организация», которым открывается вторая часть книги, анализируется распространение письма в административной сфере. Динамика этого процесса, как показывает автор, была различной в разных социальных контекстах и для разных типов административной письменности. Последнее понятие автор трактует широко, включая в него и то, что в англоязычной литературе иногда обозначается как *practical writing* или *pragmatic writing*, а в русской — как *деловая письменность*.

Административное письмо С. Франклин подразделяет на две категории: «нормативное» (*normative administrative writing*) и «контингентное» (*contingent administrative writing*). Первое устанавливает основания регуляции социальных отношений, складываясь из законов и списков правил; второе является частью процесса этого регулирования, фиксируя отдельные события, транзакции и решения³. Контингентное административное письмо в свою очередь подразделяется на а) «формальное» и б) «эфемерное». Формальное контингентное письмо является неотъемлемой составляющей самого акта, который оно фиксирует, необходимым условием, требуемым для признания этого акта действительным; продуктом такого письма становятся административные документы. Эфемерное контингентное письмо может сопровождать или облегчать заключение сделки, но не обладает специальным статусом как компонент этой сделки, не является частью юридической процедуры.

Предваряя выводы раздела, С. Франклин следующим образом характеризует динамику распространения названных видов административного письма. «Нормативное административное письмо было с самого начала инструментом саморегуляции жизни Церкви, но лишь постепенно распространялось за пределы ее собственной сферы, как в церковных правилах для мирян, так и в светской сфере. Эфемерное контингентное письмо довольно быстро было принято в широком кругу частных и публичных контекстов. Формальное контингентное письмо (административная документация) периодически появлялось на периферии, но вторжение его в сферу традиционно бесписьменных процедур было очень ограниченным. Только к концу периода, во второй половине XIII в. появляются признаки заметного сдвига в сторону развитой документальной практики» (р. 132).

Анализ путей и форм освоения Русью административных возможностей письма С. Франклин начинает с активно обсуждаемой в последнее время проблемы древнерусской рецепции византийского правового наследия. Солидаризируясь с Л. Бургманном [1992] в критике известной концепции В. М. Живова [1988]⁴, противопоставляющего в древнерусской ситуации недействующее, но обладающее высоким культурным статусом переводное византийское право, и действующее, но находящееся вне сферы культуры автохтонное обычное право, автор настаивает на более нюансированном подходе. В действительности, считает он, на Руси в отношении византийского законодательства «имела место шкала реакций: на одном конце —

³ Английское прилагательное *contingent* не имеет точного русского соответствия и в современной социологической литературе обычно оставляется без перевода. «Контингентное» обычно противопоставляется «системному» как исторически и культурно уникальное, связанное с конкретной ситуацией. В этом смысле *contingent administrative writing* можно было бы перевести как *конкретно-административная* или *ситуативная административная письменность*.

⁴ См., впрочем, ответ на эту критику в [Живов 2002].

активная рецепция, влекущая за собой большие изменения в реальном поведении, на другом — полное отторжение, с переходной зоной посредине. Там, где не было специального стимула ломать традиционные отношения и изменять устоявшиеся модели социальной организации и поведения, не было и стимула переводить управление на новую технологию, использовать своды письменных правил, тем более — написанных для другой среды. Наиболее слабый административный отклик импортированное законодательство получило в осуществлении светского управления в светской среде, самый сильный — в регламентации самодостаточных церковных институтов» (р. 143).

Двигаясь «сверху вниз» по этой рецептивной шкале, автор дает характеристику ряда «текстовых сообществ», с большей или меньшей жесткостью связанных общим восприятием (или не-восприятием) определенных разделов византийского права.

Как образец «замкнутого текстового сообщества» рассматривается общежительный монастырь в отношении к собственному уставу — уже здесь намечается зазор между предписаниями импортированного нормативного свода правил и практикой, вынужденной приспособляться к местным особенностям. В сфере деятельности Церкви этот зазор центробежно возрастает в системе, образуемой тремя кругами социокультурных отношений: 1) регуляция деятельности институтов самой Церкви («диффузное текстовое сообщество»); 2) пастырское служение Церкви («открытое текстовое сообщество»); 3) ее «внешние» отношения как экономического и юридического субъекта.

В последней из этих трех сфер наблюдается уже не просто отступление от норм импортированного письменного законодательства, но взаимодействие этих норм с другими, имеющими местное происхождение. Плоды этого взаимодействия — уставы Владимира и Ярослава — автор расценивает как «гибриды, в которых предпринята попытка соединить две различные традиции, сформировав таким образом отдельную сферу регулируемого правилами действия на пересечении импортированных норм и местного обычая» (р. 154).

Появление письменного светского законодательства — Русской Правды — охарактеризовано как «колонизация обычая законом», в ходе которой все больше аспектов жизни все большего числа людей попадает в сферу действия письменных правил. Автор очень верно замечает, что подлинный статус Русской Правды в ранний период ускользает от понимания: непонятно, кто располагал ее списками, каким образом применялись ее нормы, насколько широко был известен сам факт ее существования. Берестяные грамоты сообщают о некоторых судебных решениях, соответствующих нормам Русской Правды, но оставляют неясным, были ли юридические процедуры таковы в силу действия письменного законодательства или же само это законодательство фиксировало действующую практику, опирающуюся на авторитет княжеской власти. Более вероятным автор считает второе. Хотя

Русская Правда и приобретает к концу XIII в. некое подобие «конституционной ауры», сама идея письменного основания княжеского управления остается в рассматриваемую эпоху чуждой древнерусскому обществу. Исключение, впрочем, весьма значительное, составляет в XIII в. Новгород, где княжеская власть осуществляется на основе договора.

Светская сфера оказывается в данном отношении зеркальной противоположностью церковной. Идея письменного авторитета присуща самой христианской вере и заложена в институциональной природе Церкви. Сколь бы опосредованным и вольным ни было применение на практике норм византийского церковного права, верховный авторитет писаного закона, стоящий за конкретными решениями церковных иерархов, признавался всеми. Положение в светской сфере было обратным: письмо не было сущностно связано с идеей княжеской власти, которая и в христианскую эпоху вполне могла осуществляться и без его использования. Если же такое использование имело место, оно носило вторичный и вспомогательный характер: за авторитетом письменных текстов стоял авторитет князя. И хотя по мере разрастания и распространения Русской Правды сфера регулируемой письменными правилами активности все более расширялась, ничто не говорит, считает С. Франклин, о существовании «широкого текстового сообщества», которое определялось бы принятием письменного княжеского законодательства, т. е. какого-либо эквивалента византийскому понятию «законной власти» (*ennomos arche*), не говоря уже о *ennomos politeia* («законном государстве»).

Следующий раздел прослеживает динамику распространения на Руси контингентного административного письма, он посвящен формальной документации и ее соотношению с другими формами «практического» письма. Широко понимая «административное», автор, напротив, предельно узко трактует «документальное», отождествляя его с формальным делопроизводством, осуществляемым при помощи бюрократического аппарата. Антитезой понимаемому таким образом документу является «эфемерное» административное письмо — факультативный спутник разного рода практической активности. Его широкая распространенность на Руси с начала письменной эпохи лишь оттеняет, как показывает С. Франклин, глубокий консерватизм древнерусского общества в отношении формального административного потенциала письменной технологии. Причину этого исследователь видит в относительной гибкости и стабильности традиционных устных форм социального контроля.

Постепенное появление начатков официальной документации автор прослеживает, отдельно рассматривая сферы внешней и внутренней дипломатии и внутреннего управления. В первой им подчеркивается «технологическая реактивность» Руси, скорее отвечающей на требования письменных документов со стороны партнеров, чем активно осваивающей эту практику в собственных целях. Говоря о внутренней дипломатии, автор отмечает особый статус упоминаемых летописями «крестных грамот», скреплявших кня-

жеские союзы, преобладание в них ритуального аспекта над документальным: в данном случае документ утверждает совершенный ритуал, а не ритуал скрепляет документ.

Распространение формальной документации в сфере внутреннего управления С. Франклин связывает с консолидацией письменных административных практик в Церкви и вокруг нее. Все сохранившиеся в подлинниках и списках формальные документы XII в. касаются пожалований Церкви или монастырям. Надежные свидетельства чисто светской документации появляются лишь ближе к середине XIII в. Признавая, на основании косвенных свидетельств, что какие-то элементы формальной документации частного характера существовали и в более раннее время, автор констатирует вместе с тем, что и к концу XIII в. она не стала обязательной в сколько-нибудь заметном кругу транзакций. Более регулярный характер древнерусская бюрократия приобретает уже за пределами хронологических рамок книги.

По необходимости коротко охарактеризуем остальные разделы. В главе «Письмо и ученость» («Writing and learning») автор довольно подробно излагает филологические воззрения ранних славянских книжников на природу алфавитного письма и проблемы перевода, но при этом констатирует, что Русь осталась в стороне от обсуждения этих проблем. Более «исторический», чем «филологический» интерес древнерусских книжников к славянскому письму объясняется тем, что для Руси, в отличие от Болгарии, алфавитное письмо было уже данностью, фактом славянского христианского наследия, а не животрепещущей новостью, актуальным предметом ученого исследования или полемики.

В главе «Письмо и изображения» («Writing and pictures») читателю предлагается совершить виртуальную экскурсию по древнерусскому храму как главному средоточию письменной культуры. Обозревая различные виды письма, представленные в этой «мультимедийной среде», автор констатирует, что письмо на Руси могло сопутствовать только «христианским» в широком смысле изображениям. В то время как в раннехристианском мире и Византии освоение изобразительного наследия античности проходило часто путем смены надписей при изображениях, на Руси наличие надписи само по себе маркировало изображение как христианское. В сферу автохтонной нехристианской культуры доступ письму был практически закрыт.

Дальнейшее развитие этот тезис получает в главе «Письмо и магия». В древнерусских письменных текстах магического характера автор с полным основанием видит не отражение «двоеверия», но ассимилированные на восточнославянской почве письменные формы христианской магии, импортированные вместе с христианством. В собственно древнерусских языческих практиках письмо никогда не употреблялось. Отмечается также, что письмо как таковое на Руси, за редкими исключениями, не становилось объектом эзотерического использования — для этого оно было слишком доступно.

В Послесловии автор бросает общий взгляд на социальную и культурную динамику ранней русской письменности. Формирование на Руси местной модели письменной культуры, заключает С. Франклин, не было систематическим освоением полного спектра «теоретических» возможностей письменной технологии; в то же время оно не представляло собой и простой трансплантации византийской или болгарской модели. Логика этого процесса определялась внутренней социокультурной динамикой самого древнерусского общества.

С. Франклин называет два главных катализатора распространения письма на Руси — Церковь, с одной стороны, и финансово-коммерческую и административную деятельность, с другой. Соотношение этих двух сфер, в которых письмо закрепилось очень рано, было несимметричным. Церковное письмо имело своим основанием институции: основанная на Писании, Церковь несла с собой письмо, усиленно внедряя его в ведении собственных дел. «Коммерческое» письмо имело своим основанием активность, спонтанную деятельность, оно составляло практическое удобство, а не институциональный императив. Оппозиция «письма, основанного на институциях» (institution-based) и «письма, основанного на активности» (activity-based), только первоначально совпадала с оппозицией церковного и светского; с течением времени очертания ее меняются. Хотя книжная культура в целом остается институциональной прерогативой Церкви, отдельные ее элементы мигрируют в менее формальные светские контексты, а клирики деятельно участвуют в бытовой переписке. С другой стороны, в результате письменной фиксации светского законодательства и зарождения формальной документации происходит и *институционализация* светского письма, масштабы которой остаются, однако, незначительными до второй половины XIII в. Два типа письма распространяются, таким образом, во встречных направлениях: «письмо, основанное на институциях» — «сверху вниз», а «письмо, основанное на активности» — «снизу вверх». Это встречное движение и определяет собой динамическую модель древнерусской письменной культуры в понимании С. Франклина.

Довольно подробный обзор содержания монографии С. Франклина избавляет от необходимости отдельно распространяться о значении и ценности этого труда: они очевидны. Перейдем поэтому к критическим соображениям, которые не может не вызывать этот первый в своем роде опыт социокультурного анализа ранней русской письменности как динамического целого. Наши замечания относятся прежде всего к хронологическому аспекту нарисованной С. Франклином картины, хотя и не только к нему.

Как мы видели, решающее изменение характера древнерусской графической среды С. Франклин относит к середине XI в. «After its long gestation period, writing proliferated rapidly from the middle of the eleventh century» (р. 275). «Долгий период вызревания», тянущийся с середины предыдущего столетия, автор рассматривает в целом, не разделяя его на «дохристиан-

скую» и «христианскую» части, как это делает, следуя устоявшейся традиции, А. А. Медынцева в недавней монографии [Медынцева 2000]. По мнению С. Франклина, «свидетельствуемая сохранившимися данными модель использования письма спустя полстолетия после официального крещения фундаментально не отличается от модели его использования за полстолетия до крещения. Около 988 г. не пролегает никакой видимой разделяющей черты» (р. 122—123). Но так ли это?

Поскольку акт Владимира и его прямые следствия — учреждение митрополии и епископских кафедр, строительство кафедрального собора в Киеве — создавали очевидные предпосылки для «институционального» распространения письма, естественно, пока не доказано обратное, доверять Начальной летописи и исходить из того, что 988 г. действительно стал точкой отсчета новой эпохи в истории письма на Руси. Доказательством обратного может быть только одно: наличие относящихся к периоду до 988 г. однозначных свидетельств употребления письма в тех же контекстах, где оно фиксируется в последующий период. Понятно также, что предметы с размытыми археологическими датировками типа «последняя четверть X в.» или «конец X в.» непоказательны, так как, исходя из той же презумпции, следует предполагать принадлежность их уже «христианской» эпохе.

Отфильтрованный таким образом круг упомянутых в обзоре С. Франклина свидетельств «практического» письма на Руси, относящихся ко времени до 988 г., включает всего четыре предмета: это Гнёздовская надпись, печать Святослава Игоревича и новгородские деревянные цилиндрические бирки (цилиндры) № 6 и 7, предположительно датированные 970—980 гг. Достаточно ли этого, чтобы говорить об освоении славянского письма в практических контекстах в эпоху до официального крещения? Если бы трактовка названных свидетельств как восточнославянских надписей указанной эпохи была абсолютно надежной, ответ на этот вопрос, по-видимому, должен был бы быть утвердительным. Однако достоверность такой трактовки в каждом из четырех случаев вызывает серьезные сомнения.

Что касается Гнёздовской надписи, то, как справедливо заключает А. А. Медынцева, разобрав все предложенные до сих пор трактовки [2000: 31, 246], с уверенностью считать ее кириллической невозможно: хотя записанное слово (скорее всего, притяжательное прилагательное *Гороуня*) несомненно славянское, письмо может быть и греческим. С другой стороны, погребение, из которого происходит амфора, в настоящее время с уверенностью характеризуется как скандинавское. Автор последней публикации на данную тему констатирует, что «погребенный принадлежал к числу «русов», совершавших военные и торговые экспедиции в Византию. (...) Видимо, амфора с уже процарапанной надписью была куплена или захвачена в Причерноморье во время одного из таких походов» [Нефёдов 2001: 66]. Если так, то гнёздовское граффито вполне может представлять собой памятник болгарской, а не древнерусской эпиграфики.

Атрибуция печати Святослава Игоревича основывается на княжеском знаке, а не на надписи, которая прочтению не поддается. Даже угадывая в ней, вместе с Н. П. Лихачевым, буквы СТЛА, нет оснований считать надпись кириллической, а не греческой (последнее теоретически даже более вероятно, учитывая, что печатей от русских князей требовала, согласно договору 944 г., Византия). В любом случае, полноценного «противовеса» первым «христианским» печатям Святополка, Ярослава и Глеба Владимировичей печать Святослава в графическом отношении не составляет, и рассматривать эти памятники в одном ряду, как это делает С. Франклин (р. 124), не следует.

Наиболее сложно, можно сказать драматично, обстоит дело с новгородскими цилиндрами. Надпись на цилиндре № 6, представляющая собой записанную кириллицей полноценную славянскую фразу, до самого последнего времени служила главным (а по сути дела — и единственным) свидетельством использования на Руси кириллического письма в административных целях до официального крещения. Именно этот памятник в первую очередь создает впечатление хронологической диффузности свидетельств «практического» письма до и после 988 г. Между тем археологическая датировка цилиндров №№ 6 и 7 очень широка (между 973 и 1051 гг.), и отнесение их к самому началу этого интервала зиждется исключительно на гипотетической атрибуции княжеских знаков Ярополку и Владимиру Святославичам. Хотя обоснованные сомнения в справедливости такой атрибуции высказывались и ранее [Белецкий 1997: 144—145], особенно серьезны они стали после открытия в 1999 г. на Троицком раскопе, в непосредственной близости от места находки цилиндров № 6 и 7 обширного комплекса из 38 таких же цилиндров XI — первой четверти XII в. Из них только один — № 59 — происходит из напластований первой половины XI в., остальные же относятся к более позднему времени (см. каталог: [Янин 2000: 93—150]). Установленная благодаря новым находкам стандартная структура надписи на цилиндрах позволила по-новому прочесть и надпись на цилиндре № 6. Что же касается датировки двух цилиндров концом X в., то по этому поводу В. Л. Янин пишет: «Отсутствие других аналогичных находок столь раннего времени, как будто, переносит цилиндры №№ 6 и 7 в контекст несколько более позднего времени, хотя формально хронологические рамки их датирования по-прежнему замыкаются между 973 и 1051 гг.» [Янин 2000: 61]⁵.

⁵ Р. К. Ковалев [2003а: 60], цитируя это наблюдение В. Л. Янина, остается все же при ранней датировке цилиндров №№ 6 и 7. Исследователь исходит при этом из факта тождественности княжеского знака на цилиндре № 7 знаку на бирке-сорочке № 1, найденной относительно недалеко от места находки цилиндров в слое второй половины X в. На мой взгляд, очевидные различия между двумя знаками [ср. Ковалев 2003б: 37; Янин 2000: 115] препятствуют их отождествлению. Заметим также, что фигура на цилиндре № 7, трактуемая как княжеский знак Ярополка Святославича, скорее всего, как видно на рисунке [Янин 2000: 115, вверху], сохранилась час-

При всей осторожности этой формулировки, вывод, вытекающий из нее, вполне однозначен: как надежные памятники «дохристианской» древнерусской письменности новгородские цилиндры более рассматриваться не могут. Вместе с ними и сама эта письменность отходит в область «виртуального». Если такая письменность и существовала, поиск ее памятников придется начинать с нуля.

Совсем иная картина наблюдается по другую сторону от 988 г. Здесь славянское письмо появляется сразу, тиражированное и декларированное на монетах Владимира в качестве важной составляющей новой идеологической и культурной программы. Вместе с печатями Владимировичей первые русские монеты весьма внушительно представляют «вторичную» письменность новой христианской Руси, в то время как первые бесспорно кириллические граффити и надписи на долговых бирках, появляющиеся с конца X в., дают наконец надежные образцы «третичного» письма. С сенсационной находкой Новгородского воскового кодекса реальностью сделалась и книжная культура этой эпохи. В свете этих материальных свидетельств почву под ногами обретают и гипотезы, возводящие к концу X и началу XI в. протографы первоначальных редакций Устава Владимира и Русской Правды, первые шаги древнерусской агио- и гимнографии, летописания.

Таким образом, официальное крещение Руси представляется нам не «эмблематической» датой, искусственно членящей долгий период «вызревания» русской письменности, а вполне реальным ее началом. Понятно, что, считая таким образом, мы не можем согласиться и с тезисом С. Франклина об опережающем, по сравнению с развитием церковного, книжного письма, распространении на Руси «коммерческого» письма и его независимом, в рамках древнерусской ситуации, генезисе. Хотя к середине X в. кириллическое письмо у южных славян давно вышло за рамки церковной сферы, возможность первоначального восприятия его Русью из нецерковных, коммерческих контекстов кажется а priori сомнительной. Для самих южных славян использование письма в этих контекстах составляло периферию письменной культуры, побочный продукт обучения грамоте, носившего, как и впоследствии на Руси, катехитический характер и осуществлявшегося на основе Псалтыри. Теоретически, конечно, можно представить себе русского купца середины X в. осваивающим кириллическую азбуку по надписям на болгарских амфорах как идеологически нейтральную технологию, облегчающую ведение коммерческих операций. Но так ли велика была эта коммерческая выгода, и стоила ли игра свеч? Более реалистично было бы связать древнейшие (до конца X в.) свидетельства «практического» использования славянского письма на Руси с начальным распространением на ее землях христианства. Но, как мы уже видели, в этом нет необходимости: надежные свидетельства такого рода просто отсутствуют.

точно и с большей вероятностью может представлять собой не княжеский знак, а фрагмент изображения меча, часто встречающегося на цилиндрах.

Как массовое явление, каким оно становится в XI в., «практическое» письмо является на Руси не продолжением тянувшейся с середины X в. автономной светской письменной традиции, а таким же, как в свое время в Болгарии, «побочным продуктом» развития книжной культуры. В этом отношении чрезвычайно показательным, что Новгородский восковой кодекс — сколь бы уникальной ни была эта находка — хронологически почти на четверть века опережает появление первых берестяных грамот. Палеография и орфография последних также со всей определенностью говорят о том, что их писали люди, которых учили читать (а кого-то — и переписывать) церковные книги. Важно также, что береста как писчий материал впервые фиксируется отнюдь не в коммерческой или административной сфере: древнейшие из найденных к настоящему времени берестяных грамот славянского происхождения — это азбука (№ 591, 30-е гг. XI в.) и иконка (№ 915 И, с датой — 1028 г.). Можно думать, что началу «практического» письма на бересте предшествовало его использование в околочерковной сфере, в частности — при обучении грамоте.

С. Франклин безусловно прав, подчеркивая спонтанный характер светского, коммерческого и административного письма, противопоставляющий его институциональной по своей природе церковной письменности. Важно только заметить, что письменный навык как таковой, используемый в этой спонтанной активности, был получаем в процессе элементарного церковного образования, и в этом смысле прогресс «практического» письма был институционально обусловлен. В предисловии к книге С. Франклин говорит о письме как технике и технологии (р. 3—5); рассуждая в этих терминах, можно сказать, что спонтанное применение письменной технологии в нецерковной сфере опиралось на институциональное в своей основе распространение техники письма (и чтения).

Соблазнительно думать, что именно в этом кроется объяснение внезапного появления берестяных грамот почти полвека спустя после крещения Руси. Этот скачок, как убедительно показывает С. Франклин, коррелирует с общим всплеском письменной активности, приходящимся на середину XI в. Исследователь связывает это качественное преобразование древнерусской графической среды с обозначившимся к середине XI в. реальным укреплением христианства и его институтов, а также с бурным ростом городского ремесленного производства. Представляется возможным более конкретно указать обстоятельство, опосредующее связь между общими успехами христианизации и рывком в развитии «практической» письменности в городской среде.

Для того, чтобы этот рывок произошел, нужно было, чтобы выросло поколение грамотной элиты, и в случае Новгорода мы, по-видимому, знаем, как это произошло. Я имею в виду следующее сообщение, читаемое в летописях Новгородско-Софийской группы под 1030 г. «Сем же лѣтъ идѣ Ярослав на чюдѣ и побѣдѣ а, а постави градъ Юрьевъ. И приидѣ к Новугороду. И събра отъ старость и отъ поповъ дѣтеи 300 оучити книгама. И пре-

стави[ся] архієпископъ Акімъ; и бѣше оученикъ его Ефреъмь, иже ны оучаше» [ПСРЛ 4, 113]. С. Франклин не упоминает этого известия, считая его, видимо, ненадежным. Однако оснований не доверять ему — не больше, чем известно ПВЛ о начале книжного обучения при Владимире. Данное сообщение не имеет ничего общего с историографическими вымыслами XVI—XVII вв. и, тем более, с фальсифицированными В. Н. Татищевым многочисленными сведениями о древнерусских «училищах». Оно находится в ряду других не имеющих соответствий в ПВЛ известий Новгородско-Софийской группы летописей за XI в., отличающихся большой конкретностью и нетенденциозностью. Слова «иже ны оучаше» придают этой записи особую ценность как свидетельству от первого лица, принадлежащему одному из учеников, севших за парты в 1030 г. по приказанию Ярослава. К этой генерации первых новгородских школьников могли принадлежать и поп Упырь Лихой, переписавший в 1047 г. для князя Владимира Ярославича Толковых пророков, и писец Остромирова евангелия дьякон Григорий, но также и авторы первых граффити в новгородской Софии и первых берестяных грамот⁶.

Ретроспективно новгородская акция Ярослава (а нечто похожее, надо думать, имело место и в других центрах Руси) выглядит репликой аналогичной акции Владимира, который, как известно по ПВЛ, сразу после крещения, «пославъ, нача поимати оу нарочитое чади дѣти и даяти нача на оученье книжное» [ПСРЛ 1: 118—119]. Этот параллелизм кажется отражающим общее соотношение двух «волн» распространения письма, какими в свете наших рассуждений выглядят письменность эпохи Владимира (после 988 г.) и письменность эпохи Ярослава. Первая волна, поднятая крещением Руси (которое мы продолжаем рассматривать как эпохальное для истории русской письменности событие), хотя и прошла далеко не бесследно, не привела к формированию устойчивой письменной традиции; для этого потребовалась вторая, намного более мощная. В тени этой второй волны результаты первой могут показаться диффузными следами длительного периода «вызревания»; однако бóльшая хронологическая компактность, обнаруживаемая ими в свете последних открытий и уточненных археологических данных, склоняет к предположению дискретного характера процесса. Сохранившиеся письменные свидетельства могут быть распределены между двумя «волнами»: так, древнейшие русские монеты, печати сыновей Владимира и Новгородский кодекс относятся к первой, а первые берестяные грамоты и надписи на цилиндрах — ко второй.

⁶ В связи с летописным известием о школьном обучении на Руси при Ярославе представляет интерес уникальное свидетельство «Саги об Ингваре Путешественнике», сообщающей, что сын героя саги (современника Ярослава), находясь на Руси, посещал там школу, где научился говорить на языках, распространенных по Восточному пути [Глазырина 2002: 32, 264]. Благодарю Ф. Б. Успенского за данное указание.

Другой хронологический рубеж, обсуждаемый в книге С. Франклина, затрагивает лишь один, но очень важный аспект письменной культуры — формальное использование письма в административных целях. В этом отношении письменная ситуация, оформившаяся к концу XI в. и в остальных ее параметрах остававшаяся стабильной на протяжении двух последующих столетий, претерпевает качественное изменение. В том, что оно действительно имело место, сомневаться не приходится: небюрократический характер раннедревнерусского общества был убедительно продемонстрирован автором в принципиально важной работе [Franklin 1985]. Предметом дискуссии могут быть лишь хронологические параметры этого изменения. По С. Франклину, оно носило характер рывка: решающий сдвиг в сторону систематического использования формальной документации автор относит к середине — второй половине XIII в. Представляется, что динамика этого процесса была более сложной.

Свидетельством бурного роста документальной активности в середине XIII в. может служить, казалось бы, комплекс новгородских актов 1260-х гг.: договор с Новгородом Ярослава Ярославича (сохранившийся в нескольких вариантах, ГВНП, №№ 1, 2, 3), договор с Западом Александра Невского 1259—1263 гг. (ГВНП, № 30), грамота о свободном проезде немецких купцов «по Менгу-Темирову слову» (ГВНП, № 30), устав князя Ярослава «о мостех» [ДКУ: 149—152]. При ближайшем рассмотрении, однако, можно констатировать, что три из четырех документов этого комплекса имеют свою предысторию. В последнем из названных текстов временем Ярослава Ярославича датируются интерполяции [Янин 1991: 146—147], которые могли быть сделаны только в уже существовавший к этому времени текст. Договору с немцами 1263 г. предшествовала грамота 1191—1192 гг., копию которой он включает и в которой в свою очередь упоминается более ранний мирный договор (*подтвердихомь мира старого*). Договор с Новгородом заключал уже Ярослав Всеволодович в 1229 г., причем, возможно, не первым: согласно летописи, князь целовал крест Новгороду «на всех грамотах Ярославлих» [НПЛ: 68]. Как бы ни трактовать эти «Ярославли грамоты», они явно составляли сложившийся к 1230-м гг. комплекс документов. Под 1209 г. упоминаются «уставы старых князь» [НПЛ: 50], подтверждения которых новгородцы требовали от Всеволода III. Одним из таких уставов мог быть так называемый «Устав великого князя Всеволода» [ДКУ: 153—157]. С. Франкин, опираясь на точку зрения Я. Н. Щапова, называет этот текст подделкой конца XIII в., считая сам факт подделки показателем статуса, который формальная документация приобретает к концу XIII в. В настоящее время, однако, гипотеза о подделке не подтверждается: в памятнике вполне надежно выявляется использование новгородского акта конца XII в. [Флоря 1999: 90—94], которому, возможно, предшествовал еще более ранний устав, действительно изданный Всеволодом Мстиславичем [Гиппиус 2004]. Вообще же XII в. предстает как время весьма активной деятельности по изданию и переработке княжеских уставов и не только не уступает в

этом отношении следующему столетию, но даже превосходит его (к чему мы вернемся чуть ниже).

С. Франклин признает, что сохранившиеся формальные документы домонгольского времени — лишь часть того, что реально существовало, и что косвенные свидетельства летописей и берестяных грамот приоткрывают завесу над «скрытым миром пергамена» в административной сфере (в этом отношении точка зрения автора существенно изменилась по сравнению с более категоричной позицией в работе [Franklin 1985]). Этот мир пока только начинает открываться, и возможные масштабы его не следует недооценивать. Одним из древнейших его свидетельств является берестяная грамота № 2 из Звенигорода Галицкого (начало XII в.), в которой упоминается записанное попом предсмертное распоряжение некоего Говена. По поводу этого текста автор задается вопросом: «Was Goven eccentric in getting a priest to write down what he was owed, or was this common practice?» (р. 184) Вопрос этот выглядит скорее риторическим. Отсутствие древнерусских духовных грамот столь раннего времени (литературное завещание Ярослава в Повести временных лет — не в счет) вряд ли может быть достаточным основанием для того, чтобы предполагать аномальность социального поведения, отраженного единственным пока целым берестяным текстом, происходящим с территории южной Руси.

Следует признать, что шансов сохраниться до нашего времени у древнерусского частного акта XII в. практически не было. Хранившийся в деревянном доме пергаменный документ рано или поздно сгорал вместе с этим домом⁷. Судьба благоволила к крайностям: сохранилось лишь то, что либо хранилось особенно тщательно и в особо благоприятных условиях (вроде данной Варлаама Хутынского, безусловно имевшей, помимо своего юридического смысла, также значение монастырской реликвии, или записанной на стене Софии Киевской записи о покупке Бояновой земли), — или не хранилось вовсе, как берестяные черновики типа недавно найденной грамоты № 818 XII в. В этих условиях косвенные (а отчасти, как видим, и прямые) показания берестяных грамот приобретают решающее значение, свидетельствуя, что и в домонгольское время практика формальной документации, хотя и не находилась на уровне, которого достигла к концу XIII в., все же не представляла собой сугубо маргинального явления, каким его для этой эпохи склонен считать С. Франклин.

Заметим также, что процесс «документализации» древнерусского общества не следует, по-видимому, представлять и как постепенное усиление документальной активности с XI по конец XIII в. Мы уже видели, что пик деятельности по изданию и редактированию княжеских уставов приходит-

⁷ Этим, кстати, проще всего объяснить тот факт, что дошедшие до нас формальные документы домонгольского времени представляют в большинстве своем пожалования церкви и монастырям: единственным надежным «архивом» в условиях деревянной Руси был каменный храм.

ся на XII в.; в следующем столетии эта деятельность возобновляется лишь ближе к его концу, когда создаются, в частности, Синодальная редакция Устава Владимира и основанный на ней вид Церковного устава Всеволода. Нечто похожее можно наблюдать и в сфере канонического права. Вплоть до 1270-х гг. мы не видим в XIII в. ничего даже отдаленно напоминающего оживленнейшее обсуждение канонических вопросов новгородским духовенством середины XII в., отраженное «Вопрошанием Кирика» (памятником, как известно, сложного состава, включающим вопросы самого Кирика, Саввы и Ильи).

Сходное развитие демонстрирует и хронологическое распределение известных к настоящему времени берестяных грамот. Отражающая его в высшей степени выразительная диаграмма [см.: Зализняк 2002: 608] показывает бурный рост письменной активности на протяжении всего XII в.; после этого число грамот резко падает до уровня 1110-х гг. и остается на нем до начала третьей четверти XIII в., когда кривая начинает вновь ползти вверх.

Может быть, и всплеск актового делопроизводства во второй половине XIII в. не был первым в своем роде? Тот факт, что формальные документы начинают регулярно появляться среди берестяных грамот только в XIII в., может объясняться не тем, что до этого подобные документы не писались или создавались в очень незначительном количестве, а тем, что такие тексты не доверяли бересте. Одно из упоминаемых С. Франклином свидетельств «скрытого мира пергамента» — грамота № 831, заканчивающаяся указанием *пъръпеса во на харатью, послѣ жь*, — наглядно демонстрирует уровень требований, предъявлявшихся в это время к тексту официального характера. Изменение положения дел в XIII в. выглядит в таком случае одним из проявлений общего понижения уровня письменной продукции этой эпохи. Как бы ни расценивать такую возможность, оживление, наблюдаемое в русской письменности второй половины — конца XIII в., вряд ли может быть адекватно интерпретировано без учета изменений противоположной направленности, фиксируемых в первой половине этого столетия.

Как можно было заметить, высказанные критические соображения во многом опираются на факты и свидетельства, ставшие известными и введенные в научный оборот в течение последних нескольких лет. Некоторые из них уже успели отразиться в содержании книги С. Франклина и даже отчасти повлиять на ее концепцию. Упрек автору в недостаточном учете этих новейших данных был бы несправедлив: книга и так представляет собой образец концептуального исследования, опирающегося на максимально полный охват современного состояния источников. В этом качестве она безусловно послужит надежной основой и отправным пунктом для дальнейших разысканий в данной области.

Литература

- Белецкий 1997 — С. В. Белецкий. Начало русской геральдики (знаки Рюриковичей X—XI вв.) // У источника. Вып. 1. Сб. ст. в честь чл.-корр. РАН С. М. Каштанова: В 2 ч. М., 1997. С. 93—171.
- ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. М.; Л., 1949.
- Гиппиус 2003 — А. А. Гиппиус. К истории текста Церковного устава Всеволода // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 17. Великий Новгород, 2003. С. 163—173.
- Глазырина 2002 — Г. В. Глазырина. Сага об Ингваре Путешественнике. М., 2002.
- ДКУ — Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. М., 1976.
- Живов 1988 — В. М. Живов. История русского права как лингвосомиотическая проблема // *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman*. Columbus (Ohio), 1988. С. 46—128.
- Живов 2000 — В. М. Живов. Разыскания в области истории и предьстории русской культуры. М., 2000.
- Зализняк 2002 — А. А. Зализняк. Древнерусская графика со смешением *ъ* — *о* и *ь* — *е* // Русское именное словоизменение: С прилож. избранных работ по современному русскому языку и общему языкознанию. М., 2002. С. 557—612.
- Ковалев 2003а — Р. К. Ковалев. К вопросу о происхождении сорочка: по материалам берестяных грамот // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Материалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 57—72.
- Ковалев 2003б — Р. К. Ковалев. Деревянные долговые бирки-сорочки XI—XII вв.: Из новгородской коллекции // Новгородских исторический сборник. Вып. 9 (19). СПб., 2003. С. 28—35.
- Медынцева 2000 — А. А. Медынцова. Грамотность в Древней Руси: По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века. М., 2000.
- Миура 2003 — К. Миура. Попытка сравнительного анализа русских берестяных грамот и японских мокканов // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Материалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 235—252.
- Нефёдов 2001 — В. С. Нефёдов. Археологический контекст «древнейшей русской надписи» из Гнёздова // Археологический сборник. Гнёздово: 125 лет исследования памятника. М., 2001. С. 64—67. (Труды ГИМ. Вып. 124).
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Т. 1. М., 1997; Т. 4. Ч. 1. М., 2000.
- Факкани 1999 — Р. Факкани. *Graeco-Novogorodensia. I* // Великий Новгород в истории средневековой Европы: К 70-летию Валентина Лаврентьевича Янина. М., 1999. С. 329—337.
- Факкани 2003 — Р. Факкани. Некоторые размышления об истоках древненовгородской письменности // Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения: Мате-

риалы междунар. конф. Великий Новгород, 24—27 сентября 2001 г. М., 2003. С. 224—234.

Флоря 1999 — Б. Н. Фл о р я. К изучению Церковного устава Всеволода // Россия в Средние века и раннее Новое время: Сб. ст. к 60-летию Л. В. Милова. М., 1999. С. 83—96.

Франклин, Шепард 1996 — С. Ф р а н к л и н, Дж. Ш е п а р д. Происхождение Руси. 750 — 1200. СПб., 2000.

Франклин 2002 — С. Ф р а н к л и н. По поводу «интеллектуального молчания» Древней Руси // *Russia mediaevalis*. 10 (2002).

Щапов 1991 — Древнерусские письменные источники X—XIII вв. / Под ред. Я. Н. Щапова. М., 1991.

Янин 1991 — В. Л. Я н и н. Новгородские акты XII— XV вв.: Хронологический комментарий. М., 1991.

Янин 2001 — В. Л. Я н и н. У истоков новгородской государственности. Великий Новгород, 2001.

Burgmann 1992 — L. B u r g m a n n. Zwei Sprache — zwei Rechte. Zu einem Versuch einer liguo-semiotischen Beschreibung der Geschichte des russischen Rechts // *Rechtshistorisches Journal*. 1992. 11. S. 101—122.

Franklin 1985 — S. F r a n k l i n. Literacy and Documentation in Early Medieval Russia // *Speculum* 40 (1985). P. 1—38.

Franklin 2003 — S. F r a n k l i n. Byzantium — Rus — Russia. Studies in the Translation of Christian Culture. Aldershot: Ashgate, 2003 (= *Variorum Collected Studies Series*, 754).

Franklin, Shepard 1996 — S. F r a n k l i n, J. S h e p a r d. The Emergence of Rus 750 — 1200. London; N. Y., 1996.

ПУБЛИКАЦИИ

О. В. НИКИТИН

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 1920-х гг. (предыстория «Ушаковского словаря»)

История русского языковедения знает немало примеров подвижнической работы ученых-филологов, которая рождала яркие труды, служащие надежным пособием, своеобразным «учебником жизни» языка не одному поколению исследователей и читателей. Одним из таких бесспорных шедевров отечественной науки стал «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова. Создававшийся в непростое для науки время, имевший влиятельных противников из среды академической номенклатуры и органов власти, выдержавший безудержный напор клеветнической дискуссии в Ленинграде в 1935 г. и многое другое этот проект был первым и, наверное, одним из наиболее удачных попыток составления толкового словаря русского литературного языка современной эпохи (то есть, по мысли его авторов, от Пушкина до Горького). Многие лежало на плечах самоотверженной работы коллектива единомышленников, сплотившихся вокруг Дмитрия Николаевича Ушакова. Их судьбы, такие разные и непохожие одна на другую, объединило одно неизблемое качество Ученого и Человека: подлинная любовь к своему делу, честь и достоинство в отстаивании интересов науки и вера в ее созидательную силу, в ее высокое назначение. О некоторых малоизвестных эпизодах и впервые откры-

тых фактах предыстории создания и обсуждения Толкового словаря (далее: ТС) пойдет речь в нашей статье.

Идея составления малого «Лярусса» возникла в 1920 г. по инициативе В. И. Ленина. В 1921 г. была создана комиссия во главе с руководителем Управления научными учреждениями (Главнаукой) И. И. Гливенко, куда одним из первых был приглашен Д. Н. Ушаков, и началась практическая работа по подготовке издания [подробнее см.: Левашов, Петушков 1975: 60—74; Левашов 1998: 346—349]. В июле 1921 г. был составлен «Проект организации работ по составлению “Словаря русского языка”», в котором говорилось: «Организационное Бюро по выработке программы и плана составления нового русского словаря, сконструировавшись в составе профессора И. И. Гливенко (Председатель Бюро), проф. Д. Н. Ушакова, проф. Н. Н. Дурново, проф. П. Н. Сакулина, проф. А. Е. Грузинского и Председателя Московск(ого) Лингвист(ического) Кружка А. А. Буслаева (Секретарь Бюро), имело, начиная с 11-го Июня 1921 г. ряд заседаний, на которых были обсуждены и вырешены в основных направлениях как вопросы программного характера (тип словаря, его состав, объем и т. д.), так и вопросы, касающиеся плана организации работ, а также техни-

ческие и материальные условия самих работ (...)»¹ (Архив РАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 96. Л. 2; далее при цитировании указывается только лист архивного дела и используется сокращение АРАН96).

¹ При воспроизведении писем (см. Приложение) и архивных материалов (за исключением специальных оговорок) мы руководствовались следующими правилами. Тексты передаются без изменений, с сохранением авторской системы словоупотребления и выделения. В ряде случаев нами исправлены незначительные опiski и погрешности. Орфография и пунктуация подлинников даются без изменений, даже в тех случаях, когда они противоречат современным нормам. Это же относится и к многочисленным наименованиям имен собственных и терминологии (обозначения лиц, должностей, институтов, книг и т. п.). Стилистическая, черновая правка текстов (зачеркивания, приписки и т. п.) авторами сохранены и указываются в примечаниях. Сведения об источниках публикуемых писем помещены после текста. Сокращения, недописанные части слов и пропуски раскрываются в угловых скобках, наши вставки даются в квадратных скобках. При подготовке текстов нами была произведена унификация подачи места и времени создания письма (все данные мы поместили непосредственно перед самим текстом). Легенды к письмам, помещенные в комментариях, содержат сведения о характере подлинника, его индивидуальных особенностях и отличиях (если требуется) и информацию об адресном сопровождении письма. В наших комментариях к текстам писем мы старались объяснить, по возможности, все необходимые факты: упоминания и ссылки на лиц, их труды, обстоятельства личной и общественной жизни, другие сопутствующие детали. Библиографический аппарат использованных в комментариях источников приводится непосредственно в тексте примечаний.

Далее в этом «Проекте» содержались сведения о типе, хронологических границах и источниках предполагавшегося издания: «Бюро определило новый словарь как словарь **современного** (здесь и далее без особых оговорок выделения наши. — *О. Н.*) русского языка, причем основным для него материалом должны служить литература, пресса (и те, и другая с 19 в. и по последнее время) и терминология (научная, профессиональная) общерусского разговорного языка. Писатели, писавшие как в 19 в., так и в конце 18-го, берутся за **весь** период их литературной деятельности» (АРАН96, л. 2). Поскольку в известной мере это предприятие носило экспериментальный характер, авторы хорошо осознавали новизну проблемы: «Учитывая отсутствие в России достаточно удовлетворительного и сколько-нибудь современного краткого энциклопедического словаря, Бюро считает в высшей степени желательным в интересах школы представить в новом словаре дополнительно и эту сторону дела. Сюда могут быть отнесены имена собственные, географичес(еские) названия, справочные сведения естественного характера и пр. Они составят вторую часть словаря с отдельной от первой нумерацией страниц. В первую же, основную часть, войдут[:] I) собственно языковые словарные материалы литературы, прессы и общерусской разговорной терминологии, II) новые слова, образованные путем сокращения, III) комментированный перечень имен собственных, фамилий и прозвищ, использованных в литературе» (АРАН96, л. 2). Даже по этому предварительному наброску можно судить, какой грандиозный замысел был выдвинут. По сути дела, предлагалось составить толково-энциклопедический словарь, да еще с иллюстрациями. Первоначально в состав организованного Бюро, как было отмечено выше, кроме

Д. Н. Ушакова, вошли также ближайший помощник и ученик Д. Н. Ушакова А. А. Буслаев (кстати, это правнук академика Ф. И. Буслаева), а также видные специалисты — литературоведы и лингвисты П. Н. Сакулин, Н. Н. Дурново и А. Е. Грузинский. На последнего возлагалась также должность председателя редакционного комитета. Позднее к ним присоединились и другие крупные ученые, а также молодежь, составившие костяк будущего издания.

Начиная с июня 1921 г., по несколько раз месяц (иногда реже) проводились заседания Бюро, на которых велась практическая работа по обсуждению словаря, вырабатывалась стратегия издания, решались многие практические вопросы. Так, на первом заседании 11 / VI 1921 г. основным значилось выступление И. И. Гливенко, который «доложил о состоявшемся распоряжении Ленина Наркомпросу, в лице т. Литкенса, сконструировать Комиссию нескольких ученых-филологов от 3-х до 5-ти ч[е]л. для разработки в 2-х год[ичный] срок программы предполагаемого к составлению словаря современного русского литературного языка и выяснения деталей плана организации самих работ» (АРАН96, л. 19). По итогам обсуждения было принято следующее решение: «а) Признать составление указанного словаря возможным и даже желательным с привлечением к работе Росс[ийской] Академии Наук и отдельных ученых специалистов не из числа членов академии, но известных своими знаниями и опытом в этом деле. б) Расширить организационное Бюро по выработке программы словаря, включив в его состав П. Н. Сакулина, Н. Н. Дурнова (такая форма в тексте. — *О. Н.*) и А. Е. Грузинского. <...>» (АРАН96, л. 2).

В документах делопроизводства Редакционного комитета сохранился план

«Русского словаря Главнауки Акцентра НКП»:

Заглавие: — Справочный иллюстрированный словарь Русского Живого Литературного языка.

Цели словаря: — Дать картину современного литературного языка в его словаре, а также служить, в особенности второй своей частью, образовательным целям (подобно Larousse), см. п[ункт] состав словаря.

Состав: — I: Предисловие, заключающее в себе руководство к пользованию словарем и самые необходимые сведения по грамматическому строю русского языка, а также указания на цели и состав словаря, объем использованного для него материала и пр. II. Текст основной словарной части.

III. Текст справочной историко-географической части.

Объем словаря: — 2 тома по 60—70 п[ечатных] листов каждый, считая в листе 80000—10000 знаков в 2 колонны. <...>

Иллюстрации: — Около 100 таблиц на вкладных листах. <...>

Тираж: — Будет определен Наркомпросом, но во всяком случае не менее 10000 эк[земпляров] (АРАН96, л. 11).

Примечателен последний пункт плана — «предполагаемые клиенты нового словаря: школа, инородцы и вообще население России, нуждающееся в современном справочном пособии при чтении новой и новейшей русской литературы, газеты, журнала и пр.» (АРАН96, л. 11).

Если о первой (словарной) части издания мы можем иметь некоторое представление, так как она идет в традиционном русле русской академической шко-

лы, хотя и обладает специфическими отличиями и рядом новшеств (о них см. далее), то справочный раздел у толкового словаря — явление необычное (для России). Известен, по крайней мере, один такой источник, совместивший оба эти компонента: «Малый Толковый словарь русского языка» П. Е. Стояна, выпущенный несколькими изданиями (см., например, 3-е изд. — Пг., 1916) и составленный «по образцу Даля и Ляруса». Поэтому представляется небесполезным вкратце рассказать о том, что намеревались включить в «историко-географическую часть». На нее предполагалось «отделить до 15 листов», куда распределились бы следующие компоненты:

1. ОКОЛО 2000 ИМЕН ГЕОГРАФИЧЕСКИХ (...).

2. ОКОЛО 3500 ОБОЗНАЧЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ древней, средней, новой и новейшей истории в пропорции, возрастающей количественно по мере приближения к современности; качественно же выбор событий мог бы определяться подобной же возрастающей прогрессией, идя от области чисто военной к религиозной, политико-социальной и культурной в широком смысле.

3. ОКОЛО 4000 ИМЕН ИСТОРИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ во всех областях жизни (...).

4. ОКОЛО 500 СЛОЖНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (...)
(АРАН96, л. 4).

Заметим, что 3-й пункт в этой схеме стал предметом ожесточенной полемики и обвинений критики в адрес ушаковского ТС 1930-х гг., особенно религиозная и культурная составляющие.

Вскоре были составлены «Руководящие указания для составителей русского словаря», где расписывались грамматические, морфологические и лексические принципы отбора слов, подача помет,

унификация сокращений и другие практические вопросы. Так, считали, что «при составлении текста словаря желательно, где только возможно, использовать систему словарных гнезд» (АРАН96, л. 6). Из него исключались диалектизмы и профессионализмы, названия букв, местоименные слова, междометия, предлоги, союзы, а также наречия, «равные по форме ср. р. прилагательных кратких — *свежо, хорошо*» (АРАН96, л. 6 об.). В «Дополнении к инструкции редакторам» подробно разбирались части речи. О глаголе, в частности, сказано: «В прошедшем времени отмечать необычные формы, как: — *исчезнуть* — *исчез, жечь* — *жег, жгла*, и те случаи, где в женском роде ударение на конце — “подняла”» (АРАН96, л. 8). В черновых набросках сохранилась и другая «Инструкция для пользования Словарем». Вот ее фрагмент:

Построить по способу указаний, напр(имер), слово на ница — ищи в сущ. м. р.: если есть при нем — ница, то там будет, если нет, то не будет (напр(имер): ученик, но: задник).

Слово на ниѐ — ищи значение в глаголе, хотя там этого слова и не будет: значение его извлекай из глагола.

Приставки. Глаголы с приставками (очевидными?) — см. сначала в «ряду»; если нет, то это значит, что значение сложного глагола = значению несложного + значение приставки.

Сложные слова: *восьмилетний*. Если нет, значит 8+год (АРАН97, л. 35).

И далее весьма примечательная ремарка:

Первое, что нужно: «новые слова помещены в словаре» (АРАН97, л. 35 об.).

В дневниковых записях Д. Н. Ушакова имеются и другие небезыңтересные детали научного обсуждения издания. Вот что он пометил относительно слов

иностранный происхождения: «Все явно устарелые — исключаются. Критерием для включения “иностранных” слов может служить наличие их у писателей, употребительность. Так, прилагательное “авангардный” сохраняется в гнезде» (АРАН97, л. 4). К «Предисловию» словаря отнесены следующие ремарки: «Отнюдь не “рекомендация” этих слов, это не словарь слов, какими надо писать, а объяснение того, что писано было» (АРАН97, л. 13). Редакции Д. Н. Ушаков делал такие предложения:

Слова с малой буквы.

Краткое грамматическое введение (нек(ото)рые положения, с к(ото)рыми придется иметь дело читателю).

Местоимения не только в им. п., но и косвенных (...).

Ударение везде.

Виды (м(ежду) прочим) для иностранцев).

Залоги (АРАН97, л. 13).

Несмотря на обширные хронологические рамки словарного фонда, который намеревалось включить в издание, Д. Н. Ушаков в черновых набросках к Предисловию, в частности, писал:

Но не все слова: потому что

- 1) всех, буквально всех, невозможно дать, поскольку они не зарегистрированы
- 2) известные категории исключены
- 3) размер Словаря
- 4) «специальные» термины исключ(ены) (АРАН97, л. 34).

Из последних отбирались только «специальные» «в широком смысле», т. е. «допущенные в словарь термины, общепонятные и общеизвестные, употребляющиеся не в специальном разговоре» (АРАН97, л. 34).

Поскольку читателями («клиентами») словаря его авторы видели самые широкие массы людей («школа», «иностранцы», «население России, иностранцы»), то

справедлив такой вопрос: «Какая справка м(ожет) б(ыть) наведена в Сл(оваре)?» (АРАН97, л. 34 об.) В дневниковых записях Д. Н. Ушакова читаем:

1. Есть ли такое-то слово в «языке». Но если в Слов(аре) нет, то еще не значит, что в языке нет. Ищи возможность в способах словообразования — н(а)пр(имер), «вгружать» — в Словаре не будет. Это значит, что слово такое м(ожет) б(ыть) образовано, понято, но необщеупотребительное.

1. Если слово есть в Сл(оваре), это значит, что оно распространенное, обычное, вполне надежное.

II. Слова редкие, свойственные одному писателю или однажды им употребленные — отмечены именем автора (АРАН97, л. 34 об.).

Из «народных» слов (Д. Н. Ушаков приводит в качестве примера *жадовать*) предполагается использовать «только вошедшие в употребление (*жадюга*)» (АРАН97, л. 36).

Из Журналов заседаний хорошо видно, какие первоочередные задачи решались Бюро. Так, на заседании 23 / VI 1921 г. обсуждались хронологические рамки материала, объем, состав и сроки издания, 26 / VI шел разговор в том числе и об объеме материала прессы, 14 / VII происходила дискуссия по поводу плана, сметы издания, пайков его участников. Тогда же «принято наметить в состав редакторов» «по буквам из членов Редакционного Комитета Д. Н. Ушакова, Н. Н. Дурново, А. Е. Грузинского», а в члены Совета были предложены кандидатуры М. Н. Петерсона, М. В. Сергиевского, А. Д. Седельникова, И. Г. Голанова, Н. П. Сидорова, А. М. Пешковского, А. М. Селищева и Н. И. Шатерникова (АРАН96, л. 24).

В Журнале заседания Бюро от 19 / VII 1921 г., кроме распределения занятий, обсуждались и вопросы, «связанные с переездом от Комитета в Петроград в

Комитет Академии Наук» (АРАН96, л. 25). Такой шаг был вызван необходимостью привлечь к работе научные кадры северной столицы и ее богатые словарные фонды. Для этого в Петрограде организовали рабочую группу во главе с Л. В. Щербой, куда вошли также С. П. Обнорский, П. Л. Маштаков и другие ученые, которая занялась подготовкой (вместе с московскими коллегами) карточки словаря [см. также: Левашов, Петушков 1975: 77]. Постановили просить АН о следующем: «1) разрешить использовать для нового словаря как напечатанных, так и ненапечатанных словарных материалов Академии[;] 2) предоставить Москве для работ по словарю до 30 комплектов вышедших выпусков Академического словаря

Вместе с тем принято, — говорится далее в протоколе, — 1) организовать в Петрограде рабочую группу в 5—6 чел. Под руководством одного из квалифицированных петроградских филологов (предпочтительно намечается Л. В. Щерба)» (АРАН96, л. 25) и «⟨...⟩ 3) выяснить точный список авторов, использованных Академией Наук, и степень их использования», а также «4) ознакомиться с техникой словарной работы, ведущейся в Академии Наук» (АРАН96, л. 25 об.).

В протоколе заседания Бюро от 4/VIII 1921 г. показано, что «получено согласие и Л. В. Щербы организовать в Петрограде рабочую группу сотрудников по словарю в составе 5—6 чел.» (АРАН96, л. 28). Однако ситуация еще некоторое время продолжала оставаться неопределенной. Л. В. Щерба писал об этом Д. Н. Ушакову 30 октября 1921 г. (полный текст письма см. в Приложении): «Главное-же, хотелось-бы выяснить, насколько все дѣло солидно. Вѣдь из Москвы нѣтъ ничего: ни извѣстій, ни денег на оборудованіе помещенія и на переѣзд туда, ни жалованья. Неоднократно писа-

лось обо всем этом, при случа[е] говорилось, а воз и ныне там. Главное [—] никто ничего не пишет. Ни одна моя просьба не исполнена, т⟨ак⟩ ч⟨то⟩ я начинаю думать, что ничего вообще нѣтъ, и я здѣсь зря людей морочу» (АРАН Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 3а—3а об.). Об обстановке, в которой работали ученые, есть любопытное свидетельство: «Петроградская группа этой комиссии по составлению словаря русского языка заседала в общем читальном зале Академии наук. Здание не отапливалось. Приходилось работать в шубах и валенках. Зимой 1921 года этой группе выделили новое помещение, и всю составленную карточку пришлось перевозить на салазках, так как другого транспорта не было» [Гак 1964: 2]. Но и далее постоянно возникали затруднения из-за отсутствия денег и невыезда пайков, сокращения штатов и неясных инструкций о том, какие слова отбирать. Обо всем Л. В. Щерба подробно рассказывает в публикуемых нами письмах 1921—1923 гг.

Специально для этого Д. Н. Ушаков выезжал в Петроград, судя по имеющемуся подлиннику мандата, на период с 22 ноября по 5 декабря 1921 г. «для ознакомления с работами петроградской группы по составлению Русского словаря» (АРАН97, л. 1). В нем же говорилось: «Все учреждения и должностные лица, приглашаются оказывать тов. УШАКОВУ всемерное содействие в исполнении возложенного на него поручения» (АРАН97, л. 1). Кроме бытовых вопросов (оплата труда, пайки и т. п.), стоявших тогда на первом месте, Д. Н. Ушаков записал:

Вопросы Петербурга

⟨...⟩ 6) Полезно снабжать предложениями ⟨...⟩ доверенных лиц, могущих перевезти материалы Волхонка, 18 и 19, а в неслужебные Ушакову.

7. Примут ли петербуржцы участие в (...) редакции словаря (АРАН97, л. 9 об.).

Таким образом, расширялся не только состав работников, сведущих в словарном деле, но и значительно пополнялся лексический и вообще языковой фонд нового словаря, а наметившаяся работа велась согласованно и шла в русле академической традиции, что очень важно. Не оставались в стороне и лучшие лингвистические силы того времени — непременный секретарь АН академик С. Ф. Ольденбург и председатель ОРЯС академик В. М. Истрин [Левашов, Петушков 1975: 83].

Поскольку словарь должен был отражать современность, при отборе источников в него включили, кроме авторов произведений классической русской словесности, также публицистику, философию, литературу по марксизму и революционному делу, прессу, а консультантом по общественным вопросам был руководитель Академического центра известный историк-марксист М. Н. Покровский. В этой связи заслуживает внимания сделанный тогда же, 19 июля 1921 г., доклад А. Е. Грузинского «о списке авторов, которых необходимо использовать для словаря», по обсуждению которого был установлен «примерный список позднейших авторов, приблизительно с 90-х годов 19 века», а «в отношении авторов 19 века более ранних принимается исходить из списка словаря Р(оссийской) Акад(емии) Наук, в отдельных случаях его сокращая и пополняя, причем при сокращении этого списка принимается необходимым учитывать, перепечатывается тот или иной автор или нет» (АРАН96, л. 25 об.).

На следующем заседании 22 / VII дискуссия продолжилась докладами П. Н. Сакулина и Н. Н. Дурново, выступивших «по вопросу об установлении твердого первоочередного списка авто-

ров (...)» (АРАН96, л. 26). В Журнале отмечается, что П. Н. Сакулин предложил такую градацию: «(...) примерно в 90-х годах, — говорится в стенограмме его доклада, — обозначился новый весьма заметный сдвиг в русской художественной литературе, сказавшийся в очень большой степени и на ее языке. Начиная с этого времени, последовательно, а в некоторых случаях одновременно, выступает ряд литературных течений, из которых особого внимания заслуживают реалисты, символисты, футуристы, имажинисты, пролетарские и крестьянские писатели (разрядка наша. — О. Н.). По каждому из этих течений П. Н. [Сакулин] указывает наиболее стоящих внимания представителей» (АРАН96, л. 26). После обсуждения докладов Н. Н. Дурново и П. Н. Сакулина постановили наметить «первоочередной список авторов» в таком виде (для удобства мы расположили группы, каждую с отдельной строки).

1. Гаршин. 2. Бунин. 3. Зайцев. 4. Короленко. 5. Л. Андреев. 6. Горький. 7. Куприн. 8. Чехов. 9. Шмелев. 10. А. Н. Толстой (реалисты).

11. Брюсов. 12. Бальмонт. 13. Белый. 14. Блок. 15. В. Иванов. 16. Ф. Соллогуб. 17. Ремизов (символисты).

18. Северянин. 19. Хлебников. 20. Маяковский. 21. Пастернак. 22. Есенин. 23. Шершеневич (имажинисты).

24. Александровский. 25. Герасимов. 26. Казин. 27. Самобытник. 28. Ляшко. 29. Бессалько. 30. Сивачев. 31. Филипченко (пролетарские).

32. Клюев. 33. Орешин. 34. Ширяевец. 35. Клычков (крестьянские).

Интересен не только принцип «градации» направлений, языковые средства которых составители намеревались использовать в словаре, но и подбор авторов и их расположение по тем или иным

течениям. Все это — весьма любопытные факты для истории науки. Нас же интересует, какую общую концепцию хотели претворить в жизнь ученые. Из прилагавшихся списков источников для Словаря русского языка были выделены: «А. Писатели, использованные Академией наук», «Б. Писатели, привлеченные **вновь**» (заметим, что их перечень значительно больше предложенного П. Н. Сакулиным) и «В. Периодические издания» (АРАН96, лл. 15—15 об.).

В первую группу вошли: Л. Андреев, Боборыкин (не полностью), Бунин, Гаршин, Герцен, Гончаров, Горький (не полностью), Грановский, Григорович, Добролюбов, Достоевский, Ключевский, Кони, Короленко (не полностью), Костомаров, Куприн, Лесков, Мамин-Сибиряк (не полностью), Мельшин (не полностью), Мережковский (не полностью), Михайловский Н., Некрасов, Островский, Писарев, Писемский, Салтыков, Соловьев, Толстой А. К., Толстой Л. (не полностью), Тургенев, Успенский, Фофанов, Чехов, Чириков, Эртель (не полностью) (АРАН96, л. 15).

Во вторую включили таких деятелей словесного искусства, как: Александровский, Анненский, Арцыбашев, Асеев, Ахматова, Бакунин, Балтрушайтис, Бальмонт, Белый, Бессал[ь]ко, Блок, Брюсов, Бухарин, Вересаев, Герасимов, Гиппиус, Городецкий, Гумилев, Гусев Оренбургский, Демьян Бедный, Есенин, Зайцев Б., Иванов Вяч., Игорь Северянин (в перечне он употреблен именно в такой последовательности), Казин, Каменский Вас., Кирилов, Ключков, Клюев, Кондурушкин, Кропоткин П., Кузмин, Ленин, Луначарский, Ляшко, Мариенгоф, Маяковский, Морозов Н., Новиков И., Орешин, Пастернак, Плеханов, Пришвин, Ремизов, Самобытник, Серафимович, Сергеев-Ценский, Сивачев, Соловьев Влад., Сол[д]огуб Ф., Телешов, Толстой А. Н.,

Филипченко, Хлебников, Шершеневич, Ширяевец, Шмелев (АРАН96, лл. 15—15 об.). Всего же в окончательном списке авторов, используемых вновь, оказалось 73 имени: к перечню добавили в том числе М. Н. Покровского, Мандельштама и Цветаеву (последняя фамилия приписана от руки). К некоторым сделаны примечания. Так, у Мережковского предполагалось использовать все произведения за исключением «Пророка русской революции» и «Не мир, а меч» (АРАН96, л. 16 об.).

Кроме авторов, указанных в списке источников словаря, «имеется в виду дополнить просмотр писателей, не до конца использованных Академич(еским) Словарем» (АРАН96, л. 15 об.).

Наконец, третью группу составили периодические издания, куда вошли «главные столичные газеты и журналы с 1905 года», «думские отчеты», «газеты и журналы революционного времени по настоящий момент» (АРАН96, л. 15 об.).

Как можно заметить из представленного списка, в нем присутствует довольно пестрая палитра для намеченного цитатника: и писатели-классики, поэты, драматурги, и историки, юристы, деятели государства и вожди революционного движения, философ Соловьев, есть и малоизвестные фамилии и т. д., уже сами по себе разнящиеся и по «направлениям», и по стилю, и по языку своих произведений. Среди них, как можно заметить, немало новых писателей и поэтов. Как быть с ними? Д. Н. Ушаков записал: «Фиксировать все — не было намерения. Объяснять непонятные?» (АРАН97, л. 34 об.). Но все же поражает широта охвата источников и, если угодно, энциклопедичность подхода ученых к составлению первого толкового словаря новой эпохи. Делая набросок Предисловия к нему, Д. Н. Ушаков пометил, что это не только запас слов современного русского лите-

ратурного языка и языка образованных людей, но также научного и разговорного (АРАН97, л. 34). Под понятием «современный» подразумевалось использование лексических средств из произведений художественной литературы «не раньше Пушкина, Грибоедова, басен Крылова» (АРАН97, л. 34), а Жуковский, по мысли Д. Н. Ушакова, уже не входил в список рекомендуемых источников.

Пока еще действовали старые порядки, и власть активно не вмешивалась в научную работу, а Академия была независимым выборным органом, можно себе представить, какой грандиозный замысел приходилось реализовывать составителям, имевшим своей целью охватить по возможности весь строй литературного языка прежней эпохи, все его стили и разновидности, а также впервые — язык революционной эпохи, периодики, прессы. Однако в отборе писателей прослеживается любопытная деталь. Интересно проследить, кому же отдавалось предпочтение — теоретикам марксизма, пролетарским писателям? Отнюдь нет. Было создано более 130 тысяч карточек, куда заносились слова и цитаты из указанных авторов XIX—XX вв. Из них наибольшее количество выписок оказалось у Вяч. Иванова (6975), за ним следовал Лесков (6150), далее шли Демьян Бедный (5482), Шмелев (5368), Маяковский (5067), Клюев (4926), Каменский (4861), Вересаев (4260). Это самые цитируемые источники. Для сравнения скажем, например, Ленин имел 3770 карточек, а Луначарский всего 791 (АРАН96, л. 17). Количество слов, выписанных из прессы, оказалось более 27 тысяч. Эту работу проводили И. Г. Голанов, Данилов, Заяицкий, Ордынский, И. Л. Поливанов (АРАН96, л. 17 об.). Создатели карточек назывались «выборщиками», а сама она имела такой вид:

КАРТА	
Слово	формы
Писатель	
Материал	
Цитата с указ(анием) произв(едения)	

(АРАН97, л. 14).

Сюда привлекались и известные ученые, и специалисты-словарники, и молодые исследователи. Заметим, что кроме А. А. Буслаева, многие сотрудники были членами Московского лингвистического кружка: и Р. О. Шор, и М. Н. Петерсон, и А. М. Пешковский; а Н. Н. Дурново и Д. Н. Ушаков являлись почетными членами МЛК. Вот список выборщиков, собственноручно составленный Д. Н. Ушаковым: А. М. Пешковский, Н. И. Шатерников, С. Я. Мазе, А. И. Ромм, Н. В. Васильев, Е. Н. Коншина, Р. О. Шор, О. И. Гапонова, В. А. Дружинина, А. Д. Седельников, Н. Г. Мартынова, С. М. Соловьев, М. М. Кенигсберг, П. П. Свешников, В. В. Баранов, В. Н. Каменев (АРАН97, л. 12). Со временем к ним добавились Б. В. Горнунг, А. А. Реформатский, Д. Д. Благой, В. И. Пичета и некоторые другие. Среди «авторов» словаря Д. Н. Ушаков в одном из черновиков обозначил также имена Грушки, Мендельсона, Позднякова, Шнейдера, Челпанова и упоминавшихся уже Селищева и Сергиевского (АРАН98, л. 13 об.). Любопытно проследить, над какими писателями работали выборщики. Так, Н. И. Шатерников обрабатывал Анненского, Клюева, Короленко, Самобытника, Р. О. Шор — Морозова и Шершеневича, Б. В. Горнунг — Асеева, Хлебникова и Мандельштама, А. А. Реформатский — Кондурушкина и Пришвина, А. М. Пешковский — Ремизова, Д. Д. Благой — Ленина и Плеханова и т. д. (АРАН96, л. 17).

О том, как работали выборщики, свидетельствует письмо А. Д. Седельникова Д. Н. Ушакову:

Глубокоуважаемый
Дмитрий Николаевич,

пользуюсь случаем сообщить, что просмотрев бывших у Васъ выборщицких карточек на бе² сдѣланъ, приче́мъ внесены кое-какія очень немногія дополненія въ «Б». Что же касается пользованія Словаремъ Стояна, то онъ служилъ при работѣ и ранѣе все время, и потому все время устранялись пропуски въ словарномъ матеріалѣ, набранномъ выборщиками по принципу «чего нѣтъ у Стояна».

Преданный Вамъ А. Се́дельниковъ³
[Москва] 12 — X — 1923
(АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 33.
Л. 1. Автограф).

Не без спора и сомнений решались те или иные вопросы. В октябре 1921 г., когда активно разрабатывался план нового словаря, Д. Н. Ушаков записал в своем дневнике: «Стоян. Иное значение. Значения не определен(ия) <...>. Род только от слов на ь <...>. Косв(енные) п(адежи) в особых случаях. Им(енительный) мн(ожественного) — в случае паралл(ельности)» (АРАН97, л. 14). И далее: «Искать словари Стояна» (АРАН97, л. 14 об.). А. М. Пешковский, известный и авторитетный языковед и методист, предложил «отказаться от Стояна»⁴:

² Так в тексте письма.

³ А. Д. Седельников — филолог-русист, архивист, научный сотрудник Государственного исторического музея (Москва), давний знакомый Д. Н. Ушакова.

⁴ Здесь и далее речь идет об обсуждении «Малого толкового словаря русского языка» П. Е. Стояна — это один из первых опытов однотомного словаря, включившего современный (по тому времени) лексический фонд. Возможности использовать

«для улучшения Словаря» и «для сохранения времени» (АРАН97, л. 15). Он выдвинул следующие аргументы (в записи Д. Н. Ушакова):

I. Стоян — не рамки совр(еменного) л(и)т(ератур)н(ого) яз(ык)а⁵

1. Пропадет соврем(енная) л(итература) <...>

2. Слова из Стояна — будут плохо определены

II. Невыгодно

Выписка — больше времени, чем без Стояна <...>

Производных слов Стоян не выписывает <...>

Неудовлетворительность объяснения (сужение значения, отсутствие определения формальных слов) —

Редакционная работа⁶ сокращается

Выборщику даны бо́льшие полномочия, чем следует

Понижается оплата труда 3 т(ысячи) — 9 т(ысяч) в час

Усложняется инструкция

Эволюция — не от книжности к живости, а просто⁷ <...> (АРАН97, лл. 15—15 об.).

Там же Д. Н. Ушаков фиксирует, что Н. И. Шатерников имел противоположное мнение (тезисы отсутствуют).

Итогом октябрьского обсуждения стала записка, сделанная Д. Н. Ушаковым⁸, с характерным заголовком следующего содержания:

О столе

Мне кажется, что я предлагаю то, что все мы думаем, но что для меня оконча-

его опыт активно дискутировались Д. Н. Ушаковым и его коллегами.

⁵ Строка зачеркнута.

⁶ Далее написано и зачеркнуто: облегчается.

⁷ Слово зачеркнуто.

⁸ Как и почти все его пометы в дневниках — автограф простым карандашом.

тельно формулируется тем обсуждением в связи с докладом Пешк(овско)го.

Если слово есть у Стояна, то в «обычном» значении его не выписывать.

Справляться с значением не нужно. Всякое мало-мальски необычное или показавшееся таковым (ср. «сомнения» — в пользу выписки), выписывается, хотя бы оно было и у Стояна. Этим сохраняется выборщический материал для определения значений⁹.

Остается вопрос об «обычном». А он всегда невидимо присутствует и решается априорно, субъективно.

Производные - -¹⁰

Вместо Стояна — другой (АРАН97, л. 16 об.).

В дневниковых заметках содержатся и другие интересные и лаконичные комментарии к происходившим событиям, раскрывающие подлинную лабораторию творческой мысли создателей словаря, фрагменты дискуссий, замыслы... Передадим их в порядке следования, исключая повторы и незначительные ремарки.

28 / X 921

О Стояне

СПб? Список авторов

Выборка слов из Акад(емического) Слов(аря) (напечатанного)

Сакулин 28 / X 921

Тип словаря. Какие новые¹¹ потребности вызвали его?

Появление массового читателя (пролет(арии) и инород(цы)).

Новые процессы жизни в самом лит(е- ратурном) яз(ык)е.

Цель практическая, а не научная.

Словарь для справок.

⁹ Далее в строке в круглых скобках следует начало недописанного (и зачеркнутого Д. Н. Ушаковым) предложения: не по одному.

¹⁰ Так в тексте.

¹¹ Слово приписано над строкой.

2 пласта: основной и современность.

Может отсутствовать: союзы, частицы, междометия («например»).

Лаконизм определений в словаре.

«Переработка» словарей + свой новый¹² материал.

Словарь Академии + Стоян + карточки.

Работа: обработка Акад(емического) Словаря, Словаря Стояна и поступающих карточек.

1. Ответств(енный) редактор.

2. Секретарь.

3. Твердый состав сотрудников.

4. Обязат(ельный) minimum работы сотрудников.

5. Оборудование помещения для работы (м(ежду) проч(им) библиотека).

6. Оплата труда.

Тип живого л(итерату)рного языка¹³ [нашего? времени] для справок массового читателя («с Пушкина до наших дней») + обиходного языка (АРАН97, л. 17).

Инородцы? Словарь русского языка на русском языке.

Школа? (...)

«Словарь живого¹⁴ русского литературного языка» (...).

Словарь не ключ к пониманию всякого писателя, не «комментирование» автора.

Работа Акад(емический) Словарь

Словарь Стояна | Его недостатки не имеют значения для нашего словаря

Очередное:

Список писателей

Акад(емический) словарь

Предисловие

Обработка карточек по мере их поступления

¹² Слово приписано над строкой.

¹³ Указанное и последующее слова приписаны над строкой.

¹⁴ В тексте символ, обозначающий меню порядка слов «живого» и «русского».

Пересмотр сотрудников <...> (АРАН97, л. 17 об.).

1) Гливенко — административный центр, офици(иальный)¹⁵ ответственный.

2) Редактор, ответственный за содержание работы, А. Е. Грузинский.

3) Секретарь в распоряжение обоих <...>

А. А. Буслаев — проба 2 недели.

2 / XI

Особые приемы выборки из прессы:¹⁶

1) слова из областей, с которыми газета подходит к читателю.

2) Слова, порожденные войной и революцией.

9 / XI

[Слушали]

1. Выбор по буквам.

2. Словарь вм(есто) Стояна.

3. список писателей — утверд(ить)<...>.

[Постановили]

1. Остаться при старом способе. Редакция м(ожет) начать и раньше путем отбора у сотрудников карточек на известную букву.

2. Принять, пока при Стояне, — большие Макарова и(ли) Павловского (АРАН97, л. 18).

16 / XI 921

Объем и расчет Словаря Грузинский 60—75 лл. <...> (АРАН97, л. 18 об.).

Доклад систематический о невходящих категориях Дурново и Грузинского

Список писателей — Сакулин <...> (АРАН97, л. 19) <...>.

14 / XII 921

<...>-вание, -ывание — можно не вносить;

-ние исключить,¹⁷ если действие по глаголу <...> (АРАН97, л. 19 об.).

¹⁵ Такое написание в тексте.

¹⁶ Далее в строке написано и зачеркнуто: область.

¹⁷ Слово написано под зачеркнутым фрагментом: вносить в конец.

21 / XII 921

Дурново — расположение по гнездам.

Что во главе гнезда? Сакулин: такое слово, из к(ото)рого ясно значение остальных. Для редких слов — отступление: *дикий* -ость *жадный* -ость, но отдельно: *жадняк* <...> (АРАН97, л. 20).

5 / I 1922

Слова собственные, ставшие нарицательными, — в Справочную часть <...> (АРАН97, л. 20 об.).

Слова, имеющие чисто грамматическое значение, опускаются <...>

Не превращать Словарь — в Словарь иностр(анных) слов (АРАН97, л. 21) <...>¹⁸.

23 / II

«В» Щерба — редактор? <...>

Принципы иллюстрирования словаря [—] Грузинский <...> (АРАН97, л. 21 об.)¹⁹.

27 / IV

Щербе: присылать на А, Б, В, Г, Д слова, лишь отсутствующие у Грота.

На 4 / V доклад Н. Н. Дурново о системе глаг(ольных) гнезд. <...>

На 11 / V пересмотр списка писателей. <...>

Словарь — 120—130 лл. на 2 тома <...>

Гудзий — канд(идат)²⁰ в редакторы букв. <...>

Доклад Дурново. Глаг(олы) с приставками <...> (АРАН97, л. 22 об.).

«Справочный словарь» живого русского литератур(урного) языка»

Кодекс для «наших» инородцев с иллюстрациями

11 / V

Список писателей:

¹⁸ Далее следуют записи Д. Н. Ушакова от 9 / II и 16 / II — пропускаем.

¹⁹ Далее следуют записи Д. Н. Ушакова от 6 / III, 16 / III, 23 / II, 30 / III — пропускаем.

²⁰ Указанное слово с предлогом приписаны над строкой.

Меньшик(ов?), доп. — не брать; Мандельштам — взять; Цветаева — взять.

Дополнить: Ремезов²¹, Серафимович, Есенин.

29 / V

А. Г. Д. — А. Е. Грузинский; Б. — Ушаков; Е. Ж. — Дурново; З. — Пешковский²² Сидоров Айх(енвальд)?; К. — Пешковский (АРАН97, л. 23).

15 / VI

⟨...⟩ Редактору: ревизия причастий! Чтоб не упустить особенностей ⟨...⟩

29 / VI

⟨...⟩ Петерсон теперь отказывается, Сидоров сейчас не может до ноября

Отчет Щербы с 20 / V — 20 / VI (АРАН97, л. 23 об.).

Айхенвальд [—] З. Пешковский? ⟨...⟩ (АРАН97, л. 24).

20 / VII 922

Работников на разборку по²³ алфавиту — побольше! ⟨...⟩

Дурново еще дать букву Л (АРАН97, л. 24 об.).

Представленные записи свидетельствуют, насколько серьезным, научным и одновременно практичным был подход ученых к составлению словаря. Кажется, им удалось обсудить почти все детали — от технических до профессионально-лингвистических. Главное же состояло в том (и это хорошо видно из дискуссий участников), что словарь не может повторять предыдущий лексикографический опыт, он не может быть и компиляцией сделанного ранее. Новые процессы в жизни общества отражаются в языке, который требует анализа и грамотной оценки. Осуществить все это в короткий срок крайне сложно. Оттого, наверное,

²¹ Такое написание в тексте.

²² Указанная и следующая фамилии ученых зачеркнуты.

²³ Предлог приписан над строкой.

тогда еще не существовало единых принципов отбора лексики и ее фиксации в подобных изданиях. Авторы этого проекта хорошо осознавали, на какие жертвы им пришлось идти и с какой критикой довелось бы встретиться. Ведь все еще только начиналось... Д. Н. Ушаков обмолвился однажды в письме к своему петроградскому коллеге В. М. Истрину: «⟨...⟩ ясно, что заняла бы она (Работа. — О. Н.) годы и годы» (СПбФ Архива РАН. Ф. 332. Оп. 2. Ед. хр. № 169. Л. 10).

Составители руководствовались не только собственными выборками из произведений художественной литературы, прессы и революционной печати. При отборе слов был учтен и предыдущий опыт, а именно, как можно заметить из черновых записей Д. Н. Ушакова, к работе были привлечены: «Словарь русского языка», издаваемый Академией наук и его богатейшая картотека (опубликованные и неизданные материалы), «Малый Толковый словарь русского языка» П. Е. Стояна (3-е изд. — Пг., 1916) и его же «Краткий Толковый словарь русского языка» (СПб., 1913), а также «Полный французско-русский словарь» Н. П. Макарова (13-е изд. — СПб, 1908), «Русско-немецкий словарь» (3-е изд. — Рига, 1911) и «Немецко-русский словарь» (4-е изд. — Рига, 1911) И. Я. Павловского, «Энциклопедический словарь» Ф. Ф. Павленкова (5-е изд. — СПб., 1913), «Новый полный словарь иностранных слов, вошедших в русский язык» Е. Ефремова под редакцией И. А. Бодуэна де Куртэнэ (М., 1911); в Журнале заседаний Бюро от 29 июля 1921 г. есть запись об обсуждении «Толкового и словопроизводного словаря русского языка для школы и самообразования» Г. А. Миловидова (М., 1913) и необходимости привлечения его к работе (АРАН96, л. 27).

Но несмотря на возникшие уже в 1922 г. трудности, деятельность автор-

ского коллектива не прекращалась. В Докладной записке председателя Редакционного комитета А. Е. Грузинского и секретаря А. А. Буслаева от 12 / XI 1922 г. «Справочный словарь живого великорусского языка» тов. Горбунову (направленной «через И. И. Гливенко») сообщалось: «Работа — в полном ходу и уже прошла несколько стадий. Члены Редакционного Комитета просмотрели все печатные выпуски Академического Словаря; петроградские сотрудники с проф. Л. В. Щербой во главе отобрали и переписали свыше 29.000 карточек (из миллиона академических карточек); московские сотрудники — “выборщики” вновь изучили для целей Словаря 67 писателей, в большинстве современных нам авторов, и значительную часть периодической печати, начиная с первых лет XX века; получилось новых карточек около 130.000. Предварительное собирание материалов закончилось: Словарь обладает ныне 160.000 карточек, а с имеющими поступить из Петрограда количество это достигнет 185—190 тысяч. (...) На очереди окончательное редактирование слов для печати. Эта ответственная работа выполняется пока семью лицами: проф. А. Е. ГРУЗИНСКИМ, проф. Н. К. ГУДЗИЕМ, проф. Н. И. ШАТЕРНИКОВЫМ, проф. Н. Н. Дурново (так в тексте. — *О. Н.*), С. П. ОРДЫНСКИМ, проф. А. С. ОРЛОВЫМ, проф. Д. Н. УШАКОВЫМ. До сих пор полностью сработаны буквы В, частично буквы Б, Г, Д, З, И, К и Л, т. е. близка к концу вся первая половина алфавита. Вторая (историко-географическая часть) Словаря вчерне выполнена до конца.

1) Если бы довести количество “буквенных редакторов” до десяти, то через 10—12 месяцев Словарь мог бы быть готов к печати» (АРАН96, лл. 3 об., 5).

Итак, к работе над словарем были привлечены лучшие силы, которые в те-

чение 1921—1923 гг. титаническими усилиями создавали лексикографический труд исключительной ценности. Но тогда же в Докладной записке выражались недоумение и горечь по поводу определенных трудностей: «К сожалению, — говорится далее, — чем ближе конечная цель, тем более препятствий оказывается на пути. Неожиданно возникли было сомнения относительно самой возможности печатать Словарь. Теперь, после переговоров с Госиздатом, эти опасения, по-видимому, можно считать ликвидированными. Но зато все чаще и чаще возник[а]ли иные затруднения материального порядка. (...) За последние месяцы текущего года они достигли особенной остроты. Пайковое снабжение прекращено. Вознаграждение сотрудникам всех рангов выплачивается по низким ставкам и столь неаккуратно, что в течение уже двух месяцев не производилось никакой выдачи. Работоспособность падает. Некоторые “буквенные редакторы” взяли свое обещание назад. Привлечение новых лиц становится невозможным: было несколько случаев отказа со стороны нужных для словаря специалистов. Предприятие, которому обещаны особые условия существования, переживает какой-то затяжной кризис, находится под угрозой распада. (...)» (АРАН96, л. 5). В заключение говорилось: «Редакционный Комитет почитает своим долгом обратить внимание подлежащей власти на создавшееся положение вещей и надеется, что будут найдены достаточные средства для завершения дела, которое было начато по инициативе свыше и в интересах трудовых масс» (АРАН96, л. 5).

Заметим, что издание продумано было не только с лингвистической точки зрения, но и с технологической стороны. Это свидетельствует о том, насколько ответственно относились авторы к возложенному на них делу. Так, в частности,

«к работе над художественным оформлением словаря привлекли замечательного советского художника и скульптора Н. А. Андреева» [Гак 1964: 2].

И хотя еще «в марте 1922 года О. Ю. Шмидт, работавший тогда заведующим Госиздатом, дал указание отпечатать словарь в академической типографии», а «к осени 1923 года работа над первым томом завершилась» и «его должны были пустить в набор» [Гак 1964: 2], этого не случилось.

В дальнейшем, однако, ситуация еще более усугубилась, и к осени 1923 г. работа была приостановлена. 21 / IX 1923 г. из Главнауки поступило распоряжение от ее заведующего тов. Ф. Н. Петрова (мы располагаем копией этого документа), в котором предписывалось: «С 1-го октября Петроградское Отделение Русского Словаря будет считаться закрытым и отпуск кредитов на его содержание будет прекращен» (АРАН96, л. 33). А в распоряжении по Главнауке № 64 от 23 / X 1923 г. сообщалось: «С 1-го ноября с/г Редакция Русского Словаря (Московское Отделение) расформировывается, и ее 12 штатных единиц распределяются между учреждениями Главнауки следующим образом: а) в библиотеку Главнауки — 6 единиц, б) в особую Комиссию по вызову за границу — 6 единиц» (АРАН96, л. 33). Распоряжение подписал заведующий Главнаукой Ф. Петров. Это означало прекращение работы над словарем, хотя объективных оснований для такого шага не было. Д. Н. Ушаков писал: «В августе 1923 г. ревизия Словаря, произв(одившаяся) админ(истра)цией Главнауки, установила значит(ельную) ценность научную и практич(ескую) проделанной работы и высказала пожелание о продолжении работы <...>» (АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 98. Л. 2; далее при цитировании указывается только

лист архивного дела и используется сокращение АРАН98).

Записи происходивших событий (очевидно, это были заседания Редакционного комитета и Бюро или просто собрания сотрудников для обсуждения текущих вопросов) производились Д. Н. Ушаковым и позже, вплоть до 6 декабря 1923 г. (последняя запись). Однако чем ближе к концу, тем они менее содержательны, отрывочны, а после некоторых дат вообще нет никаких заметок. Недостаточное финансирование, сокращение количества сотрудников словаря, гибель Е. А. Литкенса и болезнь В. И. Ленина привели к постепенному замедлению работы. Вскоре она была приостановлена.

Позднее Н. Л. Мещеряков, один из участников событий тех лет, сочувственно вспоминал: «<...> работники тогдашнего Наркомпроса, очевидно, не понимали всей важности этого поручения (Ленина. — О. Н.). Начатое дело затянули, а потом и совсем забросили» [Мещеряков 1940: 4]. Д. Н. Ушаков же высказался более резко: «Ленин, пока был здоров, интересовался ходом работы, но в 1923 году звонки из Совнаркома прекратились. А к концу года коллегией Наркомпроса работа была прекращена, как “нерентабельная”, и редакционный комитет упразднен» [Ушаков 1940: 3]. По словам Д. Н. Ушакова, секретарю Р(едакционного) К(омитета) словесно было сообщено, что материалы постановлено передать в Ак(адемиию) Соц(иалистических) Наук (имеется в виду Коммунистическая академия. — О. Н.) <...>» (АРАН98, л. 2). Однако положение с фондами словаря было более чем неопределенным. Как ученый сообщал в докладной записке в Государственное издательство, «Соц(иалистическая) Ак(адемия) никакого письм(енного) распор(яжения) не получала (а м(ожет) б(ыть) не по-

лучила и до сих пор) <...>» (АРАН98, л. 2). В итоге ситуация складывалась крайне неблагоприятно, но и здесь составители не теряли надежды продолжить работу: «<...> все матер(иалы) без участия б(ывших) сотрудн(иков) Словаря были удалены из него в другое²⁴ помещение. Состояние этих матер(иалов) <...> в точности неизвестно. Надо надеяться, — пишет он далее, — что если при переносе были утраты, то они незначительны и что приведение в порядок материалов не потребовало бы больших затрат» (АРАН98, лл. 2—3).

Однако борьба за словарь на этом не окончилась. Д. Н. Ушаков неоднократно обращался в вышестоящие инстанции, в том числе и в Академию наук в лице В. М. Истрина (СПбФ Архива РАН. Ф. 332. Оп. 2. Ед. хр. № 169. Лл. 20—21) с настоятельными просьбами содействовать завершению работы и изданию к тому времени почти на половину готового словаря. Наконец, он самоотверженно боролся за сохранение уникальной картотеки этого издания и спасение ее от неминуемой гибели. Нам удалось найти документы и ознакомиться с трагическими событиями тех лет. Сохранился черновик докладной записки (его фрагменты мы цитировали чуть выше) ученого в Государственное издательство (1924 г.), где он, в частности, пишет: «К. С. Кузьминский, осведомившись через меня о состоявшемся по постановлению коллегии НКПроса прекращении работ по составлению Словаря р(усского) л(итературного) яз(ыка), производившихся при Главнауке, предложил мне, как участнику этих работ, дать сведения, пригодные для решения вопроса о возможности издания этого словаря ГосИздатом. <...>» (АРАН98, л. 1).

²⁴ В черновике указанное слово зачеркнуто.

Далее Д. Н. Ушаков предлагал такой план последующей деятельности по восстановлению словаря:

Для продолжения работ предстоит получить от Главнауки сработанный материал, перевезти его и дать ему место в каком-либо из помещений Госиздата, где можно было бы выдавать сотрудникам карточки, принимать их, а также можно было бы, при надобности, и заниматься самим сотрудникам, и где, наконец, материал был бы гарантирован от утраты. Необходимо известное оборудование <...>.

Наиболее целесообразным являлось приглашение Госиздатом комп(етентного) лица в качестве ответств(енного) редактора, который взял бы на себя организацию всей научно-литер(атурной) работы <...>.

Предстоящая работа, как явствует уже из приведенных выше данных, должна состоять

1) в²⁵ обработке для составления словарного сырого материала, т. е. карточек со словами <...> на буквы З, К, Н и далее до конца, и частично на Г и И, что должно составить до 100 л. и потребовать до 10 сотрудников («авторов») при расчете работы на 10 месяцев.

2) Составление слов(арного) текста на все буквы, т. е. до 120 л. помощниками редактора, числом 4, при расчете работы до 12 м(есяцев).

3) Окончательная ред(акция) всего ответственным редактором.

4) Составление предисловия и наставления к пользованию словарем. Сроки представления готового к набору материала: 20 л. через 2 м(еся)ца после начала работы и далее ежемесячно по 10 листов. <...> (АРАН98, л. 3).

В общей сложности к этому времени были обработаны и фактически подготовлены к печати буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, Л, М (АРАН98, л. 13).

²⁵ Далее в строке написано и зачеркнуто: составлении.

В итоге обсуждения проекта Д. Н. Ушакова постановили «ознакомиться с материалами словаря»; для этого была избрана комиссия в составе «компетентных» лиц: В. М. Фриче, В. Я. Брюсова и В. Ф. Переверзева (АРАН98, л. 6). Главным идеологом, по-видимому, среди них был В. М. Фриче, к тому времени известный и влиятельный деятель просвещения, литературовед и критик, публицист, руководитель Института языка и литературы, а также литературных отделов Института красной профессуры и Коммунистической академии; в конце 1920-х гг. редактировал ведущие литературно-публицистические журналы; в 1929 г. избран академиком АН СССР. В. Я. Брюсов еще в 1920 г. одним из первых откликнулся на идею создания такого словаря [Левашов, Петушков 1975: 64—66] и в 1919—1922 гг. занимал ведущие посты в Наркомпросе и Государственном издательстве, однако он скончался рано, в 1924 г. Наконец, последний из упомянутых деятелей, В. Ф. Переверзев, — литературовед и критик, автор статей и книг о Гоголе и Пушкине, в 1920-е гг. занимал марксистские позиции в литературоведении, являлся членом Коммунистической академии и даже выдвигался в 1929 г. в академики. Заметим, что в их числе нет ни одного лексикографа или лингвиста, сколько-нибудь знакомого со словарной работой и имевшего такой опыт. Как следствие, Д. Н. Ушаков лаконично резюмировал (в черновике): «Комиссия к работе так и не приступила» (АРАН98, л. 6).

В этом же деле содержится черновик со следующим отчетом (предположительно написанный не почерком Д. Н. Ушакова):

И. Относительно букв Г и И²⁶ желательна оговорка, что эти буквы почти сработаны.

²⁶ Зачеркнуто.

О буквах З, К, и Н можно упомянуть, что работа по ним велась и в некоторой части выполнена.

II. Карточек сработано выборщиками в Москве и Петербурге всего свыше 240.000, из них тысяч тридцать находятся у Щербы.

III. Ревизия Словаря была внутренней и общей ревизии учреждений НКПроса не касалась.

Эта ревизия установила значительную ценность научную и практическую проделанной работы. (...) Помещение Словаря сначала опечатано, а затем материалы без ведома сотрудн(иков) Словаря были²⁷ перенесены в другую комнату и там заперты (АРАН98, лл. 14—14 об.).

Далее вновь последовали письма Д. Н. Ушакова в Научно-исследовательский институт языка и литературы, Коллегию Наркомпроса и Коммунистическую академию с просьбами найти заброшенные материалы словаря и включить их в план работы. Ученый, судя по имеющимся записям, делал это неоднократно, в 1923 и 1925 г., и позднее.

Из письма (мы располагаем черновиком) в НИИЯЛ:

Директору Н. И. И. Я и Л.
От Предс(едателя) Лингв(истической)
секции того же Инст(итута)

В 1921 г. по мысли Ленина было начато составление словаря р(усского) лит(ературного) яз(ыка). Работа производилась под рук(оводством)²⁸ образ(ованного) при Главнауке редак(ционному) ком(итета) под предс(едательством) И. И. Гливенко. Несколькими десятками сотрудников выбран словарный материал из 70 (приблиз(ительно)) писателей, считая²⁹ и таких, которых произв(едения) были использованы

²⁷ Слово приписано над строкой.

²⁸ Следующие три слова приписаны над строкой.

²⁹ Далее в строке написано и зачеркнуто: в том числе.

⟨...⟩ выпущенными³⁰ выпусками Словаря Акад(емии) Наук, и таких, к(ото)рые ⟨...⟩ вовсе не исследованные, в том числе и самые³¹ новейшие; кроме того изв(естный)³² материал собран из периодической прессы, а также из произведений не худож(ественной) литературы, как произведений Ленина, Лунач(арского), Плеханова и др(угих). Наконец³³, был использован и еще³⁴ непечатанный ⟨...⟩ материал, собранный для Ак(адемического) Словаря, хранящегося в Петербурге. Всего круглым числом изготовлено и в М(оскве), и в П(етрограде) 200.000 карточек. Обработаны слова приблиз(ительно) на первую половину алфавита³⁵; буквы А—З нуждались только³⁶ в небольшой редакционной работе для сдачи в набор. Ныне постановлено коллегией НКПр(оса) работы по Словарю прекратить, ред(акционный) ком(итет) закрыть, а материалы передать в Ак(адемию) Соц(иалистических) наук³⁷. Зная, как участник прекращенных работ, высокую научную и литер(атурную) ценность собр(анного) материала, позволяю себе³⁸ предложить в Вашем лице³⁹ Институту взять на себя рабо-

ту по завершению начатого дела высокой культурной важности, а⁴⁰ для этого я прошу⁴¹ Вашего содействия передаче указанного материала Институту и помещению его в таком хранилище, где работникам⁴² мог бы быть обеспечен к нему⁴³ доступ. Мне представляется наиболее целесообразным помещение в Историч(еском) Музее или Унив(ерситетской) б(иблите)ке.

Работа по сост(авлению) сл(оваря) р(усского) лит(ературного) яз(ыка), по моему мнению, вполне⁴⁴ могла бы войти в круг работ нашего Инс(титу)та. В ней⁴⁵ могли бы принять посильное⁴⁶ участие ⟨...⟩ члены секций ⟨...⟩.

В случае благоприятного отношения к моему предложению я не замедлил бы представлять свои соображения по организации работ.

(АРАН97, лл. 31 об.—32 об.—32—30).

Вот фрагмент (без конца) другого его письма от 28 сентября 1925 г.⁴⁷:

Осенью 1923 г. Лингвистич(еская) секция (Д. Н. Ушаков был ее председателем в Научно-исследовательском институте языка и литературы. — *О. Н.*) обращ(алась) с просьбой к Ассоциации (имеется в виду Российская Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, сокращенно РАНИОН. — *О. Н.*) о возоб-

³⁰ Указанное и следующее слова приписаны над строкой.

³¹ Слов приписано над строкой.

³² Слово приписано над строкой.

³³ Далее в строке написано и зачеркнуто: в Петрограде особой группой был выбран подходящий мат(ериал) из не- (последнее слово обрывается. — *О. Н.*)

³⁴ Слово приписано над строкой.

³⁵ Далее в строке написано и зачеркнуто: и приготовлено оставало (последнее слово обрывается. — *О. Н.*)

³⁶ Слово приписано над строкой.

³⁷ Далее в строке написано и зачеркнуто: Обращая Ваше вним (последнее слово обрывается. — *О. Н.*)

³⁸ Далее в строке написано и зачеркнуто: просить Вашего содей (последнее слово обрывается. — *О. Н.*)

³⁹ Далее в строке написано и зачеркнуто: Н<аучно->Ис<следовательскому>.

⁴⁰ Последующие три слова приписаны над зачеркнутым в строке фрагментом: прежде всего.

⁴¹ Далее в строке написано и зачеркнуто: бы.

⁴² Слово вставлено в строку.

⁴³ Слово приписано над строкой.

⁴⁴ Далее слово в строке написано неразборчиво и зачеркнуто.

⁴⁵ Приписано над зачеркнутым в строке словом: В работе.

⁴⁶ Слово приписано над строкой.

⁴⁷ Мы цитируем автограф Д. Н. Ушакова, минуя мелкие зачеркивания и приписки.

нов(лении) соотв(етствующего) ходат(айства) о передаче из Главнауки в Институт материалов по словарю р(усского) л(итературного) яз(ыка) <...>. Вскоре после кончины Вл(адимира) И(льи)ча (Ленина. — *О. Н.*) в Госиздате возникло намерение докончить и издать Словарь⁴⁸. Тогда по предложению Госиздата мною была представлена записка с изложением положения дела и сметой потребных для доведения работы средств. Теперь, осенью 1925 г., можно, по-видимому, с уверенностью сказать, что **Госиздат своего намерения не собирается приводить в исполнение**. В Лингвистической секции вторично ставили вопрос о возможности включить в число <...> своих работ — работу по завершению означ(енного) Словаря, секция вторично признала это желательным и обращается в Коллегию с просьбой изыскать возможности для передачи материалов Инст(итуту). **Это спасло бы их от возможной гибели**. Что касается продолжения работ, то раздум[...]⁴⁹

⁴⁸ В Архиве РАН сохранилось письмо из Главного управления Государственного издательства РСФСР такого содержания:

Многоуважаемый
Дмитрий Николаевич,

Крайне необходимо получить от Вас подробнейшие сведения по истории подготовки издания Словаря русск(ого) литер(атурного) яз(ыка) для составления доклада, который имеет восходить до высших сфер. Каково участие Ленина? Совнаркома? Когда началась работа? Кто участвовал? и пр. и пр. вплоть до официальных документов с указанием чисел и №№. Это все в Ваших интересах и интересах многих. Поэтому не откажите зайти в Госиздат и приволочить мне все эти сведения.

Всегда готовый к услугам

А. Некрасов
(АРАН96, л. 34).

⁴⁹ Конец записи на этом листе, продолжение отсутствует.

[...] ⁵⁰ сотрудников в течение двух месяцев для приведения в порядок этих материалов. Таким образом материал будет спасен. От состояния материала будет зависеть характер дальнейшей работы <...>.

В случае удовлетворит(ельной) сохранности материала обработку его можно было бы производить силами двух технических сотрудников <...>, — при **бесплатном** моем руководстве и сотрудничестве желающих членов и сотрудников Ин(ститута).

Сведения о состоянии, в котором к 1923 [г.] находилась работа, о том, что оставалось сделать и прочем я могу сообщить, в случае надобности дополнительно (АРАН99. л. 1—2).

После многочисленных обращений в вышестоящие инстанции Д. Н. Ушаков смог добиться того, чтобы ему позволили найти (!) затерявшуюся картотеку словаря и передать ее в ведение Коммунистической академии. По этому поводу директор НИИЯЛ В. М. Фриче 5 декабря 1925 г. обращается в Главнауку (цитируем полностью автограф):

В Главнауку

В виду постановления Коллегии Наркомпроса о передаче материалов по словарю русского литературного языка Коммунистической академии, для приема указанных материалов и их передачи Коммунистической Академии командировается действительный член Научно-Исследовательского Института Языка и Литературы при Р(оссийской) Ассоциации Н(аучно-)И(сследовательских) Институт проф. Д. Н. Ушаков.

Чл(ен) Ком(мунистической) Академии
Председатель Секции литературы и языка
Директор Н(аучно-)И(сследовательского)
Института Литературы и Языка

В. Фриче

(АРАН, л. 4).

В тот же день Д. Н. Ушаков, обследовавший запутанную, почти детектив-

⁵⁰ Начало отсутствует.

ную историю с картотекой словаря, по ее нахождению составляет акт, содержащий вопиющие факты (мы располагаем черновым автографом ученого):

Акт

⁵¹ Я, нижеподписавшийся председатель Лингвистической секции Н(аучно-)Иссл(едовательского) Ин(ститута) яз(ыка) и л(итерату)ры, командированный ⁵² директором названного института, составил в присутствии секретаря колл(егии) того же института т. За[...]вской ⁵³ и сотрудника Главнауки т. Марина составил ⁵⁴ настоящий акт в следующем:

Материалы для Словаря русского литературного языка, изготовлявшегося при Главнауке в 1921—23 г. и прекращенного по постановлению Колл(егии) Наркомпроса, состоящие из карточек, найдены т. Мариным ⁵⁵ и **находятся в помещении Топливного отдела Наркомпроса <...> в комнате перед уборной на полу в полном беспорядке**; карточки, частью в связках, частью не связанные, находятся в перекрытых ящиках, по словам технических служащих ⁵⁶, этого материала было больше и при переноске его часть, неизвестно когда ⁵⁷, исчезла.

5⁵⁸ / XII 925 г.
(АРАН99, л. 3).

⁵¹ Впереди зачеркнуто начало недописанного слова: Сост[...].

⁵² Слово написано над зачеркнутым фрагментом: по поручению.

⁵³ Слово написано неразборчиво, часть букв прочесть не удалось.

⁵⁴ Так в тексте: слово написано повторно.

⁵⁵ Указанное и последующее слова написаны над зачеркнутым фрагментом: мною.

⁵⁶ Над строкой приписана, очевидно, фамилия служащего: Табзкин.

⁵⁷ Слово написано неразборчиво. Прочтение предположительное.

⁵⁸ Вверху над числом стоит знак вопроса.

Так удалось спасти от гибели уникальную картотеку. Но этого было недостаточно. Она не могла лежать «мертвым» грузом. В конце 1925 г. после неоднократных попыток продолжить работу над словарем инициативу в свои руки взяла Коммунистическая академия, но и она в итоге оказалась равнодушной к этой идее. В Архиве РАН есть подлинник письма ее ученого секретаря Д. Н. Ушакову от 18 февраля 1926 г., из которого можно судить о ближайших планах. Вот его текст:

Профессору УШАКОВУ
Уважаемый профессор!

Президиум Коммунистической Академии, посылая Вам выписку из протокола ⁵⁹ заседания Бюро Президиума, просит Вас сообщить, где в настоящее время находятся дополнительные ⁶⁰ материалы словаря, а также сколько, по Вашему мнению, понадобится средств для сосредоточения этих материалов в Комм(унистической) Академии.

Ученый секретарь *Ма[рецкий]* ⁶¹
/Подпись/
(АРАН99, л. 5).

Так печально закончился проект создания первого словаря «советской эпохи», идея, надо сказать, хотя и данная «свыше», но выполнявшаяся коллективом авторитетнейших научных работников (лингвисты, литературоведы, методисты, текстологи) и профессионалов словарного дела, которая, будь она доведена

⁵⁹ В деле отсутствует.

⁶⁰ По-видимому, рукой Д. Н. Ушакова это слово подчеркнуто, далее следует знак вставки и внизу, после текста, приписано: т. е. Л<енин>градские. Имеются в виду те материалы, которые готовила петроградская группа во главе с Л. В. Щербой.

⁶¹ Запись неразборчивая. Прочтение предположительное.

до конца, по праву могла бы войти в национальную и мировую историю не только как уникальный лексикографический опыт, но и как редкий положительный факт взаимодействия ученых с властью. К сожалению, все попытки «реанимировать» словарь в 1924—1926 гг. не увенчались успехом и едва ли могли быть реализованы в стенах АН с участием ее сотрудников, которые уже тогда находились в идеологической опале. Кроме того, как можно видеть из наших материалов, равнодушие к самой идее и непонимание насущных лексикографических задач того момента привели практически к краху все предприятие по составлению словаря.

Вновь открытые и опубликованные документы тех лет, в частности, свидетельствуют и о том, что происходило чуть позднее. В течение восьми лет трижды «перерабатывается» Устав Академии наук (в 1927, 1930 и 1935 гг.). В результате таких действий была произведена чистка академических рядов, их «упорядочивание» и регламентация в соответствии с новыми установками. Так, в записке А. И. Рыкова о деятельности АН от 11 апреля 1927 г., направленной в ЦК ВКП(б), говорится (п. I. «Об Уставе Академии наук»): «Академия разделяется на 2 отделения — физико-математических наук и отделение гуманитарных наук (история, филология, экономика, социология и т. п.)» [Академия наук 2000: 49]. И далее: «Академия — против этого возражает и настаивает на 3-х отделениях: отделение физико-математических наук, отделение русского языка и словесности и отделение исторических наук и филологии» [Академия наук 2000: 49]. Что было потом, мы хорошо знаем: изменение устава Академии в конце 1920-х гг. привело практически к перемене научно-общественных ориентиров, «социологизаторству», притоку «коммунистичес-

ких» академиков и т. п., захлестнувших ряды АН. В этом же документе есть и другой пункт — «О чистке аппарата Академии наук», в котором делается следующий акцент: «Признать необходимым освежение аппарата Академии наук и удаление оттуда явно враждебных элементов» [Академия наук 2000: 51]. Затем следовали более радикальные меры. Из Постановления Комиссии Политбюро 1928 г. по выборам академиков становится ясно, какие задачи прежде всего ставились при реорганизации Академии. Пункт 8 этого документа гласит: «Признать необходимым, чтобы один из вице-президентов Академии наук был **абсолютно советским** человеком» [Академия наук 2000: 53]. «Совершенно секретно» была произведена ступенчатая «градация» кандидатов в академики (с приложенными списками): «1. Члены ВКП(б). (...) (завершал список в их ряду, между прочим, В. М. Фриче. — *О. Н.*). 2. Кандидаты ближе к нам. (...) (восемнадцатым по списку значился П. Н. Сакулин. — *О. Н.*). 3. Кандидаты приемлемые. (...)» [Академия наук 2000: 53].

В документах того времени сохранились прямые предписания относительно того, каким должно быть «создававшееся» Отделение гуманитарных наук и какие принципы необходимо внедрить в академическую среду в целом. В обращении от 28 февраля 1929 г. в Политбюро ЦК ВКП(б) М. Н. Покровского, одного из разработчиков этого плана, говорится: «По поручению фракции коммунистов-академиков прошу поставить на обсуждение (...) вопрос о дальнейшем направлении и организации работ Академии Наук СССР. (...) 3) (...) задача по отношению к Академии наук стоит не во взрыве этого учреждения, а в длительной переделке» [Академия наук 2000: 57]. Предлагается провести «реализацию этого курса» следующим образом: «а) Гума-

нитарное отделение должно быть коренным образом реорганизовано. Помочь этой реорганизации должен в значительной мере совокупный научно-технический аппарат Комакадемии, Института Маркса и Энгельса, Ленинского института, марксистских обществ и т. д. При этом ни в коей мере не должны быть реально ослаблены эти центры, в том числе и в первую голову Коммунистическая академия, которая должна оставаться научным центром коммунизма в его, так сказать, чистой культуре» [Академия наук 2000: 57]. Мы привели лишь некоторые факты, отражающие события, происходившие по воли «свыше» внутри АН. Более подробно о судьбе Отделения русского языка и словесности и борьбе его членов за независимость мы рассказали в публикации архивного документа «В защиту ОРЯС» [Никитин 2002: 56—64].

Поэтому, естественно, о продолжении работы над «ленинским» словарем прежними, «устаревшими» академическими методами не могло быть и речи. К тому же некоторые из участников и редакторов к концу 1920-х гг. уже отошли от этой хлопотной работы: Н. Н. Дурново, например, находился в 1924—1930 гг. за границей, А. М. Селищев тоже тяготился такой подцензурной и в общем-то далекой от его призвания деятельностью. Другие же, как Ю. И. Айхенвальд, оказались высланными из страны (1922 г.), когда работа над словарем еще продолжалась. Наконец, и сам список писателей и поэтов, использованных в словаре, не выдерживал никакой критики. В нем были многие запретные имена: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев, А. М. Ремизов и др., также вынужденные покинуть Россию.

Что касается руководителей Редакционного комитета, то и они постепенно отошли от этой суетной, требовавшей огромного труда и организаторских способностей работы, становившейся все

более опасной, ввиду изменения политической атмосферы вокруг словаря и усилившегося влияния извне. А. Е. Грузинскому в середине 1920-х было уже порядком за 60, и с 1922 г. до дня кончины (1930) он заведовал Отделом рукописей Л. Н. Толстого в Румянцевском музее (Государственная библиотека им. В. И. Ленина). К тому же он был историком словесности, исследователем фольклора и древнерусской литературы, переводчиком, но не лингвистом-лексикографом. Другой соратник Д. Н. Ушакова, П. Н. Сакулин, активно сотрудничавший с новой властью в революционные годы в Комиссариате просвещения и в некоторых работах 1920-х гг. пытавшийся соединить академическое литературоведение с марксизмом (в этом отношении он, конечно, был более «попятаен» идеологам коммунизма), хотя и избран в 1929 г. академиком, но еще раньше сложил с себя организаторские функции, а вскоре, в 1930 г., умер. Так что из прежнего состава Редакционного комитета из ученых, за исключением А. А. Буслаева, который и дальше помогал Д. Н. Ушакову, кроме последнего, к тому времени никого уже не осталось. И. И. Гливенко, председатель «ленинского» Бюро, по-видимому, только на начальном этапе принимал участие, занимая высокий пост руководителя Главнауки. К 1923 г. его сменили, а в 1927 он исполнял обязанности Ученого секретаря Института языка и литературы РАНИОН'а, так что формально по делам словаря он мог общаться с Д. Н. Ушаковым, но в документах уже не фигурировал. Петербуржцы, привлеченные к работе в начале 1920-х гг., имели свой интерес: они по-прежнему готовили к изданию и выпускали академический «Словарь русского языка», начатый еще Я. К. Гротом и продолженный А. А. Шахматовым, и их картотека, в отличие от московской,

не претерпела таких трансформаций. Они, по-видимому, были более заинтересованы в реализации собственного проекта. В. М. Истрин, исполнявший в то время обязанности председателя ОРЯС, еще в 1924 г. писал Д. Н. Ушакову (мы передаем полностью текст его послания):

Многоуважаемый
Дмитрий Николаевич!

До нас дошли слухи, что Московский Словарь приостановился и не восстановится. Даже более: будто у вас не знают, что делать с материалом. Если все это так, то не выдадите ли материалы нам, если не навсегда, то на время? Мы воспользовались бы из них для нашего Словаря тем, чего у нас недостает, т. е. выборкой из новейших писателей.

Как Вы об этом думаете?

Уважающий Вас
В. Истрин
18. II. 1924
(АРАН. Ф. 502. Оп. 4.
Ед. хр. № 16. л. 1).

На этом закончилась настоящая эпопея с созданием толкового словаря, длившаяся почти шесть лет, с 1920 по 1926 гг. Нужно отметить, что даже в самые критические моменты фактический руководитель проекта, Д. Н. Ушаков, который вел всю организационную работу, оставался на высоте и до последнего дня сражался, оставляя надежду и другим. Л. В. Щерба, его ближайший коллега и помощник, руководитель работ петроградской группы по словарю, не раз так отзывался о «порядочном москвиче» (его выражение): «⟨...⟩ Вы в первую голову реально представляете себя нашу работу и ею интересуетесь с реальной точки зрения» (АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Л. 10); «⟨...⟩ Вы единственный человек, который интересуетесь⁶² Словарем по настоящему» (там же, л. 16).

⁶² Такое написание в рукописи.

Кроме внешних обстоятельств, помешавших осуществлению грандиозного научного замысла, были и другие, словарные проблемы. Как считал С. И. Ожегов [1974: 161], «печальный конец этой работы имел глубокие внутренние причины. В качестве “новых” привлекались материалы из художественной литературы, главным образом, предреволюционной поры. Рядом с Маяковским широко использовались материалы из символистов и дореволюционной лирики; наряду с выписками из М. Горького широко были представлены второстепенные произведения ⟨...⟩. Понятно, что на этом разнородном материале, который по замыслу должен был быть собран с большой полнотой, трудно было обосновать и документировать семантику современного русского языка в революционную пору. Всем ходом вещей эта первая попытка была обречена на неудачу».

Но даже такой трагический для Д. Н. Ушакова и его соратников финал не мог остановить ученых. Они по-прежнему искали новые возможности для реализации других, менее амбициозных идей, не забывая, впрочем, и о том, «ленинском» замысле.

Мы располагаем фактами, что еще до создания ТС, т. е. до начала работы над ним (1927—1928 гг.), по крайней мере трижды вынашивался замысел подобных изданий, в той или иной мере подготовивших почву для будущего ТС. Так, в заметках Д. Н. Ушакова, сделанных им на заседаниях Лингвистической секции НИИЯЛ РАНИОН’а, есть указания на то, что в 1925 г. поднимался вопрос о составлении словаря языка Ленина: «Лингвистическая секция получила от Президиума Ассоциации предложение взять в качестве темы коллективной работы для секции изучение языка Ленина. По поручению секции председателем ее Д. Н. Ушаковым 9 / II 1925 г. был сде-

лан в секции доклад о возможном⁶³ плане ⟨...⟩» (АРАН23, л. 25). Хотя публично тогда еще могли происходить в свободной форме дискуссии на такую ответственную тему, но видно, что обозначенная проблема не вызвала у сотрудников первостепенного интереса. Д. Н. Ушаков, в частности, сказал: «Составление полного словаря языка Л(енина) — работа громадная, кропотливая и дорогая, едва ли с этой точки зрения целесообразно» (АРАН23, л. 16). Другой его тезис: «⟨...⟩ Возможно и желательно воспользоваться и продолжить работы по изучению языка Л(енина), Шкловского, Эйхенбаума, Якубинского, Тынянова и др.»⁶⁴ (АРАН23, л. 16). И далее — какая колоритная фраза: «Словарь Ленинского языка — нецелесообразно. Это был бы мертвый музейный памятник, не более» (АРАН23, л. 17). Что же приемлемо? Там же читаем:

Словари известных явлений — желательны.

- 1) архаизмов (*ибо*)
- 2) неологизмов
- 3) литературные цитаты
- ⟨...⟩ 5) элементов разговорной речи ⟨...⟩
- 6) порядок слов

По стилю:

⁶³ Слово приписано над строкой.

⁶⁴ Речь идет, разумеется, об изучении Шкловским и др. учеными языка Ленина, см.: Шкловский В. Ленин как деканонизатор // ЛЕФ: Журнал левого фронта искусств. № 1(5). М.-Л., 1924. С. 53—56; Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // Там же. С. 57—70; Якубинский Л. О снижении высокого стиля у Ленина // Там же. С. 71—80; Тынянов Ю. Словарь Ленина-полемика // Там же. С. 81—110; Казанский Б. Речь Ленина (Опыт риторического анализа) // Там же. С. 111—139; Томашевский Б. Конструкция тезисов // Там же. С. 140—148.

7) пафосные элементы (высокий стиль) ⟨...⟩ (АРАН23, л. 17).

Другое упоминание о работе по созданию нового лексикографического труда встречаем в черновых набросках Д. Н. Ушакова, касающихся составления «Толкового словарика» на основе материалов, собранных для «Малой русской энциклопедии». В него предполагалось включить слова, объясняющие «значение и происхождение ходячих и метких образных слов и выражений, а также значение ⟨...⟩ слов, идущих 1) из деревни и 2) из сферы различных производств, — слов, в своем употреблении выходящих за узкие пределы деревенской жизни или отдельного производства, но не понятных, однако, слишком “урбанизированному” читателю (АРАН122, л. 1—1 об.). Среди возможных материалов для такого издания Д. Н. Ушаков предлагал использовать статьи из «Малой русской энциклопедии», «толкующие ходячие выражения», такие, как «адмиральский час», «казанская сирота», «коломенская верста», «долгий ящик», «подноготная», «Во всю Ивановскую» и другие, а также «статейки, объясняющие слова вроде “прясло”, “заводь” — с одной стороны, а с другой: “закоперщик”, “коклюшки” ⟨...⟩» (АРАН122, лл. 1—1 об.). По мнению Д. Н. Ушакова это не было бы простым повтором предыдущего издания: «Взятый из МРЭ материал следует расширить однородным, сообразно специфическому характеру “Толкового словарика”» (АРАН122, лл. 1 об. — 2). «В его состав, — пишет он далее, — можно было включить следующие группы слов:

- 1) Наиболее распространенные неологизмы литературы, житейские, профессиональные, вроде “бездарь” (Иг. Северянин), “окно” (из учительской среды), “ясно” (из красноармейской).

2) Новейшие заимствования, сделанные общеразговорным языком из местных: *извиняюсь, ничего подобного, пока* (прощание) и др. с указанием на неполную их приемлемость для литературного языка.

3) Наиболее утвердившиеся из сокращенных новообразований новейшего типа, как названия наркоматов и др. учреждений и должностей, а также слов вроде «нэпман» и т. п.» (АРАН122, л. 2).

Цель создания книги — практическая: заполнить интерес к родному языку пролетарских масс, «приобщающихся разными путями просвещению» и помочь учителям трудовой школы (АРАН122, л. 1). Ученый не отрывает «Толковый словарь» от традиции русской лексикографии и считает, что он «удовлетворил бы той потребности, которой удовлетворяет Толковый словарь Даля, с громадной разницей, конечно, в объеме и с теми еще отличиями, что в нем не будет общепонятных слов, а также явных провинциализмов, но будет много материала нового» (АРАН122, лл. 2—2 об.).

Наконец, название ожидаемого издания, по мысли Д. Н. Ушакова, могло быть таким: «Краткий объяснительный словарь ходячих выражений и народных слов⁶⁵», а предполагаемый объем — не более 10 авторских листов, «закрывающих 2000—3000 слов» (АРАН122, л. 2 об.).

Но и этот проект не удался⁶⁶.

⁶⁵ Далее в строке приписано карандашом: и метких слов.

⁶⁶ Сохранился черновик письма Д. Н. Ушакова Борису Михайловичу (очевидно, Волину) с рассказом о положении дела. Вот его текст (фрагмент):

Многоуважаемый Борис Михайлович!

Хоть я и предвидел не без тревоги, что в вашем отсутствии дело издания задуманного нами Толкового Словарика пойдет не

Третья попытка создать толковый словарь была предпринята С. И. Ожеговым (предположительно в середине — во второй половине 1920-х гг.). Предварительные наброски этого труда под названием «Словарь революционной эпохи. Историко-культурный справочник» опубликованы. По мнению его автора, он «включает в себя слова, возникшие или характерные для эпохи войны и революции» [Ожегов 2001: 410]. И таких групп несколько: I. Морфологические новообразования: *керенка, мешечник, самокритика, заградилровка* <...>. II. Семантические новообразования <...>: *уплотнение, ножницы, уклон, чистка* <...>. III. Слова областных говоров и профессиональных языков, вошедшие в общий язык с первоначальным или измененным значением: *ударный, вредитель, смычка, фронт* <...>. IV. Сокращенные слова: *фабзавуч, рабфак, завканц* <...>. V. Сложные слова (новообразования): *правозаступник, газофикация, радиофикация* <...>. VI. Фразеологические сочетания <...>: *генеральная линия, режим*

так гладко, но то, что случилось, для меня полная неожиданность. Т. т. Веп и Михайлов объявили мне, что Красной Нови это издание не подходит. Ни судить об этом, ни убеждать в противном я не берусь, но я просто оторопел от того глупого положения, в котором я очутился. Да разве я предлагаю издательству новую свою ему совершенно неизвестную работу? Разве не Вы были инициатором этого дела, пригласили меня <...> обсудить Вашу идею — извлечь для отдельного издания известный материал из МРЭ? Эту идею мы сообща потом развернули шире и т. д. Для этого я проработал месяц в помещении МРЭ на виду у всех сотрудников, выбрал из нее могущий подойти материал <...> неужели все дело в моем «интеллигентском» отношении к делу (так в автографе. — О. Н.) <...>» (АРАН122, лл. 5—6 об. —7).

экономии реконструктивный период (...)». VII. Иностранные слова (...): *Демпинг, Антанта, диспансер*. VIII. Слова, ставшие активными, употребительными в рев(олюционную) эпоху: *декрет, мандат, недочеты* (...)» [Ожегов 2001: 411]. Для справочника разрабатывались система стилистических помет, принципов акцентуации и определения значения слова. Этот словарь, подобно двум предыдущим, так и не был создан.

Всё же описанные нами обстоятельства подготовки первого толкового словаря русского языка и сопутствующих проектов 1920-х гг. во многом поучительны прежде всего как попытки организовать целенаправленную работу по лексикографическому описанию языка, отбору и фиксации его нормативных признаков. Многие из этого печального опыта затем было использовано и в работе над «Ушаковским словарем».

Приложение

1. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 30 X 1921. В О, 11, 44, 5.

Многоуважаемый
Дмитрий Николаевич.

Хотел лично поздравить Вас сегодня и «просился» у Буслаева⁶⁷ в командировку в Москву по делам Словаря. К сожаленью[,] ничего от него не получил — ни ответа, ни привѣта.

Поэтому позвольте письменно обнять Вас и пожелать Вам дожить во всяком случае⁶⁸ до 50[-]лѣтняго юбилея⁶⁹. Сейчас

⁶⁷ А. А. Буслаев — ученик Д. Н. Ушакова, участник «ленинского» проекта, председатель Московского лингвистического кружка в начале 1920-х гг.

⁶⁸ Последняя буква слова в подлиннике отсутствует.

⁶⁹ Имеется в виду чествование 25-ле-

это пожелание самое[,] пожалуй[,] настоящее, т(ак) как наша жизнь сейчас представляется мнѣ какой-то неподлинной; а хотелось бы пожить именно подлинной жизнью.

Между тѣм[,] кроме Вашего торжества, мнѣ в Москву очень хотелось бы по делам Словаря попасть. Дѣло в том, что я хотел бы поговорить о словарных дѣлах в Вашей среде, чтобы учуять нить⁷⁰ поведения между строк[,] так сказать. Главное-же, хотелось-бы выяснить, насколько все дѣло солидно. Вѣдь из Москвы нѣт ничего: ни извѣстій, ни денег на оборудованіе помещенія⁷¹ и на переѣзд туда, ни жалованья. Неоднократно писалось обо всем этом, при случа[е]⁷² говорилось, а воз и ныне там. Главное [—] никто ничего не пишет. Ни одна моя просьба не исполнена, т(ак) ч(то) я начинаю думать, что ничего вообще нѣт, и я здѣсь зря людей морочу.

Может быть[,] намѣренія Москвы мною плохо поняты или они измѣнились — я просто ничего не понимаю. Хотелось-бы по душам поговорить: я вѣдь человек простой и могу говорить очень просто.

Поэтому покорнѣйшая просьба, Дмитрій Николаевич, напишите мнѣ попросту, как обстоит все⁷³ дѣло и к кому обращаться, кто-бы отвѣчал, а если дѣло вообще существует, то не устройте-ли и приѣзд в Москву (если, конечно, я не оказался неподходящим человеком). Мнѣ очень нужно немного побыть в Вашей среде и понять Ваши намеренія, что осо-

тия научной деятельности Д. Н. Ушакова, проходившее 28 октября 1921 года в Историческом музее в Москве.

⁷⁰ Запись неразборчивая. Прочтение слова предположительное.

⁷¹ Далее в строке начало недописанного слова зачеркнуто. Запись неразборчивая.

⁷² Последняя буква слова в подлиннике отсутствует.

⁷³ Слово приписано над строкой.

бенно важно будет при слѣдующей стадіи работы.

Позвольте-же пока еще раз привѣтствовать Вас и крѣпко пожать Вашу руку.

Ваш *Л. Щерба*

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 3—3а—3а об.—3 об. Автограф.

2. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 10 III 1922

Дорогой Дмитрій Николаевич.

Большое спасибо за Ваше письмо: оно очень успокоило моих сотрудников и оказало благотворное влияние на ход работы. Работа у нас не очень интересная, а потому вопрос хорошей платы имеет большое значение. А тут при большой скачкѣ цѣн за послѣднее время, сотрудники совсѣм приуныли и можно сказать плохо стали работать. Вообще в связи с этим у нас работа все не налаживалась надлежащим образом: не было увѣренности в⁷⁴ том, что деньги получатся и получатся во время⁷⁵ и т. п.

Кромѣ того, надѣюсь[,] пайки помогут: добросовѣстным сотрудникам даю в мартѣ пайки, и очень жалью, что не мог этого сдѣлать ни в февраль, ни в январь.

Отчет за февраль все-же посылаю Вам, а Вы, по использованіи, не откажите передать его Буслаеву, а то они мнѣ прислали лишь запрос об отчетах. А я вѣдь за декабрь и за январь отчеты посылал Вам. Не знаю, получили-ли Вы их? Думаю, что получили все-же.

⁷⁴ Здесь и далее при воспроизведении писем Л. В. Щербы текст подчеркнут синим карандашом рукой Д. Н. Ушакова. Подчеркивания самого Л. В. Щербы указываются нами в отдельных примечаниях.

⁷⁵ Такое написание в рукописи. Здесь и далее сохранена орфография подлинников, напр., написания типа «повидимому», «по прежнему», «безпокоюсь» и др., без специальных сносок.

Поѣздку в Москву все как-то со дня на день откладываю, и видно дождусь болѣе теплаго времени. Впрочем, если надо, то пишите без стѣсненій.

Да, с начальными буквами выходит затрудненіе: вѣдь мы их не трогали, считая, что может онѣ и не понадобятся. Там[,] конечно[,] сравнительно с напечатанным матерьялом мало будет: разве лишь для I тома кое-что. Но я направил все силы сюда[,] и как-нибудь выкарабкаемся.

Позвольте к Вам обратиться просьбу: оказалось, что у меня не хватает в словаре Преображенского⁷⁶ двух послѣдних вып(усков) (13 и 14) — у меня послѣдний 12^{ый}. Нельзя-ли их достать у Вас в Москве? Может[,] какой из Ваших учеников это предпринял. За цѣной не постоял-бы.

Кроме того, у меня вопрос к Вам: Вы лично и вообще порядочные москвичи⁷⁷ принимаете участие в апрѣльской конференци по вопросу о подготовкѣ учителей и т. п. Меня туда посылают, а я в общем упираюсь.

Затѣм позвольте Вам послать привѣт и пожелать всего лучшаго.

Ваш уважающій Вас

Л. Щерба

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 4—4 об. —5—5 об. Автограф.

3. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 22 III 1922

Дорогой Дмитрій Николаевич.

В январь и февраль мы не получали пайков, так как мнѣ никто не изъяснил, что мы имѣем право на 15 пайков, и прошлые

⁷⁶ Далее в строке начало недописанного слова зачеркнуто. Запись неразборчивая.

⁷⁷ Речь идет, по-видимому, о соратниках Д. Н. Ушакова по учебно-методической деятельности. Этими вопросами интенсивно занимался, в частности, А. М. Пешковский.

М. П.⁷⁸ Кристи⁷⁹ их скушали за наше здоровье. Послѣ Вашего письма я[,] конечно[,] стал разговаривать по другому, и мнѣ обѣщали. Теперь оказывается, что из 3800 пайков перевезли⁸⁰ Москвою Кристи 2000 захватил (...) ⁸¹, а у Кристи ничего не нашли лучшего сдѣлать, как лишить нас вовсе пайков, ссылаясь на то, что мы до сих пор не получали и что у них сидѣлки в гинекологических учреждениях бастуют.

Я[,] конечно[,] буду ходить и торговаться, но нельзя-ли из Москвы велѣть нам дать 15 пайков[,] велѣть это[,] пожалуй[,] не Кристи⁸², а Невскому (зав. Отд.), т(ак) к(ак) это он захватил.

Меня это подводит, т(ак) к(ак) я цѣлому ряду сотрудников поставил условіе: вы работаете такую-то норму, получите паек, а то простите. При одних деньгах работают очень неравномерно, т(ак) к(ак) деньги не всегда вовремя и т. д. Во всяком случаѣ, научных сотрудников деньгами,⁸³ тѣми реальными, кот(орые) я плачу, привлечь мудрено, тѣм болѣе, что работа не очень уж интересная.

Поэтому вторая просьба: поторопите выплату нам тарифа нового и распоряженія нам платить без задержки; тогда-бы я хоть разницу выписал; да и впредь денежное вознагражденіе имѣло бы смысл. В концѣ концов становится мнѣ стыдно, что работы не идут, как должны-бы — но я право тут не при чем: условія работы в общем

⁷⁸ Вторая буква аббревиатуры написана неразборчиво. Прочтение предположительное.

⁷⁹ По-видимому, один из поставщиков красноармейских пайков, которые по приказу В. И. Ленина выдавались участникам работы над словарем.

⁸⁰ Конец слова написан неразборчиво. Прочтение предположительное.

⁸¹ Два или три слова написаны неразборчиво.

⁸² Подчеркнуто Л. В. Щербой.

⁸³ Далее в строке написано и зачеркнуто: вовсе.

реально⁸⁴ не выгодны. Я[,] конечно[,] могу здорово понизить нормы труда; но пока в надеждѣ на хорошія ставки не хотѣлось-бы этого дѣлать.

Один вопрос редакционного характера: при выборкѣ матерьяла из дополненій к I тому (Гротовскому) оказалось, что добавленій ничтожное количество, если не выбирать примѣров. Я считаю[,] что Вам примѣров не надо и что если отгѣнок у Грота есть (но без примѣра)⁸⁵, то вот и хорошія литературный (даже и неожиданный) примѣр у нас⁸⁶ имѣется, все равно Вам карточки не надо. Но стоит-ли тогда из[-]за одной, двух карточек на нѣсколько страниц производить всю эту колоссальную работу разбора, установки и сличенія.

Жду Вашего отвѣта и Вашей помощи в вопросѣ о пайках (конечно[,] с тѣм, чтобы не ссорить меня с Кристи).

Мнѣ пришлось завести себѣ штамп и печать — такая глупость!!!

На всякий случай шлю образец.

Уважающій Вас Л. Щерба

Извините за небрежность: страшно тороплюсь.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл.

6—6 об. — 7—7 об. Автограф.

4. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 13 IV 1922

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Получил и Ваше и Буслаевское письмо — спасибо Вам обоим: по крайней мѣрѣ я соответственно дѣйствую. Но вѣдь у нас платят очень плохо. Например[,] в Университетѣ нам все еще не додали за январь. У Кристи дѣло обстояло лучше, пока я спрашивал мало денег — не знаю, как будет теперь. Сейчас вмѣсто мартовских денег

⁸⁴ Подчеркнуто Л. В. Щербой.

⁸⁵ Фрагмент, заключенный автором в скобки, приписан над строкой.

⁸⁶ Предлог с указанным словом приписаны над строкой.

предлагают ⁸⁷ «аванс за апрѣль». Это еще очень хорошо, т(ак) к(ак) <...> ⁸⁸ а то вот опять-таки в Университетъ в концѣ марта ⁸⁹ выдавали «аванс» за январь»...

На а, б, в, г, д мы пока выбираем лишь недостающее у Грота; но не разсыпаем отобранного сотрудниками матерьяла, а ждем Ваших инструкцій. Дѣло вот в чем: у Грота есть слово бадейный. Возьмете Вы его или нѣтъ? Литературное-ли оно? Я думаю, что да; но почему? А у нас цитата из Глеба Успенскаго есть. Возьмете слово бадьян? А у нас цитата из Небольсина есть. Возьмете-ли слово базарка? А у нас <...> ⁹⁰ есть на это слово. А бакенбордист? Балоболка в значеніи «висюлька»? Балакаты (у Крестовскаго и у Толстого)? Балда (в конкретном значеніи)? Балясина, балясник (в конкретном значеніи), балясы (в конкретном значеніи) и т. д.

Опредѣлить литературность слова в этих случаях очень затруднительно, если нѣтъ документа. Впрочем[,] с другой стороны, в конечном счетъ можно и несмотря на литературный документ, то или иное слово не считать литературным. Так, базарку Боборыкинскую, что значит «дама, торгующая на благотворительном базаре», едва ли можно признать фактом литературного словаря русскаго языка. Уж если что, это фактъ словообразованія возможнаго; это слово должно найти себѣ мѣсто в «матерьялах», но не окончательном словарѣ русск(ого) лит(ературного) яз(ыка). Так по крайней мѣрѣ на первый взгляд кажется.

Позвольте поздравить Вас с наступающими праздниками и троекратно, похристіански ⁹¹, облобызать Вас.

Искренно Ваш Л. Щерба.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 8—8 об. — 9—9 об. Автограф.

⁸⁷ Слово приписано над строкой.

⁸⁸ Слово написано неразборчиво.

⁸⁹ Здесь и далее в этом письме чернилами все подчеркнуто Л. В. Щербой.

⁹⁰ Два слова написаны неразборчиво.

⁹¹ Такое написание в рукописи.

5. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 23 IV 1922

Многоуважаемый
Дмитрій Николаевич.

Посылаю Вам, как приказано от начальства, отчет за 20 дней апрѣля. Потом будут идти от 20 ко 20.

Посылаю Вам, так как, думается, Вы в первую голову реально представляете себѣ нашу работу и ею интересуетесь с реальной точки зренія. Дальнѣйшія инстанціи представляются мнѣ ⁹² болѣе или менѣе формальными.

Пайков до сих пор мы не получили, но сулят выдать на днях за март и за апрѣль.

Зато с деньгами мы устроились намного лучше: получили сейчас от 10 до 18 миллион, а Маштаков ⁹³ даже и больше.

На праздниках закончил статью, которая будет называться: *Опыты лингвистическо-эстетическаго толкованія стихотвореній. I. «Воспоминаніе» Пушкина* ⁹⁴.

Не знаю, удастся ли напечатать — ученики общаются. Выросло это из моих занятій на Курсах русским литературным языком.

Если удастся напечатать, не премину Вам препроводить.

Что у Вас новаго?

Всего лучшаго.

Искренно Ваш Л. Щерба.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 10—10 об. — 11. Автограф.

⁹² Слово приписано над строкой.

⁹³ П. Л. Маштаков — участник петроградской группы по составленію словаря.

⁹⁴ Статья опубликована под названіем: Щерба Л. В. Опыты лингвистическаго толкованія стихотвореній. I. «Воспоминаніе» Пушкина // Русская речь. Под ред. Л. В. Щербы. — Пг., 1923. С. 13—56, таблицы.

6. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград, конец июня — июль 1922⁹⁵]

Дорогой Дмитрий Николаич.

Посылаю Вам Отчет за период с 20 мая по 20 июня. Отчет походный, так как технические работники лишь отсиживают часы (конечно[,] не в буквальном смысле — работа идет, но не надлежащим темпом), а у меня нѣт нравственной силы их подтянуть.

У нас работа в общем не интересная, и всѣ работают главным образом из-за денег, а их-то и нѣт. Неловко тоже перед Обнорским⁹⁶. Он сдѣлал большую работу, рассчитывая получить куш, а я мог ему дать лишь 5000000, и то урвав у других.

Как быть с доставкой карточек? У меня их так много, что едва-ли кто согласится взять из⁹⁷ любезности. Самому мне ехать нет охоты — не разрешите-ли кого-нибудь послать? Или все-таки надо-ли⁹⁸ мне самому к Вам съездить в конце концов??? Напишите, пожалуйста, как вообще у Вас дѣла в Москвѣ.

У меня сейчас много административнаго дѣла по Отдѣленію: устраиваемся на будущий учебный год.

Жду от Вас хотя-бы коротенькой записочки и крѣпко жму руку.

Ваш Л. Щерба.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл.
20—20 об. Автограф.

⁹⁵ Датировка письма отсутствует. Справа простым карандашом кем-то приписано: 1922?

⁹⁶ С. П. Обнорский — историк русского языка, академик АН СССР с 1939 г. С 1912 г. стал работать в Академии наук сначала по редактированию «Словаря русского языка» и вел эту работу 25 лет. В 1920-е гг. участвовал в работе по подготовке к изданию «ленинского» словаря в составе петроградской группы.

⁹⁷ В тексте письма написано: их.

⁹⁸ Финальная часть слова после дефиса написана по зачеркнутому: бы.

7. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 6 XI 22

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Посылаю Отчет Вам снова, так как не знаю, существует-ли на свѣтъ Буслаев. Он написал мнѣ милое письмо, коим я и воспользовался; но с тѣх пор он снова не отвѣчает на самые мои жгучіе запросы.

Дѣло в том, что он обѣщал нам ставки по 2 промыш(ленные?) группы. А теперь уж и ноябрь, а мы все еще ничего об этом не знаем.

Затѣм можем-ли мы оплачивать сдѣльно хотя-бы моего служителя, который ѣздит за деньгами, за талонами, билетами трамвайны[ми] и прочей всякой чепухой. Я не знаю, сколько же у меня денег в моем распоряжении на подобный предмет.

Я его должен был сократить, но без него жил очень трудно.

Вот эти 2 вопроса самые⁹⁹ важные с экономической точки зрѣнія. Есть-же вопрос и по существу. Кто-то (кажется[,] Маштаков) привез извѣстие, будто Вы желаете обязательно имѣть примѣры из новых писателей, поскольку они у нас имѣются, так что мы, выходит, должны довыбрать пропущенное по этой части.

Кромѣ того будто Вы желаете,¹⁰⁰ чтобы мы произвели выборку из тѣх томов новых писателей, которые у нас не были прочитаны.

Правда-ли все это. Так как все это были лишь слухи от неавторитетных лиц, это я пока ничего не предпринимаю; но все-же рад был-бы узнать от Вас по этому поводу <...>¹⁰¹ достоверное и окончательное.

Как Вы живете?

Я опять начинаю страшно заматываться, так как много приходится работать ради minimum'a житейских удобств. Ставки у

⁹⁹ Далее в строке написано и зачеркнуто начало недописанного слова: трудн.

¹⁰⁰ Далее в строке написано и зачеркнуто: произвестъ вскорѣ.

¹⁰¹ Слово написано неразборчиво.

нас так мизерны, что одежда составляет нечто недостижимое, а между тем все поизносилось и поистрепалось.

Мы наконец учреждаем педагогическое общество, о кот(ором) была рѣчь на съездѣ — до сих пор ставились всякія формальныя затрудненія.

Моя статья, о коей Вам писал, может все-же будет напечатана в особом¹⁰² сборникѣ.

Пока всего лучшаго. Крепко жму Вашу руку.

Искренно Вам преданный Л. Щерба.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл.

12—12 об. — 13—13 об. Автограф.

8. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 9 II 23

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Посылаю Вам отчет по Словарю за 2 месяца, из котораго¹⁰³ Вы увидите, в каком положеніи дѣло. Оно несомнѣнно близится к концу, и даже очень скорому. Этот конец отодвинут только сокращеніем штатов, а также и тем, что я[,] согласно данному Вами разрѣшенію[,] привожу в общую алфавитную систему не только литерат(урные) примѣры и не только XIX в., но и XVIII и¹⁰⁴ діалектологическіе. Об этом я во избѣжаніе недоразумѣній я¹⁰⁵ ничего не говорю ясно в отчетѣ, намекая лишь во фразѣ о трех алфавитах, которые надо слить. 3 алфавита — это¹⁰⁶ 1) отобранные для Вас карточки[,] 2) остальные из литерат(уры) XIX в. и 3) литерат(ура) XVIII в.

¹⁰² Слово приписано над строкой.

¹⁰³ Первая буква «о» в окончаниі написана неразборчиво. Прочтенеіе предположительное.

¹⁰⁴ Далее в строке написана и зачеркнута недописанная фраза: неродную слов.

¹⁰⁵ Такой повтор в рукописи.

¹⁰⁶ Далее в строке написаны и зачеркнуты три слова: литерат. XIX в. литерат.

и діалектол(огія). Вам считаю своим долгом однако написать все сіе.

Интересно, в каком положеніи находится дѣло у Вас; выходит-ли что-либо реальное из всего предпріятія и как оно идет.

У меня нѣсколько полок заставлено переписанными матерьялами, которые я не отсылаю, так как никто их не спрашивает. Между тем вѣрнаго челоуѣка нет, который бы поѣхал с этим дѣлом — слишком большой груз, а невѣрному, тем болѣе почтѣ, доуѣриться боюсь.

Были какіе-то слухи, что Вы от нас потребуете каких-то дополнительных выборов, по-видимому[,] это только слухи.

Съездить к Вам в Москву не могу раскаться.

Из дѣл других могу сообщить, что готовим мы тут (вчетвером) маленькій сборничек по русскому языку¹⁰⁷ — статьи в общем готовы и на днях пойду к издателю.

Лингвистическое общество работает. Кроме того организовалось под моим председательством «Общество изученія и преподаванія языка и словесности» с двумя секціями — русской и иностранной (у compris¹⁰⁸ древніе языки). Я сдѣлал 2 доклада, так как серьезно считаю гибельной для нашей культуры¹⁰⁹ дефилологизацію нашей школы, и которую приходится¹¹⁰ констатировать через крохи классической школы с одной стороны и полному отсутствію новых языков и образованных для них преподавателей — с другой. По этому дѣлу даже готов ѣхать в Москву.

Самый большой ужас для меня — по прежнему невозможность купить иностранную литературу, которая по моей части замѣчательна, по-видимому.

¹⁰⁷ Очевидно, имеется в виду I том сборника статей под редакціей Л. В. Щербы «Русская рѣчь» (Пг., 1923).

¹⁰⁸ Так в тексте письма. Может быть, стяженная форма от «compromis»?

¹⁰⁹ Подчеркнуто Л. В. Щербой.

¹¹⁰ Далее в строке начало недописанного слова зачеркнуто. Запись неразборчивая.

Однако на днях собираюсь отправить 20 fr. в Лингвист(ическое) Общ(ество) в Париж, дабы получить наконец европейский ученый журнал — первый послѣ стольких лѣт.

Желаю здр[ав]с[т]вовать и крепко жму руку.

Любящий Вас Л. Щерба

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 14—14 об. —15—15 об. Автограф.

9. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

[Петроград] 24 VI¹¹¹ 23

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Только что получил телеграфный запрос от Н. И. Гливенко¹¹² о том, когда и как отправлены карточки в Москву, и страшно беспокоюсь, что все это значит. Неужели Кристи все потерял? Посылаю ответ на телеграмму через Ваше посредство, дабы Вы могли знакомиться со всем делом, так как полагаю, что Вы единственный человек, который интересуетесь Словарем по настоящему.

Мое пессимистическое отношение к Словарю обуславливалось тем, что по крайней мере с Рождества я не получал вестей из Москвы (последнее было сокращение штатов с 15 до 8).

Я был-бы Вам очень благодарен, если-бы Вы попросили Буслаева написать мне о тех «предположениях». Дело в том, что я обещал в последнем отчете кончить все к 1 октября — самое позднее к 1 ноября. Теперь выясняется, что служащие мои желают иметь отпуск, получая жалованье. Т(ак) к(ак) желание законное, то отказать не могу,

¹¹¹ Цифра, обозначающая месяц, написана неразборчиво. Прочтение предположительное.

¹¹² И. И. Гливенко — теоретик, историк литературы, руководитель Главнауки в начале 1920-х гг., председатель Оргкомитета по созданию «ленинского» словаря.

а это уж дает¹¹³ срок 1 ноября — 1 декабря. Но кроме того случилась неприятная история: повидимому[,] буквы р и у, выбранные одним из заболевших сотрудников, слова водворены на месте без переписки. Может быть[,] мы их еще найдем, но пока их нет, и это похоже на истину, т(ак) к(ак), по обычаю советских учреждений, мы теперь во второй раз переезжаем с нашими матерьялами. При переезде-ли и при отсутствии заинтересованного лица все может случиться.

Я-бы очень хотел поэтому узнать о Вашем положении и о предположениях начальства. Кроме того я давно добиваюсь отзыва о качестве нашей работы. Теперь уж поздно; но если-бы это сделали раньше, то можно было-бы сделанные замечания принять во внимание.

«Русская речь» вышла и на днях Вам отправлю экземпляр.

Уважающий Вас Л. Щерба

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 16—16 об. —17—17 об. Автограф.

10. Л. В. ЩЕРБА — Д. Н. УШАКОВУ

22 VIII 23

[Петроград] В О, 11, 14, 5.

Прилагаю письмо Буслаеву¹¹⁴.

Дорогой Дмитрий Николаевич.

Надеюсь, что наш сборник¹¹⁵ дошел до Вас, т. е. что Голанов¹¹⁶ в конце концов его Вам доставил. Имейте в виду, что это не только от меня, а от всех авторов, т(ак) к(ак)

¹¹³ Слово приписано над зачеркнутым: цифру.

¹¹⁴ В деле отсутствует.

¹¹⁵ См. ранее в примечании к письму 8.

¹¹⁶ И. Г. Голанов — историк русского языка, диалектолог, ученик Д. Н. Ушакова, активно сотрудничавший с ним в Московской диалектологической комиссии; участвовал в работе по созданию «ленинского» словаря.

редакторских экземпляров у меня почти нет. Вообще матерьяльная сторона во всяком случае вышла неудачно, т(ак) к(ак) цена книги непомерно высока.

Ваш сборник¹¹⁷ получил и благодарю. Я немного посмотрел его и некоторые статьи не премину прочесть.

Относительно Словаря я договорился с Буслаевым. Мы лавочку закрываем к 1 октября, а некоторые оставшиеся работы будут закончены сдельно.

Теперь еще одна важная статья. Как Вы знаете, у нас есть «Общество изучения и преподавания языка и словесности» под моим председательством, с двумя секциями — русской и иностранной. Весной мы решили созвать осенью 1924 г. 2^{ой} всероссийский съезд преподавателей сих предметов, примут участие и иностранные языки, но как это будет формально сделано — особый вопрос. В виде ходока решено послать С. А. Золотарева¹¹⁸, кот(орый) всю кашу и заварил. Но денег у нас нет, и не знаю[,] удалось-ли ему выехать. Ему поручалось повидать Вас, а потому я ничего не писал Вам по сему поводу. В организационный комитет мы решили просить войти и москвичей в числе 9 человек, имея[,] конечно[,] в виду в первую голову Вас, Сакулина¹¹⁹ и других, кого Вы укажете.

Повидимому[,] Золотарев так до сих пор и не ездил, а дело получает огласку, а потому я считаю нужным Вас об этом всем известить письменно, чтобы Вы не подумали, что дело мы хотим вести помимо Вас.

Как Вы смотрите на эту затею вообще? И кого-бы Вы думали пригласить в Организационный Комитет (между прочим[,] кого-либо и из нефилологов)? Далее через кого-бы задействовать в Москве у на-

¹¹⁷ См.: Русский язык в школе / Сб. статей под ред. Д. Н. Ушакова (Труды постоянной комиссии преподавателей русского языка и литературы. Вып. 1). — М., 1923.

¹¹⁸ Установить не удалось.

¹¹⁹ О П. Н. Сакулине см. подробнее в тексте статьи.

чальства? Не надо-ли кого тоже пригласить в Комитет и т. п. Проект Положения о съезде с программой мы выработали[,] а Золотарев должен был Вам все это везти. У нас Державин¹²⁰ отнесся очень сочувственно; но ведь главное — Москва.

Пока мы не нащупаем почвы у начальства, нельзя и не стоит ничего публиковать (Лебедев¹²¹ меня просит)[,] и за некоторую предварительную информацию о московских настроениях я был-бы Вам очень благодарен. Если еврей, у кот(орого) я служу, устроит мне билет в Москву, то на сей раз я так соберусь и сам к Вам приходить¹²².

Пока всего лучшего.

Л. Щерба.

АРАН. Ф. 502. Оп. 4. Ед. хр. № 46. Лл. 18—18 об. — 19—19 об. Автограф.

¹²⁰ Н. С. Державин — филолог-славист, литературовед, историк, этнограф, академик АН СССР с 1931 г. В 1930-е гг. участвовал в составлении академического «Словаря русского языка».

¹²¹ По-видимому, имеется в виду А. М. Лебедев — исследователь русского языка, методист; под его редакцией в 1920-е гг. выходил журнал (педагогический сборник) «Родной язык в школе».

¹²² Последние 3—4 буквы слова написаны неразборчиво. Прочтение предположительное.

Список сокращений

АРАН — Архив Российской академии наук (Москва)

АРАН23 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 23

АРАН96 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 96

АРАН97 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 97

АРАН98 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 98

АРАН99 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 99

АРАН122 — АРАН. Ф. 502. Оп. 3. Ед. хр. № 122

ОРЯС — Отделение русского языка и словесности

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

СПбФ Архива РАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (С.-Петербург)

Литература

Академия наук 2000 — Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б)—КПСС. 1922—1991 / 1922—1952; Сост. В. Д. Есаков. М., 2000.

Гак 1964 — А. Гак. В ту пору Ленин думал и об этом // Лит. газета. 1964. 18 января. № 8 (4750). С. 2.

Левашов 1998 — Е. А. Левашов. Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова // История русской лексикографии / Отв. ред. Ф. П. Сорокалетов. СПб., 1998. С. 346—366.

Левашов, Петушков 1975 — Е. А. Левашов, В. П. Петушков. Ленин и словари. М., 1975.

Мещеряков 1940 — Н. Л. Мещеряков. Ценная книга // Правда. 1940. 18 декабря. № 349 (8395). С. 4.

Никитин 2002 — В защиту Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. По поводу проекта о слиянии II и III Отделений в «Отделение истории и филологии» (1920-е гг.) [предисл. и публ. О. В. Никитина] // ИАН СЛЯ. 2002. Т. 61. № 4. С. 56—64.

Ожегов 1974 — С. И. Ожегов. О трех типах толковых словарей современного русского языка // Лексикология. Лексикография. Культура речи: Учеб. пособие для вузов. М., 1974. С. 158—182.

Ожегов 2001 — С. И. Ожегов. Словарь революционной эпохи. Историко-культурный справочник (Предварительные наброски) // Словарь и культура русской речи: К 100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. М., 2001. С. 410—412.

Ушаков 1940 — Д. Н. Ушаков. Судьба одной ленинской идеи // Правда. 1940. 9 марта. № 68 (8114). С. 3.

ИНФОРМАЦИОННО-ХРОНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Международные семинары по русскоязычной диаспоре: «Русскоязычное население Финляндии», Хельсинки, 25—26 сентября 2003; «Русский язык в диаспоре», Хельсинки, 27—28 сентября 2003

Проблематика, обсуждавшаяся на семинарах в Хельсинки, связана с постоянно расширяющейся русской диаспорой в Финляндии и за ее пределами, это проблематика языковых и культурных контактов. Семинары следовали непосредственно один за другим, и это не было случайным: выяснение специфики функционирования русского языка за рубежом невозможно ни в социолингвистическом, ни в структурном отношении без социологических и культурологических знаний проблем, связанных с русским зарубежьем.

На семинаре «Русскоязычное население Финляндии», организованном Институтом России и Восточной Европы и Отделением славянских и балтийских языков и литератур Хельсинкского университета, были представлены доклады по нескольким гуманитарным дисциплинам.

В докладах по культурологии обсуждалась проблема этнической самоидентификации русскоязычного населения Финляндии (Н. Башмакофф, Л. Коль, Финляндия), Эстонии (А. Кирч, Эстония; Р. Лииман, Финляндия), Израиля (А. Пурисман, Израиль). В социологических докладах рассматривались процессы интеграции русскоязычного меньшинства в общества принимающих стран (Л. Ханникайнен, С. Паананен, И. Ясинская-Лахти, Финляндия; О. Писаренко, Латвия; У. Райтемайер, Германия). Российской миграционной политике были посвящены доклады Ж. Зайончковской и Т. По-

лосковой (Россия), демографической ситуации в Финляндии — выступления И. Седерлинг и М. Ниеминен (Финляндия).

Собственно языковая проблематика рассматривалась в следующих выступлениях. М. Лейнонен («Русский язык в Финляндии в 80-ые годы», Финляндия) представила итоги обследования носителей русского языка, проведенного в конце 80-ых годов. Опрашивались информанты старшего возраста, чей русский язык не подвергся существенному влиянию советских стандартов. М. Лейнонен интересовали черты, отличающие речь информантов от современной литературной нормы (архаизмы, диалектизмы, элементы просторечия и заимствования).

Е. Протасова («Что было, что будет, чем сердце успокоится», Финляндия) рассказала об имеющихся на сегодняшний день результатах продолжающегося исследования по определению национальной и языковой самоидентификации носителей русского языка, живущих в Финляндии. Исследование строится на основе анкетирования и интервьюирования представителей первого и второго поколения иммигрантов.

С. Исканиус («Русскоязычные студенты и старшеклассники в Финляндии: формирование языковой идентичности», Финляндия) представила основные результаты обследования (по данным непосредственного наблюдения и интервьюирования) русскоязычных студентов и школьников, обучающихся в Финлян-

дии. Как показывает проведенное исследование, идентичность отдельного носителя русского языка — величина переменная, меняющаяся в зависимости от социальных условий, а также коммуникативного и языкового контекстов.

На семинаре «Русский язык в диаспоре», организованном Хельсинкским исследовательским обществом (Helsinki Collegium for Advanced Studies) и Отделением славянских и балтийских языков и литератур Хельсинкского университета¹, были прочитаны доклады, содержащие структурное описание языковых явлений, доклады по социолингвистике и культуре.

Первый, структурный круг докладов, включал следующие выступления. М. Я. Гловинская («Общие типы изменений в родном языке первого поколения эмиграции», Россия) рассказала о результатах анализа письменных данных языка 1-го поколения всех четырех волн эмиграции, показавшего, что при функционировании языка в иноязычном окружении выделяются три типа неустойчивых участков: 1) развивающиеся участки языка, т. е. те участки языка, которые претерпевают изменения, вызванные внутренним развитием языка, и свидетельствуют об определенной языковой тенденции; 2) идиоматичные участки языка, где поведение языковых единиц не регулируется общими правилами, а является лексикализированным; 3) универсаль-

но слабые участки языка, страдающие в самых различных языковых диаспорах. Два последних участка оказываются уязвимыми в силу своей сложности.

М. Полинская («Носители русского языка в США: языковой портрет», США) охарактеризовала основные языковые группы русскоязычного населения США: образованные эмигранты старшего возраста, говорящие на литературном русском языке; эмигранты старшего возраста — носители нелитературных вариантов русского языка и лица, для которых английский язык — основной, а русский является неполностью освоенным. Русский язык каждой из этих групп имеет свои ярко выраженные характерные черты; языковые различия отмечаются и внутри самих групп.

Д. Эндрюс («Теория прототипов в изучении русского языка в Америке», США) представил на обсуждение следующий тезис: различные лексические и грамматические изменения в русской речи эмигрантов в США можно проинтерпретировать как результаты перестройки прототипической структуры языковых категорий. В терминах теории прототипов можно объяснить, например, следующие особенности эмигрантской речи: влияние единой категории англ. «blue» на восприятие синего и голубого цветов; семантический сдвиг (ср. прототип категории «дом» в русском городе в отличие от «одноэтажной Америки»); нелитературное употребление глаголов движения (смещение *идти*, *ходить*, *ехать*, *ездить* под влиянием единой категории англ. «to go») и даже ошибки в употреблении видовых форм глаголов и в грамматических окончаниях.

М. Осипова («Коммуникативные параллельные инновации в русском языке диаспоры и метрополии», Россия) рассмотрела параллельные процессы, наблюдаемые в речи носителей русского

¹ Инициатором проведения семинара и его основным организатором была Е. Протасова (Хельсинкское исследовательское общество). Настоящий семинар стал продолжением организованного ею же (при участии Общества поддержки Финско-русской школы) международного семинара по проблемам детского двуязычия, прошедшего в Хельсинки в 2000 г.; представленные на семинаре доклады опубликованы в сборнике «Русский +». Хельсинки, 2000.

языка в метрополии и за рубежом (последняя волна эмиграции), обусловленные сходными коммуникативными установками. Выявление этих процессов позволяет отделить собственные тенденции развития от заимствованных. Усиление личностного начала проявляется, например, в расширенном употреблении местоимения «я» и активных конструкций представителями среднего класса в России и носителями русского языка зарубежья. Тенденция диалогичности построения текстов находит выражение в пропуске личных местоимений 1, 2 и 3 лица в функции подлежащего.

М. Воейкова («Формирование русско-немецкого двуязычия», Россия) проанализировала явления трех типов в речи носителей русского языка, живущих в Германии: 1) выбор языковой единицы осуществляется из расширенного набора единиц обоих языков; 2) происходит смешение слов (конструкций) в рамках изучаемого языка; 3) довольно рано начинается неразличение нюансов в родном языке. Источником этих явлений может быть: а) языковая игра (*Это überhaupt не годится* — вместо русского *совершенно, абсолютно*); б) отсутствие объекта в родном языке (*Стар я уже по Behörd'am ходитъ, Behörde* — учреждение в Германии); в) различная специфицированность понятий в языке-цели или в языке-источнике (*Урсула прилет у семи* — в русском языке только предлог *около* обозначает и временные, и пространственные отношения); г) идиоматичность выражения (*дает оценку* или *делает проблему*).

Л. Найдич («Русский язык иммигрантов последней волны в Израиле: выбор языка и переключение кодов», Израиль) показала, что выбор языка носителями русского языка, живущими в Израиле, зависит от их отношения к данному языку и связанной с ним культуре, и в каж-

дом конкретном случае — от языковой компетенции говорящего и условий протекания коммуникативного акта (кем является собеседник и под.). Переключение кодов происходит более или менее осознанно и характеризует определенный речевой регистр.

К. Витцлак-Макаревич («Влияние языкового контакта немецкий / русский на русский язык в ФРГ (на материале русскоязычных газет и журналов», ФРГ) рассказала о влиянии немецкого языка на русский язык членов русскоговорящей общины, состоящей прежде всего из немцев и евреев и членов их семей, приехавших из стран СНГ после распада СССР. Почти для всех из них родным языком является русский, а изучение немецкого языка начинается в Германии. Последствия контакта русского с немецким заметны прежде всего в устной русской речи, но также и письменная русская речь подвергается воздействию немецкого языка.

В докладе Т. Кениной («Полезен или вреден ранний билингвизм?», Италия) были представлены данные по русско-итальянским детям-билингвам (от 2 до 4 лет), позволяющие еще раз рассмотреть проблему детского билингвизма: действительно ли он представляет собой явление, не сказывающееся отрицательно на языковом развитии ребенка.

А. Репонен («Финские вкрапления в речи русских», Финляндия) рассмотрела русские языковые формы финских названий внутригородских объектов, употребляемые носителями русского языка, живущими в Хельсинки. Некоторые названия были созданы уже в начале XIX века. В настоящее время большое количество русскоязычных названий образуется посредством перевода. Способ образования русскоязычного эквивалента финского названия свидетельствует о степени интегрированности говорящего в финлянд-

скую языковую среду (от говорящего зависит, склоняет ли он финские названия; названия, оканчивающиеся на *-i*, нередко воспринимаются как формы множественного числа).

В следующих докладах рассматривалась социолингвистическая и культурологическая проблематика.

К. Менг («Общение в семьях русскоязычных переселенцев в Германии», Германия) рассказала об исследовательских проектах по интеграции российских немцев в немецкое общество, осуществляющихся в Германии. В настоящее время в Германии проживает более двух миллионов российских немцев; они составляют самую большую группу переселенцев, приехавших в страну за последние двадцать лет. Если проводившаяся ранее Институтом немецкого языка в Мангейме работа должна была представить особенности языка, образования и менталитета новых переселенцев, то в настоящее время исследователи языковой интеграции российских немцев уделяют внимание прежде всего их сравнению с другими группами переселенцев, проживающих в Германии.

Х. Пфандль («Металингвистические высказывания и культурная рефлексия у русскоязычных эмигрантов в Австрии», Австрия) представил итоги исследования языкового и культурного поведения русскоязычных эмигрантов, уехавших в детском возрасте в Австрию. В центре внимания исследователя — культурно-языковая личность эмигранта, в которой проявляются те или иные черты ассимилятивного, антиассимилятивного или бикультурного поведения, вопросы его идентичности, а также высказывания, касающиеся своего первого, привезенного (L1) и второго, приобретенного (L2) языка. Были рассмотрены соотношения между автодефиницией эмигранта как личности и его реальным языковым по-

ведением, его отношение (attitudes) к рассматриваемым языкам (в том числе социолектам и диалектам), степень осознания межкультурных особенностей и собственной речевой деятельности, стратегии компенсации структурных и прагматических дефицитов.

С. Лайхиала-Канкайнен («Русскоязычные в Финляндии: аргументы и факты», Финляндия) рассказала о прошедшей в финском обществе дискуссии о положении русскоязычного населения, анализируя положения, обсуждаемые в финских газетах, в свете теорий, рассматривающих этничность, а также языковые и культурные меньшинства. Русскоязычное население Финляндии можно назвать «незамеченным» культурным меньшинством, которое стало предметом интереса в Финляндии только после распада СССР. Стремление русскоязычного населения добиться официального признания статуса языкового и культурного меньшинства не нашло поддержки у коренного финноязычного населения: русскоязычие воспринимается скорее как проблема и даже угроза, нежели как богатство и потенциал.

Н. Станже-Жирова («О диалоге представителей разных волн эмиграции в Бельгии», Бельгия) проанализировала типы отношений, складывающихся между представителями различных волн эмиграции в русскоязычном социуме Бельгии последних лет: 1) преемственность традиций и сотрудничество; 2) контакты отрицательного характера (неприятие новых иммигрантов, критика речевого узуса и т. д.). Несмотря на существенные различия, сходные черты между новым и старым поколениями членов диаспоры несомненны: высокий образовательный уровень переселенцев, помогающий преодолевать экономические и административные трудности, богатая культурная деятельность (периодические

издания, театр на русском языке), соблюдение церковных обрядов.

О. Алтынбекова («Русский язык как средство меж- и внутриэтнического общения в диаспорах Казахстана», Казахстан) представила статистические данные по русскому языку в Казахстане, где из 15-миллионного населения 8,2 миллиона человек владеют русским языком как вторым. Среди 8 миллионов казахов, по итогам переписи 1999 года, русским языком владеют почти 6 миллионов человек. В целом русским языком владеют 84,75% всего населения республики. За последние десять лет произошел отток русского населения из страны, составивший почти 1,6 миллиона человек, но русский язык по-прежнему сохраняет свою значимость как язык не только межнационального общения, но и общения внутри диаспор полиэтнического Казахстана. Среди основных по численности диаспор, проживающих в республике, русским языком владеют 86% азербайджанцев, 99,4% белорусов, 97,7% корейцев, 76,9% курдов, 99,3% немцев, 98,9% поляков, 96,9% татар, 75,9% турок, 59,2% узбеков, 76,1% уйгуров, 94,1% чеченцев.

Д. Шайбакова («Состояние и функции русского языка в Казахстане в условиях двуязычия», Казахстан) рассказала о сферах использования русского языка в современном Казахстане. В постсоветский период языковая политика Казахстана определяется таким образом, чтобы расширить сферы применения и поднять престиж казахского языка, однако в действительности русский язык продолжает широко употребляться и поныне. В сферах, где возможен сознательный контроль за использованием казахского языка, он имеет сильные позиции, в неподконтрольных же сферах стихийно доминирует русский язык. Наметилась тенденция к расширению использования казахского языка в школьном образова-

нии, однако в сфере высшего образования преобладает русский язык. Можно полагать, что в Казахстане формируется собственный функциональный вариант русского языка и свои коммуникативные нормы. В докладе анализировались три типа нормы: языковая, речевая и коммуникативно-прагматическая, определяющая речевое поведение и обеспечивающая взаимопонимание при общении.

А. Космарский («Позиции русского языка в Узбекистане сквозь призму русско-титульного билингвизма (на примере студенческой молодежи)», Россия) представил результаты полевых этнолингвистических исследований, проведенных в Ташкенте в ноябре 2002 г. Затрагивались следующие вопросы: насколько русский язык уступил свои позиции титульному (узбекскому) языку, в первую очередь среди молодежи; остается ли русский языком межнационального общения молодых жителей столицы; воспринимают ли русскоговорящие свой язык как важное карьерное преимущество или же, напротив, считают экономически значимым владение узбекским (как государственным) или английским языками.

Б. Синочкина («Старообрядцы Литвы: специфика языковой личности», Литва) показала картину личности, выраженной в языке (текстах) и через язык. Свойства языка не могут не коррелировать с существующими этно-, социо-, психо- и прочими особенностями его носителей. Поскольку русский язык не представляет собой нечто монолитное и неварьированное, то и внутри русской языковой личности можно выделить определенные подтипы. Старообрядцы вправе претендовать на изучение, наряду с их языком, их своеобразной языковой личности.

В докладе О. Малми («Общение русскоязычных иммигрантов в Интернете. Русскоязычный портал suomi.ru»), Фин-

ляндия) речь шла о преимуществах Интернет-общения среди эмигрантов. Многие русскоязычные иммигранты в Финляндии испытывают дефицит общения на русском языке. Интернет в этом смысле — оптимальное «место встречи» и коммуникации людей, у которых есть потребность обменяться мнениями по тем или иным вопросам на родном языке. В Интернете могут общаться иммигранты одной страны (например, в Финляндии на портале SUOMI.RU); иммигранты разных стран; эмигранты и их бывшие сограждане, проживающие в России.

М. Магидович («Поиски идентичности (русскоязычные художники во Франции)», Россия) проанализировала биографии и творчество российских художников нескольких поколений, вынужденных по различным причинам эмигрировать во Францию, и сделала следующий вывод. Стремясь идентифицироваться в рамках новой для себя культурной среды, эмигранты все же опираются (чаще всего бессознательно) на традиции, опыт и образный строй русской национальной культуры. В большинстве случаев творчество таких художников можно идентифицировать одновременно как факт русской культуры и культуры страны пребывания, в данном случае — Франции.

На семинаре выступили также аспиранты, диссертационные исследования которых связаны с русским языком зарубежья: Т. Ваахтера (Финляндия) рассказала о проблемах финско-русского детского двуязычия, Н. Рингблом (Швеция) — о шведско-русском детском билингвизме, А. Зеленин (Финляндия) представил данные по русскому языку эмигрантских газет и «старых русских» в Финляндии.

Многие проблемы, обсуждавшиеся в докладах и дискуссиях, прошедших на семинаре, не получили окончательного разрешения — как, например, возможные методики проведения исследований. Но в то же время работа семинара показала, что координация усилий исследователей, работающих с материалом русского языка в разных странах, весьма своевременна. Хотя языком русского зарубежья лингвисты стали интенсивно заниматься лишь в последнее десятилетие, накоплено достаточно материала, требующего обобщения, по различным аспектам функционирования и уровням языка. Разрозненные факты по изменениям, претерпеваемым русским языком в разных странах, получают объяснение в свете общей теории языковых контактов.

На сегодняшний день наиболее полно в структурном и социолингвистическом плане обследованы контакты русского языка с германскими языками — американским английским и немецким. С другой стороны, за последнее десятилетие бурных социокультурных перемен и миграций появилось крайне мало работ по современному состоянию русского языка в славянских странах; данные близкородственных языков были бы, безусловно, весьма ценными для исследования проблем, связанных с языковыми контактами.

Сборник докладов, прочитанных на семинаре «Русский язык в диаспоре», готовится к публикации в серии *Slavica Helsingiensia* (Отделение славянских и балтийских языков и литератур Хельсинкского университета).

М. А. Осипова

**Хроника международной научной конференции-
фестиваля «Поэтический язык рубежа XX—XXI веков
и современные литературные стратегии»**

Оргкомитет конференции: д. ф. н. Н. А. Фатеева (ИРЯ РАН), акад. Ю. С. Степанов (ИЯЗ РАН), проф. Н. А. Николина (МПУ), член Союза литераторов А. А. Альчук, к. ф. н. С. Е. Бирюков (Германия, ун-т Галле). Конференция проводилась при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 03-04-14013г.

16—19 мая в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН состоялась международная научная конференция-фестиваль «Поэтический язык рубежа XX—XXI веков и современные литературные стратегии», которая проводилась совместно с Институтом языкознания РАН, Московским государственным педагогическим университетом и Государственным центром современного искусства. В работе конференции-фестиваля приняли участие ученые и поэты из Германии, США, Нидерландов, Великобритании, Италии, Швеции, Сербии, Литвы. Инициаторы проекта впервые решили организовать мероприятие, в рамках которого стал возможен прямой диалог между специалистами в области изучения языка художественной литературы и непосредственными участниками литературного процесса — поэтами, писателями и критиками. Некоторым аналогом данной конференции-фестиваля можно считать фестиваль «Шедевры русской подпольной культуры», проходивший в начале 2003 года в нью-йоркском Линкольновском центре искусств. Но если целью американского фестиваля была все же «рекреация» литературы и музыки эпохи застоя в России, то основной задачей конференции, проходившей в Институте русского языка, стала фиксация живых процессов, происходящих в русской литературе рубежа XX—XXI веков. Диалог ученых и поэтов протекал в нескольких формах:

(1) проблемные и обзорные доклады ученых-филологов с последующим свободным обсуждением;

(2) представление поэтами и прозаиками своих литературных стратегий в форме теоретических выступлений;

(3) поэтический фестиваль: чтение стихов, прозы; поэтические перформансы, презентации;

(4) заключительный круглый стол «Современный литературный текст: выход за рамки языка, не покидая его», суммирующий итоги мероприятия.

В рамках чтений и презентаций фестиваля были представлены все основные направления современной литературы. Особое внимание было уделено таким направлениям литературного творчества, как визуальная и фонетическая поэзия, малая проза, различные варианты смешения жанров и синтеза форм. При демонстрации разных поэтических форм использовалась аудио- и видеотехника, синтезаторы, чтения часто сопровождалось музыкальным аккомпанементом и аудио-эффектами.

Конференцию-фестиваль приветствовал директор Института русского языка РАН, **член-корреспондент РАН А. М. Молдован**. Первое заседание конференции под названием «Общие вопросы развития поэтического языка рубежа XX—XXI веков» открыл **академик РАН Ю. С. Степанов**. В своем вступительном слове он отметил, что современный этап развития русской поэзии и прозы характеризуется рядом языковых и семиоти-

ческих процессов, которые обратили на себя внимание лингвистов и филологов в России и за рубежом. Особую остроту на рубеже веков приобрели вопросы «технологии» поэтического языка. Многие современные поэты, работая с языком, вторгаются в область лингвистики не только в общем плане, но и в плане постановки проблем в различных разделах языкознания. Ю. С. Степанов подчеркнул, что в современной поэзии и прозе сильна установка на эксперимент, на преодоление существующих языковых и поэтических норм. Интерес представляет и активно развивающийся литературный Интернет, который использует мультимедиаальные возможности компьютерного представления текста. Таким образом, заключил он, новое искусство ориентировано на иное восприятие текста, синтезирующего в себе языковую, визуальную и аудиальную составляющую.

Первое пленарное заседание открыл доклад **д. ф. н. В. П. Григорьева** (ИРЯ РАН) «Крестословица «Хлебников»», в центре которого стояла проблема оценки исторического авангарда рубежа XX—XXI веков. В. П. Григорьев отметил, что при обращении к динамике и перспективам статуса Будетлянина в современной культуре, кажется естественным рассмотреть актуальное состояние культуры языка в обществе, осмыслить историю, теорию и практику языковой и стилевой политики. Он также затронул проблему соотношения таких понятий, как *Авангард* и *авангардизм*, отметил основные «взлеты и падения» исторического авангарда, и в заключение поставил проблемный вопрос о том, есть ли смысл применять серьезные критерии *того Авангарда* к наглядным успехам авангардизма наших дней.

Выступившая затем **д. ф. н. Н. А. Фатеева** (ИРЯ РАН) привлекла внимание присутствующих к проблеме переосмыс-

ления понятия «дискретности» языковых единиц в современном стихотворном тексте, а также к феномену «многоязычия» современной поэзии. Символично само название ее доклада — «Директории “По”, “От” и... “До”, или Poetical Language in Progress», отражающее основные вопросы, в нем поставленные. Исследовательница ввела понятие «само-разрывающегося смысла» слова, которое заставляет пересмотреть само лингвистическое определение «слова», а также содержание языковых процессов, вкладываемых в понятия «словоизменения» и «словообразования». Она отметила, что в поэзии рубежа XX—XXI веков представление о структурной оформленности слова и «невозможности» пауз и знаков препинания внутри его становится относительным. Показательными, по мнению Н. А. Фатеевой, являются прежде всего поэтические неологизмы, производные от самого слова «слово», так как в процессе подобного словотворчества выясняются основные процессы, происходящие с этой языковой единицей.

Свой доклад «Хаос и Абсурд в поэтике Авангарда» **академик Ю. С. Степанов** (ИЯЗ РАН) открыл такими словами: «В обычной, бытовой речи эти два слова обозначают нечто плохое: “Хаос” — полный беспорядок, неразбериха; “Абсурд” — полная бессмыслица, нелепость. Философы марксистской ориентации не подпускали эти понятия к серьезному рассмотрению. Л. Шестов определил Абсурд как “изнанку смысла”. Между тем в поэтике авангарда “Хаос” и “Абсурд” — это важнейшие строевые компоненты “Новой красоты”». Цель данной конференции, по его мнению, и состоит в определении понятия «Новой красоты». Далее академик Степанов остановился на освещении взаимосвязанных между собой положений, которые он сам и выдвинул: (1) «У Авангарда нет “истории”,

а есть точки прорывов из ментальной эволюции в материальную реальность. Несколько таких точек»; (2) «От Хаоса к гармонии через Фракталы». В заключение ученый отметил, что при помощи «Фрактала» понятию «Хаос» можно дать вразумительное определение: «Что мы понимаем под хаосом? Попросту говоря, система выходит из-под контроля. Не существует способа предсказать ее поведение на длительное время...».

Доклад **профессора Пизанского университета С. Гардзонио** (Италия) «Отзвуки поэтического языка XVIII в. в современной поэзии» обратил внимание участников конференции на соотношения синхронии и диахронии при описании поэтического языка. С. Гардзонио отметил, что в самое последнее время утверждается тенденция к неоклассицизму и что именно в поэзии данного течения элементы русской традиции XVIII в. представлены довольно отчетливо. Он привел интересные примеры стилизации, пародирования и введения архаизмов в иронический контекст, встречающиеся в стихотворениях Т. Кибирова, М. Амелина, в одах И. Кутика, имитациях И. Ермаковой, а также отметил карамзинские тональности у В. Кучерявкина.

Профессор Амстердамского университета В. Вестстейн (Нидерланды) посвятил свой доклад провинциальной поэзии наших дней. Сначала выступающий постарался дать по возможности полную картину того, что происходит в современной русской литературе, на всем ее пространстве — от провинции до столиц и Интернета. Затем он высказал мысль о том, что столичная и провинциальная поэзия развиваются своими почти не пересекающимися путями. В. Вестстейн даже ввел для последней термин «ПРО-ЭЗИЯ», в котором особая приставка «про-» может означать и идею «прошлого», и одновременно выстраивать

соотношение со словом «проза». Основным материалом для доклада послужила «Антология поэзии закрытых городов», изданная в 1999 году в Железногорске.

Доктор Стокгольмского университета И. Сандомирская (Швеция) сосредоточилась на философских вопросах литературного творчества. Она представила доклад «Возвращение поэтов, или Похвала словоблудию (Номадологическая лингвистика Жан-Жака Лесеркля)». Главная мысль ее доклада состояла в том, что номадологическая лингвистика по Лесеркля — это и вызов, и соблазн. По мнению Сандомирской, разные фрагменты языкового анализа в книгах Лесеркля отличаются различной степенью убедительности и могут вызывать нарекания, но они неизменно дышат свободой и заражают интеллектуальной радостью. Однако удовольствия и соблазны, на ее взгляд, связаны с риском, а риск — с ответственностью сознательного выбора. Освобождая свой объект от утилитарности, лингвист-номадолог «рубит сук, на котором сидит». Это радикальная стратегия, направляется не столько на академические школы и институты, сколько прямо на идентичность самого лингвиста.

После перерыва состоялось заседание под названием «Автор и читатель в современной литературно-языковой ситуации». Его открыл **известный поэт Д. А. Пригов** (Москва) программным докладом «Тактика и стратегия художника в современной культурной ситуации». Пригов отметил, что радикальный писатель — всегда является эмигрантом в пределах родной ему масс-культуры и масс-словесности. Приняв модель авангардного искусства XX в., которая требует от художника слова бесконечных экспериментов, мы обнаруживаем, что он становится эмигрантом и в пределах своего собственного реализованного опыта.

Иными словами, радикальный художник, по мнению Пригова, есть эмигрант *excellance*, и страдания поэта по поводу непереводаемости на чужие языки лишь только частный случай позиции литератора в современном мире, доведенный до логического конца. И все же, по мнению поэта, все сказанное одним человеком, в результате может быть понято другим.

К. ф. н. О. И. Северская (ИРЯ РАН) в своем докладе «Поэзия постмодерна и массовая коммуникация: отношения автора и читателя и особенности коммуникативной ситуации (на материале русской поэзии рубежа XX—XXI вв.)» развила некоторые основные положения Д. А. Пригова, а также выдвинула несколько собственных исходных положений. По мнению докладчицы, постмодернистская поэзия, как и литература этого направления в целом, во многом отталкивается от шаблонов массовой, «тривиальной» литературы, которая «плетется» за читателем в хвосте его стереотипов восприятия. Поэтому, продолжила О. И. Северская, с одной стороны, она учитывает законы массовой коммуникации, пародируя их, с другой — строит особую коммуникативную ситуацию, в которой автор, меняя «маски», предопределяет реакцию читателя, создает условия «успешности» коммуникативно-взаимодействия.

Д. пс. наук Г. В. Иванченко (Институт философии РАН) в своем докладе «Образ автора в современной поэзии и прозе в читательском восприятии» пыталась доказать, что в самом тексте произведения заложены те психологические черты «автора», которые затем воспроизводятся его читателями.

Вечернее заседание, проходившее под девизом «Представление авторских литературных стратегий», стало связующим между утренними теоретическими докладами и вечерними поэтическими

чтениями. Его открыл **профессор университета Эмори (Атланта, США) М. Н. Эпштейн**, известный своими работами по истории и теории современного поэтического языка. В своем докладе «Метабола как троп» он высказал мысль, что на рубеже веков можно говорить о появлении нового поэтического синтетического тропа — метаболы.

Одним из самых ярких выступлений первого дня стал доклад **поэта и филолога И. Е. Лощилова** (Новосибирск) «Современный поэтический текст: восприятие, анализ, интерпретация (В. Казаков)». Лощилов выбрал для анализа стихотворение В. Казакова «Её коснулся свет полнотный, был край...», которое состоит из 14-и поэтических строчек, печатаемых без интервалов, однако реальная стиховая природа его иная: это композиция из 4-х полных четверостиший, написанных четырехстопным ямбом, и одного двустопия, расположенного в композиционном центре. В результате авторского «вторжения» в область графики, как считает докладчик, возникают «анти-анжамбманы» (термин С. Бирюкова), затрудняющие произнесение текста и создающие тройственный образ автора.

В докладе **докторанта из Бильфельда И. Кукуя** (Германия) «“Пустые сонеты” Л. Аронсона и А. Волохонского как манифестации авторских литературных стратегий» были рассмотрены два одноименных стихотворения ленинградских поэтов Л. Аронсона и А. Волохонского как формы реализации их поэтических программ. Докладчик наглядно показал, что Аронзон использует визуальную форму для реализации метафоры своего более раннего текста «Есть между всем молчание...», и его сонет оказывается стадией последовательного проведения авторской поэтической программы, отличительным свойством которой является

расширение сюжетной перспективы за счет незаметной читателю игры с объектно-субъектным планом стихотворения. Связь «Пустого сонета» Волохонского со стихотворением Аронзон оказывается, по мнению И. Кукуя, «ложным ключом» к этому тексту.

В докладе **д. ф. н. М. И. Шапира** (ИЯЗ РАН) «“Сон во сне” у Лермонтова и Д. А. Пригова» был поставлен принципиальный вопрос о минимуме текстуальных совпадений, необходимых и достаточных для идентификации скрытой цитаты. На этот вопрос докладчиком был дан отрицательный ответ: анализ контекстов показывает, что в одних случаях бывает недостаточно нескольких совпадающих элементов, а в других случаях может хватить даже единственного совпадения. Иногда цитатность налицо и тогда, когда между текстами нет никакого формального сходства, так как объектом заимствования, цитирования, пародии способна стать не только поэтическая форма, но и поэтическая концепция. Это явление М. Шапир проиллюстрировал на примерах «концептуальных пародий» Д. А. Пригова.

Первый день работы конференции-фестиваля завершился поэтическими чтениями, в которых приняли участие ведущие поэты современности **Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Сергей Гандлевский, Александр Левин, Владимир Строчков**. Чтение своих стихов поэты дополняли комментариями, после декламации они отвечали на вопросы присутствующих. В конце поэтического вечера его ведущий Д. Пригов заметил, что современная поэзия снимает антиномию серьезное/шутливое, и поэтический текст становится формой иронической рефлексии, предлагающей единственный на сегодняшний день выход для разрешения внутренних противоречий бытия.

Утреннее заседание 17 мая было посвящено проблемам словотворчества, грамматики и внутренней формы в современной поэзии. Оно открылось программным докладом **проф. Н. А. Николиной** (МПГУ) «Словотворчество в современной поэзии». Докладчица в своем выступлении развила мысль Н. А. Фатеевой о том, что при анализе процессов словотворчества в поэзии рубежа XX—XXI вв. традиционное понимание термина «словообразования» требует корректировки и дополнения. Она отметила, что в настоящее время можно говорить о новых типах контаминаций, сращений, аналитических конструкций, распространяющихся на всю строку. Непредсказуемые трансформации одних языковых элементов в другие нейтрализуют, по мнению Н. А. Николиной, семантические и формальные границы между морфемой, словом, словосочетанием и целостной предикативной единицей, делают относительными понятия слитности и раздельности написания.

Выступление **поэта и д. ф.-м. н. В. Аристова** «Возможности “внутреннего изображения”»: внутренняя форма и “внутренний язык” в современной поэзии и поэтике» было посвящено вопросу расширения возможностей поэзии прежде всего за счет внутренних вербальных ресурсов. Он подробно остановился на истории изучения понятия «внутренняя форма слова» у А. Потебни, Г. Шпета, П. Флоренского, а также на поэтических открытиях В. Хлебникова, А. Белого, О. Мандельштама, основанных на трансформации «внутренней формы» единиц языка. В конце XX в., по мнению В. Аристова, возникает «внутренний театр», в котором внутреннее исполнение становится способом развертывания и реализации внутренней формы поэтического слова. Он проиллюстрировал свои положения анализом неко-

торых произведений Г. Айги и Е. Мнацакановой.

Особый резонанс на конференции получил доклад **проф. С. Валентаса** (Шяуляй, Литва) «Экспансия лингвистики в поэтические тексты (противопоставление “свой” — “чужой”)), в котором был поставлен неординарный вопрос: если языковой барьер, появившийся после «Падения Вавилона», пытается преодолеть языкознание, почему бы к тому же не стремиться поэзии? Закономерно, что в такую деятельность включаются поэты, которых можно назвать поэтами лингвистического пограничья. Среди них в Литве особенно выделяются В. Бразюнас и С. Гяда, пытающиеся с помощью творчества преодолеть лингвистическую границу. Эта попытка, как считает С. Валентас, состоит из двух фаз: первую составляют декларации, объявляющие прозрачность границ или их отсутствие, вторую — лингвистические действия в самой поэзии, закрепляющие справедливость выдвигаемых утверждений.

В докладе **молодого ученого В. Фещенко-Таковича** (ИЯЗ РАН) «По следам былых экспериментов: где искать и находить поэзию?» был поставлен вопрос о сущности понятия «эксперимент» в словесном творчестве. По мнению докладчика, эксперимент в творчестве направлен на раскрытие ресурсов языка и действительности в их полноте. Революционное искусство начала XX в., вкуче с новаторскими научными исследованиями, возникшими в тот период представляло собой уникальное семиотическое явление, к настоящему моменту недостаточно глубоко осознанное, но таящее в себе огромный научный и художественный потенциал. Исследование творчества художника-авангардиста может осуществляться через понятия стиля, ритма и следа. Анализ таких текстов, как «Учитель и ученик» Хлебникова и «Жезл

Аарона» Белого, позволяет, по мнению выступающего, говорить о продуманных авторских системах воображаемых языков, или «языков будущего».

Необычным по форме репрезентации стал экспериментальный доклад «Испытание слова(ом). Границы (не)возможного» **поэта и филолога С. Е. Бирюкова** (Галле), живущего сейчас в Германии. В нем была освещена проблема «раскрепощения» слова и «раскрепощения» внутри самого слова. Уже в начале XX в. авангардная поэзия с разных сторон провела ревизию слова, это была, как думает Бирюков, ревизия на сочетаемость и ревизия внутрисловная — вплоть до фонемного уровня. В наши дни, считает поэт-филолог, слово движется навстречу новым смыслам и опробует новые «сдвиги» и «реэтимологизации». В заключение он сказал, что взаимодействие между поэтическими мирами существовало всегда. В случае обострения языковых поисков это взаимодействие становится особенно отчетливым, поэтические системы взаимопроницаются и взаимоотражаются.

Утреннее заседание этого дня завершилось обобщающим докладом **поэта-филолога Ю. Г. Проскурякова** (Москва) «Синтетические стратегии творчества». Докладчик предложил рассматривать текст как единицу информационного потока личности, в которой осуществляются индивидуальная креативность и гносеологическая интенция. Основным отличием художественного текста от текста, имеющего прикладное назначение, он считает присутствие в нем вирулентного перформатива, содержащего в латентной форме директиву (повелительное наклонение).

Во время состоявшегося после перерыва заседания «Вербальное и визуальное в современной поэзии» внимание участников конференции было привлече-

но к синтетическим и интермедиальным аспектам творчества. Все доклады, прозвучавшие на нем, были необычайно иллюстративны — они дополнялись слайд-шоу, использовалась видеотехника, некоторые выступления представляли собой перформансы. Эта часть конференции открылась докладом **доктора Ш. Грeve** (Амстердам, Нидерланды) под названием «Ры Никонова: Поэзия между пустой страницей и воплощающимся текстом». Ш. Грeve отметила, что для поэтики Ры Никоновой важно, был ли текст или он еще будет, и при таком подходе к странице исходно подразумевается, что всегда существует возможный текст до текста. По мнению докладчицы, усиленное внимание постмодернистской поэзии к графическим знакам на странице и к (белому) полю вокруг них привело к концепции страницы как полигону возможных текстов. Фактически, говоря о творчестве Ры Никоновой, заключила Грeve, нужно говорить о новых способах невербальной коммуникации в русской визуальной поэзии.

В докладе **доктора искусствоведения Н. В. Злыдневой** (Институт славяноведения и балканистики РАН) «Вербальное в современном изобразительном искусстве» на материале визуальных практик последнего десятилетия в России, включающих в себя живопись, фотографию, инсталляции и перформансы («актуальное искусство»), были рассмотрены основные стратегии импликации письменного слова в зрительный ряд. Было наглядно показано, что в нынешнюю эпоху превалирования визуального дискурса вербальный знак в составе изобразительного «текста», генетически восходящий к авангарду, служит целям поиска нового позитива. Вербальное, по мнению исследовательницы, отмечает собою постутопическое как посттекстовое сознание и наряду с другими поэти-

ческими средствами участвует в собственном российской культуре процессе самоидентификации — эстетической, идеологической, социальной.

Доклад **поэта, редактора и издателя А. Очеретянского** (Нью-Йорк) «“Смешанная техника” как выход за пределы языковой формы» расширил рамки визуального представления текста до технологии «смешанной техники», которая является ведущим способом организации текста на страницах издаваемого докладчиком в США русскоязычного альманаха «Черновик». А. Очеретянский считает, что смешанная техника — процесс, который займет еще не одно столетие. В подтверждение своей мысли докладчик рассказал о «комфутах» (коммунистических футуристах), ставших позднее «производственными» (Борис Арватов, Николай Тарабукин, Борис Кушнер и др.), убежденных в том, что литература и искусство отомрут, перелившись в окружающий нас быт.

В докладе **к. ф. н. А. В. Гик** (ИРЯ РАН) «Языковые составляющие конкретной поэзии» были выявлены приемы и способы использования знаков естественного языка в конкретной поэзии на примере творчества Б. Портера. Исследовательница отметила, что конкретная поэзия имеет своей целью редуцировать язык к его конкретным составляющим, свободным не только от семантики, но и от синтаксиса. В своем использовании языка, поэт в общем случае его сокращает, тогда как в визуальной поэзии происходит увеличение языка с помощью акустики или реальной картинке-образа. А. В. Гик наглядно показала, как в творчестве американского конкретиста обг-рываются все уровни языка: фонемный, морфемный, лексический, синтаксический, а редуцирование языка обрастает новыми значениями — появляется новый

синтаксис, новая семантика и новые морфемные образования.

Доклад **тамбовского поэта А. Федулова** служил своеобразным продолжением выступления А. Очеретянского. На примерах разных искусств различных эпох Федулов сделал предположение, что главной жизненной силой искусств является их способность к смешению. Он подчеркнул, что «смешанность» — основа всего сущего, поскольку и само человечество существует благодаря данному способу сохранения материи. Соответственно за родовое разнообразие искусств, считает поэт, отвечает смешение техник. В заключение А. Федулов привел показательные примеры, демонстрирующие эффект «смешения» на уровне названия произведения, его жанровой ориентации или цветовой окраски.

В докладе **программиста и мэйл-артиста Ю. Л. Гика** (Москва) «Наследие ДАДА в современной визуальной поэзии» были показаны точки пересечения современных визуальных поэтов и артистов международного движения ДАДА: Швиттерса, Хаусманна, Хартфилда, Дюшана, Пикабиа и др. В начале выступления докладчик остановился на влиянии группы ДАДА на художников и поэтов XX в. Основное содержание доклада составил анализ образцов поэмы ДАДА различных видов и сопоставление их с визуальными произведениями современных поэтов. По мнению Гика, в большинстве современных работ можно наблюдать не слепое копирование приемов ДАДА, а их развитие в сторону усложнения как с лингвистической точки зрения, так и с художественной.

Заключительным в этой серии стал доклад **литератора Т. Михайловской** (Москва) «Проблема столкновения вербального и визуального в современной литературе». Доклад состоял из двух частей. В первой части докладчица пред-

ставила краткую ретроспективу экспериментальных работ поэтов и художников по соединению вербальных и визуальных компонентов периода Авангарда-2. Основным тезисом первой части был вывод, что на сегодня эксперименты в этой области закончены, и имеет место обычная реальная художественная практика. Во второй части доклада были приведены конкретные примеры такой. В конце доклада Т. Михайловская высказала мнение, что новая стратегия искусства заключается не в обращении к элите или к массе, а направлена исключительно и непосредственно на конкретного человека.

В рамках вечернего заседания 17 мая выяснялся широкий круг вопросов, сформулированный как проблема «Современный поэтический язык: полистилистика и многоязычие». Открылось заседание очень продуманным по композиции и исполнению докладом **д. ф. н. Л. В. Зубовой** (Санкт-Петербург) «Поэтика точного слова: стихи Вячеслава Лейкина». В нем было проанализировано несколько текстов, показывающих возможности языкового творчества внутри традиционной поэтики, ориентированной на прямое лирическое высказывание. Л. В. Зубова мастерски показала, как внутритекстовая актуализация разнообразных языковых связей слова в стихах разных жанров и тональностей обеспечивает смысловую плотность текста и энергию этически ответственной поэтической речи.

В докладе «Идиомы»: поэтическое творчество О. Янушевского как выражение современного многоязычия», который был представлен **Э. Шмидт, доктором Института по изучению русской и советской культуры им. Ю. Лотмана и Рурского ун-та г. Бохума** (Германия), вновь была поднята проблема многоязычия и полистилистики в современной поэзии. Докладчица наглядно продемон-

стрировала, что многоязычие и полистилистика таят в себе возможность параллельных интерпретаций в разных жанровых, стилевых и семантических регистрах.

Доклад **к.ф.н. А. Ю. Сергеевой-Клятис** «Об одном стихотворении Льва Лосева» представлял собой комментарий к лосевскому стихотворению «Батюшков», которое состоит из двух частей: первая из них посвящена русскому стихотворцу Константину Батюшкову, вторая — знаменитому декоратору и сценографу итальянцу Пьетро ди Готгардо Гонзаго. По мнению докладчицы, героев лосевского текста объединяет не столько культурно-историческая эпоха, а так называемый хронотоп стихотворения. Их судьбы накрепко связаны с одним местом — Россией и одним временем года — зимой. В целом же, стихотворение говорит о сложной судьбе России.

В своем сообщении «О современном состоянии русского моностиха» **поэт и филолог Д. Кузьмин** (Москва) предложил различные художественные стратегии современного русского моностиха и проследил их преемственность по отношению к опытам работы с этой формой в русской поэзии конца XIX — первой половины XX вв. Он особо рассмотрел популярную традицию иронического моностиха, превращенного стараниями В. Вишневского в жанр современной массовой поэзии. В рамках своей классификации Д. Кузьмин также проанализировал и другие виды моностиха: а именно, моностих как психологическую миниатюру и как изолированный троп, моностих, восходящий к образцам русского хайку, моностих как found poetry. Д. Кузьмин сделал вывод о том, что моностих как форма легитимизирован в современной русской поэзии и входит, вследствие этого, в формальный репертуар авторов с самой различной художественной ориентацией.

В следующем докладе **д. ф. н. Ю. Б. Орлицкого** (РГГУ) «Свободный и несвободный стих в современной русской поэзии», продолжившем стиховедческую линию конференции, был предложен новый взгляд на соотношение свободного/несвободного стиха в пределах современной русской поэзии. Согласно концепции известного стиховеда, прежняя дихотомия, основанная на противопоставлении верлибра силлаботонике, уступает место противостоянию традиционных («несвободных») метров (в том числе и классического верлибра) широкому спектру новых (и реанимированных) типов и вариантов стиха, по большей части ориентированных, в отличие от предшественников, на принципиальную гетерогенность.

В докладе **д. ф. н. О. А. Лекманова** (МГУ) «Олег Григорьев и ОБЭРИУ. Заметки к теме» речь шла о мировоззренческой близости ленинградского детского поэта Олега Григорьева и обэриута Даниила Хармса. По мнению Лекманова, пристрастие к запретным, табуированным не только в детской, но и взрослой европейской поэзии темам сказалось в творчестве Григорьева гораздо отчетливее, чем в стихах и прозе Хармса.

Второй день конференции-фестиваля вновь завершили поэтические чтения. В этот вечер сначала выступили поэты неофутуристического направления — **Анна Альчук, Александр Федулов и Сергей Бирюков**. А. Альчук прочитала стихотворения из последнего сборника «Словарево», А. Федулов читал стихотворения из своей недавно вышедшей книги «Книгирь», а С. Бирюков представил нечто вроде поэтического театра одного актера. Театральную линию исполнения продолжил московский поэт Вилли Мельников, неповторимый своим умением сопрягать слова в «муфту-лингву». Затем выступавший ранее в роли доклад-

чика поэт **Владимир Аристов** продемонстрировал на практике свою концепцию «idem-form'ы». И, наконец, свои новые произведения прочитал приехавший из США поэт-эмигрант **Рафаэль Левчин**. Таким образом, в один вечер свои авторские литературные стратегии представляли поэты разных стран и разных поэтических тенденций. Завершающим украшением вечера стало выступление дуэта **Людмилы Колодяжной** (ИРЯ РАН) и **Инны Николаевой** (Москва), которые исполнили «Аллюзии на строки поэтов серебряного века» под аккомпанемент гитары.

Утреннее заседание 18 мая было посвящено современной русской прозе и диалогу текстов в поэзии и прозе. День открылся докладом **доктора Пизанского университета Г. Денисовой** (Италия) «“Новый текст” в современной русской прозе: риторика, идеология, стратегия успеха». Г. Денисова заметила, что на рубеже XX—XXI веков произошла смена парадигм, которая повлияла на историческое сознание русских и повлекла за собой неизбежную трансформацию их представлений о себе, о своем прошлом и настоящем, что не могло не отразиться на стратегиях писателей и на ожиданиях читателей. Путем сопоставления художественных приемов с идеологическими стратегиями и внешними системами коммерческого влияния, складывающимися в одну взаимосвязанную цепочку, докладчица попыталась обнаружить мировоззренческие ориентиры, которые стоят за *новой* русской прозой.

В докладе **д. ф. н. М. А. Дмитровской** (Калининград) «Интертекстуальные источники «кастрационного» сюжета в произведениях Ю. Буйды» анализировался ряд произведений современного прозаика, в них повторяется сюжет, который можно схематизировать как: кастрация — последующая любовь — смерть

героев в один день. Как отметила исследовательница, в наиболее полном виде этот сюжет представлен в рассказе «Рыжий и рыжая», вошедшем в книгу «Прусская невеста». Этот рассказ восходит одновременно к двум разным источникам: к истории любви Пьера Абеляра и Элоизы и к древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» (XVI в.). Первый протосюжет повторен у Буйды в темах кастрации и любви. Из второго источника заимствован змеборческий мотив: Петр Муромский — победитель похотливого змея, который приходит в обличье брата к его жене. У Буйды этот мотив сливается с мотивом кастрации: орудием в обоих случаях служит меч (садовый нож).

В своем докладе «ГеоЯзыковые стратегии в произведениях Хольма ван Зайчика» **к. ф. н. Н. С. Волкова** (Санкт-Петербург) раскрыла перед собравшимися тайны успеха нового российского автора.

Далее состоялся доклад-перформанс **писательницы и художницы Веры Хлебниковой** (Москва) под общим названием «Незаконченное и начатое (литературно-художественная работа с архивами)». В. Хлебникова прочитала пьесу «Ключевое слово», в чем ей помогал С. Бирюков. В заключительной части перформанса Хлебникова познакомила присутствующих со своими четырьмя новыми книжными проектами: «Женщина, занимающаяся искусством...» — книга из газетных объявлений; «Много людей» — книга из старых фотографий, «Избранное» — альбом, «Русский портрет» — цитаты с портретными описаниями из классической русской литературы XIX в. и классическая русская портретная живопись этого периода, по которым можно самому составить портрет литературного героя.

Последние два доклада этого утреннего заседания были посвящены поэзии

Елены Шварц. Профессор **К. Ичин из Белграда** представила доклад «*“Орфей”*» Елены Шварц в контексте поэтической традиции», в котором была предпринята попытка проследить отклики поэтических толкований мифа об Орфее и Эвридике, начиная с Вергилия и Овидия вплоть до Цветаевой. Профессор из Белграда подчеркнула, что своим поэтическим текстом Шварц включается в художественную традицию толкования мифической попытки преодолеть смерть силой любви и искусства, уходящую корнями в античную литературу.

В докладе «Поэтика живого»: стихотворение Елены Шварц «Смятеные облаков» **к. ф. н. Л. Л. Шестакова** (ИРЯ РАН) предложила лингвопоэтическую интерпретацию еще одного произведения известной петербургской поэтессы. Продолжая основную мысль доклада К. Ичин, Л. Шестакова наглядно показала, что анализируемое ею стихотворение, представляющее собой сплав реальности и фантастики, также обнаруживает отчетливые связи с широкой поэтической традицией.

Утреннее научное заседание этого дня получило продолжение в чтениях прозы и поэзии. В них на этот раз приняли участие только авторы-женщины. Сначала поэтесса и переводчица **Наталья Стрижевская** прочла свои последние работы, отличающиеся особым ритмическим рисунком, напоминающим цветаевский. Затем **Татьяна Михайловская** прочла несколько недавно законченных эссе. Заключительным в утренней части чтений стало выступление писательницы **Ольги Новиковой**, известной своими романами, дифференцирующимися в заглавиях по полу — «Женский роман» и «Мужской роман». О. Новикова с удовольствием отметила, что ею уже написан последний роман трилогии под названием «Мужское и женское». После

того, как выступили сами женщины-авторы, ведущие чтений **О. Северская** и **Н. Фатеева** предложили тему для общей дискуссии, сформулированную в виде вопросов: можно ли говорить, что существует особый «женский стиль» письма и насколько принадлежность к определенному полу (в данном случае к «женскому») обуславливает появление в текстах тех или иных дифференциальных стилистических характеристик. Мнения выступающих в дискуссии разошлись, но большая часть взявших слово исследователей и литераторов признала, что, хотя литература подразделяется не по половому признаку, а по признаку таланта, именно в этой связи кажется неслучайным, что среди наиболее талантливых писателей и поэтов нашего времени совсем немало женщин.

Вечернее заседание «Поэтический язык в динамике» вел **поэт и философ К. Кедров** (Москва). Он открыл выступления своим докладом «Поэтическая стратегия ДООСа и метаметафоры, 1976—2003». По ходу доклада Кедров раскрыл введенные им в заглавии термин и сокращение. Поэт и исследователь напомнил, что термин «метаметафора» он придумал в 1983 году, но сама метаметафора появилась еще в 1960 году, когда в его поэме «Бесконечная» возникли строки: *Я вышел к себе через-навстречу-от и ушел под воздвигаю над*. По мнению Кедрова, «метаметафора» возникает тогда, когда речь идет о метафизическом художественном хронотопе, где, как в гностическом Евангелии от Фомы, «верх как низ», а «внутреннее как внешнее». Далее председатель заседания рассказал, что в 1983 году вместе с Е. Кацюбой и Л. Ходынской он образовал ДООС — Добровольное общество охраны стрекоз, девизом которого стала строка: *«Ты все нела? Это — дело»*.

Затем слово было предоставлено поэтессе **Е. Кацюба** (Москва). Она выступила с сообщением «Лингвистический реализм. Опыт создания “Первого палиндромического словаря современного русского языка” (1999). “Новый палиндромический словарь” (2002)». В свойственной ей поэтической манере Е. Кацюба сказала, что ей всегда хотелось, чтобы слово в стихах превращалось не в уме или душе читателя, а прямо на листе бумаги. Она искала разные формы трансформации текста. Ведь если, согласно Библии, «В начале было Слово», то все остальные слова произошли от него именно так: переставляя, заменяя, сдвигая, раздвигая, добавляя и убирая буквы. По мнению поэтессы, «Слово» творило и вечно будет творить мир. И в этом смысле у русского языка особое положение. Ни в одном языке, кроме русского, считает она, нет такого количества палиндромов — слов и целых фраз, которые читаются справа налево и слева направо. Чтобы доказать это, Е. Кацюба создала книгу — «Первый палиндромический словарь», а затем его продолжение «Новый палиндромический словарь».

Прямым продолжением высказанных Е. Кацюбой положений стал доклад поэта и филолога **А. В. Бубнова** (Курск) «Феномен языка палиндрома». А. В. Бубнов, сам автор многих палиндромов в прозаической и поэтической форме, отметил, что слоговая структура палиндрома заставляет авторов прибегать к лапидарной лексике, к использованию немногосложных словоформ: поэтому в русском палиндроме часто отсутствуют глагольные формы настоящего времени и используются краткие прилагательные. В палиндромических конструкциях нередко возникают и окказионализмы — новые слова или формы слов, созданные в поисках точности реверса. Он особо

подчеркнул, что краткость и точность выражения в палиндромных текстах дополняется стремлением к эстетизации, символизации словесных сочетаний, чему способствует симметричная звуковая организация палиндромного стихотворения.

Доклад поэта **В. Мельникова** (Москва) «Прием “муфта-лингва” как эсперанто науки и искусства» стал теоретическим объяснением к прочитанным им стихотворениям. В основе выработанного Мельниковым приема «муфта-лингва», который можно продемонстрировать, например, строками — *Нечёткая Давидимость псалмов / В устах глаголиафа — весь контраст* — лежит тенденция к многоязычию поэтического языка, которая позволяет создавать не только словообразовательные, но и грамматические неологизмы. Все они образованы по типу «муфты», соединения и сцепления морфем, принадлежащим более чем одной языковой системе.

Еще одну литературную стратегию «Readymade» представил поэт **Н. Байтов** (Москва). Он сказал, что *readymade* — термин из области визуальных искусств и применительно к литературе он используется сравнительно недавно. В сфере визуальных искусств он означает какую-нибудь вещь, которую художник вносит в экспозиционное пространство, а затем объявляет ее художественным произведением, а себя автором этого произведения. На Западе в сфере литературного творчества принято говорить о близком явлении *found poetry*. Один из классиков и теоретиков *found poetry* Джон Р. Колombo называет ее *redeeming prose*, т.е. *освобожденной* или *выкупленной* прозой. *Found poetry*, добавил Н. Байтов, по мере переноса текстов из «прозы» в «поэзию» постепенно изменяет и сами границы поэзии. Ресурсами *readymade* и *found poetry*, по мысли поэта, являются, во-пер-

вых, архивы, письма, дневники, исторические документы; во-вторых, газеты и журналы, т. е. та область, в которой, по мнению дадаистов, язык наиболее затаскан, и, наконец, третий важнейший ресурс — это научные и технические тексты.

Продолжением представления литературных стратегий стали поэтические чтения третьего дня. В их рамках стихи читали, в основном, поэты, ранее представившие свои теоретические положения: **Константин Кедров, Елена Кацюба, Светлана Литвак, Николай Байтов, Игорь Лоцилов.**

Отличительной особенностью конференции-фестиваля стали многочисленные презентации. Ими был полон заключительный, четвертый день конференции. **Д. ф-м. н. Н. А. Наумов** (ИПМ РАН) провел презентацию на тему «Метафорические модели на основе музыкальных композиций». Он продемонстрировал компьютерную музыкальную программу «Текстовокс», которая является инструментом для создания музыкальных композиций на основе «прочтения» текстов на естественном языке. Он также представил и другие модели и программы: «Графологическую модель», «Каузативную модель», «Графовокс» — последняя переводит рисунки, картины, фотографии в звукомызыкальные объекты. **Куратор Калининградского филиала Государственного центра современного искусства Д. Х. Булатов** провел презентацию «Современные поэтические практики на основе био- и генной инженерии» с помощью видеопректора. Он заметил, что экспериментальный выход за границы текста или изображения приводит к необходимости преодолеть границы литературы и искусства, определяя то и другое в качестве исторических категорий. Подобное расширение эстетических границ, начавшееся на протяжении

1990-х гг. на волне экономической и материально-технической деконструкции, сопровождалось масштабной экспансией на новые территории. Наряду с уже проведенными исследованиями, посвященными междисциплинарной природе некоторых явлений экспериментальной поэзии (таких как, визуальная и саунд-поэзия, видеопоззия, поэтический объект, электронная поэзия и т. д.), по мнению Булатова, назрела живая необходимость отследить возможные промежуточные варианты, возникающие на пересечении поэтического творчества и технологий XXI века (био- и генной инженерии, биомедицины, молекулярной биологии и т. д.).

В рамках демонстрации международных антологий визуальной поэзии и саунд-поэзии свои произведения представили **петербургский поэт Александр Горнон** и **поэт-издатель Александр Очеретянский** (Нью-Йорк). Предварительно об основных элементах поэзии А. Горнона рассказал в своем сообщении «Натурфилософские интуиции и стихия поэтической речи» **поэт и физик Б. Ф. Шифрин** (Санкт-Петербург). **Борис Констриктор** и **Борис Кипнис** (Санкт-Петербург) выступили с несколькими стихомызыкальными композициями (голос+скрипка).

Во время заключительного круглого стола «Современный литературный текст: выход за рамки языка, не покидая его», который вели **В. Вестстейн, Л. В. Зубова** и **В. П. Григорьев**, были поставлены следующие вопросы: «Что такое поэзия, где она начинается, где она кончается?», «Где границы между поэзией, изобразительным искусством и музыкой?», «Существуют ли женская поэзия и проза?», «Существует ли специальный язык современной поэзии?». По этим вопросам свои соображения высказали **С. Бирю-**

ков, Д. Кузмин, Ю. Проскуряков, Д. Булатов, Н. Байгов и др.

Конференция завершилась докладом и презентацией **доктора М. Лама** (Великобритания, Лондон) «Новое в бук-арте последней четверти XX века». Доктор из Лондона перевел термин «book-art» как «книга художника». Он рассказал о предтечах бук-арта — В. Блейке и В. Моррисе, отметил, что вспышка интереса к этому виду творчества произошла в середине XX века. Далее М. Лам остановился на связи бук-арта с концептуализмом, феминизмом, поведал о самых знаменитых Арт-манифестах, а также об отношении к тексту художников группы Флаккус. В рамках презентации все положения, высказанные в докладе, при помощи видеопректора иллюстрировались конкретными произведениями.

Итоги конференции-фестиваля подвел **академик Ю. С. Степанов**. Он ска-

зал, что данное уникальное научно-художественное мероприятие продемонстрировало существование в России разнообразных поэтических направлений, вписывающихся в международный литературный контекст. Конференция-фестиваль также показала, что научное осмысление явлений, происходящих в современном поэтическом языке, стимулирует поиски авторов в области эксперимента с поэтическим словом.

Логическим итогом данной конференции-фестиваля станет публикация его материалов под общим заглавием «**Поэтика исканий, или Поиск поэтики**» (средства на их публикацию выделены РГНФ). Информация о данном проекте представлена в Интернете на сайте Института русского языка РАН, а также на сайтах **gramota.ru** и **avantgarde.narod.ru**.

О. В. Тищенко, Н. А. Фатеева

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Н. В. СЕМЕНОВА

ТАКСИС: ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ

Термин *таксис* стал известен широкому кругу лингвистов с конца 60-х гг. прошлого столетия. Его, как греческий «прообраз» предложенных ранее Блумфилдом и Уорфом терминов *order* «порядок» [Bloomfield 1946] и *mode* «порядок, образ действия» [Worf 1946], ввел Р. О. Якобсон для обозначения глагольной категории, которая «характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения» [см. Jakobson 1957; цит. по Якобсон 1972: 101]. Речь, по сути, шла о сложных временных отношениях, возникающих в полипредикативном комплексе, но, квалифицировав нововывявленную категорию как *не-шифтер*, а время — как *шифтер*, Якобсон уже на уровне терминологии развел их понятийные сферы. Вместе с тем указывалось, что эти совершенно различные категории могут пересекаться: областью их сближения и пересечения Якобсон считал «относительное время».

Таксис, отмечал автор, имеет два вида — зависимый и независимый. Зависимый таксис применительно к нивхскому языку был определен как «выражающий различные типы отношений к независимому глаголу — одновременность, предшествование, прерывание, уступительную связь и т. п.» [Там же: 101]. Независимый же данными признаками не характеризовался, и на этом, в общем-то, его определение заканчивалось, но было указано, что в нивхском языке он имеет

три разновидности: обязательно включающую, предполагающую или исключаящую зависимый таксис.

При зависимом таксисе, отмечалось далее, категория времени сама по себе выступает в функции таксиса, и поэтому «соотношение прошедшего и настоящего времени превращается в противопоставление, которое, пользуясь терминологией Уорфа, можно назвать противопоставлением интервала и контакта между двумя сообщаемыми фактами» [Там же: 107]. В русском языке маркированной формой данной разновидности таксиса является деепричастие, указывающее на сообщаемый факт, сопутствующий другому, главному, сообщаемому факту.

Такова в общих чертах концепция Р. О. Якобсона, изложенная им в статье 1957 г.

Сегодня уже можно с полным основанием сказать, что ее появление стало заметным событием в лингвистическом мире, поскольку она совершенно недвусмысленно заявляла о существовании новой, подчеркнем — грамматической категории, онтологически присущей глаголу. Для отечественной науки о языке этот факт остался практически незамеченным, и лишь с выходом в 1972 году русскоязычного перевода понятие *таксис* начинает активно использоваться отечественными учеными при изучении соответствующего языкового феномена. В 80-х гг. последовал целый ряд работ, в том числе и диссертационных, своеоб-

разный итог которым подвела в 1987 г. коллективная монография из серии «Теория функциональной грамматики», один из разделов которой был посвящен специальному анализу новой категории [ТФГ 1987]. С тех пор таксис — довольно популярная и даже модная языковедческая тема. Его изучают и на материале русского языка, и в сопоставительном плане. В зависимости от методологических установок, принципов анализа и охвата языкового материала акцентируются разные аспекты: общие или частные, семантические или формальные, идиоэтнические или типологические. Все это не может не привести к пересмотру «якобсоновских» взглядов на таксис и более широкому его толкованию. Однако «таксисические значения» трактуются учеными разных школ и направлений подчас с совершенно противоположных позиций, что провоцирует не только терминологическое смешение, введение необоснованной системы двойного терминологического обозначения, но и существенно затрудняет понимание самой категории. Не будет большим преувеличением сказать, что значение термина в настоящее время является неустойчивым.

Сложившаяся ситуация имеет как свои причины, так и следствия. Основная задача данного обзора как раз в том и заключается, чтобы попытаться разобраться и в тех, и в других. Именно с этой целью дан небольшой экскурс в историю изучения категории таксиса и представлены современные его концепции, преимущественно в отечественном их варианте.

1. Из истории изучения

Одной из главных причин разноречивого толкования таксиса следует признать, по-видимому, тот факт, что, хотя в

1957 г. Якобсоном и было введено новое понятие, сами языковые явления, стоящие за этим понятием, были достаточно хорошо известны и имели длительную традицию изучения. Практически в каждой грамматике они рассматривались как отношения полипредикативной одновременности/разновременности и получали характеристику в различных разделах, главным образом — в морфологии и синтаксисе при анализе видо-временной соотносительности и в связи с проблемой семантико-синтаксической эквивалентности/неэквивалентности предикативных и полупредикативных единиц. При этом еще до введения понятия *таксис* многими учеными интуитивно осознавалась категориальная их природа.

Пожалуй, одним из первых подобных мысли высказал академик Шахматов. Так, анализируя семантику деепричастий, он характеризует их как морфологическое выражение специфичной *глагольной категории одновременности/преждевременности*. При этом он делает замечание о возможности актуализации значений выделенной им категории разноструктурными средствами. «Категория одновременности, — пишет Шахматов, — находит себе морфологическое выражение во второстепенном глагольном сказуемом в форме настоящего времени от глаголов несовершенного вида», а также «во второстепенном неглагольном сказуемом путем простого соотношения к главному, поскольку их одновременность не требует специального обозначения: *он пришел усталый, он вернулся уже стариком* и т. п.» [Шахматов 1941: 489]. Категория же преждевременности выражается только результативно от глаголов совершенного вида. Таким образом, констатирует А. А. Шахматов, «категория преждевременности ассоциируется только с представлением о результативности, а категория одновре-

менности — с представлением о длительности» [Там же: 490].

Сходные замечания можно найти и у А. М. Пешковского. Однако в отличие от Шахматова он акцентировал не видовые, а временные особенности деепричастия. Говоря о грамматической несамостоятельности времени деепричастия, А. М. Пешковский подчеркивает, что такое же несамостоятельное значение категории времени возможно и у причастий, и — в исключительных случаях — у глагола «в так называемой «последовательности времен» [Пешковский 1934: 115, 430].

Идеи Шахматова и Пешковского особенно ценны в том смысле, что морфологические по своей основе явления получили в их концепциях функциональное освещение. Экстраполяция спектра значений отдельных морфологических категорий на категории синтаксического и морфолого-синтаксического характера приводила в итоге к осознанию высокой степени автономности некоторых семантических областей от формально-структурного плана их выражения. Подобные взгляды в начале XX века находили все больше поддержки в функционально-ориентированных лингвистических теориях, методологической установкой которых становился анализ глагола на фоне развернутой характеристики грамматической системы языка.

Одной из таких теорий явилась выдвинутая Э. Кошмидером функционально-грамматическая концепция глагольного вида [Кошмидер 1962: 129—140]. На материале польского языка он еще в 30-е годы доказал, что употребление видов находится в тесной связи с временными факторами. Описывая закономерности временного соотношения видовых форм, Э. Кошмидер высказал мысль о регулярном использовании видов в определенных *ситуационных типах* и тем самым,

как справедливо отметил В. В. Иваницкий [Иваницкий 1991: 60], практически предвосхитил открытие категории таксиса. *Ситуационный тип* ученый охарактеризовал как временное соотношение двух фактов в комплексе фактов, называемом ситуацией, и рассмотрел такие «ситуационные типы», как «что-то происходило, а тем временем что-то произошло», «когда что-то произошло, произошло что-то другое» и т. д. [Кошмидер 1962: 148—151]. Ситуацию, представляющую собой факт внеязыковой действительности, Кошмидер считал основным фактором, влияющим на употребление видов, ср.: «в сложном ситуационном типе, в котором данный факт выступает во временном отношении к другим фактам, сама ситуация определяет направленную отнесенность, а тем самым и вид» [Там же: 140].

В аспектологии — сложившемся к середине XX века новом разделе грамматики, изучающем глагольный вид и всю сферу смежных с ним значений, — понятие *ситуационный тип* оказалось широко востребованным.

А. В. Бондарко были выявлены факты, доказывающие существование сходных закономерностей и в русском языке. Он объединил и систематизировал эти факты, предложив образцы *аспектуального (видового) контекста*, обозначенные им как *цепь фактов, предшествование — следование, пучок фактов* и др. [Бондарко 1971: 180—200]. Имелось в виду регулярное соотношение видовременных форм в различных типах синтаксических конструкций. Что же касается новой терминологии, то ее целесообразность автор объяснил тем, что понятие *аспектуальный контекст* во многом сходно с *ситуационным типом*, однако «оно предполагает рассмотрение не внеязыковых фактов, а языкового отражения внеязыковых ситуаций» [Бондарко, Була-

нин 1967: 62]. Подчеркивая отличие употребляемого им термина, А. В. Бондарко заметил: «... временные соотношения фактов и вообще характер протекания комплекса — это лишь одна сторона рассматриваемых типов. Другая сторона — это языковые средства выражения тех отношений, о которых идет речь (средства морфологические, синтаксические и лексические, вся совокупность элементов контекста, влияющих на функционирование видов)» [Бондарко 1971: 179]. Справедливость такого подхода к полипредикативным комплексам подтверждали данные, полученные по результатам обследования фактов других индоевропейских языков. Почти к аналогичным выводам пришли В. М. Балин, проанализировавший «фигуры и регулярные речевые ситуации как средство оформления аспектуальных полей действий в германских языках» [Балин 1968], и В. Поллак, который разработал близкие понятия применительно к фактам английского и французского языков [Pollak 1960; Pollak 1976].

Следует отметить, что при вовлечении в сферу аспектологического анализа языков иного морфологического строя, чем русский, в фокус внимания исследователей попадали различные языковые средства, трудно поддававшиеся квалификации с позиций традиционной грамматики. Таковыми, в частности, являлись формы т. н. *перфектного ряда*, самостоятельный грамматический статус которых стремились обосновать многие ученые.

В отечественной лингвистике подобную точку зрения наиболее убедительно сформулировал еще А. И. Смирницкий. Он характеризовал перфект как грамматическую форму, специализирующуюся на выражении отношений предшествования, а противопоставленный ему *неперфект* как форму «безотносительной,

непосредственной данности». Перфектные формы, считал А. И. Смирницкий, вступая в оппозитивные отношения с неперфектными, конституируют особую грамматическую категорию *временной соотношенности*, отличную как от времени, так и от вида [Смирницкий 1959: 311—314]. Чуть позднее об этой категории заговорил Г. Г. Сильницкий. Введенное им противопоставление категорий *первичной* и *вторичной отнесенности действий* также базировалось на грамматической оппозиции абсолютных и относительных (перфектных) времен, однако отличалось ориентацией на действительные параметры высказывания. В сущности, речь шла о первичном и вторичном временном дейксисе, причем последний рассматривался исключительно в связи с грамматическими временами английского глагола [Сильницкий 1970].

Если обратиться к зарубежным исследованиям этого же периода, то и здесь можно найти схожие определения. В качестве самостоятельной грамматической категории противопоставление *перфект/не-перфект* рассматривали, например, М. Джуз и Дж. Бауэр. М. Джуз называл оппозицию *перфект/не-перфект* двумя *фазами*, а Дж. Бауэр предложил для данной грамматической категории термин *статус* [Joos 1964; Bauer 1970].

Следует, впрочем, сразу же оговориться, что категориальная самостоятельность перфектных форм признавалась далеко не всеми. Так, в отечественной аспектологии 60-х гг. они получили прямо противоположную трактовку. Ю. С. Маслов определил перфектность как специфическое аспектуально-темпоральное значение, подчеркнув, что временная «двуплановость» перфектных форм, явно ощущаемая в их семантике, в известной степени оправдывает их рассмотрение в качестве «относительных

времен предшествования», но значение перфектных форм не исчерпывается указанием на чисто хронологическое предшествование, т. к. оно может быть выражено и с помощью простых претеритов. В данном случае, писал Ю. С. Маслов, следует говорить об определенном «видовом оттенке», рассматриваемых форм, «твердо помня... что слово “видовой” употреблено... “в широком смысле” и что оно никак не значит “относящийся к совершенному или несовершенному виду”, “перфективности — имперфективности”, а значит нечто иное, скажем, относящийся к указанию помимо самого действия на его остающиеся последствия, на ту или иную связь этого действия с последующим временным планом» [Маслов 1959: 164].

Это определение имело чрезвычайно важное научное значение, поскольку давало четкое представление о грамматической специфике «перфектов», их особом положении в видо-временной системе и при этом не выводило их за ее пределы. К сожалению, оно учитывалось далеко не всегда и далеко не всеми. Игнорирование аспектуально-темпоральной основы семантики перфектных форм и акцентирование их особого грамматического статуса в конечном итоге и привело к тому, что после выхода известной статьи Якобсона понятия *таксис* и *перфектность* для многих стали практически синонимами. Таксис удачно заполнял лингвотерминологическую лакуну еще и потому, что сам по себе он был мало кому понятен. Отсутствие в работе Якобсона широких языковых иллюстраций и довольно краткая характеристика независимой сферы таксиса, никак не объясняющая ее отличие от любого сложного или осложненного предложения, — все это способствовало тому, что *таксисом* стали называть грамматически маркированные формы. Фактически под общее ро-

довое понятие была подведена только часть его значений, а именно те, которые составляли лишь одну его сферу — зависимую.

Подобная тенденция прослеживается и сейчас. В отечественной лингвистике, например, в свое время поднимался вопрос о степени «таксисности» языков исключительно по признаку развития в том или ином языке зависимых форм [ТФГ 1987: 300]. В зарубежной же литературе термины *независимый* и *зависимый таксис* вообще не имеют широкого хождения. Речь, как правило, идет либо просто о *таксисе* (реально же — о «перфектных» формах), либо только о *зависимом таксисе*. Под последним же подразумевают нефинитные глагольные формы типа деепричастия, причастия и герундия, отглагольного имени с предлогами или послелогами, т. е. те формы, которые, по мнению И. В. Недрялкова, могут быть объединены «единым типологическим» термином, и этим термином «могло бы быть понятие “конверб”, уже использующееся во многих зарубежных типологических работах в аналогичном значении» [Недрялков 2001: 112].

На определенном этапе изучения, таким образом, проблематика таксиса замкнулась сугубо на формальной стороне, а именно — на вопросе выяснения, как выражаются в языке зависимые предикативные компоненты.

И все же, как нам кажется, изначально исследовательский интерес и особенно отечественный, был сосредоточен все-таки не на форме, вернее — в первую очередь не на форме. Главной задачей при анализе таксиса всегда являлась содержательная его характеристика. На разных этапах в центре внимания оказывались те или иные языковые структуры, но приоритет все же всегда оставался за семантикой. Всплеск интереса, который мы наблюдаем в современной лингвистике,

тике к таксису, обусловлен именно его содержательной спецификой, а не формально-структурной разноплановостью. Общая тенденция лингвистической науки к «укрупнению грамматики» (термин Ю. С. Степанова) и выходу на текстовые и шире — дискурсные категории, с одной стороны, и стремление проникнуть в языковой «микромир» — мир *прототипических значений* (Э. Рош и когнитивная лингвистика), *семантических примитивов* (А. Вежбицкая), *семантических толкований* (И. А. Мельчук и Московская семантическая школа) — с другой стороны, заставляют ученых вновь обратиться к рассмотрению явлений, стоящих за понятием *таксис*, тем более что эти явления часто становятся неотъемлемым компонентом высказывания — основного объекта лингвистического исследования.

2. Современные подходы к таксису

Сейчас изучение таксиса идет по пути развития всех ранее намеченных линий. Во-первых, продолжается накопление фактического материала и анализ данных различных языков на предмет выявления имеющихся в их распоряжении способов выражения таксисных значений. Во-вторых, уточняется их семантическая специфика и предпринимаются попытки установления характера взаимодействия таксисных значений с другими предикативными значениями. При этом если в вопросе о средствах и способах выражения таксиса лингвисты так или иначе сходятся во мнениях, то в вопросе о его семантике (а фактически — о категориально-грамматическом статусе) такого единства нет. Различная интерпретация содержательной стороны таксиса и определяет те вариации в его теоретическом освещении, которые мы наблюдаем в современной науке о языке.

Довольно последовательно отстаивается *точка зрения на таксис как на грамматическую категорию*, реализуемую системой перфектных форм. Семантическая сфера таксиса в этом случае оказывается ограничена значениями предшествования, которые и признаются в качестве категориальных. Подобное мнение более распространено в зарубежной лингвистике, менее — в отечественной, но в любом случае высказывается, если речь заходит о тех языках, которые обладают соответствующими аналитическими образованиями.

К классу морфологических категорий относят таксис болгарские ученые. Не отрицая возможности выражения его значений и другими средствами, например, синтаксическими [Пенчев 1985] или даже комплексными — и синтаксическими, и лексическими, и комбинированными — лексико-синтаксическими [Жуцаров 1987], они все же признают, что ядро данной категории составляет морфологическое противопоставление «абсолютных» и «относительных» времен болгарского глагола. В отечественной славистике это мнение поддерживает Т. Н. Молошная. «Таксис, — считает она, — представляет особую по отношению ко времени грамматическую (морфологическую) категорию. Она образуется двумя противопоставляющимися категориальными формами: категориальной формой соотнесенности с моментом речи (M_1) и категориальной формой соотнесенности с другим моментом в прошлом (M_2). Первую составляют настоящее, будущее, аорист, перфект и будущее предварительное; вторую — имперфект, плюсквамперфект, будущее в прошедшем и будущее предварительное в прошедшем» [Молошная 1995: 164].

Грамматическое определение таксиса получает и у исследователей романо-германских языков. Н. Б. Телин, например,

полагает, что «наиболее важный компонент таксиса — значение ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ (англ. Anteriority, нем. Vorzeitigkeit) — опирается на временные значения и образует сложные таксисно-временные значения, в которых к содержанию прошедшего, настоящего и будущего добавляется в качестве подчиненного компонент предшествования. Имеется в виду, естественно, система т. н. перфектных значений» [Телин 1998: 431]. Обращаясь к анализу семантики перфекта, он отмечает, что инвариантное значение этой формы, исключительно таксисного характера, способно в принципе сочетаться с любым видовым значением (так же, как и с любым из временных значений) независимо от того, найдется ли оно эксплицитное выражение или нет. Специфика «таксисности» перфекта заключается, по мнению Н. Б. Телина, не в одном-единственном предикате с «двойной временной ориентацией», а скорее в «двойном, т. е. иерархически сложном, предикате: с одной стороны, в предшествующем действии/состоянии, и — с другой, в последующем актуальном состоянии релевантности предшествующей структуры» [Телин 1988: 242].

Концептуально-семантические противопоставления, лежащие в основе таксисных конструкций, Н. Б. Телин предлагает интерпретировать в системе признаков ± ПРЕДШ(ЕСТВОВАНИЕ) и ± СЛЕД(ОВАНИЕ). Применение этой методики позволяет охарактеризовать не только разновременность, но и одновременность, которая выражается, по мнению ученого, комбинацией признаков – ПРЕДШ. и – СЛЕД. Отсюда следует, что перфектные значения как таковые универсальны в своей таксисообразующей функции и поэтому должны получать соответствующее освещение при описании значений разновременности/одновременности «не только на базе тех

языков, где они представлены дифференцированной парадигматической системой, как, например, в английском и болгарском, но и таких языков, где они передаются главным образом полисемическими или другими, неглагольными, средствами выражения, как, например, в русском» [Телин 1988: 247]¹.

В отечественной германистике грамматическую интерпретацию таксисным значениям дают О. С. Ахманова [1975], Н. В. Перцов [1976], А. Н. Бородина [1973] и др. Из романистов подобного взгляда придерживается Е. А. Реферовская, мнение которой весьма показательно в плане отражения общей тенденции толкования исследователями французского языка семантики аналитических форм глагола.

Относительно сложных претеритов *Passé Composé*, *Plus-que-Parfait*, *Passé Antérieur*, *Futur Antérieur*, *Conditionnel passé* Е. А. Реферовская замечает, что если в момент своего появления данные формы были прежде всего видовыми, указывающими на завершенность и предшествование обозначаемых ими действий, то впоследствии они превратились в специализированные формы «предшествования» [Реферовская 1983: 144]. Это мнение опирается на авторитет Э. Бенвениста, который считал выражение предшествования одной из основных функций сложных времен. Аналитические временные формы, по Бенвенисту, обозначают особую языковую категорию предшествования, не имеющую «эквивалента во времени реально-

¹ Рассматривая концепцию Н. Б. Телина в рамках грамматического подхода к категории таксиса, мы вместе с тем считаем необходимым подчеркнуть, что по своему характеру она является переходной (от грамматики к семантике), о чем и свидетельствует последняя цитата.

го физического мира» [Бенвенист 1974: 281]. Ее область — это логические и внутриязыковые отношения, последовательно находящие свое выражение через семантико-синтаксическую корреляцию сложных и простых временных форм. Доказательством того, что «категория предшествования сама по себе не содержит никакого указания на время, — писал Э. Бенвенист, — служит тот факт, что формы предшествования должны синтаксически опираться на соответствующие свободные временные формы, по отношению с которыми формы предшествования принимают формальную структуру, устанавливаются на том же временном уровне и начинают выполнять свою собственную функцию» [Там же: 282].

Комментируя приведенные выше мнения, заметим, что грамматика изучаемого языка, видимо, все же накладывает отпечаток на толкование значений, являющихся «по природе» сферой действия таксиса. Грамматическая концепция отчасти оправдывается самим языковым материалом. В равной степени она оправдана и метаязыком лингвистической науки. В качестве одного из аргументов в защиту своей точки зрения многие из перечисленных авторов приводят слова того же Якобсона, который, как известно, рассматривал таксис именно как грамматическую категорию.

Более распространен сейчас, однако, особенно в отечественном языкознании, **функциональный подход к таксису**. Версии его варьируются, но все так или иначе могут быть рассмотрены в рамках трех направлений: 1) функционально-семантического; 2) (функционально)типологического; 3) функционально-коммуникативного.

Исходным положением для *функционально-семантического анализа* (заявленного работами пред-

ставителей Ленинградской аспектологической школы² — Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, Н. А. Козинцевой и др.) следует признать высказанную Ю. С. Масловым мысль о тесной связи семантики таксиса с идеей времени. Значения, объединяемые понятием *таксис*, по мнению Ю. С. Маслова, не являются ни темпоральными в точном смысле слова, ни аспектуальными, но лежат содержательно как бы «между» теми и другими. Таксис имеет универсальный характер, но как особая грамматическая категория существует только в тех языках, где имеется соответствующая система грамматических форм. Во многих же языках таксис часто объединяется в рамках одной комбинированной категории либо со временем, либо с видом. Сочетание таксиса и времени образует значение сложной многоступенчатой временной ориентации, которое в ряде языков находит отражение в формах относительных времен со значением предшествования. В подобных формах на передний план выступают аспектуальные функции, исторически предшествовавшие выражению хронологических отношений между действиями [Маслов 1978: 9; Маслов 1984: 32—40].

Специфика подхода, таким образом, заключается прежде всего в том, что в план содержания таксиса включается *совокупность* временных значений, а не только их часть — предшествование. Тем самым его семантика получает, по сути, концептуальное толкование, поскольку «масловская» *идея времени* есть не что иное, как *концепт времени*.

План выражения таксиса в функционально-семантическом ракурсе также значительно расширен. Развивая мысль

² Ныне это научное направление именует себя Петербургской школой функциональной грамматики.

Э. Кошмидера, еще Ю. С. Маслов отметил, что «таксические значения одновременности, предшествования и следования во времени регулярно возникают и в результате взаимодействия видовых форм, так что в некоторых языках выражение таксических отношений может рассматриваться как одна из важнейших функций глагольного вида» [Маслов 1978: 9]. Для языков, имеющих вид, уточнил чуть позднее А. В. Бондарко, характерно не просто совмещение, а единство собственно таксисных и аспектуальных элементов. В связном тексте решающую роль при выборе вида играют объективные хронологические отношения между действиями, в то же время «аспектуальные значения воздействуют на характер временных отношений между действиями, оказывая влияние на их существенные свойства» [Бондарко 1984: 95].

За таксисом в рассматриваемом типе функциональной грамматики А. В. Бондарко закреплён статус семантической категории. При этом особо подчеркнута, что данная категория всегда указывает не на форму, а на отношение, которое передается сочетанием форм [Бондарко 1990: 18]. Имея универсальный характер, таксис широко варьирует эти формы от языка к языку, что и предопределяет разнообразие плана ее выражения. Такой подход к анализу языкового материала, заметим со своей стороны, естественно расширяет эмпирическую базу исследования таксиса, а само исследование лишается в этом случае того налета европоцентризма, который оно неизменно приобретает в грамматических концепциях.

Еще одним отличительным признаком функционально-семантической теории является стремление к четкому структурированию как содержательного, так и формального плана таксиса. Результатом становится построение особой его

модели — *функционально-семантического поля*, в рамках которого вслед за Р. О. Якобсоном выделяют зависимую и независимую сферы.

Содержательная характеристика зависимой сферы существенно не отличается от той, которую ей дал Якобсон, однако репертуар средств выражения значительно дополнен: помимо деепричастий сюда включены причастия и предложно-падежные (девербативные) конструкции типа *при переходе, после отъезда, до переправы, с молчалием, за разговорами* и др.

Независимый же таксис трактуется как соотношение двух и более «равноправных» действий (= предикаций) в различных синтаксических конструкциях. Под последними понимаются: а) предложения с однородными сказуемыми типа *Ганя разгорячался с каждым словом и без цели шагал по комнате* (Ф. Достоевский); б) сложносочиненные предложения типа *Что-то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара* (В. Каверин); в) бессоюзные конструкции: *За окнами ныл осенний ветер, оторвавшийся железный лист громыхал, по стеклам полз полосами дождь* (М. Булгаков); г) сложноподчиненные предложения разных типов, наиболее показательны из которых временные типа *Когда он вошел к своей сестре, у нее сидел Лежнев* (И. Тургенев) и др.

Функционально-семантическая теория, пожалуй, единственная из всех, признающих противопоставление «зависимый/независимый таксис», четко указывает признак, позволяющий отличать независимую таксисную конструкцию от обычной полипредикативной. Это признак целостности временного периода, который «выявляется в его объединяющей функции по отношению к соотносимым во времени действиям, в принадлежности действий к одному и тому же временному плану (в рамках прошлого,

настоящего или будущего)» [Бондарко 1987: 238]. Учет фактора целостности временного периода позволяет представителям функционально-семантического направления включать в типы таксисных отношений помимо дифференцированных (одновременность/разновременность) также и недифференцированные — неопределенно-временные и «псевдоодновременность». Имеются в виду те случаи, когда языковой материал: а) не дает достаточных оснований для однозначного истолкования таксисного соотношения как одновременного или разновременного, ср.: *Взъярился Буранный Каранар, задрожал, заорал, закипел во гневе* (Ч. Айтматов); б) вовсе исключает возможность подобного истолкования, поскольку соотносимые языковые действия обозначают разные аспекты единого денотативного действия: *И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги* (Л. Чуковская).

Указанное общее понимание принципов структурной и семантической организации таксиса отражено в следующем определении, сформулированном А. В. Бондарко в период с 1984 по 1987 гг.: «семантическая категория таксиса трактуется нами как временное отношение между действиями (в широком смысле, включая любые значения предикатов) в рамках целостного периода времени, охватывающего значения всех компонентов выражаемого в высказывании полипредикативного комплекса» [Бондарко 1987: 234].

Типологическое изучение, — никогда, собственно, не прекращавшееся с момента выхода первых работ о таксисе, — во многом смыкается с функционально-семантическим. Особенностью же данного направления является подход к категории таксиса с позиций типологии форм выражения.

Именно такой «взгляд на вещи» позволил В. Б. Касевичу предположить, что о зависимом и независимом таксисе уместно говорить лишь применительно к противопоставлению нефинитных и финитных форм соответственно: если в языке есть финитная форма, специально предназначенная для выражения значения одновременности/разновременности (предшествования — следования) по отношению к некоторой ситуации, не обязательно ситуации общения (коммуникативного акта), то такая форма есть форма независимого таксиса. Нефинитная же форма тогда получает определение средства выражения зависимого таксиса (см. [Касевич 1988: 208—209]; ср. сходную точку зрения в: [Груздева 1994]).

Во многом с опорой на это мнение выстраивает свою «таксисную типологию» В. А. Плунгян [Плунгян 2000: 271—273]. В недавно вышедшем курсе «Общей морфологии» он указывает, что существуют две основные модели выражения таксиса в глагольных системах. В первой модели, называемой автором «нефинитной», таксис проявляется посредством специализированных глагольных форм, которые обычно не выражают граммем (абсолютного) времени и в синтаксическом отношении являются зависимыми от той глагольной словоформы в предложении, которая как раз и выражает абсолютное время. В морфологосинтаксической проекции это адъективные («причастия») или адвербиальные («деепричастия») зависимые таксисные формы. «Нефинитная» модель характерна для славянских (за исключением болгарского и македонского), уральских, алтайских, дравидийских, дагестанских, африканских, австралийских, новогвинейских и некоторых других языков.

Вторая модель — «комбинированная» — отличается тем, что в глагольных формах одновременно выражаются грам-

мемы как относительного, так и абсолютного времени. «Тем самым, — заключает В. А. Плулунгян, — система глагольных форм расщепляется на формы прошедшего времени, выражающие предшествование в прошлом и одновременность в прошлом, на формы будущего времени, выражающие предшествование в будущем и одновременность в будущем; часто добавляются также формы, выражающие следование в прошлом («будущее в прошедшем»), и некоторые другие» [Плулунгян 2000: 172]. Комбинированная модель свойственна (западно)европейским языкам — романским и германским, а также болгарскому. В этих языках таксис выступает как «воистину главная составляющая грамматической семантики глагольных форм» [Там же].

Типологический анализ, имеющий более глубокие связи с основными положениями функционально-семантической теории, но одновременно существенно и расширяющий их, предлагает В. С. Храковский (см., например, [Храковский 1999; 2001; 2003]).

По его мнению, «к таксисным относятся бипредикативные (и шире полипредикативные) конструкции, где грамматическими средствами маркируется временная локализация (одновременность/неодновременность: предшествование, следование) одной ситуации P_1 относительно другой ситуации P_2 , принимаемой за точку отсчета, чья временная локализация прототипически характеризуется относительно момента речи, т. е. независимо от какой-либо еще ситуации P_n » ([Храковский 2001: 109]; ср. также [Храковский 2003: 37]). Только в том случае, когда конкретные таксисные значения маркируются с помощью тех или иных специализированных глагольных форм, называемых ситуацией P_1 , можно говорить о таксисе как о не-шифтерной грамматической категории глагола в

смысле Р. О. Якобсона. Вместе с тем, подчеркивает В. С. Храковский, таксисные формы могут иметь разный категориальный статус, поскольку значения одновременности, предшествования и следования могут выражаться и иными языковыми средствами (финитными глагольными формами; союзами, предлогами/послелогоми в совокупности с неспециализированными финитными глагольными формами, отглагольными именами, а также с неотглагольными предикатными именами) [Храковский 2001: 110].

Содержательно же «таксис (относительное время) соотносится с категориями: абсолютное время и временная дистанция, которые составляют триаду основных грамматических категорий, обозначающих временные координаты или указывающих на временную локализацию некоторой ситуации P_n » [Храковский 2003: 37].

Учитывая специфику содержательных и формальных особенностей таксисных конструкций, замечает далее автор, можно представить следующую естественную классификацию³:

1) *валентностный таксис* (ситуации связаны валентностными отношениями, т. е. одна из ситуаций восполняет валентность другой. Иначе говоря, ситуация, выражаемая глаголом в зависимой части такой конструкции, заполняет валентность содержания или стимула ситуации, называемой глаголом в главной части конструкции);

2) *невалентностный таксис* (это, по мнению В. С. Храковского, конструкции, где все выражаемые глаголами ситуации — самостоятельны, независимы);

3) *не собственно таксисные бипредикативные конструкции* (например,

³ Некоторые из параметров предлагаемой классификации были изложены В. С. Храковским в [Храковский 1999].

любые причинные, условные или уступительные, в которых таксисные отношения обязательно присутствуют, но лишь в качестве фоновых) [Храковский 2001: 111]. «Фоновый таксис» имеет специфическую семантику, «однако независимые ситуации, выражаемые в обеих частях такой конструкции, попутно связаны таксисными отношениями» [Храковский 2003: 53].

На наш взгляд, дополнительного комментария требует первая рубрика, где речь, по сути, идет о (модус-диктумных) конструкциях с предикатными актантами (КПА). Несомненно, что именно эта группа конструкций, которым В. С. Храковский придает статус таксисных, еще станет предметом особой полемики.

Заметим, что против включения в репертуар таксисных конструкций КПА категорически возражает, например, С. М. Полянский, относящий их к сфере действия шифтерной категории засвидетельствованности (эвиденциальности), но никак не таксиса. «В КПА, — пишет при этом С. М. Полянский, — речь идет не о таксисе, а об **относительном времени** (relative time, relative tenses, relative tempora, relative Zeitformen, relative Zeiten) или о **согласовании времен** (sequence of tenses, Zeitenfolge, consecutio temporum), поскольку здесь имеют место значения, формирующиеся в результате семантического взаимодействия **пропозиции (диктума) и пропозициональной установки (модуса)**. Ср.: *Sie sieht/sah, daß/wie er aufsteht* (Она видит/видела, что/как он встает); *Sie bedauert, daß er so viel getrunken hat* (Она сожалеет, что он так много выпил); *Er freut sich, so viel geschafft zu haben* (Он радуется, что так много сделал) и т. п.» [Полянский 2001].

Напомним, однако, что при функционально-семантическом анализе никто ведь и не отрицает возможности пересечения значений «относительного време-

ни» и таксиса⁴, речь идет не о подмене понятий, а о сложнейших процессах взаимодействия грамматических форм и, соответственно, их значений, способствующих актуализации, подчеркнем, **семантической** категории. Что же касается неоднократно постулируемого в последних работах С. М. Полянского [Полянский 1990; 1999 и др.] положения о том, что о категории таксиса речь может идти только в том случае, если имеет место сочетание «диктум — диктум», но ни в коем случае не «модус — диктум», то в противовес хотелось бы:

а) акцентировать мысль о том, что разграничение диктумных и модусных событий не всегда так уж отчетливо и однозначно, довольно часто модус выступает в качестве фрагмента «субстанционального» события, составляет его неотъемлемую часть. Будет ли актуализировано таксисное значение в предложениях типа *Он краснел и чувствовал это; Он вставал, (и) она видела это*, легко преобразуемых в КПА *Он чувствовал, что краснеет; Она видела, как он вставал?* И в том, и в другом случае есть «модусный» предикат ('чувствовать' и 'видеть'). Но если следовать мнению, что КПА — это не таксис, а предложения с однородными сказуемыми и сложносочиненные способны к актуализации его значений (что утверждает функционально-семантическая теория, в рамках которой работает и сам С. М. Полянский), то тогда возникает несоответствие между исходными теоретическими установками на исследование функционально-семантической категории и выяснением фор-

⁴ «В целом, возможно три типа отношений между понятиями относительного времени и таксиса: а) относительное время, но не таксис; б) таксис, но не относительное время; в) относительное время и вместе с тем таксис» [Бондарко 1990: 18].

мы ее выражения, частным случаем которой и является КПА. В чем все же разница между приведенными синтаксическими конструкциями — в содержании или в форме?;

б) несколько уточнить обсуждаемые в статье С. М. Полянского имплицитные установки на пропозитивный анализ, сославшись при этом на мнение специалистов в данной области.

Т. В. Шмелева, представляя типологию пропозиций, довольно четко выделила те из них, которые обладают возможностями составлять и диктум, и модус предложения: «Это пропозиции восприятия, оценочной деятельности и Л-пропозиции (логические пропозиции — Н. С.) характеристики, которые тесно соприкасаются с квалификативными категориями модуса. «Рамочная» роль модуса предполагает вовлечение в него широкого круга значений, но ни для одного из них не исключена возможность оказаться «в раме», быть центром предложения, той информации, ради которой и предпринимается высказывание» [Шмелева 1994: 35]. Изъяснительная конструкция, считает Т. В. Шмелева, «это своеобразный оптимум модуса в высказывании, который, впрочем, используется далеко не всегда, поскольку далеко не всегда «вес» модуса так ощутим, чаще всего он — в структуре предложения на втором плане, если не вообще за кадром» [Шмелева 1995: 32]. И «кроме того, для модуса характерна тенденция проникновения, «врастания» в диктум, что практически исключает возможность его изолированного рассмотрения, обрекая исследователя работать над уточнением представлений о диктуме (...)» [Там же: 34].

Думается, что когда речь заходит об изучении таксиса, модуса и диктума в рамках одной концепции, то, не исключая возможности их тесного взаимодействия, не стоит смешивать разные по сво-

ей функционально-семантической и коммуникативной нагрузке категории.

На наш взгляд, КПА являются центральным средством выражения категории эвиденциальности, и в этом пункте мы соглашаемся с мнением С. М. Полянского. Но данный факт вовсе не означает того, что КПА с их модусным потенциалом не способны выражать и таксисные значения. Эвиденциальность (засвидетельствованность), как известно, также имеет свои разновидности, основные из которых — косвенная и прямая. Таксис совершенно свободно взаимодействует со значениями прямой засвидетельствованности, т. е. с общим модусом наблюдения. В конструкциях типа *Он чувствовал, что краснеет; Она видела, как он уходил* происходит пересечение грамматического значения «относительного времени», маркируемого во многих языках специализированными формами, что весьма убедительно аргументировано В. С. Храковским в одной из последних его публикаций, посвященных проблемам таксиса [Храковский 2003: 45—49], таксисного значения одновременности, поскольку наблюдение всегда предполагает «синхронную плоскость» наблюдателя и наблюдаемого, и эвиденциального значения прямой засвидетельствованности.

Таксис, по нашему глубокому убеждению, довольно активно сочетается с модусными метасмыслами, которые в невыраженном виде практически всегда присутствуют в любом высказывании. Именно в этом случае говорят об осложнении таксисных значений элементами характеристики и обусловленности. Однако прямое введение модуса, наличие в высказывании специальных его показателей, приводит не только к нейтрализации таксисных значений и их совмещению со значениями категории эвиденциальности (что мы и имеем в случае

общего модуса наблюдения), но и к полной их утрате. Таковы, в частности, КПА, представленные изъяснительными конструкциями, где выражаются эвиденциальные значения инференциальности (прямого логического вывода) с ментальными глаголами типа *считать, полагать, знать* и под., косвенной засвидетельствованности, предполагающей, в общем-то, наличие того же репертуара глагольной лексики (*я считаю/будем считать/считается, что...; я предполагаю/предполагаю, что...; Я Вам сообщаю/сообщили, что... и др.*) и прямой авторизации. Таксиса в подобных конструкциях, на наш взгляд, нет, так как здесь мы имеем соотношение сообщаемого факта, факта сообщения и передаваемого факта сообщения, т. е. чистую эвиденциальную «область рамочных значений, представляющих собой указание на источник сведений» [Козинцева 1994: 92].

Говоря о том, что концепция В. С. Храковского существенно расширяет достаточно уже устоявшиеся положения функционально-семантической теории, мы имеем в виду не только намеченный В. С. Храковским строго дифференцированный подход к разным типам случаев, позволяющий развести по разным рубрикам специализированные и неспециализированные таксисные конструкции, но прежде всего включение им в исследовательскую программу понятия «валентностные отношения». Последнее предполагает использование пропозитивного анализа, различных постулатов семантического синтаксиса, который при характеристике таксиса, как это ни странно, до сих пор, в общем-то, не привлекался ни представителями функционально-семантической теории, ни последователями ее типологического ответвления.

Данный факт, на наш взгляд, весьма показателен в двух отношениях. Во-первых, он свидетельствует о том, что оте-

чественная типология становится уже более ориентированной на изучение содержательного аспекта рассматриваемой категории, а не на формальную ее вариативность в языках мира. А во-вторых, он еще раз подтверждает общеизвестную истину лингвистической науки: только выход за рамки одного языка позволяет наметить новые исследовательские перспективы, казалось бы, незыблемых на сегодняшний день академических теорий, и только такой «выход» обладает преимуществом в новом видении традиционного объекта описания и привлечении новых методов его анализа.

Убедительно демонстрируют это не только исключительные по охвату привлекаемого к изучению языкового материала типологические работы В. С. Храковского, но и проводимые в последние годы И. В. Недеялковым исследования конвербов. В современной типологии, пожалуй, только в его работах дана подробнейшая семантическая интерпретация множества значений зависимого таксиса, входящих в мало изученные сферы следования (см. например, [Недеялков 1999]) и одновременности [Недеялков 2001]. Дробные семантические подтипы, выделяемые автором в анализируемом разноструктурном языковом материале, значительно обогащают имеющиеся в специальной литературе сведения об этих субкатегориальных таксисных значениях, несправедливо обойденных вниманием ученых.

Общность подходов к анализу таксиса в функционально-семантической теории и в типологии очевидна. Таксис рассматривается в качестве самостоятельной категории, имеющей свой план содержания и свой план выражения. В каждом из направлений по-разному поставлены акценты, но в ключевых вопросах, касающихся категориального статуса, языковой техники выражения

таксисных значений и их спецификации по языкам мира особых расхождений, по нашему мнению, не наблюдается. Общность проявляется и в том, что оба направления, имея собственные исследовательские программы, тем не менее последовательно придерживаются той традиции изучения полипредикативной одновременности/разновременности, которую заложили «первооткрыватели» таксиса — Л. Блумфилд, Б. Ли Уорф, Э. Кошмидер, Р. О. Якобсон и отчасти — А. А. Шахматов.

Совершенно же оригинальной, не апеллирующей ни к каким иным теоретическим построениям, является *функционально-коммуникативная концепция таксиса*, разработанная Г. А. Золотовой и ее учениками (Н. К. Онипенко и М. Ю. Сидоровой) — авторами «Коммуникативной грамматики русского языка».

Сразу же оговоримся, что в «новой русской грамматике» (термин Г. А. Золотовой; см.: [Золотова 1998: 312—324]) *категория* таксиса специальным предметом исследования никогда не являлась. В рамках этого научного направления категориальный статус таксиса принципиально не обсуждаем по той простой причине, что он органично вписывался и вписывается в концептуальные положения коммуникативной грамматики не как особое категориальное образование, а «как основная текстовая проблема». «Ведь текст, особенно художественный, создает свой замкнутый мир, темпоральная структура которого большей частью не ориентирована на «момент речи», текстовые события сложными таксисными связями соотношены между собой» [Золотова 2001: 173].

Текст интересует коммуникативную грамматику в первую очередь. Он получает определение главного объекта лингвистики, «поскольку язык существует и

функционирует в процессе коммуникации и ради коммуникации только в форме текстов, письменных и устных, подготовленных и спонтанных, разного общественно-бытового назначения» [Золотова 1998: 312]. Выступая как одна из возможных попыток антропоцентрически ориентированных концепций, коммуникативная грамматика ставит в центр своих исследований человека не только как субъекта речевой деятельности, но и как субъекта социального общения, как лицо воспринимающее и мыслящее. «Для нас коммуникативность — существенное свойство языка, сквозь призму которого мы наблюдаем и пытаемся объяснить грамматический механизм в действительности», — подчеркивает Г. А. Золотова [Там же: 313].

Грамматика в коммуникативной проекции — это то, что определяет и выявляет позицию говорящего в отборе речевых ресурсов и построении текстов. М. Ю. Сидорова пишет, что текст существует как синтагматическое единство, которое «обеспечивается его отграниченностью» и обладает парадигматическим единством, то есть «единством «правил» выбора грамматических средств из языковой системы» [Сидорова 2000: 155].

Новое научное направление включает себя в рамки *объяснительной* лингвистики. Залог последовательности и объяснительной силы концептуальных построений авторам «новой грамматики нетрадиционного типа» видится в поиске ответа на три вопроса: *о чем? как? для чего?* на всех ступенях анализа [Золотова 1998: 313; КГРЯ 1998: 3]. Этот поиск в конечном итоге сводится к обоснованию идеи взаимообусловленного единства трех характеристик языковых явлений: значения, формы и функции. При этом «под функцией понимается предназначенность языкового элемента как части коммуникативного целого служению

в предложении или в тексте, предназначенность потенциальная в системе языка и реализующаяся в речевом процессе. Функция — это способ участия любого элемента, предопределенный его категориально-семантическим значением и формой, в построении коммуниката» [Золотова 1998: 313].

«Нетрадиционность» предлагаемой теории — это «нетрадиционность» методических и методологических принципов лингвистического анализа. В традиционных — описательных — исследованиях, приоритетом которых всегда являлось системное представление с в о е г о объекта, достаточно полно освещены как формальные аспекты языковых единиц, так и их семантические и функциональные возможности. Однако если исходить из постулируемой коммуникативной грамматикой триединой сущности языковой единицы, то следует признать необходимость «соединения в одном исследовании структуры, семантики и функции», и для подобного соединения нужны «такие лингвистические “инструменты”, которые бы обнаружили связь между словом, предложением и текстом, во-первых, и грамматической системой и текстом, во-вторых» [Онипенко 2001: 399].

Этими «грамматическими инструментами», по мнению Н. К. Онипенко, стали: модель субъектной перспективы высказывания, понятие коммуникативного регистра речи и таксис как техника межпредикативных отношений в тексте. «Если конкретное высказывание исследовать с использованием каждого из трех инструментов, то станет очевидным, что отношение высказывания к действительности интерпретируется системой коммуникативных регистров, отношение высказывания к сфере человека мыслящего и говорящего представлено субъектной перспективой, а отношение высказывания к другому высказыванию объяс-

няется теорией таксиса» [Онипенко 2001: 399].

В основе функционально-коммуникативного анализа текста и системного представления русской грамматики, считает Н. К. Онипенко, находятся понятия коммуникативного регистра речи и модель субъектной перспективы высказывания. Именно регистровые условия функционирования той или иной модели предложения и ее субъектная перспектива дают возможность исследователю при невыраженности диктумных компонентов обнаружить присутствие модусных смыслов [Онипенко 2002]. Значимость же последних для понимания такого сложного композиционного целого, как текст, очевидна. Наиболее наглядно это выявляет анализ текста художественного, где комбинация регистров создает особый повествовательный ритм, описание которого определяет и моделирует восприятие художественного произведения читателем [Сидорова 2000]. Компоновка регистровых блоков, их переключение особенно значимы для процесса создания лирического стихотворения, подчеркивает М. Ю. Сидорова [Сидорова 2001: 454].

Таксису же отводится роль межпредикативной организации текста, особой «техники» оформления отношений, возникающих между предикатами в рамках текстового пространства. Подобное утверждение грамматически аргументировано следующим образом.

Понятия модели субъектной перспективы высказывания, регистра речи и таксиса могут быть интерпретированы как возведение до уровня текста определенных глагольных категорий: соответственно — (1) категории лица, (2) категорий времени и модальности, (3) категорий модальности, времени и лица [Онипенко 2001: 399]. Если рассматривать таксисные отношения одновременности/

одновременности в качестве одного из обязательных признаков полипредикативного комплекса, замечает Г. А. Золотова, то нелишне вспомнить, что время — это всего лишь один из категориальных компонентов предикативности, по В. В. Виноградову, наряду с модальностью и персональностью [Золотова 1995; 2001]. Учитывая данный факт, «может быть, стоит наполнить понятие таксисных отношений содержанием более адекватным речевой реальности», задает вопрос Г. А. Золотова [Золотова 2001: 172], и характеризовать его именно в этом «трехмерном» измерении, а не только как «релятивное временное соотношение»? По мнению автора, совершенно естественно предположить, что не только время глагола как предикативный компонент может быть свободным, связанным с моментом речи, или релятивным, относящимся со временем другого глагола, (точнее — предиката), но и модальность, и лицо обладают такими же свойствами: в полипредикативном комплексе они могут представлять ту же модальность или иную, то же лицо или иное.

Комплект предикативных отношений между частями полипредикативных конструкций, таким образом, предлагается интерпретировать через категории моно- и политемпоральности, моно- и полиперсональности, моно- и полимодальности. В этом предложении — ключ к пониманию *функционально-коммуникативной* модели тех языковых явлений, которые стоят за понятием «таксис». «Между всеми соседними предикатами, и простых предложений и полипредикативных, в тексте возникают таксисные отношения — монотемпоральные либо политемпоральные, моносубъектные либо полисубъектные, мономодальные либо полимодальные, — пишет Г. А. Золотова. — В этом условии и единство текста и движения смысла в нем, орга-

низуемого и направляемого взаимодействием диктумного плана с модусным (вербализованным или невербализованным), при опоре, в основном (выделено нами. — Н. С.), на видо-временные возможности глаголов» [Золотова 2002: 12].

Выделенное уточнение в приведенной цитате весьма значимо. Полемизируя с представителями функционально-семантической теории, Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко и М. Ю. Сидорова считают, что круг средств, формирующих полипредикативные структуры, должен быть существенно расширен. В объекты «таксисных наблюдений», помимо упомянутых, необходимо включить также инфинитив, именные предикаты, двойные глагольно-именные, каузативные, авторизирующие, оценочные конструкции, обособленные, уточняющие, сравнительные обороты и т. д.

Эта мысль неоднократно высказывалась авторами коммуникативной грамматики русского языка и на страницах одноименной коллективной монографии, и в других научных публикациях, принадлежащих их перу. Ответ же на вопрос, почему такое «расширение» возможно и необходимо, в наиболее четкой форме дает, пожалуй, Н. К. Онипенко в IV главе «Коммуникативной грамматики русского языка»: «Отказываясь от узкого (чисто временного) понимания таксиса, мы называем таксисными отношения между минимум двумя пропозициональными единицами. Таксисные отношения позволяют не использовать специальные грамматические показатели для выражения предикативных категорий модальности, времени и лица при их однозначном прочтении в обеих пропозициональных структурах. Таковы условия организации таксисных предикативных структур — таких предикативных единиц, в которых предикативные значения времени, модальности и лица не морфологизованы

и прочитываются в зависимости от значений этих категорий в основном предикате, а точка отсчета времени и само время действия локализуются на одной оси» [КГРЯ 1998: 235—236].

Различие в понимании «основного» и «вторичного» предикатов — еще один пункт разногласия между функционально-семантической и функционально-коммуникативной концепциями таксиса. Это различие в конечном итоге приводит к совершенно противоположной иерархизации его семантической сферы.

Коммуникативной грамматика отрицает деление таксиса на «независимый» и «зависимый», видя нечто оксюморонное в самом термине «независимый таксис». Поясняя свою позицию, Г. А. Золотова в этой связи отмечает: «если таксис — это отношение между двумя элементами: один элемент, взятый вне этого отношения, будь он “чистым” предикатом или “свернутым”, имплицитным предикатом, никакого таксиса не выразит, а выражая его относительно другого, тем самым становится в таксисную зависимость от него» [Золотова 2001: 171]. «Вторичными», тем самым, признаются все предикаты, вступающие в таксисное соотношение с другим предикатом и релятивно связанные с ним по линии времени, модальности и лица. Формально-грамматическая же (в большинстве случаев, действительно, морфологизованная) «зависимость» одного из предикатов полипредикативного комплекса, признаваемая функционально-семантической и типологической концепциями в качестве основного критерия бинарного деления на «независимый/зависимый таксис», по указанным выше причинам коммуникативной грамматикой не признается.

Подвергнуто критике в рамках рассматриваемого направления и одно из ключевых для функционально-семантической теории понятий: «целостный вре-

менной период», «ни объем, ни критерии» которого, по мнению Г. А. Золотовой, «не сформулированы» [Там же]. Между тем, именно это понятие позволяет А. В. Бондарко утверждать, что таксис актуализируется в пределах высказывания или СФЕ, а не текста, где в силу вступает другая функционально-семантическая категория — «временной порядок».

Здесь, как представляется автору данного обзора, мы подошли к основной «таксисной» проблеме.

Если считать, что таксисными могут быть только отношения в полипредикативном комплексе, объединяемом этим *целостным временным периодом*, то тогда следует признать, что таксис — это:

- во-первых, *категория* как единство формального и содержательного планов, регулярно и облигаторно актуализируемое в строго определенных семантико-синтаксических условиях;
- во-вторых, категория *семантическая*, так как в рамках подобного «периода» способны участвовать языковые средства самого разного грамматического статуса, но направленные на выражение одного и того же (подчеркнем) концептуального смысла, а именно — временного, но ни в коей мере не тождественного значению грамматической категории времени;
- в-третьих, согласиться с тем, что данная семантическая категория *находит выражение в рамках высказываний*, поскольку последние имеют выход на дискурс, и как его «отдельные звенья» в цепи подобных, и как такие языковые единицы, которые сориентированы не только на чисто лингвистические, но и на экстралингвистические факторы речевой деятельности.

Третье положение требует дополнительной аргументации. В одной из сво-

их последних работ А. В. Бондарко определяет «целостный временной период» через *денотативную отнесенность действий к одному и тому же временному плану* [Бондарко 1999: 101]. В более ранних работах, например, в «Функциональной грамматике», понятие целостного периода трактовалось как *однородная отнесенность всех компонентов данного комплекса действий к одному и тому же денотативному времени с точки зрения момента речи* [Бондарко 1984: 78]. Единая денотативно-темпоральная отнесенность действий полипредикативного комплекса — это, практически, сама ситуация как факт внеязыковой (экстралингвистической) действительности⁵, «проинтерпретированный» языковой реальностью, а следовательно — и языковым сознанием.

Отсюда, как нам кажется, следует два вывода. Первый состоит в утверждении, что в структуре таксисного значения преобладает денотативный, а не сигнификативный компонент. Речь идет, действительно, только о преобладании, или доминировании. Роль сигнификативного компонента тоже велика, проявляется она по-разному, и не в последнюю очередь — в формально-структурном разнообразии средств выражения значений таксиса, что и демонстрируют, как показывают типологические изыскания, различные языки мира.

Второй вывод заключается в предположении, что «экспортируемая» таксисом в язык ситуация как экстралингвистический факт скорее всего будет ограничена более узкими семантико-синтаксическими конструкциями, чем текст, то

⁵ Ср. функционально-грамматическую концепцию глагольного вида Эрвина Кошмидера, из которой, собственно, во многом и «вырастает» функционально-семантическая теория таксиса.

есть высказыванием. Для обоснования своей точки зрения сошлемся на ту традицию понимания понятий *денотат*, *событие*, *ситуация* и *пропозиция*, которая сложилась в отечественной русистике при изучении аспектов семантической организации предложения.

Еще Т. П. Ломтев, обратившись к исследованию содержательной стороны предложения, отметил, что предложение является не просто отпечатком действительности, а определенной структурой. В последней он выделял три звена: «а) события, ситуации или просто явления объективной действительности, которые являются денотатами предложения, б) информация о событиях, ситуациях или явлениях объективной действительности, которая представляет собой интеллектуальное отражение денотата в предложении» и в) «структура этой информации» [Ломтев 1972: 31; он же 1979: 21].

Войдя в научный обиход вместе с логико-семантическим направлением, термин *пропозиция*, как справедливо отметила Т. В. Шмелева, фактически сразу же стал синонимом терминов *событие* и *ситуация*. Данный факт подробно аргументирован автором рядом ссылок на конкретные работы [Шмелева 1983: 48]. Развивая идеи Т. П. Ломтева и одновременно отстаивая самостоятельный статус пропозиции, Т. В. Шмелева предложила следующее разграничение: «Терминами *событие* и *ситуация* естественно обозначать денотат предложения, как это и делается в работах Т. П. Ломтева, а также В. Г. Гака, Т. А. Колосовой и др. За термином же *пропозиция* целесообразно закрепить значение ломтевской информации — «интеллектуальной модели события» [Там же: 44]. Таким образом, если спроецировать данное разграничение на предложенную Т. П. Ломтевым структуру содержательной стороны предложения, то окажется, что «его денотат —

принадлежит действительности, это собственно отражаемая ситуация/событие; второе звено — информация, или, как здесь предлагается, пропозиция — принадлежит семантической структуре языка, являясь языковой интерпретацией события, его интеллектуальной моделью, по Т. П. Ломтеву. Что же касается третьего звена содержательной стороны предложения — структуры информации, то соотнести его с современными семантическими понятиями помогает обращение к теории номинации» [Там же: 45].

Таковы теоретические основания, опираясь на которые, мы пытаемся объяснить одно из ключевых для всей «таксисной проблематики» понятий *целостный временной период*. Они далеко не всеми могут быть приняты, но их обсуждение возможно только лишь в том случае, если считать понятие «целостный временной период» не научной фикцией, а обязательным и важнейшим критерием выделения таксисных отношений. Признание же данного критерия влечет за собой и признание *категориального статуса* таксиса.

Авторы функционально-коммуникативного подхода к таксису, как указывалось, данный критерий отрицают. Но если называть «таксисными отношения между минимум двумя *пропозиционными единицами*» (выделено нами — Н. С.) (см. приведенную выше цитату Н. К. Онипенко), то что тогда понимать под выделенными терминами, под пропозицией (имеет ли она отношение к денотату хотя бы как его «интеллектуальная модель»?) и как соотнести идею пропозитивного анализа с таким макроязыковым образованием, как текст?

Закончить обзор современных взглядов на языковую природу таксиса, хотелось бы, однако, все же акцентом не на тех различиях в интерпретации таксиса разными школами и направлениями оте-

чественной лингвистики, которые были представлены выше, а на тех общих тенденциях в понимании этого явления, которые наметились в последнее время.

На наш взгляд, это, прежде всего, сближение точек зрения относительно семантического объема таксиса. Так, функционально-семантическая концепция, отказавшись от узко временного толкования (а в последнем и состояла главная к ней претензия со стороны представителей функционально-коммуникативного направления), теперь ведущим признаком таксисного соотношения признает фиксируемый языковыми средствами *момент сопряженности* во времени нескольких действий, а не их темпоральную локализацию относительно друг друга. Недавно этот признак получил академическое определение в монографии А. В. Бондарко, где был объявлен инвариантом семантики таксиса. Отношения одновременности/неодновременности, подчеркнул основатель Петербургской школы функциональной грамматики, сейчас характеризуются «как один из вариантов рассматриваемой семантической категории», а сам «таксис (речь идет о семантической категории и соответствующем поле) трактуется нами как выражаемая в полипредикативных конструкциях сопряженность действий (компонентов полипредикативного комплекса) в рамках единого временного плана» [Бондарко 1999: 98].

Сближение наблюдается и в привлечении новых методов исследования: например, типология и коммуникативная грамматика параллельно и независимо друг от друга приходят к идее пропозитивного анализа таксисных отношений. И оба же направления ориентируются на расширение языковой сферы их изучения, исследуя самые разнообразные языковые единицы.

Наметившиеся общие тенденции, впрочем, ни в коей мере не отрицают имеющихся расхождений во мнениях и взглядах и ни в коей мере не умаляют ни значимости, ни уникальности каждой из представленных в обзоре концепций. Они лишь свидетельствуют о том, что так многогранно интерпретируемый таксис уже прочно вошел в категориальный аппарат лингвистики. Характеристика его значений постепенно становится необходимой «составляющей» квалифицированного грамматического анализа и отдельной языковой единицы (например, перфектной), и высказывания, и текста. Все это указывает на актуальность и перспективность дальнейших исследований таксиса. Такое исследование неизменно предполагает обращение к различным аспектам его теории, но сама теория должна быть подтверждена представительным языковым материалом, проиллюстрирована фактами разных языков. Только в этом случае наши научные модели будут хотя бы приблизительно соответствовать тому языковому феномену, который стоит за понятием *таксис*.

Л и т е р а т у р а

- Балин 1968 — В. М. Б а л и н. Фигуры и регулярные речевые ситуации как средство оформления аспектологических полей действий в германских языках // Учен. зап. Калин. гос. пед. ин-т. Т. 63. Калинин, 1968. С. 62—76.
- Бенвенист 1974 — Э. Бенвенист. Общая лингвистика. М., 1974.
- Бондарко 1971 — А. В. Б о н д а р к о. Вид и время русского глагола. М., 1971.
- Бондарко 1984 — А. В. Б о н д а р к о. Функциональная грамматика. Л., 1984.
- Бондарко 1987 — А. В. Б о н д а р к о. Общая характеристика семантики и структуры поля таксиса // ТФГ 1987. Л., 1987. С. 234—242.
- Бондарко 1990 — А. В. Б о н д а р к о. Темпоральность // ТФГ 1990. Л., 1990. С. 5—58.
- Бондарко 1999 — А. В. Б о н д а р к о. Основы функциональной грамматики. Языковая интерпретация идеи времени. СПб., 1999.
- Бондарко, Буланин 1967 — А. В. Б о н д а р к о, Л. Л. Буланин. Русский глагол. Л., 1967.
- Бородин 1973 — А. И. Б о р о д и н. Категория таксиса в современном немецком языке в сопоставлении с категорией таксиса в английском языке: Дис. ... канд. филол. наук. Харьков, 1973.
- Груздева 1994 — Е. Ю. Г р у з д е в а. Таксисные отношения во временных полипредикативных конструкциях нивхского языка: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 1994.
- Золотова 1995 — Г. А. З о л о т о в а. Монопредикативность и полипредикативность в русском синтаксисе // ВЯ. 1995. № 2. С. 99—109.
- Золотова 1998 — Г. А. З о л о т о в а. Новая русская грамматика: идеи и результаты // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов: Доклады российской делегации. М., 1998. С. 312—324.
- Золотова 2001 — Г. А. З о л о т о в а. К вопросу о таксисе // Исследования по языкознанию: Сб. ст. к 70-летию А. В. Бондарко. СПб., 2001. С. 170—175.
- Золотова 2002 — Г. А. З о л о т о в а. Категории времени и вида с точки зрения текста // ВЯ. 2002. № 3. С. 8—29.
- Иваницкий 1991 — В. В. И в а н и ц к и й. Основы общей и контрастивной аспектологии. Кемерово, 1991.
- Касевич 1988 — В. Б. К а с е в и ч. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.

КГРЯ 1998 — Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 1998.

Козинцева 1994 — Н. А. Козинцева. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // ВЯ. 1994. № 3. С. 92—104.

Кошмидер 1962 — Э. Кошмидер. Очерк науки о видах польского глагола: Опыт синтеза // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 105—167.

Куцаров 1987 — Ив. Куцаров. Категория на таксис в съвременния български език // Доклади от II международен конгрес по българистика. Т. 3. Съвременен български език. София, 1987.

Ломтев 1972 — Т. П. Ломтев. Предложение и его грамматические категории. М., 1972.

Ломтев 1979 — Т. П. Ломтев. Структура предложения в современном русском языке. М., 1979.

Маслов 1959 — Ю. С. Маслов. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке: значение и употребление // Вопросы грамматики болгарского литературного языка. М., 1959. С. 157—312.

Маслов 1978 — Ю. С. Маслов. К основам сопоставительной аспектологии // Вопросы сопоставительной аспектологии: (Проблемы современного теоретического и синхронно-описательного языкознания). Вып. 1. Л., 1978. С. 4—44.

Маслов 1984 — Ю. С. Маслов. Очерки по аспектологии. Л., 1984.

Молошная 1995 — Т. Н. Молошная. Грамматические категории времени и таксиса в современных славянских языках // Этюды по типологии грамматических категорий в славянских и балканских языках. М., 1995. С. 151—172.

Недялков 1999 — И. В. Недялков. Контекстные конвербы следования на фоне других форм зависимого таксиса //

Система языка и структура высказывания: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони (1909—1993) / Отв. ред. С. А. Шубик. СПб., 1999. С. 14—16.

Недялков 2001 — И. В. Недялков. Множество значений зависимого таксиса, входящих в сферу одновременности // Теоретические проблемы функциональной грамматики: Материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 26—28 сентября 2001 г.) / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб., 2001. С. 112—113.

Онипенко 2001 — Н. К. Онипенко. Русское предложение и три параметра интерпретации текста // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: Сб. научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. М., 2001. С. 399—410.

Онипенко 2002 — Н. К. Онипенко. Синтаксическое поле русского предложения и модель субъектной перспективы текста // Коммуникативно-смысловые параметры грамматики и текста / Н. К. Онипенко (ред.). М., 2002. С. 178—184.

Пенчев 1985 — Й. Пенчев. Време, таксис, синтаксис // Български език. 1985. № 6. С. 523—528.

Перцов 1976 — Н. В. Перцов. О грамматических категориях английского языка // АН СССР. Ин-т рус. яз. (Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике). Вып. 90. М., 1976. С. 10—16.

Пешковский 1934 — А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1934.

Плунгян 2000 — В. А. Плунгян. Общая морфология: Введение в проблематику: Учеб. пособие. М., 2000.

Полянский 1990 — С. М. Полянский. Основы функционально-семанти-

ческого анализа категории таксиса: Учеб. пособие. Новосибирск, 1990.

Полянский 1999 — С. М. Полянский. Языковая картина «позиционно-го времени» и категория таксиса // Отражение русской языковой картины мира в лексике и грамматике: Межвузовский сборник научных трудов. Новосибирск, 1999. С. 196—209.

Полянский 2001 — С. М. Полянский. Таксис — относительное время — эвиденциальность: (к проблеме критериев разграничения): <<http://www.philology.ru/linguistics/polansky-01.htm>>

Реферовская 1983 — Е. А. Реферовская. Лингвистические исследования структуры текста. Л., 1983.

Сидорова 2000 — М. Ю. Сидорова. Грамматика художественного текста. М., 2000.

Сидорова 2001 — М. Ю. Сидорова. Лирическое стихотворение как объект грамматики // Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: Сб. научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. М., 2001. С. 447—466.

Сильницкий 1970 — Г. Г. Сильницкий. О категориях вида и временной соотношенности: (опыт аксиоматического описания) // Учен. зап. Смол. гос. пед. ин-та и Новозыбк. гос. пед. ин-та. Смоленск, 1970. С. 54—65.

Смирницкий 1959 — А. И. Смирницкий. Морфология английского языка. М., 1959.

Телин 1988 — Н. Б. Телин. О системном статусе перфектного значения в функциональной грамматике // Язык: система и функционирование. М., 1988. С. 236—249.

Телин 1998 — Н. Б. Телин. Познание, перспектива и метафора времени // Типология вида. М., 1998. С. 430—443.

ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность.

Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.

Храковский 1999 — В. С. Храковский. Параметры таксиса // Система языка и структура высказывания: Материалы чтений, посвященных 90-летию со дня рождения Владимира Григорьевича Адмони (1909—1993) / Отв. ред. С. А. Шубик. СПб., 1999. С. 12—14.

Храковский 2001 — В. С. Храковский. Таксисные конструкции (опыт классификации) // Теоретические проблемы функциональной грамматики: Материалы Всероссийской научной конференции (Санкт-Петербург, 26—28 сентября 2001 г.) / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб., 2001. С. 109—112.

Храковский 2003 — В. С. Храковский. Категория таксиса (общая характеристика) // ВЯ. 2003. № 2. С. 32—54.

Шахматов 1941 — А. А. Шахматов. Очерк современного русского языка. М., 1941.

Шмелева 1983 — Т. В. Шмелева. Предложение и ситуация в синтаксической концепции Т. П. Ломтева // ФН. 1983. № 3. С. 42—48.

Шмелева 1994 — Т. В. Шмелева. Семантический синтаксис: Текст лекций. 2-е изд. Красноярск, 1994.

Шмелева 1995 — Т. В. Шмелева. Субъективные аспекты русского высказывания: Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1995.

Якобсон 1972 — Р. О. Якобсон. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 95—113.

Akhmanova, Belenkaja 1975. — O. Akhmanova, S. Belenkaja. The Morphology of English verb: Tense, Aspect and Taxis. Ch. 3. Moscow, 1975. P. 98—105.

Bauer 1970 — J. Bauer. The English Perfect Reconsidered // Journal of Linguistics. 1970. № 2. Vol. 6. P. 189—198.

Bloomfield 1946 — L. Bloomfield. Algoniquian // Linguistic structures of Native America (Vicing Fund Publication in Anthropology). N. Y., 1946. № 6. P. 98—105.

Jakobson 1957 — R. Jakobson. Shifters, verbal categories and the Russian verb // Russian language project (Cambridge). Harvard Univ. Dept. of Slavic languages and literatures. 1957.

Joos 1964 — M. Joos. The English Verb: Form and Meanings. Madison; Milwaukee, 1964.

Pollak 1960 — W. Pollak. Studien zum «Verbalaspect» im Französischen. Wien, 1960.

Pollak 1976 — W. Pollak. Un modèle explicatif de l'opposition aspectuelle: le schéma d'incidence // Le Français Moderne. An. 44. № 4. P. 289—311.

Worf 1946 — B. Worf. The Hopi language in Toreva Dialect // Linguistic structures of Native America (Vicing Fund Publication in Anthropology). N. Y., 1946. № 6. P. 158—183.

М. В. Зарва. Русское словесное ударение. Словарь. Около 50 000 слов. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. — 600 с.
Ф. Л. Агеенко. Собственные имена в русском языке. Словарь ударений. Более 35000 словарных единиц. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. — 376 с.

Эти словари имеют свою историю. После двух изданий (1951 — «В помощь диктору» и 1954 — «Словарь ударений» с подзаголовком «В помощь диктору») вышел «Словарь ударений для работников радио и телевидения» (1960). В 1967 г. вышло издание второе, переработанное и дополненное, потом третье и четвертое — стереотипные. В вышедшем в 1984 г. 5-м, переработанном и дополненном издании (где прежде считавшиеся составителями Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарва фигурируют как авторы) собственные имена, включавшиеся до этого в словарь в общем алфавите, выделены в особый раздел. Переиздание 1993 г. вышло под новым названием «Словарь ударений русского языка». Дуумвират авторов Ф. Л. Агеенко и М. В. Зарвы сохранился по 2000 год (это издание ква-

лифицируется на обороте титула как восьмое), а в 2001 г. появились две самостоятельные книги. Это разделение надо признать разумным, и оценивать два словаря целесообразно отдельно.

Отмечу удачное изменение названия первой книги — «Русское словесное ударение» с подзаголовком «Словарь». Как это ни покажется странным, выдержавший восемь изданий лексикографический труд был назван... неграмотно! Слово *ударение* не имеет множественного числа, а употребляемую в устном «научном просторечии» форму *ударения* (в значении 'варианты ударения': «неправильные ударения» и т. п.) вовсе не следовало «узаконивать», вводя в заголовок книги.

Хорошо было бы, взяв за основу общий заголовок «Русское словесное уда-

рение», дать каждой книге подзаголовок: «Ударение нарицательных имен», «Ударение собственных имен».

Настоящий отзыв имеет главной целью оценить осуществленный в обоих словарях подход к нормализации (кодификации нормы) русского литературного языка.

I.

Как следует оценивать с точки зрения литературной нормы реально существующие в языке варианты произношения, ударения, грамматических форм? Рассмотрим, как решался этот вопрос в академических словарях орфоэпического типа начиная с 50-х годов XX века.

В 1955 г. вышел словарь «Русское литературное ударение и произношение» (с подзаголовком «Опыт словаря-справочника») под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. В предисловии сказано: «Варианты в произношении и ударении отдельных слов как правило, не даются, так как словарь имеет своей целью рекомендовать произношение и ударение, соответствующее нормам современного русского литературного языка. Однако в необходимых случаях даются варианты, обычно с особыми пометами» (с. 9).

Вышедший в 1959 г. под той же редакцией, но с несколько измененным названием словарь-справочник (уже не «опыт») «Русское литературное произношение и ударение» содержал в предисловии похожую формулировку: «Настоящий словарь является нормативным словарем. Это значит, что он ставит целью устранить колебания в области произношения и ударения, рекомендуя основную, правильный вариант» (с. 7).

Но это был лишь «идеал», к которому стремились при составлении словаря 1959 г. Фактически в нем было представлено довольно большое количество ва-

риантов, в том числе и равноправных с точки зрения нормы.

Установка словарей 1955 и 1959 гг. в нормативных пособиях более позднего времени была пересмотрена. От нее решительно отказались в «Орфоэпическом словаре русского языка» (1-е изд. 1983; изд. 5-е, исправленное и дополненное 1989; последнее стереотипное 9-е изд. 2001). Этот словарь был первоначально задуман как расширение и усовершенствование издания 1959 г., но работа над ним привела к созданию нового словаря, в котором пересмотру были подвергнуты и объем информации, и состав словника, и подход к нормализации (кодификации нормы).

В предисловии сказано: «Авторы данного словаря разделяют получившую в последнее время широкое распространение точку зрения, согласно которой вариативность рассматривается как закономерное явление литературного языка, возникающее в процессе языковой эволюции, а под нормализацией понимается возможно более адекватное отражение объективно существующей нормы. Настоящий словарь стремится отразить столько вариантов нормы, сколько их реально существует в языке на данной стадии его развития, по возможности точнее их квалифицировав...» (с. 3).

В ОЭ (так в дальнейшем будет обозначаться этот словарь) разработана шкала нормативности. Варианты (произносительные, акцентные, морфологические) могут признаваться равноправными (в этих случаях они соединяются союзом и) или снабжаться пометами «допустимо», «допустимо устаревающее» (последняя означает, что вариант постепенно утрачивается). Кроме того, снабжаются специальными пометами варианты, характеризующие профессиональные сферы уротребления, и варианты, возможные в художественной речи. В словаре

широко представлены так называемые запретительные пометы. Таким образом, ОЭ, сохраняя основную задачу — быть нормативным словарем, широко отражает фактически функционирующие в языке варианты.

В рецензируемом словаре подход к вариантам определен в предисловии так: «Если слово имеет варианты ударения, в Словаре приводится только тот, который соответствует литературной норме. Из равноправных вариантов дается лишь один, более предпочтительный в наши дни, что позволяет избежать разнобоя в речи» (с. 7).

Посмотрим, как реализуется эта предельно упрощенная установка на материале нескольких категорий форм, где в процессе развития русской акцентной системы вариативность оказывается закономерным этапом.

У существительных мужского рода с исходными словоформами определенно-го строения — имеющих ударение не на последнем слоге основы, на протяжении последних двух столетий идет процесс распространения во множественном числе ударения на флексии при именительном падеже с флексией *-á*, не вытесняющего ударение на основе, а создающего вариативность. Среди таких существительных преобладают слова с двусложной начальноударной основой, но есть и имеющие трехсложные срединноударные основы. Процесс этот хорошо известен и неоднократно описан (чаще всего говорится о «множественном на *-а*» без уточнения, что речь идет об акцентном изменении всей подпарадигмы множественного числа). У нескольких десятков слов такого типа в настоящее время представлено вариативное образование форм множественного числа, многие вариативные подпарадигмы могут быть признаны равноправными с точки зрения нормы. Рецензируемый словарь, считая со-

ответствующим норме всегда только один из существующих вариантов, дает для слов *ворох, дизель, инспектор, инструктор, корректор, крейсер, овод, омут, прожектор, редактор, сектор, сеттер, слесарь, токарь, трактор* и др. только варианты с ударением на основе (*ди́зели, -ей, инспéкторы, -ов*), а для слов *китель, короб, кузов, невод, стпель, ястреб* и др. — только варианты с формами на *-á, -я́ (ките́ля, -ей, кузо́ва, -ов)*. Рекомендую в качестве единственно правильного вариант *тра́кторы, -ов*, словарь навязывает языку самого конца XX в. норму едва ли не его первой четверти (словарь Ушакова еще не признает нормой вариант *тракторá*, но с тех пор прошло больше 60 лет!). Выбор в одних случаях вариантов на *-ы, -ов, -я, -ей*, а в других — на *-á, -ов, -я́, -ей́* делается совершенно произвольно.

Другой случай широко представленной вариативности — краткие формы множественного числа прилагательных с подвижным ударением (подавляющее большинство их имеет односложную основу). В литературном языке XVIII—XIX вв. у основной массы таких прилагательных краткая форма женского рода имела ударение на флексии, которым была противопоставлена формам среднего рода и множественного числа: *бледна́ — блéдно, блéдны, чистá — чéсто, чéсты*. С конца XIX — начала XX в. активно идет процесс распространения ударения на флексии на формы множественного числа, приводящие в этой категории форм к вариативности. «Орфоэпический словарь» (опирающийся в своих рекомендациях на результаты специально проведенного исследования) признает нормой вариативное ударение во множественном числе более чем для ста прилагательных. К ним относятся *бледный, бодрый, вкусный, влажный, вредный, грязный, грозный, грусо ный,*

дружный, жадный, крупный и многие другие; равно соответствуют норме *блédны* и *бледны́*, *бб́дры* и *бодры́*, *вкúсны* и *вкусны́*, *грúсны* и *грусны́* и т. д. Рецензируемый словарь производит произвольный выбор между такими равноправными акцентными вариантами, давая, например: *блédны*, *вкúсны*, *врédны*, *грúсны*, *звúчны*, *мрáчны*, *прб́чны*, *прямы́*, *скúчны*, *стрáсны*, *тб́чны*, *ясны́*, *но: бодры́*, *грязны́*, *дружны́*, *круглы́*, *крупны́*, *нежны́*, *пусты́*, *сложны́*, *тверды́*, *шумны́*.

Широко известен процесс акцентной перестройки в глаголах с инфинитивом на *-ить*, состоящий в замене в настоящем-будущем времени неподвижного ударения подвижным (так, норма начала XIX в. *варю́-варит* сменилась современной *варю́-ва́рит*). В ходе этого процесса многие глаголы проходят стадию равноправного сосуществования вариантов; таковы, например: *волб́чит* и *волочúт*, *горб́дит* и *городúт*, *дб́ит* и *доúт*, *зуб́рит* и *зубри́т*, *крб́шит(ся)* и *кроши́т(ся)*, *кру́жит(ся)* и *кружúт(ся)*, *луд́ит* и *лудúт*, *сторб́нится* и *сторонúтся*, *суб́чит* и *сучúт* и др. В рецензируемом словаре признаются соответствующими норме только *волб́чит*, *горб́дит*, *дб́ит*, *крб́шит(ся)*, *кру́жит(ся)*, *сторб́нится*, *суб́чит* и только *зубри́т*, *лудúт*.

Другие примеры произвольного «нормативного выбора» одного из равноправных вариантов: *úзбу* и *избу́* — *избу́*, *рэку* и *реку́* — *рэку*; *волнам* и *волна́м* — *волна́м*, *дб́скам* и *доска́м* — *доска́м*; *витража́* и *вitraжа́* — *вitraжа́*, *миража́* и *миража́* — *миража́*, *муляжа́* и *муляжа́* — *муляжа́*; *гравийный* и *гравийный* — *гравийный*, *искристый* и *искристый* — *искристый*, *мускулистый* и *мускулистый* — *мускулистый*; *парусить* и *парусить* — *парусить*, *юркнуть* и *юркнуть* — *юркнуть*; *баржа* и *баржа́* — *баржа́*, *пригоршня* и *пригоршня́* — *при-*

горшня́, *симме́трия* и *симметрия́* — *симме́трия*, *пицце́рия* и *пиццерия́* — *пиццерия́*. Количество таких примеров можно увеличить.

Равноправное сосуществование известного количества вариантов в процессе языковой эволюции является естественным состоянием языка. Хирургическая операция «освобождения» от вариативности не имеет ничего общего с новываемой на положениях современной науки кодификацией литературной нормы.

Подход к вариантам, осуществляемый в рецензируемом словаре не может быть оправдан и его спецификой. Несомненно его отличие от ОЭ; цель последнего с возможно большей полнотой отразить реальное многообразие функционирующих в языке вариантов. Рецензируемый словарь ставит более узкую практическую задачу, он адресован определенному кругу пользователей — работникам средств массовой информации. Правомерно придерживаться в этом словаре более «строгого» подхода к норме. Можно признать оправданным отказ от вариантов, считающихся менее желательными (в ОЭ снабжаемых пометой «допустимо»). Но сосуществующие в языке равноправные варианты должны сохраняться и при таком подходе. Как уже говорилось, «отказ» от одного из них (для чего не может существовать объективного критерия) означает искусственное вмешательство в живой язык.

Отмечу ряд случаев, когда рекомендуются варианты, не признаваемые предпочтительными в других нормативных словарях. Так, в большинстве словарей на первом месте приводится *одновременный*, а рецензируемый словарь рекомендует *одновременный* (в ОЭ — с пометой «допустимо»). И это ударение (многим режущее ухо) «насаждено» на радио и телевидении.

Другие случаи, когда рекомендуются варианты, оцениваемые в ОЭ пометой «допустимо»: *кулинария, плáнер, приказной, экзальтированный*.

Даются как нормативные не рекомендуемые в ОЭ варианты *декольтированный, костюмированный* и оцениваемое как неправильное ударение *бвен, бвна*.

Признав правомерность существования словарей, по-разному подходящих к отражению реально существующих в языке вариантов, следует правильно оценивать их соотношение, понимая различие решаемых ими задач. С этой точки зрения совершенно недопустимо произведенное начиная с издания 1993 изменение названия. Принятое новое название «Словарь ударений русского языка» снимает ограничение адресата. Бывший «словарь радио» (как его чаще всего называли) превратился в равноправного «конкурента» академического орфоэпического словаря. До изменения названия было ясно, каково соотношение между ОЭ — основным и наиболее авторитетным нормативным источником — и словарем, рекомендующим норму, предназначенную для «озвучивания» средствами массовой коммуникации. Теперь это соотношение нарушено.

Известно, что идея вариативности нормы плохо усваивается языковым сознанием «рядовых» носителей языка, которые непременно хотят знать, «а как же всё-таки правильно». Но она плохо усвоена и теми, кто «сеет разумное, доброе, вечное» на телевидении и радио, теми, кто, казалось бы, призван расширять филологический кругозор зрителей и слушателей. Так, на радио «Эхо Москвы» простодушные ведущие, сопоставляя в одной из передач данные ОЭ с данными словаря Агеенко и Зарвы (на титуле которого стоит более поздняя дата выхода), сочли рекомендации *инспéкторы, инстру́кторы* «последним словом

науки» по сравнению с рекомендуемыми в ОЭ равноправными вариантами.

Это ненормальное положение должно быть изменено. Нужно вернуть словарю — теперь уже одного автора М. В. Зарвы — его первоначальную адресованность. Но кроме того автору этого словаря следует отказаться от ложной, противоречащей современной науке установки на полную «ликвидацию» акцентной вариативности.

II

Словарь Ф. Л. Агеенко включает около 20 тысяч географических названий и около 15 тысяч фамилий. Личные имена отдельно в словаре не представлены.

Конечно, этот словарь является источником, в котором можно найти много полезных сведений. Хорошо, что в него наряду с фамилиями и географическими названиями (их можно найти в энциклопедических словарях) включены некоторые названия произведений и персонажей — литературных и иных, сведения об ударении которых нельзя найти ни в каких энциклопедических справочниках. К ним относятся, например: «*Поликушка*» Л. Толстого; *Фигаро* — персонаж опер Моцарта и Россини, *Фигаро* — персонаж комедии Бомарше. Было бы желательно включить в словарь больше таких единиц.

Но какова должна быть оценка рассматриваемого лексикографического источника как первого опыта лингвистического словаря собственных имен? С этой точки зрения он представляется во многом уязвимым.

В этом словаре не выработано единой системы подачи для единиц топонимики и ономастики, более того, в его последнем варианте фамилии специально выделены графически: даются прописными буквами (почему-то считается, что это облегчает пользование словарем).

При географических названиях приводится форма родительного падежа, «если слово имеет нулевое окончание» (так сказано в предисловии). Фактически эта форма приводится выборочно. Вот несколько случаев (из числа многих тысяч), когда родительный падеж не приводится.

Абаг^ур
Абада^н
Абака^н
Абиджа^н
Аби^нск

Фамилии всегда даются в сочетании с именем, и в части случаев и для фамилии, и для имени приводятся формы родительного падежа; выборочно даются краткие пояснения. Вот несколько иллюстраций.

ТОЛСТОЙ Алекс^{ей}
ТОЛСТОЙ Илья, Толсто^{го} Ильи
ТОЛСТОЙ Лев, Толсто^{го} Льва
ТОЛСТОЙ Ники^{та}

БЫКОВСКИЙ Вал^{ерий} (росс. космо-
навт)

БЫКОВСКИЙ Констан^{тин} (росс. архи-
тектор)

БЫКОВСКИЙ Миха^{ил} (росс. архитек-
тор)

ЖЕМЧУЖНИКОВ Алекс^{ей} (рус. поэт)
ЖЕМЧУЖНИКОВ Лев, Жемчу^жнико-
ва Льва (рус. художник)

ЖЕМЧУЖНИКОВ Юри^й (росс. геолог)

В предисловии указывается, в каких случаях даются формы родительного падежа, но обоснование этой подачи не представляется лингвистически убедительной.

Какой смысл имеет соотнесение фамилий с ее носителями, обладающими той или иной степенью известности? Такое соотнесение нужно только в немногих случаях, когда представлены акцентные различия (самый известным

такой случай — необходимость разграничивать *Ива^новых* и *Иван^овых*). В подавляющем же большинстве случаев в лингвистическом словаре собственных имен достаточно представить фамилию как таковую, как единицу особой части словарного состава языка. В него нужно включить как особые единицы и личные имена. Переход к такой форме подачи сокращает количество фиксируемых единиц и общий объем словаря без всякого ущерба для полезной лингвистической информации.

До недавнего времени не существовало другого лингвистического словаря собственных имен, кроме словаря Ф. Л. Агеенко. Лишь в 2003 г. такой словарь появился в качестве особого приложения к 4-му, исправленному и дополненному изданию «Грамматического словаря русского языка» А. А. Зализняка.

Сравнивать эти два опыта создания лингвистических словарей собственных имен следует с учетом различия поставленных их авторами задач. Словарь Ф. Л. Агеенко — ориентированный на практическое использование справочник, который стремится охватить большой круг собственных имен (более 35000 словарных единиц).

Словарь А. А. Зализняка включает лишь несколько более 8000 имен собственных. Основная его задача — ввести собственные имена в общую грамматическую систему автора. Каждое собственное имя снабжено грамматически сведениями, даваемыми тем же способом, что и для имен нарицательных — т. е. системой индексов, а не традиционным для русской лексикографии приведением при исходной форме необходимого количества указаний на прочие словоформы парадигмы. Но это небольшое приложение к грамматическому словарю достаточно «насыщено» собственными

именами, «трудными» с точки зрения ударения.

В словаре Ф. Л. Агеенко (как и в словаре М. В. Зарвы) не признается вариативность нормы. Для каждой единицы, включенной в словарь, дается лишь один акцентный вариант.

Между тем акцентная вариативность в этом разряде слов имеет широкое распространение, в особенности среди фамилий и географических названий иноязычного происхождения. Эта вариативность имеет свои специфические особенности. Они охарактеризованы во вступительном тексте А. А. Зализняка к новой части его словаря.

Как он отмечает, в подходе к норме ударения заимствованных собственных имен наличествуют две разнонаправленные тенденции. Одна заключается в сохранении традиционного ударения, утвердившегося к первой половине XX в. в результате стремления к освоению (русификации) иноязычных имен и названий. Возобладавшая в последние десятилетия противоположная тенденция выражается в приближении к ударению языка-источника. Результатом действия этой второй тенденции являются, например, такие получившие распространение варианты ударения, как *А́мундсен*, *Боли́вар*, *Да́льтон*, *Ко́рдова*, *Нью́тон*, *Ма́гдебург*, *О́маха*, *Пото́мак*, *Фицджеральд*, *Флори́да*, *Хиндемит*, *Эдисон*, *Ю́кон*, *Я́начек* и мн др.

В словаре Ф. Л. Агеенко в каждом конкретном случае делается решительный выбор между этими двумя «альтернативными» нормативными решениями. В большинстве случаев отдается предпочтение «новомодному» ударению: *А́мундсен*, *А́ндайк*, *А́устерлиц*, *Бо́рн-*

хольм, *Ви́ндзор*, *Гала́пагос*, *Га́мильтон*, *Грю́нвальд*, *Гу́тенберг*, *Ко́рдова*, *Ли́вингстон*, *Мо́дена*, *Пото́мак*, *Ро́честер*, *Че́стертон*, *Э́дисон*, *Ю́кон* и мн. др. Решений в пользу традиционного ударения меньше: *Ай́ова*, *Бернста́йн*, *Гильгаме́ш*, *Дио́нис*, *Ньюто́н*, *Танта́л*, *Флори́да*, *Яна́чек* и др. Чем мотивирован в каждом конкретном случае этот нормативный выбор?

Нормативные решения, предлагаемые А. А. Зализняком, представляет большой интерес. В большинстве случаев он признает основным традиционное ударение, снабжая другой вариант очень своеобразно оформленной пометой, которую можно воспринять как некоторое «предостережение». При таком подходе современная картина ударения собственных имен иноязычного происхождения предстает во всей своей сложности и противоречивости. Предлагаемое же словарем Ф. Л. Агеенко решение обедняет реальную картину.

Скажу в заключение, что словарь Ф. Л. Агеенко, при всей его несомненной практической полезности, как лексикографический труд нуждается в серьезном совершенствовании. Необходимо разработать четкую систему словарной подачи, в которой должна занять свое место необходимая грамматическая информация. Автору может помочь знакомство со словарем А. А. Зализняка. Разумеется, необходим «пересчет» принятого у него способа сообщения грамматических сведений на традиционное для русских словарей приведение при исходной форме необходимого количества указаний на другие словоформы парадигмы.

Н. А. Еськова

Erika Günther. Das deutsch-russische Sprachbuch des Heinrich Newenburgk von 1629. — Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang, 1999 (Berliner slawistische Arbeiten; Bd. 7).

Одна из самых трудных и, по-видимому, до конца не разрешимых задач русистики — изучение истории разговорного языка. Накопленный на сегодняшний день богатый и разнообразный разговорный материал все равно не в состоянии дать целостной картины, и ее приходится выстраивать по фрагментам. Тем более ценными в этом отношении оказываются источники практической направленности, в которых, согласно их предназначению, в основном зафиксирован повседневный разговорный язык (*die russische Alltagssprache*). Лингвистическому анализу одного из таких источников — немецко-русского разговорника Генриха Невенбургка 1629 года — и посвящено рецензируемое исследование Эрики Гюнтер. Такие исследования особенно актуальны для России, поскольку подобного рода разговорники, по словам ученого, до сих пор не найдены ни в архивах, ни в библиотеках России (с. 14).

Общий объем книги 214 страниц, из них собственно исследовательская часть занимает с. 7—77. На с. 78—128 содержатся алфавитный список имен собственных (русско-немецкий и немецко-русский) и алфавитный указатель всех встречающихся в рукописи слов (русско-немецкий и немецко-русский). Каждое слово снабжено специальным шифром, указывающим местонахождение ее в источнике. На с. 129—143 современным русским и немецким шрифтом, но с сохранением орфографических особенностей подлинника, набрана первая, собственно, и являющаяся основным предметом исследования часть разговорника. Именно в этой части зафиксированы

формы повседневного русского языка того времени, хотя она занимает немногим более трети от общего объема источника, а собственно разговорник с заглавием «*Ein gesprech Zweyer guten freunde — Речи двух добрых друзей*» — чуть больше трети от первой части. На с. 144—146 представлен список литературы (80 наименований). Завершает книгу факсимиле рукописи, уменьшенное примерно в полтора раза (формат подлинника — 14,5 × 19 см), что, однако, не доставляет затруднений при чтении специалистам. Для человека, не владеющего чтением скорописи, вполне достаточным оказывается текст первой части, набранный современным шрифтом.

Разговорник, разумеется, не вполне соответствует нашему сегодняшнему пониманию этого жанра. Его вторая часть почти целиком посвящена русской кириллице и содержит все буквы в их главном и многочисленных строчных вариантах, соответствующих скорописи того времени. Все варианты начертания букв и надстрочные знаки подробно описаны Э. Гюнтер в разделе 4 «*Der Schrift*» («Графика»). В третью часть входят 1—17 псалмы на церковнославянском языке, анализ которых не входил в задачу автора. При этом открытым остается вопрос, с какой целью были помещены в разговорник эти псалмы: ведь немцы, жившие в России, в основном не посещали православных богослужений (с. 17—18).

В содержательном плане книга Э. Гюнтер представляет собой очень подробное и плотно насыщенное самыми разнообразными фактами исследование. Оно далеко не исчерпывается основным вопросом — лингвистическим анализом.

Один из важнейших аспектов содержания — место исследуемого разговорника в кругу других источников данного жанра того времени, а также личность составителя. Вопрос о возможной недостоверности записей на русском языке, сделанных иностранцем, в случае с разговорником Невенбургка во многом снимается: и то, как выполнена рукопись, и приводимые в разделе 1 «Die Handschrift und ihr Autor» («Рукопись и ее автор») данные о том, что составитель был переводчиком (Oberdolmetscher) в Новгороде и, может быть, даже билингом, позволяют предположить, что русским языком он владел очень хорошо. Но с другой стороны, крайняя скудость сведений о Невенбургке (неизвестно, где, при каких обстоятельствах он изучал русский язык, какими источниками пользовался; неизвестно даже, сам ли он составил разговорник или только переписал его) заставляет исследовательницу осторожно подходить к оценке того или иного языкового факта.

В разделах 2 «Die handschriftlichen russischen Sprachbücher des 16. u. 17. Jh.» («Рукописные русские разговорники 16 и 17 вв.»), 3 «Der Inhalt des Sprachbuches von Heinrich Newenburgk» («Содержание разговорника Генриха Невенбургка»), 6 «Thematisches Vokabular» («Тематический словарь») и 7 «Personennamen» («Имена собственные») рассматривается вопрос о месте анализируемой рукописи среди других разговорников того времени и проводится сравнительный анализ тех или иных аспектов их содержания. Однако и в разделах 4, 5 и 8—13, в которых Э. Гюнтер анализирует графику, орфографию, фонетику, морфологию всех частей речи, некоторые вопросы синтаксиса, лексику (словообразование, согласно старой традиции, является составной частью раздела «Лексика») и диалектные черты, отразившиеся в первой части

рукописи, постоянно появляются данные о том, как то или иное языковое явление представлено в других разговорниках.

Коротко говоря, книга Эрики Гюнтер интересна и полезна самому широкому кругу специалистов в области истории русского языка и вообще лингвистики. Чтобы доказать это, достаточно привести два примера фиксации в рукописи интереснейших фактов, оставив их для комментария соответствующим специалистам. Первый факт связан с тем, что в источнике отмечены сложные числительные от 21 до 25 образованием по схеме «единицы — десятки»: первой на двадцет, пят на двадцеть (с. 129). Почти такие же образования зафиксированы еще в двух разговорниках. Э. Гюнтер склоняется к мысли, что, возможно, здесь сохраняется старая система числительных (раздел 8 «Grammatik» («Грамматика»), подраздел 8.4 «Numeralia» («Числительные»), с. 50—51). Второй пример касается проблемы перевода с помощью конструкции «wollen + Infinitiv» русских глагольных форм или сочетаний, где не всегда ясно, вспомогательный глагол *wollen* или модальный. Эта конструкция в ряде случаев переводится на русский простым будущим, а иногда — глаголом *хотеть* в сочетании с глаголом совершенного вида: Zur stunt will Ich auffstehn, willen erst ein wenig frustucken — Вотъ чясъ я встану, хотим перво маленко позавтракат (с. 139). Этот факт отражен и в других разговорниках (подраздел 8.6.3 «Das einfache und zusammengesetzte Futur» («Простое и сложное будущее»), с. 54—55).

Как уже отмечалось, исследование отличается чрезвычайно большим объемом информации, так что все, даже самые важные наблюдения автора невозможно отразить в рецензии. Мы бы хотели остановиться на практической значимости исследования, а также коснуться некото-

рых, на наш взгляд, спорных моментов в анализе языкового материала.

Несомненно, что книга представляет огромную ценность не только для исторической грамматики, но и для исторической лексикологии и лексикографии, поскольку в рукописи Невенбургка обнаружены такие слова и графические и/или грамматические формы слов, первая фиксация которых в лексикографических источниках датируется позднее 1629 г., а также слова и формы, для которых исследуемая рукопись остается единственным источником фиксации. Эти данные рассыпаны по многим разделам книги, и в рецензии, на наш взгляд, было бы целесообразно их обобщить и, по возможности, прокомментировать некоторые примеры.

I. Первая фиксация слова в рукописи

1. зашто (зачто) как причинно-вопросительное местоимение приводится в Сл. XI—XVII только с одним примером из текста 1665 г. (раздел 8 «Grammatik», подраздел 8.5. «Adverbien» («Наречия»), с. 53). В разговорнике: а зашто мнѣ у них наложит (с. 140).

2. какъ в сочетании с частицей бы и коррелятом и: как бы..., и... в значении ирреального условия представлен в Сл. XI—XVII одним примером за 1683 год (раздел 11 «Syntax» («Синтаксис»), подраздел 11.2.2 «Die subordinierenden Konjunktionen bzw. konjunktionalen Wörter» («Подчинительные союзы или союзные слова»), с. 65). В разговорнике: какъ бы не то. и ты бы и не пришел (с. 139).

3. жарина (жарина). В Сл. XI—XVII слово *жарина* отмечено как синоним к *жаренина* в значении «кушанье из жареного мяса или овощей» примером за 1674 г. (раздел 12 «Lexik» («Лексика»), подраздел 12.1.1 «Suffigierung» («Суф-

фиксация»), с. 67). В разговорнике: 1) Домой идучи купи съество свѣжой рыбы. Курицу. Да говежю жарину; 2) Да ктому ж говяжя жарина. ино и полно (с. 141).

4. позавтракать. Э. Гюнтер отмечает, что дата первой лексикографической фиксации этого слова до изучения рукописи Невенбургка — 1782 год в словаре Нордстета (подраздел 12.3 «Zur Bedeutung ausgewählter Wörter» («О значении некоторых слов»), с. 73). Следует, правда, отметить, что, по данным СДРЯ, т. VI (с. 570, статья ПОЗАОУТРЪКАТИ), вышедшем в 2000 г. (т. е. на год позже выхода в свет книги Э. Гюнтер), это слово известно с начала 14 века. В разговорнике: хотим перво маленько позавтракат (с. 139). Сомнительным кажется предположение Э. Гюнтер, что префикс *по-* в современном русском языке имеет чисто видовое значение, а у Невенбургка мог иметь и делимитативное значение. И сейчас эта лексема может иметь оба указанных значения, поскольку речь идет об одном из глаголов делимитативного способа действия, имеющих тенденцию к превращению в видовой коррелят. В зависимости от контекста эти глаголы могут выступать и в той, и в другой функции, ср.: *Ты пока позавтракай* и *Ты уже позавтракал?* [Зализняк, Шмелев, 2000: 112].

5. пообѣдать. Слово зафиксировано в «Словаре Академии Российской» в 1793 г. (12.3, с. 73). В разговорнике: и ты буди мой гость и мы вмѣсте пообѣдаем (с. 139).

II. Графический облик слова, впервые появляющийся в рукописи

1. омѣднесь. Фиксации данного наречия в такой форме больше не найдено. Э. Гюнтер предполагает, что здесь имеет место ошибка — пропуск слога *но* — и приводит для сравнения следующие ва-

рианты этого слова: ономедни, ономедь, ономнясь, ономьдни (8.5. «Adverbien», с. 52). На наш взгляд, речь скорее идет не об ошибке, а об обычной деэтимологизации слова (ср. в СДРЯ, т. VI, статья *онь* формы ономне, ономнь). В разговорнике: ты омьднешь у меня занял. и мнь денег было надобе (с. 138).

2. сядитесь. В других источниках данное слово в такой форме не отмечено. В разговорнике: милые друзья сядитесь (с. 142). Э. Гюнтер полагает, что здесь возможно смешение твердого /с/ с мягким /с'/. Мы бы считали, что искать причины появления такой формы нужно скорее в морфологии, а именно, во влиянии формы императива *сядь* от глагола *сесть*, тем более, что форма *сядь* (с. 136) также зафиксирована в разговорнике (8.6.5. «Der Imperativ», с. 56).

3. журавиха вместо журавика. Данная форма встречается наряду с несколькими другими в диалектах, но в Сл. XI—XVII не зафиксирована (раздел 12 «Lexik», подраздел 12.1.1 «Suffigierung», с. 67).

4. анголы вместо ангелы. Ни в одном другом источнике подтверждения существования такой формы нет. Исследовательница оставляет этот факт без комментария (подраздел 12.2 «Zur Lautgestalt ausgewählter Wörter» («О звуковой форме некоторых слов»), с. 69).

5. вывострить вместо выострить. В Сл. XI—XVII форма с префиксом *вы-* не зафиксирована ни с протезой, ни без протезы (12.2, с. 69). В разговорнике: вывостри ножики (с. 142).

6. карусь вместо карась. Данная форма больше нигде не отмечена. По Э. Гюнтер, здесь возможна интерференция с немецкой диалектной формой *Karuß*. Мы бы отметили, что это предположение трудно как доказать, так и опровергнуть из-за недостатка сведений о составителе разговорника (12.2, с. 70).

7. папигаи, в других источниках папугаи. Э. Гюнтер связывает появление этой формы с влиянием немецкого *Papigay* (12.2, с. 70).

8. вьсилаца. Э. Гюнтер трактует это существительное как производное от глагола *вьсить* в значении «вешать». Данная форма в других источниках не отмечена (подраздел 12.3, с. 72).

III. Грамматическая форма слова, впервые появляющаяся в рукописи

1. жорновы. Данная форма множественного числа не отмечена ни в Сл. XI—XVII, ни в других источниках (раздел 8 «Grammatik», подраздел 8.1. «Substantiv» («Существительное»), с. 40), хотя, вообще говоря, это закономерно ожидаемая регулярная форма мн. ч. для *й*-основ от *жерны*.

2. друзья (друзья) как Nom. Pl. mask. от друг. Согласно Kiparsky V., *Russische historische Grammatik* (Heidelberg, 1975), дата первой фиксации этой формы — 1666 год, но в Сл. XI—XVII за этот год примеров на форму *друзья* нет (8.1, с. 42). В разговорнике: милые друзья сядитесь (с. 142).

3. служаиша в значении «служанка». По другим источникам суффикс существительного *-аиш-а*, производного от глагола, неизвестен. Э. Гюнтер полагает, что здесь ошибочно передан суффикс *-аиш-а*, производные с которым встречаются в словаре Даля (12.1.1, с. 68).

4. съество. Данное существительное в других источниках не найдено, а в разговорнике употребляется в значении «кушанье, блюдо». Исследовательница полагает, что это параллельное слову *яства* образование от глагола сов. в. *съесть* (12.1.1, с. 68). В разговорнике: Домои иду чи купи съество (с. 141).

IV. Значения, впервые
появляющиеся только в рукописи

1. иноко в значении «впрочем». В Сл. XI—XVII данное слово трактуется как частица в неопределенном значении. По словам Э. Гюнтер, даже если рассматривать иноко как ошибочное или диалектное написание инако, все равно примеров с подобным значением в других источниках не обнаруживается (8.5, с. 53). В разговорнике: у меня иноко не мног да-сугу гулять. (с. 139).

2. ушто (ужто) в значении «знать, видно, стало быть, конечно». В других текстах XVII века нет примеров на употребление этой частицы с данным значением (раздел 9 «Synsemantika» («Служебные части речи»), подраздел 9.2.4 «Modale u.a. Partikeln» («Модальные и другие частицы»), с. 61). В разговорнике: ушто то не дарамъ что ты стоу рано ходишь (с. 138).

3. наплешникъ (наплечник) в значении «куртка, фуфайка». В Сл. XI—XVII данное слово зафиксировано в значении «накидка на плечи». Другие разговорники отмеченное Невенбургом значение данной лексики не приводят (12.3, с. 72). К сожалению, данное слово появляется только в словнике в качестве эквивалента немецкому *Wammes* (с. 135), поэтому подтвердить вышеприведенное значение контекстом невозможно.

4. сподобиться в значении «обходиться, довольствоваться». В других источниках данное слово в приведенном значении не отмечено. Диалектные данные словаря Даля также эту семантику не подтверждают (12.3, с. 73). В разговорнике: Слава бгу. всево полно Ну брата посмотрите какъ вы сподобились (с. 142).

5. справиться в значении «исправиться, улучшиться». В такой форме и в таком значении данный глагол по другим источникам неизвестен. Э. Гюнтер считает, что *справиться* является диалект-

ной формой *исправиться*, поскольку для севернорусского наречия характерно совпадение в значении префиксов *из-* и *с-* (12.3, с. 73). В разговорнике: въ иное время я справлюся (ближайший контекст: извинение хозяина, адресованное гостям, за то, что мало угощения) (с. 142).

В рукописи также есть пример слова, последняя фиксация которого в русских источниках (Сл. XI—XVII) в данном значении и с данной моделью управления относится к 15—16 вв.: наложит (наложить) в значении «потерять» — зашто мнѣ у них наложит (раздел 9 «Synsemantika», подраздел 9.1 «Präpositionen» («Предлоги»), с. 59, в разговорнике — с. 140). В этом же разделе приводится не отмеченная в Сл. XI—XVII, но зафиксированная в других разговорниках модель управления идиомы *бить челом за что* (вместо известного *бить челом кому на что*). В разговорнике: зачто бьете челом (с. 142). Э. Гюнтер считает, что здесь сработала аналогия с моделью управления глаголов той же семантической группы *благодарить, благодарствовать* за что и устойчивой формулы *спаси богъ за что*.

* * *

Вполне естественно, что исследование языка разговорника Невенбургка, предпринятое Э. Гюнтер, как и всякое скрупулезное исследование доселе не входившего в широкий научный оборот источника, не свободно от некоторых (правда, малочисленных) натяжек и спорных утверждений. Мы бы хотели попытаться некоторые дополнить, а с некоторыми поспорить.

1. Думается, излишне прокомментировать интерпретацию исследовательницей звуковой формы слов постела, деревна, конюшна. Что касается формы постела, то здесь, скорее всего, необходимо отказаться от версии диалектного влия-

ния Севера Руси (см. раздел 5 «Schreibung und Phonetik» («Письмо и фонетика») с. 29 и 12.2 с. 70—71). Как отмечает Э. Гюнтер со ссылкой на К. В. Горшкову и Г. А. Хабургаева [Горшкова, Хабургаев 1981], в данной диалектной зоне оппозиция согласных по твердости/мягкости была представлена слабее. Однако сомнительно, чтобы она не затрагивала палатальные согласные. На наш взгляд, лучше было бы принять вторую версию Э. Гюнтер об обычном смещении русских /л/ и /л'/, столь характерном для иностранцев. Показательно, что лексема *постель* зафиксирована в рукописях с основой на —ль или на —ля: в картотеке Сл. XI—XVII нет ни одного примера с основой на —ла. Между тем, форма *постела*, по данным ученого, отмечена в словаре Марка Ридлея (M. Ridley) «A Dictionarie of the Vulgar Russe Tongue» конца XVI века и в разговорнике Тённиса Фенне (Tönnies Fenne) «Low German Manual of Spoken Russian» начала XVII в., т. е. также у германцев. Несколько сложнее говорить о формах *деревна* и *конюшна*. Они тоже не зафиксированы в картотеке Сл. XI—XVII и, в принципе, допускают такую же интерпретацию: немец Невенбургк слабо слышал различие между /н/ и /н'/' (ср., впрочем, имеющиеся в разговорнике формы *пашня* и *поварня*). С другой стороны, Э. Гюнтер ссылается на данные Грандилевского (Грандилевский А. Родина Ломоносова. СОРЯС, т. 83, № 5. — СПб, 1907), утверждавшего, что в диалекте Холмогор наблюдается отвердение конечного согласного у слов с основой на -ня и приводившего тот же пример *конюшна* (раздел 5 с. 29). С третьей стороны, можно предположить и обычное влияние морфологии, т. е. форм прилагательных с твердой основой. Так, в картотеке Сл. XI—XVII есть несколько примеров на слово *деревный* за 1627 год: *деревные пути*, *въ дерев-*

ной недопашке. К сожалению, все эти предположения невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть в силу относительно небольшого количества материала, не позволяющего проследить явление системно. Диалектные данные не могут считаться решающими, поскольку, как подчеркивает сама исследовательница, во-первых, в сравнении с общим объемом источника доля слов, несущих диалектные черты, небольшая, а во-вторых, черты севернорусского наречия (переход безударного *a* в *e*: *двацет*; смещение безударного *o* с *u*: *мужовелный*; смещение твердых и мягких согласных) лишь преобладают, но не являются единственными в разговорнике (см. раздел 13 «Dialektismen» («Диалектизмы»). Кроме того, в разговорнике нет примеров на типичное для севернорусского наречия *цоканье*, а в противоречии с особенностями данного наречия находятся зафиксированные в рукописи примеры *аканья*, т. е. черты среднерусского наречия (*масла*, *льта*).

2. В качестве дополнения к подразделу 9.2.1 «Verneinungspartikeln» («Отрицательные частицы», с. 60) можно добавить, что употребление частицы *нѣтъ* в значении отрицательной частицы *не* в контексте *Nicht geringer als andert halb Rubell нѣтъ менши полутора рубли* (с. 141), очевидно, следует считать результатом обычной интерференции. Ни одного примера на подобное употребление частицы *нѣтъ* больше не найдено. В картотеке Сл. XI—XVII таких примеров тоже нет.

3. Несколько категоричной представляется постановка слова *полтина* (половина рубля) в один ряд с обозначениями количества (*Maßzeichnungen*) с префиксом *пол-* *полфунта*, *по полтутря* (12.1.2, с. 69). Очевидно, что Э. Гюнтер опиралась на данные этимологического словаря М. Фасмера, в котором это слово толкуется как дериват от др.-р. *тинъ* «рубель» с приставкой *поль-*. Однако есть и дру-

гая этимология, предполагающая производное от польть «половина» и также приводимая в словаре Фасмера. Описание значений слова полоть (польть), полть ж. р. и полоть, полть, полть м. р., приводимое в Сл. XI—XVII, с очевидностью позволяет проследить смысловой механизм постепенного сужения значения от «мясо в полутушах, кусках определенного веса как единица счета при натуральном обложении» до «название пошрины, взимаемой деньгами вместо натурального оброка в мясных полутушах». Кстати сказать, к похожему значению возводит чешское слово *polť* Вацлав Махек [Machek 1957: 383]. Далее констатируем, что семантические компоненты «половина» и «деньги» вполне логично могли привести к значению «половина рубля», когда рубль стал одной из основных денежных единиц, тем более что семантика находит подтверждение в словообразовательной модели с абстрактным суффиксом *-ин-а* (ср. *десятина*). Помимо всего прочего, реконструируемое М. Фамером др.-р. *тинь*, родственное словам тяти, тну, тинати, не зафиксировано в картотеке Сл. XI—XVII.

4. Очевидной натяжкой кажется трактовка слов *возми* и *понеси* как лексических синонимов (12.3, с. 73 и 12.4, с. 75). В разговорнике этими словами, объединенными союзом *oder*, переводится реплика *Nim hin*, обращенная к слуге: *возми oder понеси*. Исследовательница отмечает, что в других источниках фактов подтверждения синонимии данных глаголов не найдено. На наш взгляд, это вполне естественно, поскольку Э. Гюнтер не учла прагматический фактор: в ситуации, когда хозяин покупает вещи и приказывает взять их слуге, равно возможно употребление обоих глаголов, ибо все нюансы семантики достраивает ситуация. В лучшем случае перед нами ситуативная синонимия. По той же причине — праг-

матический фактор — не следует однозначно приписывать местоимению *что* значения «сколько» (*wieviel*) в ситуации запроса цены, как это делает Э. Гюнтер в разделе 8.3.4 «Interrogativ- und Relativpronomina» («Вопросительные и относительные местоимения») на с. 48. Специально приведем три случая, в которых автор находит данное значение.

- 1) Was soll man geben fur ein pfunt Rosinen:
2 altin
 - 2) Wie dan ein pfunt Ris
Es ist ein preis
 - 3) Was soll Ich dir fur diese stieuel geben
Ein habeln Rubell
- 1) Что дат за фунт Изуму
Два алтына
 - 2) Что же фунт пшены
Одна цена
 - 3) Что мнѣ тебѣ дат за этѣ сапоги
Полтина (с. 140).

Пожалуй, с наибольшей вероятностью значение «сколько» усматривается во втором примере. Действительно, известны случаи, когда *что* могло иметь данную семантику: *Что стоит эта книга? — Пять рублей* [Крысько 1997: 98, 99]. Но с другой стороны, совершенно ясно, что в ситуации «продажа — покупка» вопросительное местоимение с более общим значением нормально может употребляться в значении «сколько», но следует еще подумать, вносить ли данное значение в словарь. Показательны также немецкие контексты, в которых местоимения *was* и *wie* ведут себя так же, как русское *что*.

5. Это скорее недоумение, а не замечание. В разделе 2 «Die handschriftlichen russischen Sprachbücher des 16. u. 17. Jh.» («Рукописные русские разговорники 16 и 17 вв.») в сравнительной таблице на с. 11 Э. Гюнтер приводит источник Е. А. Sellius. *Vocabularium Russo-germanicum*, датированный 1707 годом, но никаких комментариев по этому поводу не дает.

Разумеется, ни сомнения, ни проблемные места не исчерпываются указанными в рецензии. Наличие проблемных мест — это, скорее, достоинство, чем недостаток книги, поскольку большинство из них связаны именно с не решенными в науке вопросами или с фактами, по поводу которых существуют серьезные разногласия. По сути, каждый специалист в какой-либо области лингвистики усмотрит в каждом разделе книги собственные нерешенные проблемы. Несомненно одно: книга Эрики Гюнтер очень ценна историкам языка и как источник, отсутствующий в наших архивах и библиотеках, и как исследование языка этого источника.

Литература

Зализняк, Шмелев 2000 — А. А. Зализняк, А. Д. Шмелев. Введение в русскую аспектологию. М., 2000.

Горшкова, Хабургаев 1981 — К. В. Горшкова, Г. А. Хабургаев. Историческая грамматика русского языка. М., 1981.

Крысько 1997 — В. Б. Крысько. Исторический синтаксис русского языка: Объект и переходность. М., 1997.

Machek 1957 — Václav Machek. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. (с. 383, статья *polt, poltina, poltiti*).

Ф. Б. Альбрехт

Compendium Grammaticae Russicae (1731). Die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / Herausgegeben von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer; Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Abhandlungen, Neue folge, Heft 121. — München 2002.— 219 S.

После появления работ Б. Унбегауна ([Унбегаун 1958; Унбегаун 1959; Унбегаун 1969]) в науке об истории лингвистической мысли сформировался особый раздел — история кодификаций русского языка, составленных в России и за ее пределами в период до 1755 г., т. е. до выхода в свет грамматики М. Ломоносова, на протяжении долгого времени считавшейся первой грамматикой русского языка¹.

¹ Как хорошо известно, у Б. Унбегауна был предшественник — Б. А. Ларин, издавший в 1937 г. русскую грамматику на латинском языке В. Лудольфа (1696 г.), а также исследовавший французский словарь московитов (1586 г.) и русско-английский словарь Ричарда Джемса (1618 г.).

Можно сказать, что в последние десятилетия изучение доломоносовских грамматик русского языка стало едва ли не самой бурно развивающейся областью диахронной русистики. Это связано, прежде всего, с выявлением в архивах разных стран целого ряда новых источников, большинство из которых относятся к первой половине XVIII в. (так, например, Б. А. Успенским были обнаружены в рукописном отделе библиотеки петербургской Академии наук — орфографический трактат В. Адодурова 1738—1740 гг., в Гоутоновской библиотеке Гарвардского университета — грамматический очерк И. Афанасьева 1725 г., а в рукописном отделе Парижской национальной библиотеки — грамматика русского языка Ж. Сойе 1724 г.; В. М. Живовым в

рукописном отделе московского Исторического музея была найдена грамматика И.-Э. Глюка 1703—1705)², а также с предпринятой в связи с новыми открытиями широкой ревизией уже известных данных из области истории русской (и — шире — восточнославянской) лингвистической мысли.

В частности, открытие рукописных текстов позволило на новом уровне обратиться к уже известным печатным источникам — таким, например, как грамматика Г. Лудольфа 1696 г., грамматики И. Копиевича 1700 и 1706 гг. или грамматический очерк, приложенный к так называемому Вейсманнову лексикону («Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache», 1731). Вместе с тем, обновился и корпус печатных руководств: так, В. П. Вомперским была описана анонимная грамматика «французская и руская» 1730 г., (относительно авторства см.: [Вомперский 1969; Вомперский 1971; Успенский 1997: 441—446]), а Л. Дюровичем и А. Шобергом были обнаружены в Государственном архиве в Стокгольме таблицы русского склонения и спряжения, напечатанные шрифтом И. Копиевича (относительно авторства см.: [Дюрович и Шоберг 1987; Успенский 1997: 472—475; Кайперт 1997]).

Многие из источников, введенных в активный научный оборот, были опубликованы их исследователями (славяно-русская грамматика И.-В. Пауса, написанная в 20-е гг. XVIII в., в: [Михальчи 1969]; грамматика И.-Э. Глюка в: [Кайперт, Успенский, Живов 1994]; орфографический очерк В. Адодурова в: [Успенский 1975]; русская грамматика на французском языке Ж. Соје в: [Успенский 1987]; аноним-

ные грамматические таблицы склонения и спряжения в: [Дюрович и Шоберг 1987]).

За относительно короткий отрезок времени стало очевидно, что доломоновские грамматики русского языка не представляют собой явления исключительного. «Кажется, — замечает Б. А. Успенский, автор обширного исследования, посвященного корпусу таких текстов, — описание русского языка было достаточно обычным занятием в первой пол. XVIII в.» [Успенский 1997: 438].

Оказалось, что наряду с кодификациями книжного (церковнославянского) языка, среди которых центральное место занимает грамматика Мелетия Смотрицкого, выдержавшая три издания (1619, 1648 и 1721 гг.), существует значительное число трактатов, с разной степенью разработанности описывающих узус и норму собственно русского языка. Выяснилось, что лингвистическое пространство, взятое в хронологических рамках, заданных первым московским изданием грамматики М. Смотрицкого (1648 г.) и выходом грамматики М. Ломоносова, отнюдь не пустынно, как могло представляться ранее.

Процесс кодификации русского языка особенно активно происходил в петровское время. Этот факт можно связать с актуализацией в этот период трех прагматических установок.

Мощнейшим импульсом к выбору русского языка как главного объекта кодификации послужила необходимость преподавания его иностранцам и ознакомления иноязычной аудитории с русской языковой ситуацией. Хорошо известно, что большинство доломоновских грамматик русского языка адресовано иностранцам и написано иностранцами, в той или иной степени знакомыми с русской языковой практикой либо работавшими с информантами (к первой категории следует, например, отнести

² Обзор корпуса нововведенных в научный оборот грамматических трактатов представлен в работе: [Успенский 1997: 437—573].

И.-Э. Глюка и И.-В. Пауса; ко второй — Ж. Сойе): «Это вполне понятно, — пишет Б. А. Успенский, — иностранцы, в отличие от русских, были практически заинтересованы в описании живой разговорной речи» [Успенский 1997: 437]. В качестве метаязыка в этих грамматиках используются иностранные языки: так, например, грамматика Г. Лудольфа написана на латыни; И.-Э. Глюк, И.-В. Паус писали по-немецки, а Ж. Сойе — по-французски.

Две другие прагматические установки не подразумевали наличия в качестве объекта описания собственно русского языка, однако объективно приводили к фиксации некоторого объема данного языкового материала.

Во-первых, кодификация русского языка проводилась в рамках борьбы за «чистоту» книжного (церковнославянского) языка: кризис системы обеспечения и поддержки книжной нормы закономерно приводил к вынужденной фрагментарной кодификации некнижных элементов как списка запретов на употребление в текстах, претендующих на статус книжности (эта установка реализуется, например, в грамматических сочинениях Ф. Поликарпова и Ф. Максимова).

Во-вторых, кодификация русского языка явилась следствием необходимости заложить основы изучения живых иностранных языков в России. Так, например, в процессе переложения грамматики нидерландского языка В. Севела (опубликована в 1717 г.) для русскоязычного читателя поиск эквивалента для каждой отдельной голландской формы приводил к кодификации как книжных, так и некнижных — собственно русских — элементов. Кроме того, преподавание иностранных языков, активизировавшееся, как хорошо известно, в послепетровское время в Академической гимназии при С.-Петербургской Академии

наук, привело к распространению знаний о европейской традиции нормализации литературных языков. «Хотя обучение русскому языку как родному начинается, видимо, не ранее второй половины 1730-х годов, — замечает В. М. Живов, — преподавание латыни и немецкого создавало то филологическое пространство, в котором и русский язык должен был обзавестись теми атрибутами, которые присущи преподаваемому языку» [Живов 2002: 13].

С появлением орфографического трактата В. Аодурова (1738—1740), демонстрировавшего совпадение метаязыка, языка объекта и языка адресата, было преодолено противоречие между разработанностью идеологии книжного языка как звена системы сакральных языков (установка на «чистоту» книжного языка) и стремительной актуализацией необходимости разработки русского литературного языка «европейского» типа, проистекавшей из взгляда на Россию как на возможного «собеседника» Европы (установка на обучение русскому языку иностранцев и на обучению иностранным языкам носителей русского языка).

Характерно, что, как хорошо известно, «первой русской грамматике на родном языке» — трактату В. Аодурова 1738—1740 гг. — непосредственно предшествовала первая печатная грамматика русского языка для немецкоязычной аудитории, приложенная к Вейсманнову лексикону (1731): к этому лингвистическому проекту В. Аодуров имел самое прямое отношение.

Можно сказать, что быстрый рост корпуса известных грамматических трактатов привел к дроблению титула «первая грамматика русского языка», отнятого у грамматики М. Ломоносова. Действительно, ввиду наличия разных прагматических установок авторов и разницы в масштабах и в уровне описания, а так-

же в степени знакомства с ними аудиторией оказывается затруднительным отдать пальму первенства той или иной грамматике, не говоря уже о том, что список грамматик остается открытым. Так, принято говорить о Г. Лудольфе как об авторе первой печатной и относительно полной грамматики русского языка для иностранцев; об учебнике И.-Э. Глюка — как о первой русской грамматике для немецкоязычной аудитории; об орфографическом трактате В. Адодурова — как о «первой русской грамматике на родном языке»... Теперь, с выходом в свет издания, подготовленного профессором Г. Кайпертом в соавторстве с А. Гутерер, в научный оборот вводится «первая академическая грамматика русского языка» — она же является третьей (после грамматик И.-Э. Глюка и И.-В. Пауса), созданной в России для немецкоязычного читателя.

Интересно, что «первая академическая грамматика русского языка» была обнаружена профессором Г. Кайпертом в процессе поиска немецкоязычной грамматики русского языка Мартина Шванвица.

М. Шванвиц (? — 1740) является автором учебника немецкого языка («Teutsche Grammatica»), предназначенного для студентов Академической гимназии (первое издание учебника вышло в 1730 г.). Вместе с тем, М. Шванвиц преподавал в академической гимназии и русский язык. Из Материалов для истории Императорской академии наук известно, что в записке, представленной в Академию наук 17 января 1734 г., М. Шванвиц, докладывая о своих трудах, сообщает не только о создании немецкой грамматики для русских, но и о работе над русской грамматикой, предназначенной для немцев. Профессор Г. Кайперт, по собственному признанию, «поставил своей целью найти — если возможно — этот потеря-

нный учебник Шванвица» [Кайперт 1992: 213—214].

В июне 1988 г. поиски русской грамматики М. Шванвица привели профессора Г. Кайперта в рукописный отдел библиотеки петербургской Академии наук, где под шифром F. N. 250 хранится рукопись, озаглавленная «Compendium Grammaticae Russicae oder Kurtze Einleitung zu der Russischen Sprache Denen Ausländern zum Besten ausgegeben»; как предположила И. Н. Лебедева, эта рукопись могла попасть в библиотеку от известного исследователя истории Императорской Академии наук А. А. Кунника. Рукопись, не содержащая указаний на место и дату ее создания, состоит из двух частей с отдельной пагинацией в каждой из них (ч. I «Орфография» — 50 с.; ч. II «Этимология» — 64 с.; рукопись обрывается на склонении прилагательных, точнее — с кустодом «Die Declinat. Adjectivorum»). Как следует из названия, грамматика была адресована иностранцам и предназначалась для печати.

Проанализировав почерки рукописи, Г. Кайперт пришел к выводу, что заглавие, основной текст второй части, отдельные поправки и дополнения в обеих частях, а также пагинации написаны рукой М. Шванвица. Оказалось также, что одним из главных источников раздела о морфологии послужила «Teutsche Grammatica» 1730 г.: «упомянутая текстологическая связь, — писал Г. Кайперт, — никакой трудности не представляет, если Шванвиц был и автором ленинградской грамматики» [Кайперт 1992: 217].

Датировка рукописи, проведенная Г. Кайпертом, базировалась на прямых и косвенных данных. К прямым данным относится троекратное упоминание даты 1731 внутри иллюстративного материала³, к косвенным — использование в ка-

³ Г. Кайперт обратил внимание на тот

честве источника немецкой грамматики М. Шванвица (1730 г.) и отсутствие следов знакомства с грамматикой, приложенной к Вейсманнову лексикону (предисловие к данному лексикону датировано 1-м июля 1731 г.). Исходя из этих данных, Г. Кайперт предположил, что рукопись была написана в первой половине 1731 г.

Поставив вопрос о месте написания рукописи, Г. Кайперт замечал: «Личное участие Шванвица в переписании и проверке рукописи не оставляет другого места, чем Петербург, точнее — Академию наук, где он тогда работал» [Кайперт 1992: 217].

Данная рукопись вошла в описание корпуса грамматик русского языка, выполненное Б. А. Успенским. Основываясь на данных, сообщенных Г. Кайпертом в предварительном описании трактата, Б. А. Успенский осторожно замечал: «Не исключено, что обнаруженная Кайпертом грамматика и есть та грамматика, о которой Шванвиц говорит в своей записке» [Успенский 1997: 488—489].

Дальнейшая работа над текстом позволила профессору Г. Кайперту пересмотреть вопрос об авторстве, а также уточнить ряд ранее высказанных положений. Собственно изданию грамматики в рецензируемой книге предшествует обширное исследование, в котором дается описание рукописи («Beschreibung der Handschrift»: с. 9—11) и обоснование ее датировки и локализации («Datierung und Lokalisierung»: с. 11—14); идентифицируются почерки и разъясняются трудности, возникшие при этой идентификации («Versuch einer Identifizierung von Schrift-

факт, что в грамматике Г. Лудольфа использование букв в качестве цифр объясняется на примере текущего года и высказал предположение, что автор *Compendium Grammaticae Russicae* следовал этому образцу [Кайперт 1992: 216].

duktus»: с. 14—22); характеризуются заказчики и исполнители проекта («Auftraggeber und Arbeitsgruppe»: с. 22—30); выявляются источники, к которым восходят отдельные части грамматики («Quellen»: с. 30—41).

По мнению Г. Кайперта, цифра III на титульном листе свидетельствует, что данная грамматика должна была стать третьей частью большого труда; о том, какие именно типы текстов составляли первую и вторую части, можно лишь строить гипотезы. Согласно одной из таких гипотез, предложенной в исследовании, грамматике могли предшествовать словарь и разговорник.

Проведенный профессором Г. Кайпертом анализ структуры текста, распределения почерков и записей на титульном листе позволяет утверждать, что работа над рукописью носила заказной характер и выполнялась иерархически организованным коллективом авторов.

Кроме М. Шванвица, на которого, видимо, была возложена ответственность за весь проект в целом, в работе принимали участие русскоязычный консультант («russischsprachige Konsultant»: В. Адодуров (1709—1780)); «начальник» («Vorgesetzte»: по всей видимости, президент Академии наук Лаврентий Блюментрост (1692—1755), его указания, содержащиеся на титульном листе и в первой части, записаны рукой секретаря Филиппа Гмелина) и «красный глоссатор» («rote Glossator»), автор ряда примечаний ко второй части, касающихся важных проблем нормализации. Почерк «красного глоссатора» не удалось точно идентифицировать, однако можно говорить о том, что этот человек, во-первых, не был носителем русского языка (о чем свидетельствуют ошибки в написании русских слов) и, во-вторых, обладал большой властью в Академии (поскольку заново ввел устаревшую при Петре I бук-

ву *й*⁴ и имел право распорядиться о том, чтобы она была отлита: буква *й* используется в грамматике, приложенной к Вейсманнову лексикону, начиная со с. 4). Г. Кайперт предполагает, что «красным глоссатором» являлся И.-Д. Шумахер (1690—1761), о котором известно, что он активно поддерживал издание Вейсманнова лексикона.

Работа коллектива авторов — «начальника» и подчиненных — была хорошо и достаточно жестко организована. Текст писался колонками, причем специально оставлялось место для дополнений и исправлений. Русскоязычный консультант, как полагает Г. Кайперт, основываясь на анализе его записей, начал свою работу в процессе написания грамматики, а не на стадии, когда она была уже готова. Поэтому на титульном листе после распоряжения «начальника» о проверке русской части текста с носителем языка, обладающим необходимой квалификацией, до отправки грамматики в печать («прежде, чем это будет напечатано, необходимо все, что здесь написано по-русски, тщательно проверить с урожденным русским, который бы понимал язык в его основах»), содержится ответ М. Шванвица: «Сие уже до приказы зделано». Г. Кайперт обращает внимание на то, что слово «приказ», использованное М. Шванвицем, еще раз подтверждает особые полномочия «начальника».

⁴ В *Compendium Grammaticae Russicae* буква *й* вводится «красным глоссатором» во второй части для различения *строй* (Им. един.) и *строи* (Им. множ.); ср. рассуждение о разнице в произношении и написании *и/й* на лл. 6—7 первой части *Compendium Grammaticae Russicae* [*Compendium Grammaticae Russicae*: 46—47, 140]. Истории восстановления буквы *й* посвящена специальная работа Г. Кайперта [Кайперт 1999].

Свидетельства об иерархично организованной коллективной работе над грамматикой, выявленные Г. Кайпертом, а также состав авторов позволяют подтвердить первоначальную гипотезу о месте создания текста: в 1730 г. условия для осуществления такого проекта существовали только в петербургской Академии наук, располагавшей, к тому же, типографией, оснащенной русскими и немецкими литеррами.

Г. Кайперт предполагает, что именно *Compendium Grammaticae Russicae* упоминается в той части немецко-русского предисловия к Вейсманнову лексикону, где объясняется, что за кратким введением в изучение русской грамматики, приложенным к изданию, последует полное, работа над которым уже ведется («Im Anhang hat man noch ein kleine Anleitung zur Erlernung der Russischen Sprache mitgetheilet... bis eine vollständigere, woran auch schon würcklich gearbeitet wird, davon in den Druck kan herauskommen» — «Присовокупленным к сему показанием к изучению Рускаго языка Читатель до толе пользоваться может, донележе совершеннейшее, которое уже подлинно делается, издано будет»)⁵.

Как отмечает Г. Кайперт, время президентства Л. Блюментроста (1725—1733 гг.) принято называть «немецким периодом» в истории Академии наук. Хорошо известно, что при Л. Блюментросте в Академии трудились в основном иностранцы, однако они, как пишет В. М. Живов, «предпринимали попытки обращаться к русскому обществу» [Живов 2002: 13]: в 1728 г. было издано «Краткое описание комментариев Акаде-

⁵ Ср. другую гипотезу, согласно которой в данном фрагменте речь идет о грамматике В. Адодурова, высказанную Б. А. Успенским: [Успенский 1997: 530—531, 548—549].

мии наук», с 1728 г. начали издаваться «Санкт-Петербургские ведомости» и «Примечания к ведомостям». Известные на настоящий момент данные об инициативах Академии наук «немецкого периода» в области кодификации русского языка — отраженное в протоколе Академии от 15 марта 1725 г. поручение, данное И.-В. Паусу, «переводить с латинского и немецкого языков, работать над совершенствованием русского языка, созданием грамматики и словаря» [Летопись российской Академии наук I: 38]; подготовка Вейсманного лексикона и *Compendium Grammaticae Russicae*, замышлявшегося как практическое руководство для освоения русского языка иностранцами, наконец, высказанное в 1731 г. предложение Л. Блюментроста о создании элементарного учебника русского языка и о подготовке ученых, способных читать лекции по-русски, — все это говорит о том, что внутри данного института во второй половине 20-х гг., т. е. за несколько лет до создания Российского собрания, активно велась не только переводческая, но и нормализаторская деятельность.

В предварительных замечаниях о рукописи Г. Кайпертом сообщалось о трех источниках, находившихся в руках авторов академической грамматики: грамматике М. Смотрицкого, русской грамматике Г. Лудольфа и немецкой грамматике М. Шванвица (1730 г.). Дальнейшая работа над текстом позволила расширить круг источников. В соответствующем разделе исследования («Quellen»), предшествующего публикации грамматики, подробно рассматриваются теоретические и текстологические совпадения текста с немецкой грамматикой М. Шванвица («Die “Teutsche Grammatica” von 1730» — с. 31), с латинской *Grammatica Marchica* («Compendium grammaticae latinae oder Kurzer Auszug aus der größeren

Lateinischen Grammatica Marchica»), имевшей хождение в петербургской Академической гимназии в конце 20-х гг. («Die “Lateinische Grammatica Marchica”» — с. 32—34), с грамматиками церковнославянского языка М. Смотрицкого и Ф. Максимова («Grammatiken des Kirchenskavischen» — с. 34), с русской грамматикой Лудольфа («Die “Grammatica Russica” von H. W. Ludolf (1696)» — с. 35), со славяно-русской грамматикой И.-В. Пауса, которая, вероятно, была в распоряжении «красного глоссатора»⁶ («Die “Anweisung zur Erlernung der Slavonisch-Rußischen Sprache” von J.-W. Paus» — с. 35—38) и с «Санкт-Петербургскими ведомостями» («Die Sanktpeterburgskie vedomosti» — с. 38—40). Так, в частности, к латинской *Grammatica Marchica*, возможно, восходит идея компендиума и принцип краткости, к грамматике М. Шванвица — структура грамматики, основные дефиниции, к грамматике И.-В. Пауса — конкретное наполнение схем, заимствованных из «Teutsche Grammatica».

Г. Кайперт высказывает также предположение о влиянии старинных грамматик польского языка, объясняющемся тем, что М. Шванвиц обучался польскому языку в гимназии города Торнау. По мнению издателя, польским влиянием можно объяснить, например, появление термина *localis* в качестве названия для предложного падежа, синонимичного термину *narrativus*, встречающегося в немецкой грамматике М. Шванвица и в «Грамматике французской и русской» 1730 г.: «Narrativus, von einigen Localis genannt» [*Compendium Grammaticae Russicae*, II часть, л. 15]. «Красный глоссатор» заменяет этот термин, непривыч-

⁶ Грамматика И.-В. Пауса была представлена автором в Академию наук в декабре 1729 г.

ный для восточнославянской традиции, на термин *objectivus*, заимствованный из грамматики И.-В. Пауса⁷; эти же два термина — *Narratiuus oder Objectiuus* — используются в грамматическом очерке 1731 г., приложенном к Вейсманнову лексикону.

Сопоставление текста *Compendium Grammaticae Russicae* с источниками проводится и в последующих разделах исследования Г. Кайперга. Они посвящены подробному разбору терминологии, дефиниций, классификаций, а также трактовке конкретного фонетико-орфографического и грамматического материала в *Compendium Grammaticae Russicae*. В разделе исследования, имеющем предметом разбор орфографической теории («*Kommentar zum Titelblatt und ersten Teil der Handschrift*» — с. 41—75), анализируются общие представления авторов о грамматике и ее составляющих, об алфавите, общих принципах орфографии, гласных, дифтонгах, трифтонгах, согласных, *ъ* и *ь*, сочетаниях согласных, двойных согласных, чередованиях согласных, об омофонах и близких по звучанию словах, знаках пунктуации и акцентуации, об употреблении титла. В разделе исследования, посвященном грамматике («*Kommentar zum zweiten Teil der Handschrift*» — с. 75—119), рассматриваются взгляды

авторов на этимологию как раздел грамматики, на систему частей речи, на класс имен, на проблемы именного словообразования, на систему словоизменения существительных, на категории рода, падежа и степеней сравнения.

Хорошо известно, что между грамматическими трактатами, как связанными узлами преемственности, так и отстоящими от центральной линии традиции, существует сложная система пересечений и распадений, реализующаяся и на уровне отбора элементов языка, подлежащих кодификации, и на уровне суждений о них. Анализ корпуса грамматик с этой точки зрения не только проливает свет на истоки последующей нормализаторской деятельности, но и помогает выявить области центра и периферии языкового континуума, а также проследить их внутреннюю эволюцию. Результаты такого анализа, наряду со сведениями о реальном узусе, могут служить фоновыми знаниями при рассмотрении языковой практики конца 20-х — 30-х годов, то есть времени, которое непосредственно предшествовало появлению эксплицитно представленной разработанной нормы нового русского литературного языка и является периодом демонстративного отказа от традиционной книжной нормы при неизбежной ориентации на нее.

Следует отметить, что многие положения *Compendium'a Grammaticae Russicae*, в частности, исправления, внесенные «красным глоссатором», относятся к магистральной области языковой рефлексии петровского и послепетровского времени. Так, в этой области лежат попытка усовершенствования алфавита (выразившаяся, например, в введении буквы *й*), стремление разработать теорию семантических классов имен (представленную, например, в главе о категории рода), а также ряд решений, касаю-

⁷ Вслед за И.-В. Паусом составители *Compendium Grammaticae Russicae* отказываются признавать наличие в русском языке *ablativus'a*, замечая, что этому падежу соответствуют предложные конструкции с родительным падежом типа «от Брата, von dem Bruder из дома, aus dem Hause» [*Compendium Grammaticae Russicae*, II часть, л. 15—16]; ср. аналогичное рассуждение у И.-В. Пауса: [Михальчи 1969: 141]. Об истории термина аблатив в домоносковских грамматиках см. в работе: [Успенский 1997: 477—479].

щихся кодификации конкретных форм, входивших в так называемый «петровский пул»⁸. Можно упомянуть в этой связи кодификацию окончания прилагательных мужского рода *-ой*: в *Compendium Grammaticae Russicae* утверждается, что окончание *-ой* свойственно «общему» употреблению, а окончания *-ый* и *-ий* — «книжному» («*ой* wird im gemeinen Reden, *ьи* aber und *ий* mehrenteils im Schreiben gebraucht»)⁹, однако «красный глоссатор» оспаривает данное противопоставление, замечая, что окончание *-ой* встречается и в книжном языке («*ой* wird nicht allein im reden, sondern auch im schreiben vor *ый* gebraucht» — [*Compendium Grammaticae Russicae*, II часть, л.21]). Статус форм на *-ой*, как хорошо известно, активно обсуждался и позднее, в 30—40-е гг. (см.: [Живов 1995: 212—214]). Заслуживает также внимания представленная в *Compendium Grammaticae Russicae* вслед за грамматикой И.-В. Пауса кодификация окончания *-у* для ряда существительных мужского рода в родительном и предложном падежах [*Compendium Grammaticae Russicae*: 101—102; II часть, л.42]¹⁰.

⁸ О «петровском пуле» см., например, в работах [Живов 2001; 2002].

⁹ Данное противопоставление восходит к грамматике И.-В. Пауса, различавшего вслед за Г. Лудольфом «русское» и «славянское» окончания; авторы русской грамматики, приложенной к Вейсманнову лексикону, объясняли формы именительного падежа единственного числа мужского рода на *-ой* экспансией окончания дательного падежа единственного числа женского рода (см. [*Compendium Grammaticae Russicae*: 89]).

¹⁰ В грамматике 1724 г. Ж. Соје предлагает формальный критерий слов, которые могут получать окончание *-у*, замечая: «Plusieurs Noms Russiens monosyllabiques forement leurs genitif et ablatif singulier en у» [Успенский 1987: 41].

Обширное рассуждение, вписанное «красным глоссатором», посвящено формам степеней сравнения прилагательных [*Compendium Grammaticae Russicae*, II часть, л. 22]. В грамматике в соответствии с общей традицией противопоставляются положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных. При этом значение компаратива закрепляется за суффиксом *-ейши-* (славнейший), а суперлатива — за префиксом *пре-* (преславный)¹¹; оба форманта присоединяются к основе положительной степени прилагательного.

«Красный глоссатор» противопоставляет «славянскую» и «русскую» системы степеней сравнения. Главное различие между этими системами он видит в том, что в русском языке нет сравнительной степени, хотя допускается использование в данной функции «сравнительных наречий» («*adverbij in gradu comparativo positi*») типа *умнее*, *глупее*, тогда как в «славянском» она представлена формами с суффиксом *-и-* (правый — правший; высокий — высший)¹². Кроме того, «красный глоссатор» отмечает, что особенностью русского языка является наличие нескольких формантов превосход-

¹¹ Кодификация префикса *пре-* как стандартного форманта для суперлатива представлена в грамматике «Донатус», а также в «Простословии» старца Евдокима; однако и в том и в другом случае данный формант присоединяется к формам сравнительной степени (см.: [Томеллеры 2002: 223; Ягич 1896: 289; 937]).

¹² Об отсутствии в русском языке сравнительной степени говорится в рукописной грамматике Ф. Поликарпова 1725 г. (см.: [Успенский 1997: 503—504; *Compendium Grammaticae Russicae*: 92]). Аналогичное приведенному рассуждение встречаем в грамматике 1731 г., приложенной к Вейсманнову лексикону.

ной степени: помимо префикса *пре-* значение суперлатива передается при помощи суффикса *-ейши-* (оба форманта присоединяются к положительной степени), аналитическими формами со словом *самый*¹³, а также формами, в которых смысл сравнения представлен дважды — с префиксом *най-/най-* (присоединяющегося к супплетивным формам компаратива или к формам на *-ейши-*), с формантом *все-* (присоединяемым к формам на *-ейши-*)¹⁴, а также с комбинацией из двух формантов *всепре-* (присоединяемой к формам на *-ейши-*)¹⁵.

Особый интерес представляет упоминание форм превосходной степени с приставкой *най-*. Впервые, по всей видимости, на русской почве эти формы попали в зону кодификации в переводе грамматики голландского языка В. Севела¹⁶. Изначально в соответствии с системой нидерландского языка в русском переводе различались формы суперлатива и элатива: *должайший* — *наидолжайший*. В процессе правки перевода суффикс *-ейши-* был переосмыслен как показатель сравнительной степени, а значение превос-

ходной степени соотнесено с префиксами *пре-* и *най-*, соединяемыми с формами сравнительной степени (см. корректурный экземпляр грамматики: РГАДА, ф. 381, № 1017, л. 178 об.). Формы на *най-* также упоминаются А. Кантемиром в его русско-французском Лексиконе второй половины 30-х гг. («На est quelqui fois marque du Superlatif. Наилучший le meilleur. Наилюбезнейший le plus aimé»); рукописный отдел РГБ, ф. 96, № 43, II, л. 173 об.)¹⁷.

Формы с данным префиксом встречались в церковнославянском языке, однако они образовывались от ограниченного числа основ (формы типа *наибольший, наименьший, наилучший, наихудший*). Вместе с тем приставка *най-*, присоединяемая как к прилагательному в положительной степени, так и к формам компаратива, часто встречается в переписке, например, князя А. Б. Куракина с братом (конец XVII в.). Экспансия форм на *най-*, изначально связанная, видимо, с польским влиянием, отражена и в переводческой деятельности В. Тредиаковского, регулярно использовавшего данные формы в переводе «Езды в остров любви» Таллемана, являющимся одним из первых текстов на новом литературном языке. Вероятно, упоминание префикса *най-* в ряде текстов, близких по времени создания («Искусство нидерландского языка» 1717 г., *Compendium Grammaticae Russicae* 1731 г., грамматический очерк 1731 г. при Вейсманновом лексиконе, русско-французский Лексикон А. Кантемира второй половины 30-х гг.), отражает сложившуюся в это время, возможно, в определенной социальной груп-

¹³ Образование суперлатива при помощи форманта *само-* упоминается в грамматиках И.-Э. Глюка, И.-В. Пауса и Ж. Сойе (см. [Кайперт, Успенский, Живов 1994: 232—233; Михальчи 1696: 123; Успенский 1987: 86; *Compendium Grammaticae Russicae*: 91—92]).

¹⁴ Формант *все-* допускается также в сочетании с основной положительной степени (*всемилостивый*).

¹⁵ В грамматическом очерке 1731 г., приложенном к Вейсманнову лексикону, полностью воспроизводится описание степеней сравнения в русском языке, предложенное «красным глоссатором».

¹⁶ Суперлатив, образующийся присоединением *най-* к формам компаратива, кодифицирован в описании «простой мовы» Ужевича (1643 г.).

¹⁷ Вероятно, под влиянием их кодификации в грамматическом очерке 1731 г., приложенном к Вейсманнову лексикону. Данный труд А. Кантемир имел в своей библиотеке.

пе, моду на использование полонизированной формы суперлатива. На новизну и заимствованный характер таких форм обращает внимание М. Ломоносов, замечая: «Новые превосходные, с польского языка взятые, с приложением наи: наилутчий, наичистейший российскому слуху неприятны» [Ломоносов 1952: 467]¹⁸.

В качестве приложения к изданию в книге содержится воспроизведение 11 листов рукописи, писем от М. Шванвица И.-Д. Шумахеру (13 октября 1731 г.) и от Лаврентия Блюментроста И.-Д. Шумахеру (8 февраля 1731 г.), а также автографа В. Адодурова.

Книга, подготовленная профессором Г. Кайпертом, представляет собой образцовое научное издание рукописного текста. Академическая грамматика, введенная в научный оборот благодаря данному изданию, несомненно, относится — наряду с рукописной грамматикой И.-В. Пауса — к центральным текстам, во многом определившим принципы кодификации русского литературного язы-

ка и возникающие в процессе кодификации зоны «напряжения», и еще раз указывает на главенствующую роль «немецкой» традиции в становлении русской новой грамматической мысли.

Литература

Вомперский 1969 — В. П. Вомперский. Неизвестная грамматика русского языка И. С. Горлицкого 1730 г. // *Вопросы языкознания*. 1969. № 3. С. 125—132.

Вомперский 1971 — В. П. Вомперский. Русская грамматика И. С. Горлицкого // *Рус. речь*. 1971. № 4. С. 130—138.

Дюрович, Шоберг 1987 — L. Đurovič, A. Sjöberg. Древнейший источник парадигматики современного русского литературного языка // *Russian Linguistics*. Vol. 11. 1987. P. 255—278.

Живов 1996 — В. М. Живов. *Язык и культура в России XVIII века*. М., 1996.

Живов 2001 — В. М. Живов. *Формирование норм русского литературного языка нового типа и их предыстория* // *Reflections on Russia in the Eighteenth Century* / Ed. by J. Klein, S. Dixon and M. Fraanje. Köln; Weimar; Wien, 2001. P. 377—398.

Живов 2002 — В. М. Живов. *Литературный язык и язык литературы в России XVIII столетия* // *Russian Literature*, LII (2002). P. 11—53.

Кайперт 1992 — H. Keipert. Русская грамматика М. Шванвица 1731 г. (Предварительные замечания о рукописи БАН F. N. 250) // *Доломоносовский период русского литературного языка = The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language* (материалы конференции на Фагеруде, 20—25 мая 1989 г.). Stockholm, 1992. P. 213—237.

Кайперт 1997 — H. Keipert. *Die Stockholmer Russisch Paradigmatik des 18 Jh.... Als hallischer Druck* // *ZSPh*, 56, 1997. S. 158—180.

¹⁸ Ср. возражение А.А. Барсова, который в своей грамматике 1783—1788 гг. писал по поводу форм на *наи*-: «они во первых чрез не малое продолжение времени, и многое употребление столько уже усилились, что российскому слуху не могут более противны быть, а на ипаче, во-вторых, так точно и безсомнительно представляют понятие о превосходстве и преимуществе в сравнении одной вещи пред всеми или пред многими вещами того же рода, как никакой другой вид вышепоказанных превосходных; и в третьих, есть древние слова и в славенском и у нас употребительные, из оных сложенные, как наипаче, наивящще, в четвертых же польское их происхождение по сродству Польского языка с Российским чрез славенский не должно им вредить, тем паче, что и кроме того есть польские слова в наш язык приняты» [Успенский 1981: 486].

Кайперт 1999 — H. Keipert. *И contractum redivivum. Zur Wiedereinführung des I kratkoe im russischen Buchdruck // Zeitschrift für Slawistik*, 44, 3, 1999. S. 251—267.

Кайперт, Успенский, Живов 1994 — Johann Ernst Glück. *Grammatik der russischen Sprache (1704) / Herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Helmut Keipert, Boris Uspenskij und Viktor Zivov / Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen. Neue Folge Bd 5 (20). Köln; Weimar; Wien; 1994.*

Летопись российской Академии наук I. — Летопись российской Академии наук. Т. I (1724—1802). СПб., 2000.

Ломоносов 1952 — М. В. Ломоносов. *Полное собрание сочинений. Т. 7. Труды по филологии (1739—1758 гг.)*. М.; Л., 1952.

Михальчи 1969 — Д. Е. Михальчи. *Славяно-русская грамматика Иоганна Вернера Паузе: Дис. ... докт. филол. наук*. Л., 1969.

Томелли 2002 — Die Russische Donat. *Vom lateinischen Lehrbuch zur russischen Grammatik. Historisch-kritische Ausgabe / Herausgegeben und kommentiert von Vittorio S. Tomelleri / Bausteine*

zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B: Editionen. Neue Folge Band 18. Köln; Weimar; Wien, 2002.

Унбегаун 1958 — В. О. Unbegaun. *Russian Grammars before Lomonosov // Oxford Slavonic Papers, VIII, 1958.*

Унбегаун 1959 — Henrici Wilhelmi Ludolfi *Grammatica Russica. Oxonii A. D. MDCXCVI / Ed. by V. O. Unbegaun. Oxford, 1959.*

Унбегаун 1969 — *Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von V. O. Unbegaun. München, 1969.*

Успенский 1975 — Б. А. Успенский. *Первая русская грамматика на родном языке. М., 1975.*

Успенский 1981 — *Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова / Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.*

Успенский 1987 — Jean Sohier. *Grammaire et Methode Russes et Françaises 1724 / Факсимильное издание под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. (Specimina philologiae slavicae, Bd. 69). München, 1987. I—II.*

Е. Бабаева

Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности / Отв. ред. М. Б. Хомяков, Н. А. Купина. — Екатеринбург, 2003. — 550 с.

Поворот современной науки лицом к человеку, о чем в последнее десятилетие столько говорят и пишут, до сих пор воспринимается лингвистами неоднозначно. Если, упрощая и поляризуя ситуацию, попытаться обозначить определяющие ее позиции, то можно сказать, что для одних ученых названный поворот — пози-

тивно оцениваемый свершившийся факт, для других — всего лишь следование научной моде, в конечном счете лишаящее лингвистику собственного объекта. Рецензируемая книга хороша уже тем, что способна поколебать вторую из названных позиций.

Толерантность — не новое понятие; однако в силу ряда известных тенденций, актуальных в современном мире, в течение последнего десятилетия оно выдвинулось в центр внимания философов, политиков, политологов, психологов, социологов и др. Обращение к данным лингвистики в этой ситуации представляется не только закономерным, но и неизбежным: ведь любое поведение, в том числе и такое, которое квалифицируется в терминах толерантности / интолерантности, имеет словесное выражение или, по меньшей мере, словесную составляющую.

Содержание коллективной монографии определяют две исследовательские интенции: с одной стороны, это стремление определить категорию толерантности — как понятие философии, социологии, психологии, лингвокультурологии, с другой — выявить языковые и речевые средства, коммуникативные стратегии и тактики, которые служат реализации толерантности в различных видах коммуникации. При этом авторы уделяют серьезное внимание и проявлениям противоположного свойства, а в некоторых случаях намечают шкалу континуальных переходов от толерантного поведения к интолерантному. Это позволяет коллективу весьма объемно и достаточно полно представить картину современных представлений о категории толерантности, описать языковые и речевые средства реализации толерантного / интолерантного поведения, соответствующие коммуникативные стратегии и тактики.

Хорошо продумана структура книги. В первом разделе — «Философские аспекты проблемы толерантности» — представлены в основном работы философов, освещающие исходные для лингвистического осмысления параметры категории толерантности. Три следую-

щих раздела наиболее «лингвистичны» и отражают триаду «язык — речь — коммуникация»: «Выражение толерантности средствами языка»; «Толерантность в пространстве функциональных стилей и жанров русской речи»; «Толерантность в речевом общении». Наконец, завершающий монографию раздел «Язык — культура — толерантность» выводит разговор в сферу лингвокультурологии. Стоит подчеркнуть, что уже в самих названиях второго — пятого разделов точно намечены перспективные направления лингвистического осмысления категории толерантности, которым, без сомнения, суждена долгая жизнь. Тем более что авторы монографии отнюдь не стремятся сообщить готовые истины и поставить точку в дискуссии: коллектив хорошо осознает, что исследования в этой области только разворачиваются, и видит свою главную задачу в том, чтобы выявить узловые проблемы и, может быть, наметить пути их решения. Возможно, с этим связано и то, что в название монографии не вынесено слово *лингвистические*. В этой исследовательской осматрительности, неспешности видится еще одно немаловажное достоинство работы авторского коллектива.

Остановимся на положениях и результатах, которые представляются наиболее существенными и перспективными для осмысления проблемы толерантности в лингвистическом ключе. Однако предварительно — несколько замечаний о **философском разделе**, поскольку он имеет методологическое значение для монографии в целом.

Внимательное знакомство с этим разделом убеждает, пожалуй, только в одном: толерантность — вещь необходимая, о ней нужно думать и к ней нужно стремиться. Но какова, собственно, эта вещь, в чем ее сущность — на этот вопрос четкого ответа нет и не может быть.

В прекрасной статье **М. Б. Хомякова** «Толерантность и ее границы: размышления по поводу современной англо-американской теории» (с. 11—25), открывающей раздел, охарактеризованы три наиболее авторитетные в указанном ареале философские концепции толерантности:

1) **прагматическая** (толерантность полезна, так как она есть рациональная и действенная альтернатива иррациональной и неэффективной интолерантности);

2) **либеральная** (толерантность благоготорна, ибо является частью свободы индивида и способствует общественному развитию);

3) **этическая** (толерантность есть благо-в-себе, самостоятельное благо).

Убедительно вскрывая внутренние противоречия, которыми грешит каждая из этих концепций, автор заключает: «Толерантность — одна из самых противоречивых ценностей современного общества. Эта противоречивость, однако, не снижает ее значения, но скорее отражает крайнюю сложность того мира, в котором обречен жить современный человек» (с. 25). Этот вывод отлично коррелирует с «внутренним парадоксом толерантности», на который М. Б. Хомяков, вслед за Б. Уильямсом, указывает в самом начале статьи: толерантность «в собственном смысле требуется только по отношению к тому, к чему вообще нельзя относиться терпимо. А значит, объем этого понятия сжимается до нуля» (с. 12).

Некоторая неутешительность вывода, к которому приходит М. Б. Хомяков, хорошо компенсируется другими статьями раздела. Здесь хочется прежде всего назвать в высшей степени глубокую работу **Е. Г. Трубиной** «Повествование и наука: от вражды к толерантности» (с. 57—82) — хотя бы потому, что она также посвящена процессам, идущим в современной западной философии. Не вдаваясь в

обсуждение сущности толерантности, автор опирается на удачный перечень компонентов этого понятия, предложенный в работе [Horton 1993] (к сожалению, библиографическое описание последней в списке литературы пропущено). Среди этих понятий ключевыми представляются два: 1) «негативное отношение со стороны субъекта, практикующего толерантность, по отношению к объекту толерантности»; 2) «воздержание от действия против этого объекта» (с. 58). Осмысляя «нарративный поворот», то есть «характерное для последних трех десятилетий междисциплинарное движение, в центре которого — нарративные модели порождения знания и нарратив как способ социального взаимодействия» (с. 59), — поворот, обусловленный общим кризисом отношения к «объективному знанию» в гуманитарных науках, — Е. Г. Трубина показывает, что признание нарративности и органически связанных с нею субъективности и ангажированности в качестве неотъемлемых признаков научного дискурса есть процесс вытеснения враждебного отношения самого этого дискурса к нарративу — толерантным. Впрочем, новый поворот несет и новые проблемы, которые автор обозначает в конце статьи и которые на поверку оказываются проблемами давно знакомыми: речь идет о бесконечных поисках такого языка науки, который был бы свободен от ограниченности, неопределенности и который, коль скоро он найден (предположим), вступает в неизбежное противоречие с научным письмом — процессом «многомерным, охватывающим все существо исследователя, воплощающим его локализованность в конкретных исторических, культурных, идеологических обстоятельствах» (с. 81).

Положения работы Е. Г. Трубиной неожиданно удачно иллюстрирует статья **А. В. Перцева** «Современный миропо-

рядок и философия толерантности» (с. 25—48), в тексте которой обнаруживаются и скепсис по отношению к объективному знанию, и нарративное начало, и вытекающие из него субъективность и ангажированность (см. в особенности с. 25, 42).

В работе А. В. Перцева есть любопытный поворот в осмыслении категории толерантности: «Толерантность — это переходное состояние от конфликта, который может вылиться в насилие, к взаимопониманию и сотрудничеству» (с. 29). Сущность этого состояния ниже интерпретирована так: «Толерантность состоит в признании права другого на инакомыслие только и единственно по той причине, что другой настолько же достоин уважения как личность, насколько этого уважения заслуживаешь ты, проявляющий толерантность» (с. 42). Однако автор не просто опровергает, а буквально взрывает все свои построения вопросом, непосредственно следующим за цитированной формулировкой: «*Но может ли искренне признать право на инакомыслие человек, который полагает, будто существует хотя бы одна объективно реальная вещь?*» (там же; здесь и во всех последующих цитатах курсив, разрядка и полужирный шрифт принадлежат оригиналу). Невольно возникает встречный вопрос: коль скоро нет объективно реальных вещей — для чего же облекать абсолютно субъективные суждения в форму абсолютно объективных констатаций? Нет никакой толерантности в реальном мире, есть лишь бесконечное множество ее субъективных трактовок... Но тогда смысл обсуждения и этой, и любой другой проблемы неотвратимо исчезает.

Несравненно удовлетворительнее размышления **Б. В. Емельянова** об особенностях русского национального менталитета и их соотношении с принципом

толерантности («Русский менталитет: возможности толерантности», с. 48—57). Важно указание автора на то, что «философски значимая разработка проблем терпимости начинается в России в XVIII в.» — в трудах Тихона Задонского и Паисия Величковского (с. 54). Вместе с тем представляется вряд ли оправданным объединение *терпимости* и *терпеливости* в одно качество, как и следующий за этим вывод: «Терпеливое отношение русского народа к своим проблемам и трудностям — это одна сторона его **толерантного менталитета**» (с. 55). Все-таки понятие толерантности предполагает прежде всего наличие двух *субъектов* — носителей разных этических, религиозных и проч. представлений; автор явно расширяет границы понятия, что грозит утратой последней определенности.

Зато убедительно Б. В. Емельянов показывает, насколько противоречива другая сторона русского «толерантного менталитета» — «такое же толерантное отношение к иноплеменникам, другим нациям и народам» (с. 55—56). Обращаясь, в частности, к православию, автор напоминает, как русская православная церковь неоднократно являла миру образцы не только терпимости, но и нетерпимости — ср. отлучение от церкви Л. Н. Толстого в начале XX века и Н. К. и Е. И. Рерихов — в конце (1994 г.). Наконец, автор справедливо подчеркивает, что «еще больше трудностей с реализацией такого проявления толерантности, как **ненасилие**» (с. 56), хотя в нынешней России насилие «утратило идеологическую поддержку и легитимность» (там же), и столь же справедливо заключает, что толерантности еще «предстоит нелегкая борьба за свои приоритеты», что ее «можно и нужно воспитывать, создавая педагогику толерантности» (с. 57).

В. Н. Маров обращает свое внимание на принцип толерантности в риторике и поэтике (с. 82—95). Чрезвычайно перспективна уже сама постановка проблемы. Однако вызывает сомнение выбор точки опоры: рассуждая о толерантности в риторике и поэтике, автор отталкивается от толкования понятия толерантности в известном «Логическом словаре-справочнике» Н. И. Кондакова. Последний, говоря об употреблении термина «толерантность» в математике (sic!), заключает словарную статью фразой: «Отношение толерантности рефлексивно (...) и симметрично» (Кондаков 1975: 600) — речь при этом идет, например, об отношении между двумя функциями x и y . Вот как интерпретирует это положение В. Н. Маров: «Соответствующими принципу толерантности считаются такие элементы сообщения, которые имеют признаки рефлексивности и симметричности [Кондаков 1976: 600]»¹ (с. 82). Столь вольная интерпретация положения источника представляется некорректной. И с той же, к разочарованию читателя, степенью корректности автор далее анализирует материал. Логика следующая: перечисляются признаки рефлексивности (наличие аргументации, топосы, энтимемы, построенные по правилам транзитивности, редукция, рекурсивность и др.), затем — симметричности (фигуры, ось преобразований, осуществляемых по правилам транспозиции, аналогии, корелативности и др.). Перечни иллюстрируются анализом текстовых фрагментов, в которых автор обнаруживает искомые признаки — и на этом основании признает их реализующими принцип толе-

рантности. Думается, однако, что формально-логический уровень организации текста сам по себе способен создать лишь предпосылки для формирования толерантного — равно как и интолерантного — сообщения. Произвольная экстраполяция логико-математического толкования толерантности на риторiku и поэтику приводит лишь к тому, что автор вполне серьезно предлагает читателю считать толерантным следующий фрагмент из публицистической статьи: «*В основе радиофобии лежит лживая информация со стороны административных органов, подкрепляемая малограмотностью «специалистов» от радиационной медицины, которую печатают СМИ*» (с. 86; в оригинале пример протяженнее, но продолжать цитирование нет смысла). Совершенно ясно, что, какие бы «толерантные», по мнению В. Н. Марова, формально-логические модели ни лежали в основе этого риторического образчика, ничего общего с принципом толерантности он не имеет: элементарный лингвистический анализ показывает, что текст реализует установку на категорическое неприятие оспариваемой позиции и культивирует враждебное отношение к ее носителям. Другими словами, связь формально-логического субстрата текста с его толерантным / интолерантным характером существует, скорее, не в действительности, а в мысли автора; это неплохо согласуется с приведенными выше положениями А. В. Перцева, но, к сожалению, ставит под сомнение и итоговый вывод В. Н. Марова: «риторика и поэтика предполагают каждая своими «кодами» преобразования текстов с позиций толерантности. Риторика при этом использует правила организации в тексте рефлексивности, а поэтика — симметричности» (с. 95). Выглядит внушительно, но... не доказано.

¹ В данной ссылке и в библиографическом списке неточность: 2-е, испр. и доп. изд. Логического словаря-справочника Н. И. Кондакова, на которое ссылается В. Н. Маров, вышло в свет в 1975 г.

В целом философский раздел монографии оставляет впечатление весьма содержательного и полезного, однако недостаточно цельного и неровного по исполнению. Значительно выигрышнее в этом отношении выглядит **второй раздел** книги — «Выражение толерантности средствами языка». С одной стороны, он органично продолжает линию размышлений, начатую в первом разделе: работы О. А. Михайловой («Толерантность и терпимость: взгляд лингвиста», с. 99—111), А. Д. Шмелева («Терпимость в русской языковой картине мира», с. 111—125), О. П. Ермаковой («Толерантность и некоторые особенности менталитета в зеркале языка», с. 125—133), Н. Д. Голева («Толерантность как вектор антиномического бытия языка», с. 174—190) существенно углубляют представления о сложной, неоднозначной сути самого понятия толерантности, но уже с опорой на данные языка. С другой стороны, все материалы раздела объединены общей установкой на поиск в языке тех начал, средств и даже уровней, на которые толерантность опирается или может опираться. В этом отношении к названным примыкают и остальные статьи: Т. В. Поповой («Толерантность русского словообразования (на материале новообразований конца XX века)», с. 134—154); И. Т. Вепревой («Вербализация метаязыкового сознания как реализация принципа толерантности», с. 155—167) и А. И. Дунева («Толерантность и интенциональность орфографии», с. 168—174).

Привлекает и убеждает тонкий семантический анализ концепта толерантности, прекрасно выполненный **О. А. Михайловой**. Автор показывает, что в пространстве «лингвокультурологического поля с ядром *толерантность*» «переплетены понятия толерантности как психологической сущности, как нравственной установки или расположения ума, а так-

же как спектра различных типов поведения и межличностных отношений» (с. 110—111), и доказывает, что близкие понятия толерантности и терпимости, толерантности и ненасилия и целый ряд других нетождественны (с. 105—109). Данная статья не случайно открывает раздел: ее содержание прямо перекликается с работами М. Б. Хомякова, А. В. Перцева, Б. В. Емельянова, но при этом развивает и углубляет положения философов точным лингвистическим анализом. Заметим все же, что следующее предположение О. А. Михайловой не вполне корректно: «В советском тоталитарном государстве толерантность как уважение к людям других политических взглядов, терпимость к иному мировоззрению, иной вере, иному мнению считалась недопустимым качеством. Возможно, в этом кроется причина почти полного отсутствия слова *толерантность* в толковых словарях советской эпохи. Так как словари были проводниками языковой политики государства, слово, представляющее идеологическую опасность, не должно было включаться в лексикон рядовых носителей языка» (с. 101—102; на с. 105 это рассуждение повторяется). Согласно этой логике, в толковых словарях советской эпохи должно было бы отсутствовать как минимум еще одно слово — *терпимость*. Между тем словари советской эпохи легко справлялись с задачей окрашивания слова в нужный идеологический цвет: достаточно вспомнить хотя бы толкование слова *проституция*. Причина почти полного отсутствия слова *толерантность* в этих словарях, по-видимому, заключается в другом: само слово не было востребовано эпохой, причем в мировом масштабе — напоминать исторические факты, думается, излишне. Прямое объяснение фактов языкового бытия политическими причинами далеко не всегда продуктив-

но и, во всяком случае, требует предельной выверенности.

В центре внимания **А. Д. Шмелева** оказываются три аспекта понятия *терпимость* в русской языковой картине мира: 1) терпимость как часть общей установки на «примирение с действительностью», представленная в «целом ряде русских лингвоспецифичных выражений» (с. 112); 2) терпимость к чужим мнениям как «широта взглядов» в ее соотносительности с «широтой души»; 3) ассоциативно-деривационные связи слова *терпимость*. Насколько точен и остроумен анализ, настолько существенны и выводы автора: (1) «терпимость к чужим недостаткам и вообще к несовершенствам мира поощряется русской культурной традицией (...) Если же человек идет на компромисс в мелочной надежде получить выгоду и тем самым предаёт “высокие идеалы”, такая “терпимость” получает отрицательную оценку» (с. 116); (2) «широта взглядов» рассматривается в русской языковой картине мира как превосходное качество в той мере, в какой она обусловлена способностью “широкого” человека не придавать значения “мелким” идеологическим различиям. Но она же превращается в “подлость”, если человек *широких взглядов* вообще не желает видеть различия между добром и злом, склонен к *попустительству*, к тому, чтобы *потакать* чужим или собственным порокам» (с. 118—119). Наконец, рассмотрев в третьей части главы четыре «ветви» употребления дериватов глагола *терпеть* (по количеству «идей», заложенных в лексическое значение опорного слова), А. Д. Шмелев делает общий вывод, который также хочется процитировать: «Однозначной оценки *терпимости* и *нетерпимости* русская языковая картина мира не содержит. Такая оценка устанавливается лишь в рамках конкретной этической системы и тем

самым оказывается в компетенции моралистов, а не лексикографов» (с. 123). Особым достоинством этой работы представляется отсутствие соблазнительно однозначных, но, как правило, излишне прямолинейных и потому неадекватных обобщений. Внутренне сложный, диалектический характер представления терпимости в русской языковой картине мира, убедительно продемонстрированный А. Д. Шмелевым, интуитивно кажется наиболее близким к реальности.

С выводами А. Д. Шмелева вполне согласуются точные наблюдения **О. П. Ермаковой**, которая рассматривает соотношения «*толерантность и грех*», «*толерантность и зависть*», «*толерантность и безумие*», во всех трех случаях показывая, как тонко меняется оценка вторых членов пар в зависимости от того, каковы характер и степень греха, зависти, безумия. Привлекает и оригинальная трактовка самого понятия толерантности, о котором О. П. Ермакова пишет: «определяющими для толерантности (или нетолерантности) служат понятия «всеобщность — невсеобщность» и «свое — не свое». Терпимость человек проявляет, как правило, к тому, что свойственно всем, и, напротив, нетерпимость — по отношению к тому, что свойственно единицам» (с. 125). Эта трактовка, как кажется, вносит существенное уточнение в интерпретацию ключевого понятия — во всяком случае, в его психологическом и этическом аспектах.

Н. Д. Голев в своих размышлениях исходит из онтологической конфликтности функционирования языка и рассматривает ее ментальные проекции — в быденном и теоретическом языковом сознании — как поле для проявления толерантности. «Толерантное... решение конфликта проявляется в теоретическом и практическом допущении тех или иных форм сосуществования с “противостоя-

щей стороной», при этом последняя оценивается если не как желательная, то, по крайней мере, необходимая или даже неизбежная» (с. 176). Толерантному способу решения конфликтов в этой сфере противостоит «волевой», и «оба способа снятия необходимы для нормальной жизнедеятельности языка» (с. 177). Выказываемые положения автор иллюстрирует примерами сложных отношений между обыденным и теоретическим метаязыковым сознанием и утверждает: «вполне представимо комплексное монографическое исследование с таким условно-гипотетическим названием, как **“Обыденная металингвистика русского языка”**» (с. 180), — в котором предлагает следующие разделы: 1) «русская наивная семасиология и лексикография»; 2) «русская мотивология и этимология»; 3) «обыденная ортология, аксиология, риторика»; 4) обыденные «лингводидактика и социолингвистика» (с. 180—186). В заключительной части статьи автор обращается к проблемам «юрислингвистического подхода к языковой конфликтологии», показывая их сложность, многоаспектность и актуальность.

И. Т. Вепрева рассматривает вербализацию метаязыкового сознания на уровне «рефлексивов» — многообразных метаязыковых комментариев — и выстраивает их функциональную типологию, интерпретируя каждый функциональный тип как особый «маркер напряжения», сигнализирующий о появлении в речи «очага интолерантности» и призванный этот очаг локализовать. Различаются маркеры, сигнализирующие о «коммуникативном напряжении» и о «ментальном напряжении». К первым относятся «маркеры новизны, сложности, стилистической отмеченности, Я-позиции» (с. 159—163), ко вторым — «маркеры концептуальной новизны, сложно-

сти, Я-позиции и ксеноразличения» (с. 163—167). Подробно характеризуя те и другие, **И. Т. Вепрева** весьма убедительно интерпретирует их как средства реализации толерантного начала в общении. Не вызывает сомнений итоговое утверждение автора: «в основе речевой деятельности индивида изначально заложен механизм регулирования и согласования речевых и ментальных действий говорящего и слушающего» (с. 167). Однако заметим, что последняя формулировка — вопреки мысли автора, как ее можно понять из текста, — не представляется синонимичной утверждению, которое выдвинуто в начале статьи: «в основе самой речемыслительной деятельности изначально в качестве универсального заложен принцип толерантности» (с. 155). Такая подстановка принципа толерантности на место базисного психодеятельностного механизма (регулирования и согласования) не более убедительна, чем отождествление человеческой любви с инстинктом продолжения рода.

Заслуживает внимания материал, которым оперирует **Т. В. Попова**: автор обратился к новообразованиям типа *okeйствовать, пиарить, internetмен*, сосредоточив внимание на двух словообразовательных гнездах с вершинами ПР (PR) и CD. Круг зафиксированных автором неологизмов, принадлежащих этим гнездам, удивительно широк: 66 в первом случае и 22 — во втором. Этот факт интерпретируется автором как «яркое проявление толерантности русского словообразования, творческие потенциалы которого активизируются в результате взаимодействия с системой другого языка» (с. 154). Активизацию же **Т. В. Попова** видит в расширении «функционального диапазона аббревиатур и мотивированных ими новообразований: аббревиатуры, традиционно относимые к именам существительным, в композитах (типа

ПР-менеджер. — М. Д.) начинают выполнять роль аналитических прилагательных» (там же). Не вполне ясно, что такое «аналитическое прилагательное», но главное возражение не в этом. Неясно, почему активное обрастание заимствованных аббревиатур русскими словообразовательными элементами или образование на их основе композитов рассматривается именно как проявление толерантности русской словообразовательной системы (своего понимания толерантности автор не разъясняет). Композиты вроде *CD-издательство* логичнее рассматривать как заимствование словообразовательной модели, расширяющей способ сложения и отличающейся от «родной» модели *хлебозавод, книгоиздательство* отсутствием интерфикса, которое объясняется морфонологическими причинами; в этом случае разговор об «аналитических прилагательных» теряет актуальность, а вместе с ним — и утверждение об активизации творческих потенций русского словообразования. Непривычность этой модели все еще весьма остро ощущается, и только время покажет, насколько «толерантной» по отношению к ней окажется русская словообразовательная система на самом деле. Что же касается неологизмов типа *CD-ROMный*, то процесс их образования допускает амбивалентную трактовку: почему бы не видеть в нем, скажем, стремление русской словообразовательной системы «подмять» чужое под себя, насильно сделать своим, оформив по **своим** правилам? Но в таком случае эта система должна характеризоваться как *интолерантная*...

По-видимому, распространять принцип толерантности, пусть и реализуемый прежде всего средствами языка, на сам язык и его подсистемы все же нецелесообразно, так как при этом мы рискуем назвать толерантностью то, что обычно

именуется, например, просто *гибкостью*.

А. И. Дунев предлагает применить понятие толерантности к намеренным («интенциональным») отступлениям от орфографических норм или к имитации таковых в рекламных текстах (напр., «*пище-варение, пише-тушение*» — в рекламе аэрогриля; «*Пол-Франции в рулоне*» — в рекламе линолеума). По мнению автора, толерантное отношение к таким явлениям может способствовать «формированию орфографических норм нового тысячелетия» (с. 173); с другой стороны, «ориентация текста на адресата и актуализация интерпретационного содержания высказывания позволяют оценить степень толерантности (чьей? — М. Д.) в конкретном рекламном тексте» (с. 174).

Авторы **третьего раздела** размышляют о соотношении толерантности с функциональными стилями и жанрами речи. **О. А. Крылова** («Толерантность, речевые жанры и функциональные стили современного русского литературного языка», с. 199—209) обосновывает существование «в составе современного русского литературного языка особого функционального стиля», который предлагает именовать **церковно-религиозным** (в отличие от наименования «религиозно-проповеднический», предложенного Л. П. Крысиным). С точки зрения автора, этот стиль, близкий — по признакам массовости адресата и доминантности функции воздействия — газетно-публицистическому, противопоставлен последнему по признаку толерантности / интолерантности. Для церковно-религиозного стиля толерантность является «существенным стилеобразующим качеством», в то время как газетно-публицистический стиль лишен этого качества, ибо проникнут «духом рыночной экономики» (с. 208).

Интерпретация толерантности в качестве существенного стилеобразующего

го признака представляется оригинальным исследовательским шагом, и в этом смысле работа О. А. Крыловой задает тон всему разделу. Вместе с тем, внимательное знакомство со статьями Л. М. Майдановой, Л. В. Ениной, М. Ю. Федосюка обнаруживает скрытую теоретическую полемику с главным тезисом О. А. Крыловой. **Л. М. Майданова** («Проблемность и вопросительность: журналистские аналитические тексты вчера и сегодня», с. 209—227) показывает, что свойственные современным аналитическим публикациям вопросительность и неуверенность, пришедшие на смену типичным для советского периода заданности и долженствовательности, открывают для современной публицистики перспективу развития по линии подлинной толерантности. **Л. В. Енина** («Оппозиция «провинция — столица» в журналистском тексте», с. 228—240) вскрывает региональные ментальные стереотипы, которые служат истоками интолерантности в рассматриваемых газетных материалах. **М. Ю. Федосюк** («Научная полемика как эталон толерантного речевого общения», с. 240—253), отталкиваясь от примеров интолерантного научного общения, систематизирует средства, обеспечивающие научному тексту качество толерантности.

Работы названных авторов, таким образом, демонстрируют возможности как толерантной, так и интолерантной доминанты в текстах газетно-публицистического и научного стилей. Но если возможно и то и другое, то утверждение о стилиобразующей роли качества толерантности по отношению к какому бы то ни было функциональному стилю языка следует признать преждевременным. Церковно-религиозная разновидность публицистического стиля — не исключение: чтобы в этом убедиться, достаточно вернуться к статье Б. В. Емельянова и

ознакомиться с соответствующими документами Русской Православной Церкви (показательно, что О. А. Крылова ограничивает свой материал в основном Пасхальными и Рождественскими посланиями Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а из газетной публицистики отбирает недавние откровенно бессовестные публикации, посвященные реформе орфографии). Подлинная толерантность, как представляется, пока остается качеством и способностью слишком немногих личностей и может служить стилиобразующим началом лишь для некоторого данного идиостиля; должны пройти века (если не тысячелетия!), чтобы толерантность закрепились в качестве устойчивого стилиобразующего фактора для столь крупного и внутренне сложного образования, как функциональный стиль литературного языка.

Ю. Б. Пикулева, обращаясь к жанру телевизионной рекламы, на многочисленных примерах убедительно вскрывает причины негативного отношения к рекламе, активно проявляющегося «в современном публицистическом и разговорном тексте» («Телевизионная реклама как источник фрустрации», с. 254—269).

О. П. Жданова («Толерантность и виртуальная речевая среда», с. 269—286) задалась целью охарактеризовать «слово, понятие и явление *толерантность*», опираясь на материалы, доступные в Интернете. Любопытны выводы автора о «наметившемся... “коммуникативном ажиотаже” вокруг “толерантности” как слова и понятия», о его престижности и модности (с. 280—281), о связанном с этим факторе «научной и публицистической конъюнктуры» (с. 282). Общий итог, к которому приходит автор, — утверждение о частотности, многозначности и коммуникативной многофункциональности слова толерантность в Интернете.

Это, с одной стороны, «универсальная идеологема, обозначение принципа совместности, максима культуры мира, вербальный ориентир глобалистики»; с другой — мифологема, «фиксирующая неутраченность русским человеком веры в лучшее». Вместе с тем, «явление толерантности наблюдается пока еще в ограниченных обстоятельствах, специализированных средах» (с. 285).

Н. Б. Лебедева («Толерантность и естественная письменная речь», с. 286—296) различает «два вида толерантности в области рече-языковых явлений — **собственно-языковую и метаязыковую**» (с. 286) и утверждает: «профессионально-лингвистический гносеологический вид метаязыковой толерантности обнаруживается в расширении объекта описания и теоретического исследования со стороны исследователей по отношению к «низким» сферам бытования речевой деятельности» (с. 287). В качестве такого объекта автор, перекликаясь с Н. Д. Голевым, выдвигает «естественную письменную речь», убедительно обосновывая целесообразность ее изучения и поражая читателя многообразием ее жанров и поджанров.

Как бы продолжая линию исследовательского внимания к «низкому», **Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев** («Толерантность как необходимое условие функционирования речевого жанра анекдота», с. 297—304) остроумно и точно анализируют условия успешного функционирования этого речевого жанра и убеждают читателя в том, что одним из таких условий является толерантность, причем не только и не столько рассказчика, сколько слушателей, что далеко не всегда предсказуемо и гарантировано.

Завершает раздел статья **Н. А. Купиной и К. Н. Муратовой** «Бытовая и идеологическая толерантность в художественном мире Владимира Высоцкого»

(с. 305—325). Замысел этой работы поначалу поражает неожиданностью: ведь привычное восприятие песен В. Высоцкого, определяемое всей его исполнительской манерой, далеко от ассоциаций с концептом толерантности. Однако авторы, мастерски анализируя тексты поэта, последовательно убеждают читателя в том, что, моделируя истоки *интолерантности* в советском обществе и показывая многообразные ее проявления, В. Высоцкий тем самым как раз и утверждает ценности, входящие в орбиту концепта толерантности. Внимательный и тонкий анализ весьма представительного корпуса произведений поэта позволяет авторам статьи «определить набор содержательных компонентов понятия “толерантность”, извлеченных из песенного сверхтекста Владимира Высоцкого: принятие “инаковости”; принятие языка и культуры “другого”; соответствие речеповеденческих партий естественной иерархии социально-коммуникативных ролей; право на свободу личного выбора и уважение выбора “другого”; ненасилие во всех формах; самоконтроль, умение регламентировать страсти и желания, оперировать ментально значимыми ценностями» (с. 325). Статья не только вносит новый — и существенный — акцент в интерпретацию творчества замечательного поэта, но и приоткрывает пути осмысления *непрямых* способов выражения толерантности в художественном тексте.

В целом третий раздел оставляет впечатление хорошо продуманного, привлекающего как теоретическими идеями, так и богатым и разнообразным материалом, раздела с внутренним сюжетом, развивающимся динамично и логично.

Открывающая **четвертый раздел** — «Толерантность в речевом общении» — статья «Толерантность и коммуникация» **И. А. Стернина** могла бы, как кажется, открывать и всю книгу. Автор определя-

ет толерантность «как *положительное нравственное качество человека, заключающееся в ценностной ментальной установке на терпимость к мнениям, убеждениям и формам поведения другого человека*» (с. 331) и различает коммуникативную, поведенческую толерантность и ментальную категорию толерантности. Рассматривая концепт толерантности в русском коммуникативном сознании, И. А. Стернин убедительно показывает, что он «еще находится в процессе становления и поэтому не имеет очерченной структуры, не может считаться общеизвестным и тем более общенациональным» (с. 334). Путь к «формированию категории толерантности в национальном сознании» ученый видит в «формировании коммуникативной толерантности, через которую можно выйти на поведенческую толерантность и сформировать собственно ментальную категорию толерантности» (с. 344).

Продолжает раздел статья **Н. И. Формановской** «Ритуалы вежливости и толерантности» (с. 345—362). Опираясь на положения лауреата Нобелевской премии по этологии Конрада Лоренца, исследовательница размышляет об истоках человеческой агрессии и толерантности, которые в равной мере обнаруживаются в поведенческих механизмах животных и оказываются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Данные филогенеза, таким образом, вскрывают онтологию толерантности и неопровержимо доказывают ее *биологическую* целесообразность и неизбежность. Убедительно доказывается в статье единая природа человеческих ритуалов вежливости и ритуалов снятия агрессии / объединения круга своих / отторжения чужих у животных; таким образом, «неотвратимость исполнения ритуалов вежливости и речевого этикета заложена в нас природой и культурой» (с. 359).

Содержательно разводя категории вежливости и толерантности, автор в итоге настаивает: если принять положение К. Лоренца о том, что современное человечество есть «лишь переходный этап от животного к совершенному человеку», то нам тем более следует «жить в мире, а для этого... всемерно уважать других, проявляя толерантность и вежливость» (с. 361—362). Размышления Н. И. Формановской существенно расширяют границы осмысления понятия «толерантность».

М. Я. Гловинская в работе «Постулат искренности vs постулат толерантности и их производные в разных культурных и языковых моделях поведения» (с. 362—371) утверждает, что «для русского мира важнейшее значение имеет постулат искренности (“не говори неправды”...), а для англосаксонского и других... — постулат толерантности (“не говори неприятного для адресата”...)» (с. 362). При всем своеобразии такого толкования толерантности («не говори неприятного для адресата» → «говори приятное для адресата»), точны конкретные наблюдения автора над проявлениями коммуникативной агрессии в высказываниях, формально отвечающих постулату искренности, но содержащих в себе отрицательную оценку, которая «как бы прилеплена к выбранной языковой форме и выражается в обязательном порядке независимо от осознанной цели субъекта» (с. 363). М. Я. Гловинская различает три группы таких высказываний: 1) с лексемами, которые «точно и объективно описывают ситуацию по ее количественным или параметрическим показателям и не содержат никакой оценки», — например с лексемами, включающими семантический компонент ‘много’ (*Зачем ты столько каши наварила?*); 2) с глаголами, которые «всегда воспринимаются как грубые» (*Нечего на меня пя-*

лится!); 3) с глаголами, которые могут служить «точными, объективными дескрипциями, но для которых в то же время типичны и оценочные значения и употребления» (*Что ты навалила мне столько салату?*) (с. 364—365). Ясно, что искренность подобных высказываний не имеет ничего общего с толерантностью. С другой стороны, автор показывает, что и толерантность в своих крайних проявлениях (причем в авторском понимании) может быть не менее далека от искренности.

И. Н. Борисова («Русский разговорный диалог: зоны толерантного и нетолерантного общения», с. 371—397) вводит и обосновывает **категорию коммуникативной координации**, формируемой совокупностью следующих аспектов: 1) согласованность коммуникативных интенций; 2) кооперативность речевого поведения; 3) солидарность модально-оценочных смыслов; 4) унисонность тональности общения; 5) симметричность коммуникативной активности; 6) оценка коммуникативного результата, эффективности общения (с. 373—374). Комбинации различных значений этих параметров позволяют автору выделить 4 типа коммуникативной координации: консентная — конформная — полемичная — конфликтная. Анализ материала приводит автора к разграничению в пространстве разговорного общения двух зон: зоны толерантного общения, к которой относятся консентные, конформные диалоги и полемические диалоги с нейтральной и положительной модальностью, — и зоны нетолерантного общения, к которой относятся полемические диалоги с отрицательной модальностью и конфликтные диалоги (с. 396). Уникальный, живой материал, точность его анализа, глубина и адекватность теоретической разработки — отличительные черты этой работы.

Л. А. Шкатова («Речеповеденческие стратегии и тактики в конфликтных ситуациях», с. 397—410) задается целью систематизировать средства, манифестирующие стратегии и тактики, позволяющие избежать конфликтного развития диалога в ситуациях, провоцирующих именно конфликт. Большую практическую ценность имеют разработанные автором методика анализа конфликтной ситуации, типология речеповеденческих тактик, целесообразных для предотвращения конфронтации в разных типах конфликтов с разными психологическими типами «конфликтеров», и речевых средств осуществления этих тактик.

Четвертый раздел завершается статьей **И. В. Шалиной** «Ошибка как средство коммуникативного контакта» (с. 410—419), в которой автор предлагает оригинальный взгляд на коммуникативно-прагматические ошибки в текстах сочинений абитуриентов: останавливая внимание на различных вариантах ошибки, квалифицируемой как «неадекватный выбор пишущим своей коммуникативной позиции» (с. 413), исследователь показывает, как подобная ошибка становится «одним из способов репродукции образа автора в культурно-речевом и коммуникативном планах» и может как вызывать негативное восприятие, так и «обеспечивать коммуникативный интерес и внимание» (с. 419); очевидно, что восприятие подобных текстов требует от адресата (экзаменатора) особой толерантности.

Авторы **пятого раздела** («Язык — культура — толерантность») рассматривают толерантность как фактор внутри- и межкультурного общения. **Н. Д. Бурвикова** и **В. Г. Костомаров** («Единицы лингвокультурного пространства (в аспекте проблемы толерантности)», с. 426—440) приводят типологию логоэпистем, знание которых является необ-

ходимой составляющей «культурной грамотности» и является действенным фактором толерантного общения, в том числе и внутрикультурного. Примеры, приводимые авторами, убедительно демонстрируют механизм возникновения интолерантных коммуникативных ситуаций, который приводится в действие тем, что один из коммуникантов не знает конкретной логэпистемы и неадекватно реагирует на несущее ее высказывание.

Н. А. Николина («Национально-культурные традиции русского речевого поведения в зеркале автобиографической прозы», с. 440—457) обнаруживает в мемуарной прозе богатый источник сведений о константах национального речевого поведения. К ним автор относит: «социабельность» (Н. А. Бердяев), то есть коммуникабельность; эмоциональность — однако лишенную аффектации, предполагающую искренность и непосредственность; отсутствие дипломатичности, категоричность оценок, но при этом — отходчивость; тенденцию к расширению межличностного пространства, стремление сократить дистанцию, вызванные переживанием взаимодействия с миром (часто неосознанным); скромность; неприятие пусто- и празднословия; последовательное отражение общественной и семейной иерархии. Именно последняя особенность нередко становилась (и становится) фактором интолерантности в коммуникации. Однако и в целом учет / неучет всех названных констант может быть фактором, соответственно, толерантности / интолерантности в любой коммуникативной ситуации.

Новую для лингвистики тему, важную для изучения факторов толерантности / интолерантности в межкультурной коммуникации, предлагает **Л. П. Крысин** («Этностереотипы в современном языко-

вом сознании: к постановке проблемы», с. 458—463). С точки зрения автора, лингвистический аспект изучения этностереотипов связан с постижением того, «какие сферы жизни того или иного народа, личностные свойства» его представителей, «их интеллектуальные, психические, антропологические особенности становятся объектами оценки», и того, какие языковые единицы становятся средствами обозначения этностереотипов (с. 459). Предлагается предварительный обзор таких языковых единиц, отмечаются характерные для языкового обозначения этностереотипов средства обобщения и гиперболизации, а также приемы импликации (*Муж ее еврей, но человек хороший; Он русский, но не льет*). Намечая дальнейшие вопросы лингвистического изучения этностереотипов, автор, по сути, программирует развитие новой и перспективной области исследований.

В замечательной по точности наблюдений и изяществу исполнения статье «“Свой” и “чужие”: межкультурная коммуникация и этнические стереотипы в чеховской России» (с. 463—474), перекликающейся по проблематике с работой Л. П. Крысина, **О. Йокояма** размышляет над результатами обследования 334 (!) рассказов А. П. Чехова 1880—1903 гг. под указанным в заглавии углом зрения. Межэтнические непонимание, презрение, усиленные неравноправием народов в Российской империи, получили в чеховских рассказах объемное отражение. Однако цели автора шире констатаций: имея в виду проблемы толерантности, О. Йокояма обращает внимание на редкие случаи межэтнического понимания, зафиксированные в изученных произведениях, и приходит к выводу: «Как между русскими, так и между русскими и нерусскими, то есть между всеми людьми, к пониманию и терпимости у Чехова при-

водит не языковое общение, а эмоциональное сопереживание. Возможно, что на русской почве между исконными понятиями *жалость, тоска, скорбь, печаль, страдание*, а также скорее всего калькированным *терпимость* и заимствованным *толерантность* существует глубинная семантическая связь» (с. 474). Не согласиться с автором невозможно.

Современные преломления оппозиции «свое — чужое» в газетных публикациях анализирует **Э. В. Чепкина** («Журналист как медиатор в межкультурной коммуникации», с. 475—486). Отталкиваясь от идеи поликультурного характера современного общества, автор настаивает на том, что журналист в таком обществе «неизбежно становится медиатором, посредником в межкультурной коммуникации» (с. 475). Рассматривая религиозно-светский, межэтнический, гендерный варианты указанной оппозиции, Э. В. Чепкина демонстрирует примеры реализации как толерантного, так и противоположного отношения к «чужому» и с сожалением констатирует, что современные журналисты «часто концентрированно выражают стереотипы массового сознания, распространяя озлобленность и интолерантность в отношении определенных культурных групп» (с. 485).

Тему межкультурной коммуникации продолжает **Цун Япин** («О национально-культурных компонентах русской и китайской фразеологии», с. 486—492), приводящая примеры эквивалентных, частично перекрещивающихся и безэквивалентных фразеологизмов, относящихся к различным сферам жизни общества: истории нации, ее быту, обычаям и обрядам, психологическим и эстетическим воззрениям народа, религиозным верованиям. Автор справедливо заключает, что «в межкультурной коммуникации фразеология занимает важнейшее

место», поскольку «особенно тесно связана с культурой» (с. 492).

К сфере внутрикорпоративных отношений обращается **Е. В. Харченко**, знакомящая читателя с результатами оригинального по замыслу и исполнению исследования («Корпоративная культура и причины тревожных состояний», с. 492—507). Используя методику «коммуникативного аудита» (массовое анкетирование работников фирмы; в анкетах предлагается продолжить любые 25 из данных 50 фраз), автор выявляет комплекс причин «тревожных состояний», которые должны стать предметом внимания любого руководителя, стремящегося создать в коллективе обстановку толерантности и эффективного труда. Работа имеет выраженный прикладной характер и может найти широкое практическое применение.

С. Ю. Данилов («Очаги напряжения и конкуренция идеологем», с. 507—525), исходя из противопоставления «текстов влияния» и «текстов отражения», рассматривает в качестве последних сочинения 10-классников о родном городе и вскрывает в них признаки конкуренции идеологем (*труд, развлечение*, оппозиции *мой — наш, красота — серость, индивидуальное — неиндивидуальное, провинция — столица*). «Очаги напряжения», вербализация которых стимулируется этой конкуренцией, интерпретируются автором как важная черта «текстов отражения», действительно отражающих идеологические установки, которые нередко противоречат друг другу. Толерантное начало, заданное жанром, проявляется в данном случае в сдерживании влияния «очагов напряжения» на порождаемый текст. Представляется, что автору удалось найти точное обозначение важного признака современной культурно-речевой ситуации и предложить его интересное осмысление, имеющее прямой

выход на проблему толерантности. Заметим лишь, что положительная окраска идеологемы «центр» не обязательно должна возводиться к тоталитарной идеологии: думается, что в основе суждения «центр — это хорошо» (с. 525) лежат более глубинные архаичные стереотипы.

Завершают раздел и монографию глубокие до парадоксальности размышления **В. Е. Гольдина** («Толерантность как принцип культуры речи», с. 525—537). Интерпретируя проблему кодификации литературных норм как действия, онтологически обладающего признаком толерантности / интолерантности, ученый убедительно показывает, как и здесь «работает» все та же оппозиция «свое — чужое». «В приложении к речевым проблемам, — пишет В. Е. Гольдин, — толерантность можно понимать как один из параметров оценки а) форм проявления, б) степени жесткости и в) социокультурного содержания» данной оппозиции (с. 527). Однако «не вступает ли принцип толерантности в противоречие с самой идеей нормированности литературной речи, не ведет ли к размыванию ее правильности и тем самым к ослаблению коммуникативных возможностей?» (с. 532). Это ключевой вопрос, и ответ на него отнюдь не очевиден. Автор полагает: «...не ведет, если... исходить из реального, а не воображаемого соотношения литературной речи с другими социально-функциональными компонентами языка и соответственно этому строить языковую политику в области культуры речи» (там же), — если, в конечном счете, «требовать соблюдения норм литературной речи там и только там, где литературный язык на самом деле оказывается един-

ственно возможным средством» (с. 534). С одной стороны, нельзя не принять соображения В. Е. Гольдина о том, что «не следует отождествлять культуру литературной речи с культурой русской речи в целом» (там же); с другой — тезис об обязательности литературной нормы *только* там, где литературный язык единственно возможен, представляется весьма рискованным. Практика последних лет с особой убедительностью показывает, что во всех сферах, названных автором (официальное общение, наука, образование), *реально* возможен и *нелитературный* язык и что эффективность его функционирования в этих сферах отнюдь не нулевая. Если исходить только из критерия «единственно-возможности», то возникает перспектива попросту утратить литературный язык. По-видимому, прав Н. Д. Голев, пишущий о *диалектике* толерантности / интолерантности в области языковой политики и культуры речи: в данном случае опасно превращать толерантность в самоцель.

Последние слова основного текста книги — «дело будущего». Действительно, решение обширного круга проблем, поставленных авторами монографии, — в будущем. Однако фундамент уже можно считать заложенным, и даже контуры будущего здания в ряде работ, составляющих книгу, просматриваются вполне отчетливо. При всем разнообразии индивидуальных исследовательских интересов и пристрастий, авторскому коллективу удалось создать не сборник статей, а именно *монографию*, вклад которой в создание лингвистики XXI века представляется весьма значительным.

М. Я. Дымарский (Санкт-Петербург)

НОВЫЕ КНИГИ

Patrick Sériot (éd.). Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne (épistémologie, philosophie, idéologie) — Lausanne : Presses Centrales de Lausanne, 2003 / Institut de linguistique et des sciences du langage, Université de Lausanne, Cahier n. 14, — 356 p.

Сборник, изданный Патриком Серио, посвящен тому, как мыслился язык и языковая деятельность в годы советской власти, преимущественно в период между двумя мировыми войнами. Сборник содержит материалы конференции, проходившей в Кре-Бераре 3—5 июля 2002 г. Авторами отдельных статей являются В. Алпатов, В. Базылев, Т. Болквадзе, К. Брандист, К. Долинин, А. Дуличенко, Т. Гланц, Т. Гванцеладзе, Л. Геллер, И. Иванова, П. Серио, Е. Симонато-Кошкина, В. Сыманец (V. Symaniec), Б. Вотьер (B. Vauthier), Н. Вахтин, Е. Велмезова, П. Векслер, К. Вулхайзер (C. Woolhiser), К. Збинден. Статьи разнообразны и по содержанию, и по подходу, однако их совокупность может служить хорошим введением в проблематику советской гуманитарной мысли, искавшей в своем отношении к языку ответы на те социальные и философские вопросы, которые ставила новая политическая и

дискурсивная реальность — новый режим и новая идеология (советский вариант марксизма). В статьях сборника обсуждаются позиции Н. Я. Марра и поиски марристов (Л. П. Якубинского, О. М. Фрейденберг), в частности, в области социологии языка и теории диалога, судьбы органицистской («антидарвинистской», гумбольтианской) парадигмы в советском языкознании, место М. М. Бахтина (и В. Н. Волошинова) в философско-филологическом пространстве, созданном марристами, марксистами и формалистами, дискурсивные стратегии Р. О. Якобсона и В. В. Виноградова. Существенная часть сборника посвящена также проблемам языковой политики в постреволюционном национальном строительстве (национальный язык в Белоруссии, «борьба языков» на Кавказе, языки Севера, идиш, создание новых алфавитов).

В. Ж.

**Новый объяснительный словарь синонимов русского языка.
Ю. Д. Апресян, В. Ю. Апресян, О. Ю. Богуславская,
Т. В. Крылова, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон, Е. Э. Бабаева,
И. В. Галактионова, М. Я. Гловинская, С. А. Григорьева,
Б. Л. Иомдин, А. В. Птенцова, А. В. Санников. Под общим рук.
акад. Ю. Д. Апресяна. — М.: Языки славянской культуры, 2003.
Вып. 3. — 624 с.**

В третьем выпуске Словаря опубликовано 105 синонимических рядов, представляющих основные разряды антропо-

центрической лексики русского языка и эпизодически — некоторые другие пласты лексики.

Новый объяснительный словарь синонимов — это словарь активного типа, согласованный с определенным грамматическим описанием русского языка, реализующий принципы системной лексикографии и ориентированный на отражение языковой, или «наивной» картины мира.

Установка на детальное лингвистическое портретирование сочетается в Словаре с установкой на единообразное описание лексем, относящихся к одному лексикографическому типу. Под лексикографическим типом понимается класс лексем, у которых есть общие семантические свойства и которые поэтому одинаковым или похожим образом реагируют на различные правила языка. Синонимические ряды трактуются в Словаре как относительно простые лексикографические типы. Ориентация на лексикографические типы позволяет выявить каркас тех общих семантических признаков, которые лежат в основе всей семантической системы языка.

В большинстве случаев общие семантические признаки мотивируют все или очень многие другие свойства лексем. В связи с этим в Словаре делается попытка описать каждую лексему, входящую в синонимический ряд, как совокупность взаимосвязанных и семантически мотивированных свойств.

Каждая словарная статья Словаря делится на ряд зон. В первой из них (Премамбуле) делается попытка реконструировать тот фрагмент «наивной», или языковой картины мира, которую отражает данный синонимический ряд, и указать

его место среди других связанных с ним синонимических рядов в лексико-семантической системе языка. В последующих зонах описываются семантические, референциальные, прагматические, коннотативные, коммуникативные, синтаксические, сочетаемостные, морфологические и просодические сходства и различия между синонимами, а также условия нейтрализации различий. Все словарные статьи содержат обширные справочные зоны, в которых перечисляются фразеологические синонимы, аналоги, точные и неточные конверсивы, конверсивы к аналогам, точные и неточные антонимы и дериваты (включая семантические) к элементам данного синонимического ряда. В ряде случаев указываются специальные лингвистические работы, посвященные одной или нескольким лексемам, входящим в данный ряд.

Лексикографическое описание синонимических рядов основано на корпусе текстов, представляющем все основные жанры и стили речи современного русского литературного языка. Общий объем корпуса — 34 000 000 словоупотреблений.

Книга обращена к широкому кругу филологов, интересующихся лексикологией, лексикографией и теоретической семантикой, к преподавателям русского языка как родного, неродного или иностранного, а также к писателям, журналистам, редакторам и представителям других профессий, имеющих дело с русским языком как объектом изучения или орудием их работы.

В. Н. Семенова

**Русский язык сегодня: Сб. статей / РАН. Ин-т рус. яз. им.
В. В. Виноградова; Отв. ред. Л. П. Крысин. — М.:
Азбуковник, 2003. [Вып.] 2. — 634 с.**

Книга представляет собой сборник докладов, прочитанных на международ-

ной конференции «Активные языковые процессы конца XX века» (IV-е Шмелев-

ские чтения), которая состоялась в феврале 2000 г. в Институте русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

В сборнике рассматриваются активные процессы, происходящие в лексике, семантике и фразеологии, фонетике и грамматике, а также в различных сферах речевого общения.

Лингвистический анализ проводится на различном материале: рассматривается язык художественной литературы (см., например, статьи Н. А. Кожевниковой «Аббревиатуры в русской литературе XX в.», Н. А. Николиной «Новые тенденции в современном русском словотворчестве», Н. А. Фатеевой «Интертекст и гипертекст: художественный текст и его бытие в “паутине” других текстов», З. С. Санджи-Гаряевой «Семантическое поле фатальности в идиостиле Ю. Трифонова»), язык современной публицистики (см. статьи В. М. Лейчика «По поводу фразеологической нормы публицистического стиля», Л. Л. Шестаковой «К функционально-семантической характеристике ключевой политической лексики», И. Т. Вепревой «О языковой рефлексии на словесное обновление современной эпохи», А. П. Сквородникова «Расширение фигуральных возможностей языка современной российской прессы»), современные русские говоры (см., например, статьи Д. М. Савинова «К вопросу о происхождении умеренного яканья в говорах Тульской области», Е. А. Нефедовой «Экспрессивная лексика языковой (диалектной) личности и аспекты ее лексикографического описания», И. А. Букринской и О. Е. Кармаковой «О категории собирательности в литературном языке и русских говорах», М. Лейнонен «Слово *дак* в русской диалектной речи»), речь малых социальных групп (например, в статьях Т. И. Доценко «Активные процессы в лексиконе подростка», Л. Л. Федоровой «Современное состоя-

ние молодежной речи: к определению жаргона», Т. И. Ерофеевой «Малая социальная группа как объект лингвистического исследования») и жанры устной публичной речи (см. статью Е. И. Голановой «Лексический повтор в текстах “интеллектуальной беседы”»). Ряд статей посвящен проблемам функционирования русского языка в иноязычном окружении (ср. статьи Н. Ю. Авиной «Активные процессы в лексике русского языка в Литве», М. А. Осиповой «Современный русский язык в России и США: социально обусловленные параллели развития»).

Весь материал сборника помещен в четырех разделах: «Активные процессы в лексике, семантике, фразеологии», «Активные процессы в фонетике», «Активные процессы в грамматике и словообразовании», «Активные процессы в речевой коммуникации».

Наиболее представительным оказался блок работ, посвященных активным процессам в лексике и семантике. Здесь затрагиваются как общие теоретические вопросы (ср. статьи Н. Д. Арутюновой «Алогичность метафорических полей. Между мифом и метафорой», В. Г. Гака «Пределы семантической эволюции слов», Е. В. Урысон «Аналогия в семантике», Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева «Русская языковая картина мира в зеркале системных связей: феномен “народной этимологии”», А. Н. Баранова и О. Д. Добровольского «Понятие речевой формулы: определение и типология», Л. О. Чернейко «Концепция лексического значения Д. Н. Шмелева с позиций структурной и когнитивной семантики»), так и отдельные актуальные проблемы лексической семантики (статьи Е. В. Падучевой «Глаголы речевого действия как тематический класс», Р. И. Розиной «Динамическая модель семантики глагола *взять*», А. П. Василевича и С. С. Мищенко «Лексика цветообозна-

чения: реакция русского языка на новые реалии» и др.).

Описание активных процессов в грамматике и словообразовании представлено в статьях В. Бенины «Продуктивные модели в развитии класса аналитических прилагательных», Н. Л. Голубевой «Особенности рядов однородных членов в разных подсистемах русского языка», И. Е. Кима «Развитие залогов-видовой системы русского языка и его этнокультурные корни».

В ряде публикаций рассматриваются особенности речевого взаимодействия в разных коммуникативных сферах (ср. статьи М. А. Кормилицыной «Усиление личностного начала в русской речи последних лет», О. Б. Сиротининой «Хорошая речь: сдвиги в представлении об эталоне», О. С. Иссерс «Текст на упаковке продуктов: когнитивно-прагматический анализ», Н. А. Купиной «О расширении границ речевой сво-

боды: языковой облик избирательных компаний 1999 года в Екатеринбурге и Свердловской области», Л. З. Подберезкиной «Современная городская среда и языковая политика», Е. Я. Шмелевой «“Новый русский” как фольклорный персонаж»).

Книга завершается приложением: «Материалы к справочно-библиографическому словарю русского языка. Часть 5. Лексика русского языка в книгах Д. Н. Шмелева». Приложение составлено С. А. Крыловым.

Сборник содержит немало глубоких исследований, посвященных анализу изменений, происходящих в русском языке на рубеже XX—XXI вв. Его с интересом прочтут не только языковеды-русисты, но и все, кому небезразлично современное состояние русского языка и тенденции его развития.

А. В. Занадворова

**Проблемы фонетики. IV: Сб. статей / Отв. ред.
Р. Ф. Касаткина. — М.: Наука, 2002. — 307 с.**

Четвертый выпуск периодического издания «Проблемы фонетики» посвящен памяти выдающегося лингвиста и прекрасного человека Михаила Викторовича Панова, ушедшего из жизни осенью 2001 года. Среди научных интересов Михаила Викторовича первое место всегда принадлежало фонетике во всем многообразии спектра ее дисциплин. Структура данного сборника статей планировалась как отражение богатства научной картины мира замечательного ученого.

Публикация знакомит читателя с новыми достижениями отечественных и зарубежных фонетистов. Здесь представлены все основные направления исследований звучащей речи: фонологическая теория, сегментная и просодическая фонетика, диалектная фонетика, социо-

фонетика. В ряде статей отражены результаты компьютерно ориентированных исследований в области прикладной фонетики.

В главе «Теория» представлены статья В. Б. Касевича «Еще о понятии фонетического слова» и статья А. С. Либермана «Заметки о теории языковых изменений (на германском материале)».

Раздел «Фонология» включает работу М. Л. Каленчук «О делимитативной функции фонем», статью Е. Л. Бархударовой «Явление вариативной реализации фонем и проблемы восприятия звучащей русской речи» и статью И. Г. Добродомова «Беззаконная фонема /ʔ/ в русском языке».

Глава «Сегментная фонетика» представлена исследованием С. В. Кодзасова, А. М. Красовицкого, Е. В. Щигель «Про-

блемы описания спектров русских гласных», статьёй В. Б. Кузнецова «Роль длительности в формировании фонетического облика гласных в русском языке» и работой М. В. Раевского «Из наблюдений над фонетикой немецкой неточной рифмы: ассонанс в мужских стихотворных окончаниях».

В главе «Просодия слова» представлены статьи Р. Ф. Касаткиной и Е. В. Кузнецовой. В первой («Метрика слова в русском языке») выводятся основные алгоритмы ритмической организации сложных слов в русском языке, во второй («Побочное ударение в сложных русских существительных и прилагательных») описываются случаи появления побочного ударения в различных типах сложных слов.

Раздел «Фразовая просодия» включает следующие статьи: работу А. В. Венцова и И. Фужерон «Сегментация французского звучащего текста», статью О. Йокояма «Маркированность так называемой нейтральной интонации: по данным детской речи», исследование И. А. Комаровой «Конечное продление в различных жанрах речи и музыки», статью О. А. Мейер «Риторическое размножение фразовых акцентов» и статью Т. П. Скориковой «Принципы описания акцентогенных свойств лексем».

В разделе «Орфоэпия» представлены: статья О. В. Антоновой «Рефлексы старомосковского произношения в современной речи», исследование М. Е. Гусевой «О некоторых фонетических явлениях на стыках слов в современном литературном языке», а также статья С. В. Зотовой «Особенности произношения предлога

для в современном русском литературном языке».

В главу «Прикладная фонетика» включены: статья И. С. Макарова «Управление глоткой в артикуляторных синтезаторах», исследование Р. К. Потоповой «Об одном подходе к пополнению базы параметрических данных (применительно к немецкой слитной речи)» и работа Г. М. Богомазова «К вопросу о групповом лингвистическом портрете».

Раздел «Диалектология» представлен исследованием Л. Л. Касаткина «Катагощинское яканье в говоре семейских — старообрядцев Забайкалья», работой Д. М. Савинова «Об особенностях произношения местоимений в форме родительного падежа (типа *ego*) в южнорусских говорах», статьёй А. А. Соколянского «Сладкоязычие в русских говорах», статьёй Т. Б. Юмсуновой «Особенности консонантизма говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья» и работой А. М. Красовицкого и К. Саппока «Проект акустической базы данных языка русских старожилов Сибири».

Заключительный раздел сборника «Из истории науки» представлен архивными документами: тезисами доклада А. А. Реформатского «Русская фонетика в трудах В. А. Богородицкого» и публикацией письма Р. И. Аванесова Д. Н. Ушакову, написанного в марте 1941 года (автор публикации О. В. Никитин).

Сборник научных статей «Проблемы фонетики» адресован читателям, интересующимся фонетикой, а также лингвистам широкого профиля.

О. В. Антонова

Werner Lehfeldt. Akzent und Betonung im Russischen // Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik. Bd. 45. — München 2003. — 194 S.

Новая книга известного немецкого слависта Вернера Лефельдта посвящена

ударению в русском языке. Она состоит из введения и трех глав. Книгу заключа-

ет раздел, содержащий переводы на немецкий язык цитат на русском языке. Имеются также именной и предметный указатели.

Во введении, обосновывая выбор объекта исследования и принятую в книге терминологию, автор справедливо указывает на целый клубок проблем и даже противоречий, связанных с исследованиями феномена ударения в русском языке. Поэтому ключевым для дальнейшего изложения оказывается последовательное разведение и противопоставление двух уровней манифестации ударения — уровень словоформы и уровень речи. Такое разграничение позволяет устранить некоторые из противоречий, имеющихся в современной русской акцентологии, и делает более прозрачным имплицитно уже намеченное в некоторых отечественных работах противопоставление двух уровней анализа. Вместе с тем это первое исследование, объединяющее под одной обложкой описание ударения на словесном уровне и на уровне реализации «просодической выделенности» в потоке речи. Применительно к первому уровню для обозначения просодической выделенности одного из слогов в словоформе принимается термин *Akzentenheit*, а для второго — *Betonungsheit* (согласно традиции, сложившейся в русской акцентологии, первому из этих терминов соответствует термин «ударение», второму — «акцент»). Композиция книги построена соответственно принятому разделению двух уровней.

В первой главе, названной «Абстрактный уровень — ударения» «*Abstrakte Ebene — Akzentenheiten*», рассматривается весь комплекс вопросов, связанных с местом ударения в слове. Акцентные парадигмы, варьирование ударения в современной русской речи (*баржа́ — ба́ржа, избу́ — избу, моста́ — мо́ста, деньга́м — де́ньгам, ве́рны — верны́, кру́-*

жишь — кружи́шь, за де́нь — за́ день, на пя́ть — на́ пять), различия в орфоэпических рекомендациях по отношению к этим и другим подобным колебаниям в акцентуации, содержащиеся в разных словарях, обзор зарубежных работ по акцентуации в русском языке, появившихся в последние годы (цикл публикаций британского исследователя Ника Юкайя в журнале *Russian Linguistics* в 1998—2003 гг. и диссертации шведской исследовательницы Е. Марклунд-Шараповой *Implicit and Explicit Norm in Contemporary Russian Verbal Stress*. Uppsala, 2000) — вот далеко не исчерпывающий перечень рассмотренных в первой главе вопросов.

Во второй главе «Конкретный уровень — акценты» «*Konkrete Ebene — Betonungsheiten*» рассматриваются соотношения между словесными ударениями и фразовыми акцентами, фонетические корреляты ударений и акцентов, включенность так называемого «побочного ударения» в систему фразовых акцентов, а также фонетические характеристики безакцентности. Центральным для этой главы является вопрос о соотношении словесных ударений и фразовой интонации.

В третьей главе «Функции ударения и акцента» «*Funktionen von Akzent und Betonung*» обсуждается специфика функций ударения на каждом из уровней анализа.

Таким образом, в книге обсуждаются основные теоретические вопросы русской акцентуации. Кроме того, затрагивается проблема специфики произносительной нормы в русской орфоэпической традиции, а также представлены попытки решения некоторых акцентологических проблем с привлечением математического аппарата.

Книга найдет заинтересованного читателя среди акцентологов, интонологов, а также лингвистов широкого профиля.

Р. Ф. Касаткина

**Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр.
/ Под ред. М. А. Кормилицыной. — Саратов:
Изд-во Саратов. ун-та, 2003. Вып. 2. — 140 с.**

Во втором выпуске периодического издания «Проблемы речевой коммуникации» рассматриваются как общетеоретические вопросы речевого взаимодействия, так и результаты конкретных исследований разных сфер общения.

Сборник открывается статьей О. Б. Сиротининой «Характеристика типов речевой культуры в сфере действия литературного языка». В ней углубляется представление о типах речевой культуры, уточняются критерии отнесения человека к носителям того или иного типа речевой культуры: полнофункционального, неполнофункционального, среднелитературного, литературно-жаргонизирующего и обиходного. Автор разграничивает понятия *тип речевой культуры* и *тип речи*: «Тип речевой культуры — это именно тип культуры человека в аспекте его речи, а не сам тип речи». В статье представлена разработанная О. Б. Сиротининой система маркеров типов речевой культуры.

К. Ф. Седов в статье «О манипуляции и актуализации в речевом воздействии» предлагает разграничить понятия манипуляторского и актуализаторского воздействия, а также понятия продуктивной и непродуктивной манипуляции. Автор выделяет шесть основных принципов кооперативной актуализации как наиболее продуктивного, а потому предпочтительного способа общения.

В статье В. В. Дементьева «Типы коммуникативной инициативности» представлен опыт квантитативной типологии речи. На основе учета 1) количества инициальных реплик в диалоге, новых тем, тональностей, 2) количества активных возвратов к прежней теме, 3) количества подхватов чужой темы

(жанра, тональности) выделяется три типа инициативности, или активности.

В ряде статей рассматриваются особенности языка средств массовой информации в аспекте проблемы изучения языковой личности.

Э. М. Ножкина («Языковая личность в структуре интервью») анализирует интервью с государственными чиновниками (газета «АиФ», 2001—2002 г.).

О. Б. Сиротинина в статье «Речь отдельных журналистов в газете «Известия»» дает сопоставительный анализ текстов С. Новопрудского и А. Колесникова (из рубрики «Колонка обозревателя») с точки зрения их образности и творческого своеобразия.

Вопросам проявления авторского начала на газетной полосе посвящена также статья М. А. Кормилицыной «Наблюдения над разнообразием средств выражения личностного начала и идиостилем авторов в дискуссии “Десять лет, которые потрясли...” на страницах “Литературной газеты” (2001)».

Значительная часть работ сборника посвящена исследованию особенностей речевого взаимодействия представителей различных социальных групп в разных сферах общения. Так, в двух статьях Т. А. Милехиной («Речевые портреты бизнесменов» и «Речь предпринимателя в деловой публицистике») на весьма репрезентативном материале представлен многоаспектный анализ речи новой для России социальной группы бизнесменов. Ср. также статьи, в которых рассматриваются особенности общения в малых социальных группах: Н. В. Свешникова, «Жаргонная лексика мелких торговцев Саратова»; А. Н. Байкулова, «Культура семейного общения как залог культуры

общества в целом»; Н. А. Бобарыкина, «Институциональное и неинституциональное общение в рабочей обстановке»; И. В. Соловьева, «Об одной особенности православных верующих».

Жанровая структура сложного речевого события (термин В. Е. Гольдина) «прямая линия» рассматривается в статье О. Н. Паршиной «Виды диалога в политическом дискурсе».

Исследованию коммуникативных стратегий мужчин и женщин в процессе речевого взаимодействия посвящена статья А. Ю. Беляевой «Гендерные различия в речи: коммуникативность в речи мужчин и женщин».

В статье Е. В. Наумовой «Метатекстовые конструкции с глаголами речи в разных сферах общения» рассматривается роль данных конструкций в коммуникативной организации речи. Отмечается, что выбор метатекстовых конструкций зависит от жанровых и стилевых особенностей речи.

Завершает выпуск статья, рассматривающая особенности идиостиля Владимира Высоцкого (Е. Г. Ковальчук, «Концепт “смерть” в поэзии В. В. Высоцкого»). Автор сопоставляет стереотипные представления о смерти, сложившиеся в национальной языковой картине мира, с весьма своеобразным восприятием этого понятия в творчестве Владимира Высоцкого.

В целом можно отметить, что значительная часть статей, представленных в сборнике, затрагивает актуальные проблемы теории речевой коммуникации. Исследуя особенности функционирования современного русского языка в разных сферах общения, многие авторы опираются на аутентичные материалы живой речи. Сборник представляет интерес для специалистов-лингвистов, преподавателей русского языка в вузах и школах, а также студентов-филологов.

Е. П. Захарова

**Г. Ф. Ковалев. Ономастические этюды: писатель и имя.—
Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. — 275 с.**

Книгу Г. Ф. Ковалева составили написанные ранее и существенно обновленные статьи по проблемам литературной ономастики, истории русского имени, по методике анализа славянских имен собственных и ономастическому краеведению.

Ономастические этюды собраны в двух, практически не пересекающихся больших разделах монографии: *Литературная ономастика* и *Различные проблемы ономастики и культуры речи*. Статьи первого раздела объединяются общей темой «писатель и имя». Уже во вступительном фрагменте «От автора», почти целиком посвященном этой теме, Г. Ф. Ковалев уточняет, в каких именно аспектах она рассматривается. «В нашей

книге мы попытались, — пишет он, — не просто исследовать ономастику, использованную тем или иным писателем, а проследить отношение писателя к ИМЕНИ. Нас интересовало, как сам писатель относится к своему имени, как он относится к именам коллег по перу, к именам персонажей своих и чужих произведений» (с. 5). Такую нацеленность книги читатель обнаруживает во всех статьях первого раздела, где вопросы ономастики рассматриваются на материале наследия И. А. Бунина, М. И. Цветаевой, М. А. Булгакова, А. Т. Твардовского, А. А. Ахматовой. Так, в статье «М. И. Цветаева и имя» Г. Ф. Ковалев исследует свойственные Цветаевой звуко-

вые, графические, колористические ассоциации, вызываемые именами собственными, приемы сближения онимов и апеллятивов, отмечаемые у поэта случаи топонимического этимологизирования (с. 36—38, 43 и др.). Собранным здесь материалом автор стремится подтвердить представление о специфичности, обособленности живущего по собственным законам мира имен Цветаевой.

Первый раздел книги содержит библиографию отечественной литературной ономастики. В отличие от прежних библиографий такого рода, ориентированных преимущественно на литературную антропонию, предлагаемый Г. Ф. Ковалевым список литературы включает исследования по ономастическим единицам всех разрядов. К этому списку приложен и значительный перечень ономастических словарей и справочников. Следует сказать, что в последние годы число исследований по литературной ономастике заметно возросло, поэтому библиография может быть дополнена целым рядом работ, в том числе словарного типа. Это, например: Е. Л. Гинзбург. Из заметок по топонимике Ф. М. Достоевского. II // Язык. Культура. Гуманитарное знание. Научное наследие Г. О. Винокура и современность. М., 1999. С. 306—320; Е. Л. Гинзбург. Из заметок по топонимике Ф. М. Достоевского. III // Слово Достоевского. 2000. М., 2001. С. 563—593; И. В. Зевина. Личные номинации как средство межфразовой связи во фрагменте текста из романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» // Эстетика и поэтика языкового творчества. Таганрог, 2000. С. 56—59; С. В. Клименко. «Птичьи» фамилии в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Литературоведение и журналистика. Саратов, 2000. С. 111—117; В. П. Сомов. Имена-символы в русской поэзии трех веков // Наука в России. 2000. № 3. С. 55—61; Ю. Б. Мартынен-

ко. Имена языческих богов в творчестве В. Хлебникова // РЯШ. 2002. № 2. С. 74—76; см. также: А. В. Королькова. Алфавитно-частотный и частотный словари комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». Смоленск, 1996; Л. В. Алешина. Словарь авторских новообразований Н. С. Лескова. Вып. 1. А—Б. Орел, 2002; Словарь языка русской поэзии XX века. Т. I, II / Сост.: Григорьев В. П., Шестакова Л. Л., Бакеркина В. В., Гик А. В., Колодяжная Л. И., Реутт Т. Е., Фатеева Н. А. М., 2001, 2003 и др.

Во втором разделе книги рассматриваются вопросы применения ономастического материала в практике вузовского преподавания славянских языков, школьного преподавания родного языка и литературы, организации лингвоязыковедческой работы, изучения народной астрономии в говорах русского и украинского пограничья. Специальное внимание Г. Ф. Ковалев уделяет эстетике древнерусского личного имени, предпринимая с этой целью краткий экскурс в историю формирования и развития восточнославянской антропониимической системы. Завершают главу списки сохранившихся «аромат славянской истории» мужских и женских имен, которые, по мнению автора, могут быть использованы для наречения детей в современной России.

Книга Г. Ф. Ковалева «Ономастические этюды: писатель и имя» содержит богатый и разнообразный фактический материал, дополняет и обобщает то, что было сделано автором в области русской ономастики ранее. Написанная легко и занимательно, она может быть интересна широкому кругу читателей — от исследователей ономастов до студентов-словесников, школьных учителей, преподавателей русского и других славянских языков.

Л. Л. Шестакова

М. В. Шульга. Развитие морфологической системы имени в русском языке. — М.: Изд-во Московского гос. ун-та леса, 2003. — 302 с.

В монографии рассматривается развитие именного словоизменения в русском языке XI—XVII вв.; основное внимание уделено первой половине этого периода (XI — нач. XV в.). К этому времени относится большая часть обследованного автором материала, взятого преимущественно не из первоисточников, а из существующих картотек (картотеки Словаря древнерусского языка XI—XIV вв., Словарей русского языка XI—XVII и XVIII вв.). В компаративных целях автор использует также данные других славянских языков и диалектологические материалы, прибегает к лингво-географическим построениям. Концептуальный аппарат исследования основан на идеях Пражской лингвистики и прежде всего Р. О. Якобсона, связанных с бинарными оппозициями, маркированностью, нейтрализацией и т. д. (хотя мысли Якобсона об иконичности морфологических показателей автор оставляет в стороне); эти идеи, впрочем, подвергаются существенным модификациям.

Три главы монографии посвящены соответственно роду, числу и падежу. В главе о роде рассматривается соотношение морфологического и синтаксическо-

го рода существительных, утверждается, что средством выражения морфологического рода является парадигма, и анализируется, как род воздействует на ретранжировку словоизменительных классов. В главе о числе утверждается, что средством выражения числа служит каждая падежная форма; особое внимание уделяется реализациям значения парности и исчисляемости. В главе о падеже автор исходит из предположения, что нейтрализация, равно как и возникновение новых падежных оппозиций, обусловлены тем, что падежные показатели выступают как (дополнительное) средство выражения других грамматических категорий, а их изменения определяют выравниваем именных форм по роду и числу. В монографии постоянно подчеркивается целенаправленность (телеологичность) морфологических изменений. Хотя автор явно хорошо знаком с обширной литературой, посвященной русской исторической морфологии, несколько важных исследований, в особенности последних лет, не обсуждаются и не упоминаются в монографии.

В. Ж.

Г. Ф. Ковалев. Этнос и имя. — Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. — 234 с.

Книга Г. Ф. Ковалева состоит из этюдов по этнонимике; некоторые из них были уже ранее опубликованы и теперь дополнены и переработаны автором. Книга предназначена студентам-филологам и преподавателям русского и славянских языков. Этюды написаны увлекательно и затрагивают вопросы, интересующие самый широкий круг читателей.

Открывает книгу очерк, посвященный этнониму *Русь*. Автор приводит убедительный словообразовательный аргумент в пользу заимствованного характера слова (модель «собирающее существительное женского рода на -ь» в древнерусском использовалась только для образования названий неславянских этносов) и развивает старую гипотезу о про-

исхождении этнонима из финно-угорского *Ruotsi* ‘дружинники’, в свою очередь заимствованного из шведского, где соответствующее слово обозначало гребцов-дружинников. Автор предполагает, что финские племена называли так дружинников князя, занимавшихся сбором дани (в их числе, очевидно, было много варягов), а затем название было перенесено на восточнославянский этнос вообще.

Менее удачной кажется апелляция автора к словообразовательному фактору в следующем очерке, посвященном этнониму *немец*. Оспаривая традиционную этимологию этого слова (к *нѣмьчъ* ‘немой’), Г. Ф. Ковалев утверждает, что элемент *-ьць* не был суффиксом и лишь вторично был переосмыслен в качестве такового, что при вычленении суффикса *-ьць* не должно было бы возникнуть прилагательного *немецкий*. Г. Ф. Ковалев ссылается на модель *македонец* — *македонский*, *китаец* — *китайский*. Однако очевидно, что в этих примерах действуют совершенно иные деривационные механизмы, нежели в паре *нѣмьць* — *нѣмьцьскыи* (>*немецкий*), образованной совершенно закономерно как *отьць* — *отьцьскыи*, *сьльньце* — *сьльньньныи* и др.

В очерке об этнонимии «Слова о полку Игореве» обсуждается этноним *русици*, спорный со словообразовательной точки зрения, а также племенное назва-

ние *Деремела*, в котором автор предлагает видеть кальку с финского. Специальный раздел посвящен этнонимикону Пушкина. Полезные наблюдения содержит сравнительный очерк русской и польской этнонимии.

Книгу завершает «Словарь этнических названий народов России». Публикация представляет собой извлечение из большого «Словаря», над которым работает Г. Ф. Ковалев, опираясь на свою картотеку, составленную по материалам древнерусских летописей, грамот, описаний путешествий, дипломатических документов, мемуаров и переписки частных лиц с привлечением специальной литературы и научно-популярных журналов, а также газет XVIII—XIX вв. Словарные статьи, опубликованные в книге, разработаны с разной степенью подробности; многие представляют собой краткую справку со ссылкой на источник, где упоминается этноним; происхождение этнонимов не указывается.

Сборник работ Г. Ф. Ковалева содержит ряд интересных фактов и наблюдений и будет полезен тем, для кого он предназначен в первую очередь, — студентам и преподавателям русского языка, а также в известной мере специалистам-исследователям.

А. А. Пичхадзе

Именослов: Заметки по исторической семантике имени. — М.: Индрик, 2003. — 280 с.

Сборник статей, вышедший под грифом Института славяноведения РАН, содержит тринадцать статей об именах богов, людей, а также персонажей сакральных и фольклорных текстов. Книга открывается статьей А. А. Архипова о божественных именах в еврейских мистических текстах. Статья, безусловно, достигает поставленной автором цели «шо-

кового введения в предмет» (с. 7). Принципиально бесконечное разнообразие имен божества и необычные способы их образования (например, имя может выводиться по специальному алгоритму из сакрального текста) дают нетривиальный материал для наблюдений над способами образования теонимов и функционированием имен в тексте (например, опре-

деленной части тела может даваться имя божественного существа, сотворившего ее). Статья А. А. Архипова ценна тем, что намечает непривычные и неожиданные подходы к герменевтике сакральных текстов и имен.

Основательное исследование, богатое как материалом, так и интересными наблюдениями, представляет собой статья А. Ф. Литвиной и Ф. Б. Успенского об одном из способов имянаречения в династии Рюриковичей — о сложившемся под скандинавским влиянием обычае называть новорожденного члена княжеской династии сложным именем, одна из основ которого повторяет часть имени предка (но полный повтор в германских династических именах не допускался). Авторы прослеживают, как совершался в именослове Рюриковичей переход от скандинавских имен к славянским, образованным по описанному скандинавскому образцу, а затем (с XIII в.) и к простому повтору имени предка. Статья не только проливает новый свет на историко-культурную ситуацию в Древней Руси, но и существенно корректирует прочтение древнерусских летописных текстов.

Сборник содержит заметки А. А. Молчанова об истории имени *Александр* и В. Я. Петрухина о языческих теонимах в «Слове о полку Игореве» в связи с проблемой двоеверия на Руси. С историко-литературной точки зрения интересны статьи М. С. Владышевской об именах основных персонажей русских преданий о св. Георгии и М. Кучерской об именах последних царей в русских эсхатологических легендах и сказаниях XIX — нач. XX вв. Статья Ю. В. Кагарлицкого посвя-

щена сближению имен монархов и монархинь с именами библейских персонажей в русских проповедях XVIII в. и изменениям, которые претерпевала эта риторическая фигура на протяжении первой половины столетия. В статье А. С. Архиповой и Ф. Р. Минлоса собран любопытный материал по фонетическим и просодическим закономерностям сочетания имен в русских фольклорных и литературных текстах. Е. Шнитке описывает коммуникативные ситуации, в которых при именах собственных могут употребляться притяжательные местоимения *мой, твой* и т. п.

В широкую культурологическую проблематику сборника органично вписываются статьи Е. В. Вельмезовой об именах персонажей чешских лечебных заговоров, Т. А. Михайловой о трех ирландских королевах IX—XI вв. по имени Горм(ф)лаг и П. Ш. Габдрахманова об имянаречении в средневековой Фландрии.

Явной неудачей следует признать статью А. С. Либермана о древнеисландском имени *Audhumla* и об имени певца *Бояна*, в основе которого, по мнению автора, лежит звукоподражательный корень **bo-/*bu-* (точная реконструкция корня не предлагается). Автор не идет дальше произвольных предположений и крайне поверхностных этимологических сближений.

В целом сборник выгодно отличают нестандартность подходов и оригинальность ракурсов в исследовании проблем ономастики.

А. А. Пичхадзе

В. А. Баранов. Формирование определительных категорий в истории русского языка. — Казань: Изд-во Казанского университета, 2003. — 390 с.

Книга посвящена изменениям в истории русского языка в употреблении кратких и полных форм прилагательных и в употреблении наречий — теме важной и явно недостаточно исследованной. К сожалению, в качестве концептуальной основы автор исходит из построений В. В. Колесова (из книги последнего «Философия русского слова» берутся эпиграфы к разным частям книги). Из этой «философии» автор наследует отвлеченность умозрительных построений, подменяющую эмпирический анализ материала многословными рассуждениями о «синкретизме» древнего лингвистического мышления; умозрительность этих концепций обусловлена тем, что они принципиально непроверяемы. Проблема определительных категорий превращается в вопросы о том, когда «синкретическое» имя расчленяется на существительное и прилагательное, выступают ли «нечленные имена» в функции атрибута или в функции приложения, в каких случаях употребление члена ведет к субстантивации «синкретического» имени, а в каких — к его адъективации и как соотносятся два этих процесса. Здесь, конечно, возможны разные трактовки, однако они в очень малой степени зависят от параметров исследуемого языкового материала. В качестве такого материала В. А. Баранов анализирует «характеризующие формы» (в общепринятой терминологии краткие и полные прилагательные и наречия) в служебных минеях XI—XIV вв. (Пуятин минея и минея Дубровского для XI в., по одной минее из Софийского собрания для XII, XIII и XIV вв. — РНБ, Соф. 199, 204, 198). У этого материала

есть свои достоинства, поскольку прилагательных и наречий в гимнографических текстах много, но есть и свои недостатки: идущая от греческих оригиналов искусственная инвертированность словорасположения, приводящая к тому, что писцы нередко ошибаются в определении зависимостей в предложении и согласуют прилагательное не с тем существительным. Эта инвертированность не дает — вопреки мнению автора — возможности проанализировать, как синтагматическая организация текста (в частности, определенность или неопределенность имени, тематический или ремагический характер атрибута) влияет на выбор формы прилагательного (нарративные тексты куда более показательны в данном отношении). В результате не кажутся убедительными рассуждения автора о семантической значимости препозиции или постопозиции определяющего слова. Собранный автором материал (разночтения в кратких и полных формах прилагательных в минеях, статистические данные об употреблении притяжательных прилагательных, наречий и т. д. и о динамике этих параметров) представляет, однако же, существенный интерес и может быть использован в разных целях. В монографии чувствуется недостаток научного кругозора; судя по библиографии, автор не знаком с многими важными работами по теории языковых изменений, равно как и с некоторыми трудами, непосредственно относящимися к его теме (например, книгой М. Фляера о кратких и полных прилагательных в старославянском).

В. Ж.

**Энциклопедия русского игумена XIV — XV вв.
Сборник преподобного Кирилла Белозерского. Российская
Национальная библиотека, Кирилло-Белозерское собрание
№ XII / Отв. ред. Г. М. Прохоров. — СПб.:
Изд-во Олега Абышко, 2003. — 448 с.
(Серия «Библиотека христианской мысли»).**

Книга представляет собой издание названной в заглавии рукописи, предваренное вступительной статьей Г. М. Прохорова (с. 5—30) и снабженное его же обширным комментарием (с. 235—391). В предисловии содержатся кодикологические сведения, указываются почерки («по крайней мере пятнадцать» — с. 9) и дается датировка по филиграням; палеографическое описание отсутствует. Текст, содержащий в основном епитимийные правила, а также ряд дополнительных статей разного содержания (Епифания о ересях, антилатинские сочинения, уставные материалы), воспроизведен полностью. Хотя издатель утверждает, что рукопись издается «максимально бережно, с сохранением всех устаревших букв» (с. 5), эдичионные принципы не соответствуют филологическим стандартам: подгительные написания раскрыты без оговорок (и порой вполне произвольно), выносные буквы также без оговорок внесены в текст, надстрочные знаки (включая ударения) не воспроизводятся. Сверх того, нумерация листов рукописи, данная при его воспроизведении, не совпадает с той, которая указана при нескольких

факсимиле, приложенных к изданию. Комментарий производит двойственное впечатление, поскольку неясно, на какого читателя он рассчитан. С одной стороны, он содержит много полезных для специалистов сведений, указывая, в частности, на греческие источники издаваемых текстов (выборочно) и на те славянские рукописи, в которых имеются другие списки данных текстов (опять же выборочно); представляют интерес и некоторые пространные исторические комментарии (например, об антииудейской полемике, с. 320—329; ряд утверждений, впрочем, кажется необоснованным). С другой стороны, существенная часть комментария обращена к благочестивому христианину, не научившемуся пользоваться энциклопедиями и словарями (например, объясняется, кто был Иоанн Златоуст или что значат слова *симония* и *афедрон*). В приложении несколько текстов из сборника даются в русском переводе; ни их отбор, ни целесообразность перевода греческих текстов со славянского перевода не обосновываются.

В. Ж.

Новгородская служебная минея на май (Путятин минея).

**XI век: Текст, исследование, указатели / Подгот.
В. А. Баранов, В. М. Марков. — Ижевск: Изд. дом
«Удмуртский университет», 2003. — 788 с.**

Путятин минея — один из важнейших памятников восточнославянской письменности XI в. и одна из немногих рукописей этого времени, до сих пор ос-

тававшаяся неизданной. Попытки издать этот памятник предпринимались несколько раз. В частности, текст был подготовлен к печати М. Ф. Мурьяновым и

часть этого несостоявшегося издания была опубликована А. Б. Страховым в журнале *Paleoslavica* (в аннотируемом издании эта публикация, к сожалению, не упомянута). Текст за 1—10 мая был также издан Л. И. Щеголевой, однако не как лингвистическое издание. Рассматриваемая публикация восполняет эту существенную лауну. Текст в издании воспроизведен дважды, сначала дипломатически с сохранением всех особенностей оригинала (лист в лист, строка в строку, без словоделения, раскрытия титл, с надстрочными знаками и т. д.) (с. 21—292), затем в нормализованном виде, удобном для работы исследователя и приспособленном для автоматической обработки (осуществлено словоделение, титлы раскрыты с помещением вставленных букв в скобки, отсутствуют лигатуры и т. д.) (с. 296—446). Хотя на месте дипломатического воспроизведения было бы целесообразнее дать фототипию, тщатель-

ность и корректность дипломатического воспроизведения нельзя не оценить (при выборочной сверке с фототипиями отдельных листов никаких огрехов не обнаружилось). Публикация сопровождается палеографическим описанием, выполненным В. А. Барановым, и статьей В. М. Маркова о правописании памятника, перепечатанной из журнала *Slavia* за 1968 г.

Большую ценность представляют указатели. Кроме «полного указателя слов и форм» (с. 504—624), имеется также обратный указатель слов (с. 625—706), частотный указатель (с. 707—739), «указатель слов, форм и их вариантов под титлом» (с. 740—746), список имен собственных и их производных, указатель слов для приписок и записей и указатель инципитов. В полиграфическом отношении книга сделана превосходно, побуждая вспомнить образцовые издания классиков славянской филологии.

В. Ж.

Мазуринская Кормчая: Памятник межславянских культурных связей XIV—XVI вв.: Исследование. Тексты
/ Изд. подгот. Е. В. Белякова, К. Илиевская,
О. А. Князевская, Е. И. Соколова, И. П. Старостина,
Я. Н. Шапов. — М.: Индрик, 2002. — 853 с.

Книга представляет собой первое издание нового для исследователей памятника славянского церковного права — Мазуринской Кормчей по наиболее раннему (болгарскому) списку третьей четверти XIV в. из собрания Ф. Ф. Мазурина (РГАДА). Это сокращенный свод канонических правил, расположенных в порядке Указателя XIV титулов, с некоторыми отступлениями как внутри XIV титулов, так и в дополнениях к ним: пропусками отдельных глав и отдельных правил. Дополнительные статьи — те же, что и в сербской редакции по Рашскому

списку 1305 г., только их число меньше и порядок расположения иной. По мнению авторов издания, Мазуринская редакция наиболее близка Номоканону Мефодия, потому что в ней, как и в Номоканоне, канонический материал расположен тематически.

Исследовательская часть включает статьи о текстологии памятника и его происхождении, о его месте в истории права на Руси, о последнем владельце рукописи В. В. Мазурине. Описываются кодикологические и палеографические особенности и состав списков Мазурин-

ской редакции — болгарского Мазуринского списка и русских списков, относящихся к XV—XVI вв. — Чудовского, МДА и Уваровского.

Текст Мазуринской рукописи издан с разночтениями по трем остальным спискам этой редакции. Текст в основном воспроизводится по правилам лингвистического издания славянских рукописей: буква в букву, строка в строку, лист в лист. Отклонение от этих правил можно усматривать в отсутствии сведений о значении употребляемых в рукописи надстрочных знаков. К сожалению, эту задачу будет невозможно выполнить по изданию, хотя надстрочные знаки в нем воспроизводятся: выборочная проверка текста по двум из имеющихся в издании фотокопиям рукописи обнаруживает наибольшее количество ошибок именно в передаче надстрочных знаков. Издатели используют разные знаки для воспроизведения вертикального («звательцо») и горизонтального («камора») начертания дужки. Это различие никак не объяснено, так что остается неясным, почему имеющиеся в рукописи дужки одинакового начертания воспроизводятся то как камора (дѣтъство 188a13), то как «звательцо» (ѡвдовѣлъ 188a19). На этих листах обнаруживаются разнообразные неточности и в передаче текста: томѣ 188a4 (в ркп. том(ѣ) — с выносным ѣ); ѡловызовати 188a7 (в ркп. ѡѡловызовати); г(д)же 188a13 (в ркп. г(с)(д)же); растили сѧ

188a13 (в ркп. растисѧ). В указании покаянных псалмов буква ѣ «коппа» с числовым значением 90 ошибочно прочтена как с и номер ѣѡ (209) отсылает к несуществующему псалму. Попутно отметим необоснованность регулярной передачи глагольных форм с сѧ только в раздельном написании (ср. растли сѧ дѣтъство 188a13, влж(д)ницѧ сѧ дѣлт сѧ 188a24 и т. д. и т. п.); многочисленные случаи неверного словоделения: сѧ не подобно дѣло 65об. (вместо неподобно), вѣсѧ прѣже ре(ч)ныѧ ереси 187б3 (вместо прѣжере(ч)ныѧ); дѣла братѣ чѡдама 189a11 (вместо братѣчѡдама), не правѣ(д)ноѧ... дѣло 189a19 (вместо неправѣ(д)ноѧ) и др.

В издание вошли дополнительные статьи русских списков, представляющих собой важные для русской средневековой культуры тексты: сокращенный русский свод канонов из Чудовского собрания, Мерило Праведное и Уставы поставлений в церковные степени Кормчей Ивана Волка Курицына. Впервые издается древнеславянский текст Книги Иисуса сына Сирахова (из Пермского Номоканона, по Уваровскому списку).

В книге содержится также Указатель XIV титулов по сербскому Рашскому списку 1305 г. и Указатель правил, вошедших в состав Мазуринской кормчей. Все тексты издаются впервые.

А. М.